Иностранная литература
12
1969

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — Буриданов осел (Окончание) 8

ПОВЕСТИ

ТАМАРА ХОВИ — Стремления маленькой мошки (Окончание) 82

РАССКАЗЫ

ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ — В открытом море. Чокнутая с Ролечи 186

СТИХИ

ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ

СЕВЕРИН ШАЛИ. БЛАЖЕ КОНЕСКИЙ. ГАНЕ ТОДОРОВСКИЙ. ИВАН В. ЛАЛИЧ. ЯСНА МЕЛВИНГЕР. ВЛАДО ГОТОВАЦ . . 3

АНТАЛ ГИДАШ — Все снова видится... (Вступление Ал. Суркова) 195

КРИТИКА

Р. САМАРИН — Военизация чтива (Милитаристский роман в США) 200

Л. ЭЙДЛИН — Когда поэт переводит... (Восток Анны Ахматовой) 210

12

ДЕКАБРЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

С. Л.— Эхо гданьского съезда 218
А. ЗВЕРЕВ — «Завербованные и разгневанные» 220

ПУБЛИЦИСТИКА

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ (По страницам болгарской литературной печати)
ГЕОРГИЙ НАЙДЕНОВ — Московское совещание и культура 227
ВЕНКО ХРИСТОВ — От Фрейда и Шпенглера... к Маркузе (Заметки об идейном кризисе Запада) 228

КАРЛОС БЕЙКЕР — Жизнь Эрнеста Хемингуэя. Главы из книги. (Окончание. Послесловие А. Старцева) 235

НАШИ ГОСТИ

С. ИЛЬИНСКАЯ — «Я старался шагать с тобой в ногу» (Ахиллеас Пилиотис в «Иностранной литературе») 246

НАША ПОЧТА

ОБЗОР ПИСЕМ 249

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Е. ЗАВАДСКАЯ — Живописный язык Анри Матисса 251

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Николай Пальцев — Пути наверх? Пути вниз. ◇ М. Кораллов — Роман исторический и современный. ◇ И. Катарский — Новая встреча. ◇ И. Бочкарева — В поисках человечности 257

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Т. Мотылева — Книга о героическом народе. ◇ Н. Ржевская — Ромен Роллан и Максим Горький 264

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 268

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 282

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1969 г. (№№ 1—12) . . 283

На обложке: картина АНРИ МАТИССА «Красные рыбки». 1911.

СЕВЕРИН ШАЛИ

Пушкину

Ленинград, 26 июня 1969 года

Та комната, где умирал поэт,
всегда жива любым своим предметом,
войди — и тотчас убедишься в этом;
вот стол, вот маска источает свет.

О пламенный наставник юных лет,
мне чудится, что ты со мною рядом,
коснись руки, наполни душу ладом,
и отпечатай в сердце новый след,
и сызнова поведай свой завет.

И нашепчи над плавною Невою
святые вереницы строчек сих,
исполненных повадкой ветровою,—
дыхание твое я слышу в них,
когда Фонтанка под мостом черна
и жизнь — как черновик — не решена.

— Мне грустно и легко; печаль моя светла,—
ты молвишь, а Нева течет далече,
и закипают слезы, молкнут речи,
и радость воплощенье обрела.

О радость светлая! В ней волшебство стиха,
величие поэта-исполина,
безмерного, как русская равнина,
где ветер гулок, а любовь тиха.
Так напои меня! Отдай мне по строкам
всю кровь свою — и будет слог мой вечен,
и уподоблюсь я белейшим облакам,
в Словению мою плывущим всякий вечер.

Перевод АСАРА ЭППЕЛЯ

Москва

30 июня 1969

Мой дом далек отсюда, и Три́глав, и Любляна.
Передо мною Волга, лес, Ясная Поляна,
и Кремль передо мною, и вечный шум московский,
и отлитый из бронзы могучий Маяковский...

Когда же наступает
в Москве пора ночная,
восходят те же звезды над родиной, я знаю,
когда приходит утро в ваш город златоглавый,
росою, как и дома, цветы покрыты, травы.

О, древние просторы...
Земля, какая сила
в тебе, в твоих поэтах всю жизнь меня манила?
Пусть я уже немолод, но здесь любви волненье
мою объяло душу, как в первый миг влеченья.

Под светлым вашим небом
бродил я долго-долго,
Нева у ног струилась и колыхалась Волга,
сейчас — Москва ночная, но той же красотою
пленен, стою в смущенье над тихою водою.

Когда ночные мысли летят к родному дому,
в московском добром небе звезда горит знакомо,
и луч, меня коснувшись, как мой привет, по свету
идет все дальше, дальше, теплом Москвы согретый.

БЛАЖЕ КОНЕСКИЙ

Песнь виноградной лозы на горе Водно

Если я молчу, а небо ясно,
тишина, и в тишину такую
не от одиночества тоскую,
я молчу — молчание прекрасно.

Если повинуюсь ежечасно
я дыханью ветра, словно птица,—
не от страха, что в корнях гнездится,
нет, повиновение прекрасно.

Если я глубокой ночью гасну,
это сон сморил меня в постели,
чтобы ярче светляки горели,
да, а погруженье в сон прекрасно.

Если я покорна не напрасно
виноградарю, который гроздья снимет,
то не потому, что не покинет
он меня — нет, просто жизнь прекрасна.

Странной я кажусь, быть может, многим...
Но кто понял голос мой, я вижу,
тем земля становится все ближе,
все иное — чуждым и далеким.

Нежность

Только ты, когда во сне лишь
подойдешь — и я утешен,—
только ты сказать сумеешь,
как я тих и как я нежен.

Этот сон не утоленье
долго мучающей жажды.
Тень твою в миг пробужденья
не задел ли я однажды?

И в томленье одиноком
мне впервые сила в тягость —
вдруг обижу ненароком,
отпугну навеки радость.

ГАНЕ ТОДОРОВСКИЙ

Кантата в красном и черном

*Памяти Цесарца, Кершовани, Горана...**

Черные отщепенцы, черные псы, черные во́роны
черной весной зачернили весь горизонт,
перед глазами гнусных убийц —
только бессилие,
в черной ночи красною родилась
Хорватия, мать расстрелянных поэтов!

Черная зависть, черные выстрелы в красную грудь,
красная гордость, красное имя, красная смерть,
и предрассветная смолкшая песнь
самых лучших,
в красных люльках баюкала горе
Хорватия, мать расстрелянных поэтов!

* Аугуст Цесарец (1893—1941), Отокар Кершовани (1902—1941), Иван Горан Ковачич (1913—1943) — хорватские писатели, погибшие в борьбе с фашизмом.

Черная злоба черным крылом их скрыла могилы,
только они знаменем красным все же живут,
красная правда, красное будущее,
справедливость...
В черный платок лицо завернула
Хорватия, мать расстрелянных поэтов!

Красная песня черным днем угодила в беду,
красная буря над горизонтом — начало рассветов,
красное утро от крови родится в черном аду,
Хорватия, красная мечта поэтов!

Переводы Н. ЗЛОТНИКОВА

ИВАН В. ЛАЛИЧ

Романс

Твои власы как дождь,
из пчел твои персты,
и светлым голосом
слагаешь песни ты.
Цветение твое —
из лепестков огня.
Ты — звездная моя.
Ты — ясная моя.
Являешься ко мне
украдкою во сне,
и что-то нежное
ты объясняешь мне,
и улыбаешься —
сбываются мечты;
сгораешь и, горя́,
морщинки даришь ты...
И звезды бусинами
катятся с чела...
Твои власы как дождь,
из пчел твои персты,
слова твои просты,
любимая моя...
Я вижу сны в стихах,
душа моя чиста,
во сне стучат часы,
сжигаются мосты,
прикосновением ложатся на уста —
как дождь — твои власы,
из пчел твои персты.

ЯСНА МЕЛВИНГЕР

Стихи о животных

Я счастлива оттого что есть
столько мастей и окрасок
у теплых звериных шкур
Есть хищность тигриных полос
на оранжевом небе подшерстка
Есть гибкий кошачий мех
податливо ищущий нежность
ластясь к белым пальцам
Я счастлива оттого что чисты
лишь его глаза на сером
Я счастлива угадывая
узлы страшных мышц
под новизной этих шкур
счастлива полагаясь
на пузырьки воздуха в легких
Я счастлива покуда чувствую
всю эту жизнь
мягкую и пеструю под изнанкой
счастлива покуда линии моего тела
странно как-то ищут тишину

Переводы АСАРА ЭППЕЛЯ

ВЛАДО ГОТОВАЦ

Так возникают стихи

Как равнодушно и тихо огромное солнце проходит
со своими огнями и взрывами
и жизнь создает

Как в тишину превращает свою холодность месяц
и тайну творит

Как постоянно танцуют в пустых небесах облака

Так возникают стихи.

Перевод И. ИВАНОВОЙ

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

Буриданов осел

РОМАН

Перевод с немецкого
Е. КАЦЕВОЙ и Т. ИЛЛЕШ

10

Разговор (ночью, с четырех до шести) имел много этапов, один из них Карл начал следующими словами: «Я не уверен, любил ли я тебя когда-нибудь». Элизабет: «Но ты женился на мне». Он: «Потому что ты этого хотела». Она: «Разве я это говорила?» Он: «Нет, но я все знал и хотел доставить тебе радость. Кроме того, тогда как раз была эта история с Герхардом. Я случайно нашел его стихи, посвященные тебе». Она: «Я никогда не относилась к нему серьезно, ты это знаешь». Он: «Не будь его, мы расстались бы с тобой без горя и боли. Но я не мог уступить тебя ему. Гордость, тщеславие, чувство собственника, понимаешь?» Она: «Значит, только поэтому?» Он: «Только поэтому. Ты была красивая». Она: «Почему ты не хочешь признать, что мы любили друг друга?» Он: «Потому что это неправда. Я мог бы уже на следующий день после свадьбы изменить тебе». Она: «Но двенадцать лет откладывал это, до сегодняшней ночи, не так ли?» Он: «В мыслях и мечтах я тебе уже сотни раз изменял. Мы не могли оставаться одни, вот в чем дело. И случайно оказались вместе. Одиночество, случай и немножко жалости! Почему ты отмахиваешься от правды? Требуешь честности, а сама не переносишь ее. Ты всегда ухитрялась игнорировать суровые факты или смягчать их чувствительностью!»

Он действительно хотел быть честным, хотел вытащить наружу все, что замалчивалось двенадцать лет, испытывал облегчение оттого, что высказался, и огорчение потому, что сделать это оказалось так легко; он был горд своей честностью, но и пристыжен, ведь к желанию быть честным примешивалась радость от причиняемой боли, вкрался сюда и расчет: он надеялся скорее избавиться от собственных чувств, если убьет ее чувства. Он пытался разбить то, что считал нужным разбить, но понимал, что принадлежащее им обоим здание еще не превратилось в развалины, что разрушение надо продолжать, уничтожая и прошлое. Тот факт, что они любили друг друга, необходимо опровергнуть. Иначе ему пришлось бы признать, что любовь умерла где-то по дороге, непредви-

Окончание. Начало в № 11.

денно, но не без его вины. А это умалило бы величие его новой любви, а заодно и его честность, для которой он жаждал признания и ради которой лгал: «Гордость, тщеславие, инстинкт собственника, одиночество, случай, жалость!»

Другой этап. Она: «А дети?» Он: «Я всегда буду для них отцом». Она: «Ты не будешь оспаривать их у меня при разводе?» Он: «Кто говорит о разводе?» Она: «Я. Разве есть другая возможность?» Он: «Не знаю. Ты должна дать мне время». Она: «Для чего?» Он: «Пока я знаю только одно — я люблю ее. Но это еще не значит, что ты стала мне безразличной. Мы не должны рубить с плеча, мы должны стараться быть терпимыми и выждать время». Она: «Мне нужна не терпимость, а ясность в отношениях». Он: «Ты слишком облегчаешь себе дело. Прямая вина моя, согласен. Но разве ты действительно считаешь, что твоей вины нет совсем? Ты уже позабыла, с какими надеждами начинали мы нашу совместную жизнь? Как часто мы друг перед другом и перед посторонними защищали браки библиотекарей: одинаковые задачи, одинаковые интересы, можно помогать друг другу, вместе совершенствоваться. А что из всего этого вышло?» Она: «А что выйдет, если у фрейлейн Бродер появятся дети?» Он: «Я вовсе не хочу уменьшать своей вины, я только взываю к разуму и предлагаю выждать. Может быть, тебе кажется, что я в меньшем отчаянии, чем ты? Но я не могу иначе. Все, что я в силах сейчас для тебя сделать, это быть честным».

Он действительно не мог иначе, он должен был быть честным, был им (даже более чем честным, выдавая за случившееся то, что, как он надеялся, еще случится), но не только потому, что так повелевала совесть или посоветовала полиция, а еще и потому, что Элизабет опередила его, избавила от мук выбора, просветив (прежде чем он смог бы приступить — как она опасалась — к разукрашенному подробностями описанию проведенного у Хаслера вечера) насчет визита Хаслера. Ей ни к чему были дешевые триумфы после коварного молчания, она не хотела осквернения ложью. И это повредило ей, отняв у решающего разговора ту отвратительность, которая, возможно, вытравила бы у Эрпа зародившееся чувство. Жалкий лгунишка, спасающийся от одного обмана в другом, клянчащий о доверии, раздувающийся от злости из-за ее недоверия или прячущийся за грубостью, представлял бы для нее меньшую опасность.

Кто разберется в Элизабет? То, что она, услыхав по радио детский голос, начинала плакать, а на банкетах снабжала гардеробщиц бутербродами с икрой, еще не доказывает ее неспособности действовать обдуманно. Может быть, она не считала Карла потерянным и предотвратила ложь, чтобы оставить за собой возможность любить его и впредь. А может быть, она хотела помешать тому, чтобы ложь создала новые связи между Карлом и фрейлейн Бродер. Удивительным (почти оскорбительным для Карла) было спокойствие, с которым она все приняла. Она не кричала, не плакала, много, естественно, молчала, предоставляя Карлу говорить, но задавала вполне определенные вопросы, требовавшие откровенности.

Она могла сохранять спокойствие, так как была подготовлена к случившемуся не только Хаслером и отшлифованным полупризнанием, выслушанным несколькими неделями раньше, но и страхом, этой примесью всякой любви, страхом, который постоянно приходится заглушать ежедневным, ежечасным повторением любовных клятв, самозаклинаниями (это невозможно, у нас не так, мы не такие, как другие) и который все же никогда не смолкает, даже если со временем затихает, будто бы дремлет в каком-нибудь отдаленном уголке души, забывается наяву, но вдруг пугает во сне, в одинокие ночи, при отъезде другого или в вихре карнавала, где чужой, вовсе не симпатичный рот, совсем не более пре-

красная грудь внезапно вызывают волнение, будят воспоминания о том времени, когда тело другого еще было не так знакомо, как свое, возбуждало томление, когда по утрам, при прощании, при встрече, перед сном поцелуй еще не был столь же привычным, как вытирание ног о половик, чистка зубов и сигарета после завтрака; он таится, но не исчезает, этот страх, его вытесняют повседневные заботы, его закутывают, упаковывают в доверие и привычку, и все же он всегда тут, незваный, вырастающий иногда в безрассудную тоску по спокойной, лишенной желаний старости и все время набрасывающий бледными штрихами вариации болезненных видений, одно из которых когда-нибудь впоследствии, в ноябрьскую ночь, в четыре утра, станет реальностью, обретет плоть и краски. Так человек оказывается подготовленным, ему кажется, что он однажды уже пережил это, он сравнивает, пытается что-то вспомнить, знает, что могло бы быть и хуже, не кричит, не плачет, сохраняет спокойствие, даже проявляет интерес к тому, как это произошло, несмотря на боль, которая достигнет предела тогда, когда перестанешь удивляться, что знал все заранее.

Разговор продолжался, не придя к концу, два часа, потом Эрп сел писать (словно разговора и не было) письмо № 2; разговор мог продолжаться и двадцать часов, да и продолжался, разделенный на последующие вечера; ибо вечерами, когда дети отправлялись спать и прекращалась вынужденная игра в семейную жизнь, на них, как заразная болезнь, нападала откровенность. Это сблизило их, как никогда раньше, оба признавались друг другу в самых интимных вещах, которые прежде, будь о них сказано вслух, оказали бы разрушительное действие, особенно изощрялся в откровенности он (она лишь редко давала себя увлечь на этот путь), ибо ему хотелось сжечь мосты (но не полностью, одну перекладинку он охотно оставил бы), которые она (пока еще) старалась сохранить (чего он не замечал). Он говорил, говорил, говорил о прошлом, которое хотел перетолковать на новый лад, разрушить, искал в нем поводы, причины, основания, мотивы, доказательства вины, она гораздо меньше говорила о прошлом, больше о будущем, надеясь, хотя бы в разговорах, свыкнуться с ним, рассчитывая напугать им Карла, говорила и о практических делах, о них в особенности, поскольку заметила, как они его страшили. Ибо ему, в противоположность ей, которая знала, что ожидает ее после разрыва, предстояла дорога в неизвестность. Он бросал ее на полпути, думалось ему, конечно, это очень тяжко, но она остается в привычной обстановке, а ему предстоит нырнуть в темноту лабиринта, не зная, найдется ли там выход. Нужно время! «Для чего?» — спрашивала она и говорила о доме и саде, принадлежащих ей, и об автомобиле, который он может взять себе, потому что ей он все равно не по карману. Но обо всем этом он и слышать не хотел, только воспользовался сказанным, чтобы спросить, что было бы, если бы они не поселились в этом доме, не народили детей, сменили профессию, покинули Берлин, да мало ли что еще сделали. Теперь иногда бывали и слезы, иногда крики, иногда оба умолкали, иногда, как запоздалое эхо, рождалось желание и погибало под бременем упреков (кто кем пренебрег, физически, духовно, морально, кто кого предал еще задолго до катастрофы?), иногда он становился меланхоличным, вспоминая задуманные путешествия (когда дети вырастут!) или сад, который заглохнет, когда его не будет, а Элизабет пойдет работать; иногда он пытался шутить, задавался, например, вопросом, чем кончилась бы эта история, владей ими страсть к телевизору. (В программе обязательно нашлось бы что-нибудь, связывающее супругов, и никогда бы не обнаружилось, что им нечего больше сказать друг другу, постепенное угасание страстей было бы объяснимо: когда уж заниматься любовью, раз из вечера в вечер нужно смотреть программу до полуночи. Он был бы привязан к

дому и вечерами никогда и часа бы не пожертвовал чужим прелестницам. Или, скажем, будь фрейлейн Бродер заядлой телезрительницей: во время совместного ужина она не отрывала бы глаз от экрана, не слушала бы его, всегда находила бы помеху для близости; беседа не могла бы состояться, а не будь бесед, он никогда бы не узнал ее, никогда бы не влюбился в нее.) Элизабет не видела в этом ничего смешного, но пыталась улыбнуться, давала ему говорить, воздерживалась от упреков (в непрестанном повторении одних и тех же историй и суждений, в бесстыдном самовосхвалении, в срывании всякой досады на ней, никогда не смеющей быть в плохом настроении, печальной или усталой) и раздумывала над тем, в чем он ее упрекал. То, что у нее в голове всегда были только кухня, колыбель и супружеское ложе, было верно не совсем, но почти; а как могло быть иначе при установленном им разделении труда? Было ли бы иначе, если бы она пошла работать, если бы и на ней, когда она вечерами возвращалась домой, лежал отблеск какого-то большого мира, если бы она, быть может, имела поклонников? Дольше ли бы она оставалась для него желанной, если бы он видел, что и другие ее желают? Возможно, ему недоставало боязни соперников, не наносила ли уверенность в ней ущерб его любви? Не лучше ли было бы ей иметь другую профессию, в которой он ничего бы не понимал и, следовательно, не мог бы и там чувствовать свое превосходство? Но не изнурили ли бы их обоих и еще скорее оттолкнули друг от друга отложенные на вечер заботы о детях, доме, саде? Или сыграло роль то, что в последние годы она не заботилась о своих туалетах, об уходе за лицом, о прическе? Тюбика губной помады ей хватало на годы. От моды она отстала на несколько сезонов, чего почти не замечала в своем домашне-садовом уединении. Не следовало ли ей все же попробовать хваленые препараты для поддержания красоты бюста?

Сказала ли она это, подумала ли об этом?

Потом она и сама не знала, как все было, помнила только, что он непрерывно говорил, нелепое, сомнительное, иногда и верное, но оно помогало не ей, а, видимо, ему, нуждавшемуся в говорении, ибо всякая невысказанная мысль мучила его, лишала сна. В этом он и фрейлейн Бродер походили друг на друга как две капли воды. Элизабет же, напротив, в этом была ему не пара. Может быть, только это и составляло преимущество фрейлейн Бродер, или то была ее молодость, ее кожа, ее волосы? Или лишь новизна, неизведанное? Тогда надежда не потеряна, еще можно положиться на время!

Но хотела ли она надеяться? Она ведь гнала его.

Когда узнают о необходимости операции, спрашивают у врача, нельзя ли сделать ее сразу, из боязни перед боязнью, из страха перед ожиданием страха. Может быть, причина была в этом, а может быть, Элизабет находила шок целительным; ведь говорят же ребенку: ладно, поезжай в лагерь, вот тогда ты узнаешь, как хорошо дома. А может быть, она считала невозможным оставаться с мужем, который спал с другой, да, может быть, она даже стремилась к разрыву, вдруг возмечтав о запоздалой самостоятельности? Может быть! Кто разберется в Элизабет?

11

Карл увидел ее только за обедом. Она сидела за столиком одна, слева от прохода. Справа сидели фрейлейн Завацки, фрейлейн Вестерман, госпожа Айзельт, Крач и Риплоз. Госпожа Айзельт сняла свою сумочку с еще не занятого стула и рукой указала на него Карлу. Он замедлил шаги, чтобы выиграть время. Фрейлейн Бродер не подняла глаз. Хлебая капустный суп, она читала.

Глупая привычка, еще до Эрпа (пока готового считать ее прелестной) приводившая некоторых людей в отчаяние! Первой была мать, которая из большой кухни (с выходом на лестницу, потом здесь госпожа Вольф обстряпывала своего неразговорчивого голубятника) так и не смогла сделать приличную детскую, потому что Вильгельм, ее муж, придавая значение не форме, а содержанию (головы), поощрял одновременный прием материальной и духовной пищи, за крупяным супом или рулетом читал о борьбе за престол между вождями инков Гуаскаром и Атаульпой и благосклонно наблюдал, как дочь его тоже получала двойное удовольствие от хлеба с сиропом и «Красной шапочки», свиной ножки и «Тимура и его команды», бутерброда с сыром и «Фауста», заставляя мать чувствовать себя одинокой за столом; в ответ на озабоченный вопрос «Вкусно ли?» он только одобрительно мычал, не видя слез жены, приправлявших солью ее еду. Вот еще одно подтверждение тому, что плохое воспитание всегда приносит скверные плоды, даже в двадцать два года, в столовой городского объединения по очистке улиц, где подметальщики и подметальщицы, шоферы поливальных машин, женщины из общественных уборных, служащие сберегательной кассы и страхового агентства находили поведение читающей девицы бестактным, а библиотекарши к тому же чувствовали себя оскорбленными в своей профессиональной чести, так как одна из них делала то, что читателям библиотеки с полным основанием (а именно — из-за возможности появления жировых пятен) строго воспрещалось. Но фрейлейн Бродер не собиралась отказываться от привычек, кажущихся ей допустимыми, только по той причине, что другим они не нравились. Без чтения она скучала за едой и не могла понять, почему, собственно, ей нельзя таким способом удлинять короткое время, остававшееся для любимого занятия.

Карл не мог идти так же медленно, как он принимал решения, и потому стоял, все еще ни на что не решившись, между двумя столами, держа тарелку наклонно, отчего суп переливался через край, взглянул налево, на склоненную голову, книгу и равномерно двигавшуюся ложку, поздоровался, обращаясь к пяти знакомым лицам справа, прекрасно понимая, что после нескольких секунд заминки ему все равно придется сесть на стул рядом с фрау Айзельт, услышал, как Риплоз шутливо сказал что-то («Буриданов осел» или нечто подобное), и сел слева, напротив фрейлейн Бродер, которая не подняла глаз. За соседним столом наступило молчание. Даже Риплоз умолк. Даже гул голосов вокруг и стук тарелок, казалось, стихли. У Карла было ощущение, будто в зале все едоки капустного супа ожидают его первых слов. В его все еще затуманенном алкоголем мозгу родилось желание ошарашить своих коллег, сказав фрейлейн Бродер что-нибудь вроде: «Надеюсь, вам достаточно было нескольких часов сна?», «Я страшно счастлив видеть вас снова», «Как ты хороша!» Ему стоило труда включить необходимые тормоза, он уставился на ее волосы и наконец произнес (слишком громко): «Приятного аппетита!» Тут она опустила полную ложку обратно в тарелку, подняла голову и испугалась.

Испуг, пожалуй, не совсем верное слово, досада тоже не подходит, вероятно, это было нечто среднее, может быть, тревога или замешательство. Она надеялась, что на службе он оставит ее в покое, не потому, что ей не нравились беседы с ним (они ей даже очень нравились), а потому, что она хотела избежать неизбежной в присутствии посторонних фальши, тут же прозвучавшей в ничего не значащих фразах, без которых он не мог обойтись, ибо нельзя же было сидеть перед ней и таращить на нее глаза — ему, как хорошему начальнику, полагалось заговорить с выздоровевшей сотрудницей, осведомиться о состоянии ее здоровья, порассуждать о врачах, о здоровом образе жизни («самое главное — рано

ложиться!»), о ее будущей работе, экзаменах, финансовых затруднениях конца года, дружески, заботливо, уверенно, заинтересованно, и, поскольку она вынуждена была отвечать, ее ответы были столь же хорошо разыгранными, как и вопросы, но все же недостаточно хорошо для Вестерман, Айзельт, Завацки, Крача за соседним столом; хотя непринужденный тон беседы разочаровал их, они обману не поддались и на слова перестали обращать внимание (а вскоре и понимать их, потому что Риплоз начал говорить и говорил без конца, а за стол фрейлейн Бродер с шумом уселась компания подметальщиков), зато следили за глазами, не отрывавшимися друг от друга, за ложками, теперь бездействовавшими, за тарелками с постепенно остывавшим капустным супом. Все (за исключением Риплоза, до которого никакое дурное слово не доходило, потому что он никому слова сказать не давал) догадывались, что здесь происходит, и испытывали (в индивидуально различном смешении), во-первых, умиление, во-вторых, злорадство, в-третьих, досаду — из-за лицемерия обоих и, в-четвертых, страх перед грозящей катастрофой, но каждый думал еще и о своем. Фрау Айзельт отождествляла себя с Элизабет и вспоминала о тех двух годах, когда ее муж якобы работал вместе с крановщицей в дополнительных сменах, не принесших ему заработной платы, зато стоивших восемнадцати лет алиментов. Фрейлейн Завацки, как все преданные секретарши, приписывала себе право на ревность. В высохшем сердце фрейлейн Вестерман шевельнулась жалость к Бродер, которая (в этом она была уверена) переживет с Эрпом то же, что она пережила с Фредом Мантеком: он будет подыматься все выше, в центральное управление или в министерство, а ее оставит в библиотеке, как письменный стол или книжные полки, и вот тогда-то она, Луиза Вестерман, погладит ее по голове, назовет «дитя мое» и, указывая на каталог, поделится результатом своего жизненного опыта: прочное счастье приносит только работа. Крач же замышлял месть; он был обманутым, потерпевшим, да, брошенным на дороге трупом, через который проедет колесница любви — если он не будет сопротивляться, но он будет сопротивляться, должен сопротивляться: для него на карту поставлены не только хорошо оплачиваемая должность или удовольствия большого города, но и священные цели; не из-за сентиментальных воспоминаний (как у этой Бродер) ему дорог Берлин, он — стартовая площадка для творческого взлета, который приведет его когда-нибудь в первые ряды немецких режиссеров; в каком-нибудь районном центре, где на импровизированной сцене раз в четыре недели показывают жалкую инсценировку, он станет бесплодным, там ему никогда не вырваться из библиотечной клетки, этой кормушки для выхолощенных, поверхностных, нетворческих, полуобразованных, невежественных людей; Берлин ему нужен из-за театров, и он любыми средствами будет добиваться места в этом городе; на следующем же профсоюзном собрании встанет и заклеймит бродеровскую форму проституции; пойдет к Хаслеру или к бургомистру, напишет городскому советнику по культуре или даже в государственный комитет — разумеется, не раскрывая своих планов, которые никто не одобрил бы — после трехлетнего обучения в библиотечном училище, где платили стипендию. Прежде чем из меня сделают труп, я сам пойду по трупам, думал он, в то время как Риплоз (словно его об этом спрашивали) начал пояснять, что он хотел сказать, когда заговорил об осле, Буридановом осле; Буридан — не название деревни, или города, или страны, что можно было бы предположить по ассоциации с троянским конем, и не сооружение, как Капитолий с его знаменитыми гусями, которые, в отличие от коня, спасли город (в данном случае Рим), а не уничтожили его, как Трою, что, само собой разумеется, всего лишь легенда, как и история с кормилицей основателей Рима, волчицей, которая, конечно, тоже выполняла пропагандистскую задачу,

подобно всем геральдическим животным, причем, что характерно для классового общества, это преимущественно были хищники, а не мирный голубь, полезный ягненок, лошадь, скотина и, конечно же, не осел, которого теперь у нас знают почти исключительно только по сказкам, главным образом как мельникова осла, или из библии, когда Иисус, сидя на осле, въехал в Иерусалим, или как Валаамову ослицу, которая даже заговорила, когда ее ни за что ни про что побили, потому что она видела больше, нежели ее господин,— случай, который мог бы сделать осла символом интеллектуальности, если бы он уже не был символом глупости, что, конечно, несправедливо, о чем наверняка знал изобретатель выражения «ослиные уши», а также господин Буридан или правильней — Бюридан, с ударением на последнем слоге и носовым «н», образ осла у которого связан не с глупостью, а с философской проблематикой, хотя неясно, почему это должен был быть именно осел, а не, скажем, гегелевская сова или кони Платона, не говоря уже о священном зверье во всевозможных религиях, из которого с легкостью можно было бы составить настоящий зоопарк,— так говорил Риплоз, говорил еще многое другое — о животных, людях, природе и обществе, чем можно было бы заполнить целые страницы, но что вполне можно опустить, так как все это мало относилось к Эрпу и к сравнению его с ослом. Поэтому лучше пока перестать слушать Риплоза, как то сделали его коллеги за столом, включиться лишь тогда, когда снова прозвучит слово «осел», и рассказать кое-что о человеке, которому эта книга обязана многим, а именно — названием, и который был бы достоин стать главным персонажем романа из жизни библиотекарей или героем пьесы, например, трагедии, начинающейся в сумасшедшем доме и (тут требуется лишь легкое преувеличение) там же кончающейся (поэтический вымысел во имя обобщающей правды может позволить и такое, в то время как эта хроника должна придерживаться реальной действительности) и выглядящей так: Риплоз, по имени Лаурин, хилого телосложения, высокий, тощий, имеющий больше дыр между зубами чем зубов, бывший канализационный рабочий, самоучка, студент библиотечного училища двадцатых годов, был пламенным энтузиастом народных библиотек и потому (хочется сказать: с неизбежностью) страдал соответствующей профессиональной болезнью — Polyhistoritis, или манией универсальности, которая, согласно последним исследованиям, столь сильно проявляется лишь в том случае, если из ряда вон выходящая интеллигентность сочетается с юношеской восторженностью (что бывает редко) и порождает сознание просветительской миссии, что, между прочим, обязывает одержимого этой манией не терять бессмысленной надежды прочитать все книги, выдаваемые им читателям. Для наглядного подтверждения преимуществ и недостатков всестороннего знания жизнь Риплоза давала материал в избытке: из-за любовного обращения с внезапно запрещенной литературой коричневорубашечники снова заставили его нырять в канализационные стоки; книги по психопатологии указали ему путь из казармы вермахта в психиатрическую лечебницу, где выдающиеся способности (и страстная увлеченность) в области систематизации опять-таки стали для него роковыми, когда хитроумный нацистский врач передал ему руководство тамошней библиотекой, чтобы затем, на основании безупречно составленных каталогов, разоблачить в нем симулянта; в Средиземном море сбежавшему на лодке солдату штрафного батальона спасли жизнь его познания в навигации. Новый строй, заинтересованный в знаниях и умевший использовать их, тащил и толкал этого антифашистского всезнайку из районной библиотеки по крутой тропе наверх, вплоть до центрального управления, где ему надлежало организовать чистку библиотечных фондов. что он и проделал с неутомимой основательностью, в которой его менее запятнанным начальникам не понравилась лишь медли-

тельность; так как он не был способен к поверхностной радикальности, а болезнь его все более прогрессировала, началось медленное и почетное нисхождение по ступенькам — директор библиотечного училища, доцент (в качестве такового он разжег в Эрпе профессиональный энтузиазм и чуть было не угасил его потоками беспорядочных знаний), редактор отраслевого журнала, директор библиотеки,— что привело его опять в районную библиотеку столицы (с Эрпом во главе), причем его универсалистские иллюзии ничуть не пострадали — к счастью, как говорил Эрп, опасавшийся, что в противном случае конечной остановкой на этом жизненном пути неизбежно оказался бы инфаркт миокарда или сумасшедший дом. «Стихийным бедствием для наших библиотек,— сказал он, когда шум, поднятый подметальщиками, сделал возможной не предназначенную для чужих ушей беседу,— стало принуждение к поверхностному всезнайству, которое уничтожает лучших, именно лучших, только лучших, если они вовремя не дадут тягу наверх, в управление, то есть не займутся руководящей деятельностью, как Фред Мантек, или не уйдут в сторону, в другие области, вниз, в безыдейную и бездушную библиотечную технику, как фрейлейн Вестерман,— или же в пессимизм».— «Как вы!» — заметила на это фрейлейн Бродер, разумеется, иронически; не потому, что была слишком молода, чтобы понять эту дилемму, а потому, что была приучена к предвидящему перемены мышлению, к перспективному взгляду, который рассматривает все существующее уже и как преходящее, как ступень к высшему, лучшему, прекрасному,— к мышлению, которое оценивает явления в их взаимосвязи, воспринимает трудности как часть чего-то большего и тем самым уменьшает их значение, к вдохновенному преодолению любой дилеммы с помощью всегда имеющегося наготове лозунга, в данном случае слов о технизации и специализации, которые фрейлейн Бродер и бросила в бой против разочарования, в ответ на что Эрп (это случалось каждый раз и каждый раз вызывало в ней раздражение) покинул область теории и будущего и заговорил о практике и прошлом, о создании нерациональных карликовых библиотек (мешающих технизации и специализации) в то время, как ликвидируются карликовые школы, и это отождествление школы и библиотеки, не становящееся от постоянного повторения более разумным, вывело фрейлейн Бродер из себя (хотя она разделяла его точку зрения). Тут Эрп вдруг почувствовал себя старым и подумал: новое поколение! — и ему очень захотелось поговорить о временах после сорок пятого года, когда они в синих рубашках, духовно безоружные, так сказать с открытой грудью, горя воодушевлением, шли на приступ бастионов буржуазии — ради кого? — конечно, ради будущих поколений, ради фрейлейн Бродер, к примеру, которая тогда еще и таблицы умножения не знала, а теперь с улыбкой превосходства воображает, будто знает все лучше всех; однако в этот раз он еще не стал вдаваться в поучительные воспоминания, взял на себя не очень-то привычный труд вдуматься в ход мыслей собеседника и ограничился тем, что время от времени вставлял слово о практике, которая во многом не соответствовала предначертаниям теории. Снова разгорелся горячий спор, заставивший подметальщиков покачивать головами, наблюдателей за соседним столом (за исключением Крача) немного усомниться в правдивости сплетни, а Хаслера (пришедшего лишь для того, чтобы поговорить с Эрпом) молча хлебать свой суп и прислушиваться, в то время как Риплоз от изготовления пенобетонных блоков из фильтрованной золы каменного угля нашел дорогу обратно к ослу, но занялся исключительно возможностями скрещивания лошади и зебры, то есть явно еще не добрался опять до Эрпа.

У Хаслера было скверно на душе. Сердце заставило его провести остаток ночи без сна, и, как всегда после перенапряжения, у него болела культя. Но самое неприятное чувство вызывала мысль о предстоящем

разговоре с Карлом, на который он решился ночью, хотя понимал, что было бы лучше переждать несколько дней. Еще больше убедился он в этом, когда увидел их обоих, сидящих рядом и спорящих как ни в чем не бывало. Он испытывал неправедную, неразумную злость против Карла, втянувшего его в эту историю.

Оснований для злости у Хаслера было достаточно. И достойно удивления, что он сумел подавить ее, выжидая конца перебранки этих двоих, и даже оказался способным оценить точность аргументов коллеги Бродер. А если потом (наедине с Эрпом) он не нашел обычно свойственного ему добродушного тона, кто уж осудит его за это!

Карл лучше владел собой. «Исповедь, отпущение грехов или сразу анафема? Что сейчас будет?» — поинтересовался он, но Хаслер раздраженно отмахнулся и грубо, напрямик, спросил: «Ты твердо решил подорвать свой авторитет? Всем все известно про вас».— «Только не мне»,— ответил Карл, что Хаслер понял неправильно.— «Из переходного возраста ты как будто уже вышел!» — «В чем ты меня упрекаешь?» — «Во-первых, ты обманываешь свою жену».— «Это тебя не касается».— «Ты так думаешь, товарищ Эрп?» — «А во-вторых?» — «Никаких во-вторых, одно связано с другим. Ты пренебрегаешь своими обязанностями руководителя».— «Ты хочешь сказать: я злоупотребляю своими правами. Но ведь и ты, в конце концов, согласился с моим решением в пользу Бродер».— «Потому что я не знал, что между вами происходит».— «Ты вдруг счел решение ошибочным?» — «При таких обстоятельствах — конечно».— «Стало быть, ты понимаешь, что она больше подходит?» — «Даже если бы она подходила в десять раз больше, при таких обстоятельствах нельзя было принимать решение в ее пользу».— «На этот счет у меня другое мнение».— «В таком случае вопрос следует передать на рассмотрение в вышестоящие инстанции».— «Итак, ты угрожаешь, вместо того чтобы убеждать».— «Я хочу тебе помочь. Что будет дальше? Тут уж ничего не скроешь, Крач позаботится об этом. Есть только один способ, ничем не жертвуя, уладить все: откровенность. Ты объяснишь коллегам, что слухи не соответствуют истинному положению вещей». — «Этого я не могу».— «Сможешь, если образумишься».— «Образумиться — значит быть нравственным, чистым, порядочным, верно? Но так ли это в данном случае, вот в чем суть».— «Нет другой возможности избежать скандала, а он повлечет за собой жертвы».— «Без сомнения. Но ты не понимаешь, что для меня дело не в том, чтобы избежать скандала, а в большем».— «Значит, все зашло так далеко?» — «Да, так далеко».— «Но чем, господи боже, все это кончится?» — «Дай мне время».— «Охотно, если бы это зависело от меня. Но, боюсь, от меня ничего не зависит».— «Я буду избегать всего, что может дать пищу сплетням».— «Если бы училище и отдел кадров уже не были поставлены в известность, я бы постарался изменить решение, принятое в пользу Бродер».— «Этого я не допущу, скорее сам уйду».— «К счастью, этот вопрос будешь решать не ты».— «Прошу тебя: дай мне время!» — «Оно нужно тебе для себя?» — «Да».— «Хорошо. Но когда будешь думать, вспомни о детях».— «Приятного аппетита!» — «Приятного аппетита!» — «Приятного аппетита!» — «Приятного аппетита!» — «Приятного аппетита!»

Последнее произносилось подметальщиками, снова отправлявшимися в уличную слякоть. Соседний стол опустел. Хаслер тоже торопился. Женщина, убиравшая со столов, заметила одиноко сидящему Эрпу, что капуста, видимо, не пришлась ему по вкусу. Потом вернулась за своей книгой фрейлейн Бродер и похвалила Эрпа за то, что он ночью не поехал на машине. Эрп предложил вечером ненадолго зайти к ней, ведь ему нужно забрать машину, но фрейлейн Бродер покачала головой, пробормотала что-то о нетопленой комнате, желании рано лечь спать и удалилась. Эрп подождал еще несколько минут, прежде чем последовать за

ней, и усмотрел нечто весьма героическое в том, что не пошел ее провожать.

А что же с историей про осла?

Когда Риплоз на улице прощался с остальными, он через лазеровские лучи и открытые стойла почти уже добрался до сути дела, то есть до схоластики. Может быть, во внутренних монологах по дороге в свою библиотеку-для-одного-человека он и объяснил притчу. Это неизвестно. Но животное в тот день еще раз напомнило о себе. Когда Эрп (после того, как перелез через забор старого еврейского кладбища, по снегу добрел до нового надгробья горбатого ученого и долго простоял там с холодными ногами, уставясь на окна Бродер) наконец дошел до своей машины, он увидел на обледенелом капоте меткую надпись: «Кто прочел, тот осел!»

12

Хвост пронесшегося над Польшей антициклона пригнал с юга в Германию волну теплого воздуха, превратил снег в грязную воду, стекавшую в водостоки, уходившую в песок, поднявшую уровень воды в Шпрее на несколько сантиметров, занавесил город облаками, удлинившими утренние и вечерние сумерки, вызвал у дворников и пограничников оживление, на детей навел уныние, придал неуместный вид рождественским украшениям в витринах, увеличил потребление электроэнергии и предоставил огородникам последнюю возможность подготовиться к зиме. В криках чаек между зоопарком и краеведческим музеем меньше слышался голод, на лужайках перед безносым Шамиссо суетилось городское птичье население (вороны, галки, черные дрозды, голуби, воробьи), с уличного пейзажа временно исчезли меховые шапки, снова объявились девичьи ноги, госпожа Вольф могла, не боясь замерзнуть, по часу болтать с госпожой Геринг на лестничной площадке, Пашке торчал (в шерстяной шали и заношенной почтовой фуражке) в открытом окне, тщетно поджидая Карла, который (не в силах читать, писать, слушать радио) каждый вечер, каждую субботу и воскресенье (если не объяснялся с Элизабет) работал по дому и саду и старался забыть фрейлейн Бродер.

Можно сказать и по-другому: поскольку сосредоточенность за письменным столом исключала грезы о счастье в комнате заднего дома, а Карл уж очень охотно поддавался соблазну мысленных оргий, он ринулся в физический труд, который, допуская двухколейность, сочетал полезное с приятным, даровал, не отнимая блаженства видений, спокойную совесть и лишь для Элизабет был жестоким испытанием, так как она (к этому времени) уже сама не знала, надеяться ей на возврат к старому или страшиться его. Заделывая чердачные люки, устанавливая мостки между дымовыми трубами на крыше, чистя водосточные, он думал о волосах и глазах фрейлейн Бродер, о ее бровях и пальцах, их поглаживающих, а Элизабет в это время говорила себе: стал бы он возиться с крышей, если бы действительно собирался уйти? Он чинил жалюзи, смазывал раздвижные рамы, заменял прохудившиеся плиты и при этом видел, как фрейлейн Бродер двигалась своей неповторимой походкой от кресла к печке, видел ее профиль, щеку, прижавшуюся к кафелю, и ее шею, по которой скользил его палец, а Элизабет была уверена: он устраивается заново. Он перелопатил перегной (разве весною, когда понадобится перегной, он еще намерен быть здесь?), подрезал фруктовые деревья и разрежал их (значит, думает о будущем урожае яблок?), колол дрова, сгребал уголь, укрывал розы, красил кукольный домик Катарины, вставлял новые спицы в велосипед Петера и слышал при этом голос фрейлейн Бродер, отвечал ей, объяснял свою деятельность (перегной,

знаете ли вы, дитя города, нужно почаще перелопачивать, загустевшую краску можно разжижать водой, все дело в плодоносных ветках, подпорки для розовых кустов должны быть из крепкого дерева, иначе они сгниют в земле), он даже говорил ей «ты», но имени ее произнести не мог, придумывал ласковые прозвища, хоть все они не подходили, а Элизабет в это время спрашивала себя: почему он каждый вечер вовремя возвращается домой, а не идет к той? Да, почему, собственно?

Он хотел ее забыть.

Без сомнения, бывали моменты (особенно утром, в те самые пять минут между звонком будильника и вставанием), когда он искренне желал, чтобы ему действительно хотелось забвения, но на том все и кончалось: невозможно было уговорить себя, что он, вот уже недели, избегал район севернее острова с музеями, не искал даже глазами коллегу Бродер и обращался с ней как с Вестерман или Айзельт или как с вечно подкарауливающим Крачем, потому что предпринял храбрую попытку прекратить запретные отношения; он слишком хорошо знал, что то были всего лишь остатки рассудительности и почти инстинктивной мудрости, которые предписывали ему сдержанность. И видел ее результаты. Крач, начав нервничать, опустился, себе во вред, до мелких злобных выходок, сплетня зачахла за отсутствием пищи, Хаслер больше ни слова не говорил об этой истории, хотя почти ежедневно сидел рядом с Эрпом, чьи дополнения к новому годовому плану (рожденные на лестнице подъезда Б) нужно было согласовать с бюджетом, а фрейлейн Бродер, волю которой он теперь уважал (с задней мыслью: пока это ей не надоест), и виду не подавала, что из-за чего-нибудь на него сердится. Этого было еще мало, но все же вполне достаточно для того, чтобы взойти росткам надежды, которые разрослись бы в раскидистые деревья, если б он только знал, что вечерами она ждала его, в самом начале со страхом перед ним, ибо облегчение, которое, как она надеялась, должно было принести его отсутствие, не приходило, а приходило скорее беспокойство, снова рождавшее страх, теперь уже страх перед самой собой, перед чем-то неконтролируемым в себе, что сможет восстать, захватить власть, вопреки собственному желанию изменить направление ее воли — толкнуть к Эрпу, заставить ее выбрать путь любовницы шефа, побочной жены, путь супружеской неверности, супружеского скандала, лжи, любви на час. Она ведь все понимала. Почему же ее чувства не подчинялись разуму? Откуда эта тревога, это ожидание по вечерам? Почему она так часто выглядывала во двор, прислушивалась к каждому шагу на лестнице? Почему в свободные вечера сидела теперь без дела у окна, пересчитывала дымовые трубы, которые (и не двигаясь с места) могла видеть (их было 36), следила за столбами дыма, вздымавшимися над ними, смотрела на серое небо, казалось темневшее, когда белая чайка пересекала его в полете. Почему теперь утренние поездки в трамвае стали иными? Разве она прежде никогда не замечала, как белые огни музея и цветные огни речных судов, еще не померкнув, нависали в ночной мгле над водами Шпрее, а над крышами уже светился день и одиночные серые тучи уплывали вдаль по голубеющему небосклону? Такие вопросы она задавала себе и, конечно, знала ответ: тело предъявляло свои права, ничего не поделаешь, такой уж у нее возраст, но ведь можно найти и эрзац, быть может даже совсем незнакомого мужчину, который больше и не показался бы на глаза, не мешал работе, не вызвал никаких конфликтов, лишь чуточку отвращения и заново ощущаемую радость одиночества. Почему Эрп не чужой? Если б было так, она могла бы безбоязненно мечтать о его пальце на своей коже! Но не только в этом дело. Ей хотелось задавать ему вопросы; его ответы, вероятно, снова рассердили бы ее, даже наверняка, они были обусловлены одной лишь практикой, в них чувствовалась ограниченность, недостаток принципиальности, но зато и

избыток опыта, которого так мало было у нее, а она уж сумела бы вылущить зерно из шелухи. Она часто спорила с ним, иной раз гневно, нетерпимо, потому что знала, как он будет реагировать на ее доводы, козырять своим возрастом, своей зрелостью, своим опытом, своей мужественностью, своим мнимым превосходством. Все это бывало отвратительно, хотя она, конечно, побеждала, ибо он никогда полностью не отдавался спору, всегда отвлекался на флирт, который был для него важней, и тем самым унижал ее, потому что ставил на одну доску с любой дурой,— этот задавака, эта тошнотворная помесь тщеславия, мании величия и эгоизма, этот самодовольно благоденствующий партиец, которому при собственном доме и автомобиле не хватало еще любовницы, и ее-то он после поражений в ближнем бою пытался теперь завоевать письмами. (Как чудовищен милитаристский жаргон в устах девушки! Откуда он?) Однако в его афоризмах она уловила некоторые новые тона, понравившиеся ей, а то, что он (не считая первого дня) сумел корректно держаться на службе, принесло облегчение. Но его письмо № 3, классическое любовное письмо, бесспорно прекрасное, трогательное при всей своей мудрости, очень напугало и раздосадовало ее, потому что, несмотря на кажущуюся искренность, обнаруживало лживость в области чувств: ведь он выносил за скобки всю потенциальную грязь и делал вид, будто господин Эрп и фрейлейн Бродер одни на свете, будто сразу наступит сплошная благодать, как только она откликнется на его чувства. Само собой разумеется, она не ответила. Она никогда не написала ему ни одного письма.

Это было уже во второй половине декабря, незадолго до рождества. Каждый день Карл сочинял письма фрейлейн Бродер, но не писал их. А когда все же написал, то сделал это словно по принуждению. Он не собирался отсылать письмо, лежавшее заклеенным на письменном столе. И тут дочурка Катарина увидела его и изъявила готовность бросить в почтовый ящик. У Карла не хватило мужества удержать ее, потому что она потребовала бы объяснений. Катарина наклеивала марку, читая при этом нараспев, как первоклассница, адрес. «Ну же!» — сказал он нетерпеливо.

Письмо перед нами, но мы опустим его. Ибо всякое любовное послание содержит в себе нечто смешное, хотя и не потому, что представляет собой плагиат. Кто уж не совершал плагиата в таких случаях? Эрп переработал классическое наследие. Отправной точкой была взята «Близость любимого» Гёте («Лишь только солнца луч забрезжит, уж образ твой во мне сияет...») в прозе, конечно, из Веймара перенесена в Берлин, из тысяча семьсот девяносто пятого передвинута в тысяча девятьсот шестьдесят пятый, наполнена атмосферой библиотеки и поселка на Шпрее, так что осталась только схема: что бы влюбленный ни делал, все он делает с мыслью о любимой.

Так оно и было!

Да, даже в сочельник, когда Карл перед горящими ожиданием детскими глазами зажигал свечи. Но для этого требуется новая глава.

13

Купол собора, увенчивающий гору каменной безвкусицы, зелен, как деревья в Люстгартене, под которыми маршируют пестрые, словно попугаи, военные, окруженная роскошными колоннами биржа красна, Шпрее голубеет, как Дунай в знаменитых вальсах, буксиры украшены разноцветными флажками, дамы под колоннадой национальной галереи щеголяют в шляпах с цветами и перьями, желтое солнце сияет над замком: кайзеровский город в кайзеровскую погоду, обрамленный позолоченны-

ми гирляндами, большими и тяжелыми,— Анита совсем запыхалась, отдыхала на втором и четвертом этажах, потом поставила картину на стол и рухнула в кресло. «Приветик от папаши и веселенького вам праздника, а эту красотищу он вам дарит, настоящее масло, все время валялась у нас на чердаке. Здорово у вас тут, и столько книг, только тесновато немножко; для картины, хочу я сказать». Ее размер в самом деле был устрашающим, не менее страшна и пестрота; тут кто-то извел массу дорогой краски — дилетант, маляр, но, пожалуй, не дурак, если понимал, как красноречиво все это: замок, и военные, и собор, и биржа — одно к одному. Теперь все выглядит иначе: нет больше биржи (какое счастье), нет больше замка (немножко жалко), нет военных (нового караула не видно), нет больше купола на соборе (какое несчастье, что все остальное еще сохранилось), нет солнца, нет людей, деревья в Люстгартене голы и черны, Шпрее сера, улицы и крыши музеев белы, потому что снег валит не один час, как и полагается в сочельник. Ограду набережной унизали ожерельем чайки, под мостом утки и чирки сплылись на собрание, лебединая пара скользила к западу, вниз по течению, к Хафелю, Эльбе, Северному морю, но, наверно, не дальше Дома конгрессов (Запад), что было бессмысленно, ибо и там сейчас никто не ожидал их с кормом — ни бухгалтер с остатками завтрака, ни школьник с бутербродами, ни старуха с кульком крошек, не проходили там ни заседание бундестага, ни съезд землячества, ни конгресс орхидееводов, ведь был сочельник, тут и в политике наступает антракт (христианская Америка даже не кидает в это время бомб на Северный Вьетнам), немец сидит дома, в том числе и западный берлинец, если он, снабженный пропуском, сигаретами «Стойвезант», бананами и кофе, не поедает у сестер, и братьев, и племянников, и теток на Востоке под тюрингскими елями гусей, которые нисколько не хуже гольштинских, зато дешевле, а кофе, напротив, дороже, в противоположность квартирной плате,— все это питает рождественскую беседу, когда кончают с песнопениями и подарками, а по телевизору показывают лишь церковные хоры и оперу или балет,— тогда уж ни у кого не остается времени для водоплавающих птиц, если только он не столь свободен и одинок, как фрейлейн Бродер, которой, впрочем, тоже нет дела до лебедей и нырков, у нее даже булочки нет с собой, и она думает не о бедственном положении птиц, а о бирже, где погиб ее брат, о картине, скорее всего принадлежавшей когда-то Вальштейнам и не подходящей для ее тесной комнатки, думает об Аните и так, кружным путем, доходит до отца семейства — Эрпа, который, одному богу известно почему, произвел большое впечатление на Аниту, пришедшую, собственно (с картиной как весьма тяжеловесным поводом), лишь для того, чтобы выведать, отчего его больше не видно в подъезде Б, заключившую, что между ними все кончено, и решившую — чтобы поднять свои акции — заняться чтением книг (ибо то была единственная сфера, где она чувствовала превосходство Бродер). В то время как библиотекарша-практикантка доставала книги для жаждущей образования работницы, ей простодушно рассказали о ночном приключении Эрпа с полицией, и она вдруг поняла, почему он больше не приходил, этот трус: жена вывела его на чистую воду, он покаялся и теперь не смел появляться у нее, ну и ладно, не надо, хорошо, даже очень хорошо, это от многого избавит ее: от потери времени, от страха и, главное, от боли, теперь еще не слишком сильной, ее уже немножко занесло снегом, прощай, гордый лебедь. Да и что, собственно, произошло? Его палец касался ее шеи, они выпили и поговорили и пытались узнать, что каждый скрывает под маской, вот и все, к счастью, а теперь и этого нет, и электрички по-прежнему ходят в Шёнефельд, Эркнер, Штраусберг, телевизионная башня растет, становится уже выше шпиля Мариинской церкви, через год Старый музей будет восстановлен, городская библиотека пере-

едет в новое здание, и уже завтра люди с праздничными лицами заполнят Оперное кафе, оживят Фридрихштрассе, сама она будет работать, как всегда, лет через пять начнет учиться дальше, а через десять так же будет стоять — еще не раз — здесь, на Вайдендаммербрюке, исподтишка поплевывать на буксиры, идущие из Бранденбурга или Гамбурга, летом наблюдать за рыболовами, а зимой кормить чаек. Здесь обручился Фонтане. Кому она это говорит? Людей поблизости не видно, лебеди проплыли, наверно, уже достигли рейхстага, где, может быть, их покормили пограничники. У Ораниенбургских ворот ей доставило удовольствие пересечь, в нарушение правил, безлюдный перекресток, там, где когда-то были Гамбургские ворота, она вошла в телефонную будку (свет в ней, конечно, не горел), чтобы пожелать кому-нибудь счастливого праздника, ведь сама она была счастлива, что избежала опасности, размеры которой представила себе только сейчас, когда боль, причиненная его отсутствием, слабая лишь относительно, оказалась достаточно сильной, чтобы погнать ее от испорченного автомата к другой будке: ей было совершенно необходимо услышать голос приятельницы или сослуживицы. Но открывая дверь, она в свете уличных фонарей увидела направляющегося к ней мужчину, хотела закрыть дверь, или убежать, или остаться на месте. Однако смогла только одно — пойти ему навстречу.

Родители Элизабет приехали еще утром, вскоре после того, как Карл отправился на службу. Детям разрешили перенести из машины в дом упакованные подарки. Для рассказа о новостях (пограничный контроль, повышение пенсии, планы летних путешествий, рост квартирной платы, празднование рождества в страховом обществе, день рождения тетушки Мими) матери было достаточно затянувшегося завтрака. «А как вы поживаете?» — «Ты же видишь, мама, все здоровы». К счастью, работы хватало. Отец тем временем с тихой грустью осматривал сад и, за исключением поврежденного берега, не нашел, к чему придраться. Точно к обеду приехал Карл. Потом женщины были заняты в кухне, дедушка пошел с детьми в лес, Карл украшал елку. Раздача подарков началась рано. Горели свечи, дети читали стихи, все пели, женщины плакали, благодарили друг друга, обнимаясь, целуясь, дети играли, дедушка начал рассказывать о временах, когда хлебец стоил два пфеннига, а шнапс — грош. Карл перебил его вопросом о тогдашнем заработке рабочего. В ответ на дерзкий тон Карла тесть вставил в свои поучения о доходах западных и восточных служащих страховых обществ «зону», на что Карл отомстил ему «НДП», результатом чего явилась «стена», вызвавшая в свою очередь «Штрауса». Когда отец Элизабет замахнулся на Ульбрихта, Карл больше не выдержал, встал, хлопнул дверью, надел пальто, сел в машину и уехал.

Довольный, что наконец-то удалось достичь этого!

Чего?

Вызвать ссору и действительно почувствовать запланированное возмущение реакционными родственниками, то есть получить алиби, удостоверяющее его право на бегство и на обращение к новому, прогрессивному, молодому.

Он просто не был больше в состоянии играть роль отца семейства и зятя. Годами он ради Элизабет придерживался бесчестного идеологического перемирия, на все поклепы отвечал молчанием или покорно со всем соглашался. После внутреннего разрыва с Элизабет ничто больше не обязывало его к этому.

Так он аргументировал свое поведение, направляясь по заснеженным улицам в город. Он был, как уже сказано, мастером самооправдания; не способный противиться чувствам, находил уважительные причины для того, чтобы безрассудно поддаваться им. Дочь Катарина бежала за ним до дверей. «Ты скоро вернешься?» — «Конечно!» Он и сам верил

в это; ведь он хотел только увидеть фрейлейн Бродер, пожелать ей счастливого праздника и уйти. Поднимаясь по лестнице подъезда Б, он опасался холодного приема; а когда (после десятикратного нажима на электрическую кнопку, то есть через двадцать минут) спустился вниз, почувствовал себя преданным ею, одиноким, бездомным, бесприютным, отданным во власть ежегодно возвращающейся рождественской сентиментальности, подкарауливавшей его весь день. Взгляда на празднично освещенное окно Вольфов рядом с темным окном Бродер было вполне достаточно, чтобы напомнить ему раннюю смерть матери, погубленную войной молодость, печальные рождественские вечера с отцом; снежные шапки на уличных фонарях пробудили сожаление о рождественской ночи, которая могла бы стать решающей, если бы у него хватило решимости; теперь же она служила лишь поводом для трогательных воспоминаний — о медсестре Ингеборг, которая в последнюю военную рождественскую ночь вместе с почти двадцатилетним солдатом мотострелкового полка танкового соединения (мотострелок — так это теперь называется) Карлом Эрпом едет из Берлина в Бранденбург, во время воздушного налета приникает к нему плечом, потом проникается доверием: она приехала (не имея отпуска) с Восточного фронта (куда он должен отправиться на следующий день) и намерена дома дожидаться конца войны; после ночных хождений сквозь заснеженную кирпичную готику, поцелуев на паперти собора, клятв под статуей Роланда она проводит с ним ночь в заброшенной усадьбе на болоте, что соответствует его давним мечтаниям, возбуждает, но переутомляет, после чего утром узкоколейка увозит ее, он стоит в темноте, машет в темноту, позволяет отправить себя на фронт, осел, и с тех пор еще больше, чем прежде, страдает хронической рождественской грустью.

Когда Карл увидел фрейлейн Бродер выходящей из телефонной будки, он был двадцатью годами старше, а значит сдержаннее, и потому не напугал ее излияниями чувств и клятвами, но и не притворился холодным и спокойным, не упомянул о случайности и неожиданности, прикинулся — нет, был непринужденным, свободным, естественным, без маски, не старался скрыть свою огромную радость, высказал ее, пожелал, как и собирался, счастливого праздника, сказал что-то о снеге, скрадывающем звуки, о елках за окнами, размягчающих душу, и готов был распрощаться, а она все спрашивала себя, действительно ли он на этот раз без павлиньего хвоста, которым обычно любил покрасоваться, или же она просто ничего не замечает, потому что радость вновь обретенной опасности туманит ей взор. Итак, он говорил, с легким отзвуком бесповоротности, прощальные слова, был при этом совсем другим, не таким, каким она его знала,— не тщеславным, ироничным по отношению к себе, не бравирующим показной мужественностью, даже пошел по-другому (в сторону Розенталерплац, где из-за семейства Пашке оставил свою машину), пошел, как парень, который прощался с себе подобным, на ходу бросил «Привет!», полуобернулся, поднял для приветственного взмаха руку, но помахать не успел, потому что она (боясь боли безопасности) что-то сказала. Если у него есть время, она охотно побудет с ним еще немного.

Она сказала это без нажима, совсем как всегда, но если бы это был фильм, тихо и нежно заиграли бы скрипки, опера не обошлась бы без труб и литавр, а для романа потребовалась бы по крайней мере новая глава, чтобы подчеркнуть многозначительность момента и избежать трудностей при описании последующих часов. Для нашего рассказа это тоже был бы выход — одним прыжком достичь главы 14 и начать ее словами: «Когда они на следующее утро проснулись...», а все остальное предоставить воображению читателей. Но это ведь значило бы, пожа-

луй, подчинить реальность (специфическую реальность Эрп — Бродер) произволу субъективного толкования, чаще всего превратного, поскольку у каждого свой собственный (обусловленный полом, социальным положением, происхождением, возрастом, состоянием здоровья, питанием и, возможно, даже временем года) мир представлений, лишь в исключительных случаях похожий на то, что было на самом деле. Ведь любая фантазия зиждется на опыте. А каков он? Бывает любитель торжественности, которого разочаровывает деловитость, бывает любитель деловитости, которого раздражает торжественность, встречается чувствительность, страдающая от грубости, попадается амазонка, мечтающая о подчинении и наталкивающаяся на жажду власти, воздыхатель, которого приводит в смущение веселость; этот не выносит запаха, та — разговоров, один слишком большой, другой слишком маленький, одна слишком узкая, другая слишком широкая, тут суть оказывается в том, в чем он ее не ищет, в чем она ее не находит, там в дело примешивается страх, и комплексы, и растерянность; стыд неуместен или желателен, но отсутствует; двое любящих забираются под одеяло и просыпаются чужими; она больше не в силах отвечать на его вопросы или он закрывает глаза, чтобы видеть другую, а не ту, что держит в объятиях. И все это заполняет пробел, сделанный пишущим, накладывает на золотистые тона Святой Ночи серый цвет осложнений, зеленый цвет страданий, черный цвет разочарования. (Исключение составляют, может быть, только юнцы, подменяющие опыт страстным желанием. Так в ту ночь и было сказано: «Это то, чего ожидаешь в семнадцать и на что потом уже не надеешься!») Вот почему здесь следует избежать обычного пробела, пропуска абзаца, затемнения, покрова молчания (насколько допускают приличие, вкус и служебное положение). Чтобы постичь все величие происшедшего.

Тут двое любили друг друга сердцем, и умом, и кожей, и волосами, и руками, и ногами, и глазами, и ушами, и грудью, и животом, и носом, и губами, и ладонями, и ступнями, и всем, чем они обладали еще и чем они были и есть и будут.

Тут двое познали друг друга и то, что в действительности было любовью: это и ничего иного, ничего, что было до и после и рядом в этом доме, в этом городе, в этой стране, в этом мире; так не любили ни Ромео и Джульетта, ни королевские дети *, ни Карл и Женни, ни Иаков и Рахиль, ни Гёльдерлин и Диотима, ни Абеляр и Элоиза.

Тут двое восторгались друг другом словами, взглядами, пальцами и губами и вспоминали, что всегда искали этого, именно этих плеч, этого пупка, этой шеи, этих щиколоток, этих волос и этой кожи.

Тут двое слились воедино, чувствовали друг друга, сплетались друг с другом, перетекали друг в друга, ликовали, вскрикивали, утратили наконец ощущение, будто они только половинки, стали единым целым и все же никогда прежде еще не ощущали с такой силой могущество и великолепие собственного Я.

Тут двое молились друг на друга, возводили друг друга в героев, фей, ангелов, титанов, богов, богинь и мечтали о боге, которого можно было бы вдвоем возблагодарить на коленях — за то, что она сотворила его заново, за то, что он даровал ей веру в себя.

Тут двое говорили друг с другом час за часом, на вершинах, в безднах, смеясь и плача, стараясь облечь в слова все, что доказывали друг другу их тела стонами, вздохами, криками, лепетом,— тщетно, ибо слов хватало лишь на то, что уже существовало до них, и потому слова для них могли быть лишь эрзацем, паллиативом, намеком, слова были уже

* Королевские дети — герои народной песни, любви которых препятствуют злые силы.

изношены Гомером, Вальтером *, Гёте, Рильке, Хемингуэем, затасканы героями кино и певцами шлягеров, цитатами, цитатами,— им же нужен был новый язык, но даже сказать это, подумать об этом уже было бы шаблоном, клише, жалким подражанием, и они приходили в отчаяние оттого, что пропасть невысказанного нельзя было преодолеть, нельзя было заполнить ее ни тысячью, ни десятком тысяч пустых слов.

Тут двое исповедовались друг перед другом в своих грехах, нет, в своих заблуждениях; мишуру они принимали за золото, воду за вино, лужи за моря.

Тут двое не только простили друг друга (за то, что напрасно воображали, будто уже бывали у цели), но и превозносили прошлое (хоть оно и причиняло боль), потому что оно сделало их способными не только наслаждаться великим, но и опознать его.

Тут двое открыли счастье и его спутников, страх (перед падающим с крыши кирпичом и болезнью, перед несчастным случаем и мобилизацией, перед пулями и бомбами) и нечистую совесть (потому что они позабыли о Вьетнаме, и Индонезии, и Испании).

Тут двое спросили себя: «Знакомо ль и тебе?..» ** (и только один понимал, что это цитата), а другой сказал: «Да, да» — и он тоже еще никогда раньше не испытывал такой потребности говорить о своем детстве, и она тоже не чувствовала разницы в возрасте между ним и собой, и он тоже часто думал о мертвых, когда шел по озелененному центру города, и она тоже во сне вдруг оказывалась в Западном Берлине и не возвращалась обратно, и ему тоже лето зимой представлялось самым прекрасным временем года, и он тоже еще никогда не чувствовал себя взрослым, и она тоже не носила шляп, не любила диапозитивы, оперетту (даже если она называлась музыкальной комедией), сладкие вина, импрессионистов, игроков в скат, собак, униформы, керосиновые лампы, шикарные рестораны, зато любила пивнушки, равнины, Хильдегард Кнеф ***, картины, выполненные черным и золотом, загородные легкие постройки, парусные лодки (с берега), книжки карманного формата в блестящих обложках, Эбергарда Эше ****, кафельные печи, читальные залы вечером, решетку Вайдендаммербрюке, переполненные кинотеатры, декорации и картины Хорста Загерта ***** (в особенности те, что с лестницами), и он тоже не мог точно сказать, почему писатели, когда выступают, всегда говорят только о себе, и она тоже иногда месяцами читала только специальные книги, и в моменты, когда они в изнеможении отрывались друг от друга, на него тоже обрушивались потоки мыслей, ничего общего ни с ним, ни с ней не имеющие: о том, что ему нужно проверить фары, что сейчас стоят очереди у пограничных пунктов, что библиотеке требуется уборщица, что снег все еще падает мягко и по-рождественски.

Тут двое вспоминали свое детство (в доме № 4 и в Альт-Шрадове), свою юность (в доме № 4 и в казармах), годы учения (в Лейпциге и в Берлине) и заново делили свою жизнь: на первую половину (от рождения до нынешнего 24 декабря, 18.00) и на вторую, которой исполнилось только четыре, восемь, двенадцать, четырнадцать часов (но у которой были уже свои воспоминания: А помнишь?..— Что ты подумал, когда я?..) и которая будет длиться до самой смерти.

Тут двое попытались, не умея сказать — как, сказать — почему они любили и будут любить друг друга — потому, что она была такой умной, а он (вопреки ожиданию) совсем не тщеславным и носил галсту-

---

* Имеется в виду немецкий поэт Вальтер фон дер Фогельвейде (1170—1230).

** Строка стихотворения Гёте «Миньона» (из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

*** Популярная западногерманская певица.

**** Известный артист Немецкого театра в Берлине.

***** Берлинский театральный художник.

ки, выбранные с таким вкусом, и потому что ее кожа благоухала так, а не иначе и еще сохранила летний загар, и потому что он смеялся, как никто другой, многие фразы не договаривал до конца и так неподражаемо коснулся своим пальцем ее шеи, и потому что она жила на этом заднем дворе, была в хороших отношениях с госпожой Вольф, не имела родственников, обладала такой изысканно-безыскусной походкой, слушая, поглаживала пальцами брови, нет, потому что она умела слушать, нет, потому что она могла говорить обо всем, решительно обо всем, и не оттого, что он мог с ней говорить обо всем, она ведь понимала с полуслова, нет, нет, да, все это тоже имело значение, но он любил ее прежде всего потому, что нуждался в ней, потому что ему уже было сорок и после легко дававшихся успехов он самодовольно предался покою, усталый, зашедший в тупик, разочарованный, а она его разбудила, всколыхнула для нового начала, да, поэтому, поэтому и конечно же из-за ее волос и потому что ее красота была такой, что не каждый ее сразу замечал, а как обстояло дело у нее? Она любила его и только его, потому что он обращался с ней не так, как мужчины обычно обращаются с женщинами, не как с объектом, с постельной принадлежностью, служанкой, почитательницей, родильницей, украшением дома или безделушкой, потому что он принимал ее всерьез, уважал, да, поэтому и, конечно же, из-за его тяжелых рук садовника, от прикосновения которых ей так хорошо, что она давно уже позабыла все остальные руки, словно их никогда и не было.

Тут двое без труда смогли поверить в продолжительность своего счастья, позабыть страх (перед горем, ненавистью, болью, уродством, ложью, перед Элизабет, Хаслером, Крачем и зачатием) и почувствовать себя в силах справиться с любым конфликтом. (Лишь в самом начале она подумала: и даже если это будет один только раз, я никогда не пожалею! А он лишь однажды вспомнил вопрос Катарины: «Ты скоро вернешься?» Потом они думали, но только вслух не говорили: никакие силы в мире нас не разъединят! Даже древними старцами мы будем счастливы!)

Тут двое обрели друг друга длинной ночью.

Тут великое свершилось под шорох и воркование голубей в предвечерние часы и утром.

Тут для двоих Святая ночь стала священной, рождество — возрождением.

Тут старый дом Аарона Вальштейна пережил звездные часы.

И тут любителям хэппи-энда рекомендуется захлопнуть книгу, положить ее на ночной столик, позабыть про Элизабет, детей, Хаслера, Крача и уснуть в блаженном заблуждении, будто истинная любовь побеждает с улыбкой. Тому же, кто в полусне хочет и дальше плести нити начатой жизни, предлагается следующий вариант: фрейлейн Бродер выдерживает экзамен; Элизабет дружески расходится с Эрпом; Хаслер созывает производственное совещание, на котором Эрп объявляет о разводе и женитьбе; госпожу Бродер-Эрп приглашают работать в центральное управление, где она может полностью посвятить себя любимой отрасли науки — библиотечной социологии; чета получает квартиру в новом доме (три комнаты, кухня, ванная, центральное отопление) на Карл-Маркс-аллее, где она живет и поныне, счастливо, но никогда не успокаиваясь на достигнутом.

Приверженцам же реальности, поклонникам фактов, врагам иллюзий, теоретикам отражения действительности, моралистам, почитателям Бродер, двойникам Эрпа, любопытным, любителям скандалов и в особенности тем, кто были очевидцами событий и могут сами судить обо всем (то есть Хаслерам, Риплозам, Мантекам),— им непосредственно посвящаются остальные главы этой хроники.

14

Итак, сторонники реальности рождественским утром в своем кругу. Еще никого нет, можно спокойно оглядеться. В комнате теплей, чем обычно по утрам; перед раздачей подарков еще раз протопили. Как там пахнет, можно прочесть у Шторма. Стеклянные двери на террасу наполовину прикрыты голубой елью, деревом зажиточных, чье украшение выдавало эрповское стремление к стилю — допущены только серебро и белое: свечи, серебряный дождь, соломенные звезды, стеклянные шары. Вся мебель завалена грудами подарков; Катаринины подарки лежат на столике перед тахтой, Петера — на обеденном столе, Элизабет — на серванте, отца, Эрпа,— на радио. Ковер усыпан ореховой скорлупой, обрывками канители, крошками пряников, деталями «Строителя». Еще не совсем рассвело, но снежный покров усиливает слабый сумеречный свет. С тахты (где сейчас усядется Эрп, машина уже в гараже) можно видеть реку, по которой плавают льдины. Удящий рыбу пенсионер сидит на берегу в черных ушегрейках. Тишину нарушает скрежет снегоочистителя — железа по бетону. Эрп расчищает дорожку от подъезда до садовой калитки. В комнату прошмыгивает Катарина, еще в пижаме. Жуя печенье, она расставляет кукольную посуду на тахте. Когда входит Эрп, она прикладывает палец к губам: «Ш-ш-ш! Остальные еще спят».

Так она думала. Но Элизабет слышала, когда подъехала машина, как слышала в час ночи приступ кашля у Петера, в шесть — хлопанье дверью одержимого рыбной ловлей профессора, в десять минут восьмого — крик соседского младенца. В остальное время тишина давила на нее, как гора из ваты. Надо встать, сейчас же, нельзя допустить, чтобы он зашел в комнату, сел на ее кровать и обрушил на нее полуправдивые покаяния, навязав ей роль благородно прощающей страдалицы или сделав ее своей наперсницей, соучастницей. Надо немедленно откинуть одеяло, умыться, причесаться, может быть, даже подкраситься, чтобы показаться чужой — нет, это не стоит делать, он разгадает ее намерения. Встать, встать! Но она продолжала лежать неподвижно и прислушивалась к тому, как захлопнулась дверь гаража, к шуму его шагов, к шарканью подошв о коврик, к бряцанию ключей. Сейчас заскрипят ступеньки под его ногами. Но все стихло. Потом снова закричал младенец. Треснула ветка под тяжестью снега. Издалека донесся грохот: на озере лопался лед. В свою первую совместную зиму они однажды добрели до болотистых лугов; поселок, где она провела детство, казался оттуда незнакомой местностью; они лежали надо рвом и наблюдали сквозь ледовые окошки за лягушками, распластавшимися на дне с открытыми глазами и окоченевшими членами и похожими на жестяные игрушки, пока спустя стылую вечность по ним не пробегала дрожь дыхательного движения; ледокол отрезал обратный путь, они неожиданно оказались перед черно-серым водяным протоком, замерзшие, перепуганные; тогда лед не только грохотал, он стонал, как больной ребенок, визжал, как кошки мартовскими ночами. Надо встать! Он не пришел. Может быть, она надеялась, а не боялась, что он придет, что она заплачет, простит. Но ведь теперь речь уже не о прощении, а о расставании. О том, чтобы нельзя было еще раз построить и опрокинуть карточный домик надежды. Чтобы она больше не лежала и не ждала и все-таки думала: приди же, сядь на кровать, рассказывай свои сказки, притворяйся, возьми рубанок, напильник, рашпиль, чтобы правда не была такой острой, обработай ее, постарайся, подправь, задрапируй, скрой, очерни ту, другую, похвали мою кротость, скажи, что розовые бутоны слишком нежны для тебя, что они не могут соперничать со смуглой кожей, скажи, что мой поцелуй для тебя как возвращение домой, или по крайней мере уверяй, что тебе не

под силу напряжение новизны, что ты изнемогаешь от усталости, что ты в ее объятиях тосковал по своим книгам, по лицам спящих детей, ну пускай хотя бы по процеженному кофе, лги, обманом докажи мне свою любовь, а если не можешь больше обманом, то доверием, не щади меня, не бойся ранить подробностями, расскажи все как есть: ее грудь в твоей руке, ее губы на твоей груди, ее пальцы в твоих волосах, ее волосы на твоем лице, тиски ее ног, трепет ее тела, ее рот, ее крик, говори, я сильная, не буду плакать, стану восхищаться ею вместе с тобой, скажу: могу себе представить, тебе можно позавидовать! Спрошу: а что чувствовал ты? Буду другом, товарищем, приятелем, всем, что тебе угодно, только приди, сядь на кровать, рассказывай, ври, ликуй, только, пожалуйста, дай мне почувствовать, что я нужна тебе. Нужна для чего? Для того, чтобы по-старому быть при тебе, чтобы один повелевал, другая подчинялась, один был господином, другая служанкой, для прежней неудовлетворенности, которая теперь, будучи наконец осознанной, невыносимо мучила бы нас обоих, и меня и тебя? И чтобы напрасной оказалась боль последних месяцев, напрасно растраченной — сила, необходимая для самообладания? Нет, не приходи, не приближайся ко мне с этим твоим запахом чужой женской плоти. Или нет, все же приди, чтобы уж никогда больше не появилось искушение строить карточные домики, чтобы я наконец могла крикнуть тебе в лицо все, что о тебе думаю, чтобы я показала тебе тот черно-серый проток, который не перепрыгнуть. Приди, покажись во всем своем убожестве! Но он не приходил. В доме стояла тишина. За окном каркали вороны; как всегда зимним утром, их черная стая неслась через поселок от леса к полям.

Катарина была счастлива. Отец играл с ней «в завтрак». Они сидели на ковре. Тахта была столом. Молоко с медом пили из кукольных стаканов, кофе — из кукольных чашек. Беспрестанно приходилось делать замечания детям: ешьте и не балуйтесь, руки на стол, жуйте лучше, закрывайте рот во время еды! Из соломенной звезды получились две сигареты. «Ты сегодня вечером придешь вовремя или у тебя собрание?» «Не забудь школьный завтрак!» Потом было воскресенье, и все поехали в Берлин, гуляли с кукольной коляской по улицам, посмотрели, насколько выросла телевизионная башня. Это, дорогие дети, бывший арсенал, это бывший Люстгартен, это бывший манеж, а это бывшая — нет, это Шпрее, она здесь такая широкая и такая голубая, ряды колонн перед музеем называются колоннадой, а там — биржа; Катарина громко и страшно долго смеялась, потому что биржа — это ведь совсем не дом, а что-то для денег * и называется, собственно говоря, портмоне. При слове «собор» ей пришло кое-что в голову; а именно, что люди, посещающие церковь, должно быть, страшно глупые (глупыши, сказала она). Вот он, зрелый плод атеистического воспитания! А как относится товарищ отец к этому, когда он в хорошем настроении? Радикальная фрейлейн безусловно сказала бы просто «да», он сделал бы то же самое двадцать лет назад, когда носил синюю рубашку, теперь же дело не показалось ему таким простым. Может быть, учительница была членом соответствующей партии блока или какой-нибудь епископ снова выступил в «НД» **. Разъяснением, что собор ведь разрушен, любознательное дитя не удовлетворилось, даже расширило вопрос, добралось до рождества, что, собственно, лежало на поверхности, ведь песни были полны младенцем Христом, да и дед-мороз вел себя не так уж однозначно. Некоторые отговариваются древним германством, солнцеворотом, праздником зимнего солнцестояния и тому подобным, но раз так, то можно, чего доброго, запеть

---

* Немецкое слово «Börse» имеет два значения: биржа и кошелек.
** «НД» — газета «Neues Deutschland», орган СЕПГ.

песню Ганса Баумана * «Святая ночь ясных звезд». А слово «традиция» Эрп не решался выговорить, хотя ежедневно встречал его в газетах. (Если соревнование хоров округа Фюрстенвальде проводилось вторично, оно уже называлось традиционным.) Тут он пасовал, его, как диалектически мыслящего человека, сразу же начинала мучить совесть, это слово казалось ему более пригодным в качестве бранного. (Задумывалась ли уже над этим рьяная читательница газет Бродер?) Итак: рождество — праздник мира, а самокат — электричка, на которой едут домой, потому что дома ждет особенно вкусный обед: отбивные котлеты с ванильным соусом. Катарина веселилась, как люди в немом фильме: она корчилась от хохота, хлопала в ладоши, по ляжкам, широко раскрытый рот показывал зубы то полу, то потолку. Поскольку папа был обезьяной и всему подражал, Элизабет, остановившись в дверях, подумала: сумасшедший дом. «Папа играет со мной,— возвестила запыхавшаяся Катарина, добавив (поясняя это чудо): — Сегодня ведь рождество!» — и постаралась помешать разговору родителей, что ей поразительно легко удалось; и лишь после кофе, когда катанье на санках оказалось для нее более привлекательным, чем рождественское настроение отца, настала пора разговора.

К сожалению. Лучше было бы последовать народной мудрости, предписывающей в таких случаях: сперва выспаться! Края, из которых они явились к завтраку, были слишком разными: он прибыл с Нанга-Парбата ** счастья, она — из долины отчаяния. Это не могло хорошо кончиться.

Происходило это за сигаретой. Она молча смотрела на него, взгляд был не измученный, не упрекающий, не вопрошающий, не испытующий, просто обыкновенный взгляд, может быть немножко пустой, но не настолько, чтобы можно было придраться. Он мог бы только сказать: почему ты так смотришь на меня? (что положило начало уже не одной превентивной войне) — но сейчас такое начало не годилось, да и не возымело бы действия; ничего, кроме пожатия плечами и горькой усмешки, добиться бы не удалось. Раньше (когда постоянно подвижные дети еще не сопровождали их, болтая, на прогулках по лесу, лугам и к озеру) молчание Элизабет всегда воспринималось им (когда он бывал в плохом настроении) как проявление злокозненности, вообще-то ей не присущей; он незаметно поглядывал на часы и думал: ладно, посмотрим, как долго она будет проделывать со мной такое, но никогда этого не узнал, потому что ему всегда не хватало терпения, потому что его негодование (в форме гневных сентенций на тему: язык как признак, отличающий человека от животного, или: разговаривать друг с другом важней, чем спать друг с другом) обычно разряжалось раньше срока и страшно пугало ее, ничего не подозревавшую счастливицу. Позднее она научилась парировать его вспышки иронией: нельзя же трещать без умолку. Сейчас было непохоже, чтобы она стала иронизировать, сейчас она была слишком серьезна, да, именно так, ее взгляд был серьезным; то, что он принял за пустоту, было отсутствием ее привычной веселости, это и делало ее лицо таким незнакомым, таким чужим. Он же должен был сейчас открыться ей, ведь именно этого требовал ее взгляд, он должен был говорить, объяснять, но разве это возможно перед таким чужим лицом, не обнаруживавшим никакой готовности к пониманию?

Да, он превосходно умел преобразовывать трусость, неуверенность и нечистую совесть в гнев. Как жестоко и коварно с ее стороны своей серьезностью затемнять солнце его счастья! Разве он не был готов и ее

---

* Ганс Бауман — автор популярных среди гитлеровской молодежи песен; ныне в Западной Германии сочиняет приключенческие книги для детей и юношества.

** Горная вершина Гималайского хребта.

(так же как дочь) осветить и согреть этим солнцем? Чего она, собственно, хочет, в чем упрекает его, разве уже много недель не все ясно между ними? Зачем ему терпеть такое обращение (то есть такой взгляд)? В конце концов, она все еще живет за его счет, и живет неплохо. Он не упрекает ее (по крайней мере вслух), но подумать об этом она могла бы и сама. Разве не поступал он всегда честно и по-товарищески? И так она отплачивает ему за все — этим выражением лица, этим взглядом? В остальном она казалась совершенно спокойной. Он тоже умел быть спокойным, нет, в том-то и дело, что нет, это выше его сил, ему больно, ужасно больно. В конце концов, она ведь тоже может начать разговор. Ну, тут уж ему пришлось бы долго ждать. Итак, тоном упрека: «Почему ты так смотришь на меня?» — «Я жду, что ты скажешь что-нибудь!» — «Почему я? Я всегда говорил, целых четырнадцать лет».— «Мне хотелось бы знать, что будет дальше».— «Это, пожалуй, ясно».— «Видимо, не совсем. Ты был у адвоката?» — «Значит, ты хочешь отделаться от меня. Если это так необходимо, я сегодня же уйду».— «Была бы тебе благодарна, потому что долго мне этого не вынести».— «Чего именно?» То, что это был глупейший вопрос, он охотно признавал, но почему она сразу опять замолчала и, словно его тут больше не было, начала убирать со стола, хотя он еще не докурил сигарету? Десять минут спокойно покурить, кажется, еще можно ему позволить. Это ее молчание было самой гнусной тактикой на свете, оно приводило его в бешенство, она же благодаря молчанию никогда не попадала впросак. Но на этот раз она просчитается. Он воспользуется тем же оружием, ни слова не скажет, пойдет в свою комнату, уложит чемодан и молча сядет в машину. Или, может быть, попрощаться, чтобы подчеркнуть бесповоротность своего решения? Он потушил сигарету в бронзовой пепельнице, вышел и хлопнул за собой дверью. Но уже на лестнице самообладание покинуло его. Он побежал обратно и снова распахнул дверь. «Хотел бы я посмотреть на человека, который годами выносил бы это!» Молчание, конечно, которое он, по ходу своей становящейся все более громкой речи, называл дурным, враждебным, злобным, хитрым, коварным, ненавистным и наконец бесчеловечным, которое было хуже ссоры, брани, ругани, даже драки, которое превратило его семейную жизнь в ад и теперь гонит его в неизвестность, мрак, бездомность, бесприютность. «Ты наконец добилась, чего хотела!» Ему стало легче, он успокоился, даже открыл двери, когда Элизабет понесла поднос с посудой в кухню, еще некоторое время постоял, выжидая, около нее, пока она складывала посуду в мойку, и, так ничего и не дождавшись, важным шагом вышел вон.

Когда Карл в прошедшие недели представлял себе час окончательного разрыва, он казался ему самым тяжким во всей послевоенной жизни. Теперь же он был взволнован, разумеется, но сильной боли не испытывал. Он был грустен, но не более, чем при любом прежнем переезде. Последний взгляд из окна, последняя минута около книг — это уже было хуже, но подобное он тоже переживал, когда перебирался из Альт-Шрадова в Мюнхеберг, из Мюнхеберга в Берлин, из меблированных комнат в квартиру в новом доме и оттуда в поселок на Шпрее. Покидать обжитое всегда тяжело, только в этом и было дело, ни в чем другом. Он часто убеждался, что радость предвкушения острее радости осуществления, а теперь понял, что и обратное иной раз справедливо: ожидание страданий хуже самих страданий.

Еще бы! Если мысли (и помыслы) заняты голько одним: вернуться на место ночных радостей. Даже то, что он именовал грустью, предопределялось этим и скорее заслуживало названия страха, а именно страха перед реакцией фрейлейн Бродер. Он был достаточно опытным, чтобы знать: моментальные снимки и постельные клятвы без фиксации (практикой) не выдерживают дневного света.

Ему уже приходилось переезжать с картонкой из-под стирального порошка, с заплечным мешком, с ручной тележкой и с машиной для перевозки мебели, и каждый раз он брал с собой все свое имущество. Никогда еще он не владел таким количеством вещей, как теперь,— и с легким сердцем оставлял все это. Кроме самого ценного — автомобиля.

Впрочем, самым ценным для него всегда были его книги, и их он оставлял, все решительно, ибо выбрать три самые необходимые (как он намеревался) ему не удалось. Раньше на вопрос о книгах, которые он взял бы с собой в длительное изгнание, у него всегда наготове был ответ: сказки Гауффа, «Виннету»*, «Жертвоприношение»**, «Молодую гвардию», «Мать», «Доктора Фаустуса», «Старика и море». Но для чего ему это теперь? Он начинал все заново и не хотел обременять себя воспоминаниями. Кроме того, все, что ему нужно (например, «Ленин о библиотеках» Крупской, сокровищница цитат для его торжественных речей), имелось в библиотеке. Он взял с собой только папку с собственными статьями. Хорошо еще, что детей не было дома. Он сбегал на чердак и принес два чемодана и надувной матрац, умывальные и бритвенные принадлежности из ванной, белье и костюмы из прихожей, все остальное было под рукой: удостоверения, лекарства, подушка и одеяло. Это походило на бегство.

Это походило на отправление в путешествие.

«Прощай, Элизабет!» Она как раз собиралась сунуть гуся в духовку, выпрямилась и вытерла руки о передник. Но он продолжал держать чемоданы в руках и добавил: «Деньги я тебе, конечно, буду присылать регулярно»,— и пошел.

Так он представлял себе уход (и так бы описал его, если б его попросили об этом). Действительность была чуточку иной. Он пробормотал свое прощание и слова о деньгах, но когда она равнодушно отвернулась, остался стоять и спросил, скажет ли она детям правду. «Я еще не решила».— «Пожалуйста, не надо!» — «Когда-нибудь должны же они узнать».— «Я бы не хотел, чтобы и они еще страдали!» — сказал он и повторил это в разных вариантах,— умоляюще, угрожающе, ласково, повелительно. Но она возилась у плиты, чистила картошку, и лицо ее лишь тогда утратило (но зато уже целиком и полностью) отсутствующее выражение, когда она встала у окна и смотрела, как он засунул чемоданы в багажник, сел в машину и уехал.

Понимала ли она, собственно, какие последствия будет иметь этот поспешный отъезд?

Может быть, здесь действовал своего рода инстинкт. (Если нечто подобное вообще существует у женщин, то у Элизабет наверняка.) Достоверно лишь, что она действительно не могла больше выносить это состояние неопределенности. Несмотря на непроходящую боль, она в последующие дни все же испытывала облегчение. В конце концов Эрп, как и многие из нас (справедливости ради уточним: наряду с другими, лучшими), был маленьким диктатором. Уже в последующие дни Элизабет купила водку для собственного потребления, ослабила витаминную тиранию и радовалась возможности не соблюдать точное время еды.

Когда Петер и Катарина, раскрасневшиеся, промокшие и голодные, вернулись с катания на санках и равнодушно восприняли весть, что отец неожиданно должен был уехать, тот стоял уже в дверях между кухней и комнатой Бродер, увидел (вторично) кайзеровский город в золотой раме и на его фоне (впервые) заспанное, неумытое, неподкрашенное

---

* «Виннету» («Winnetou») — цикл приключенческих романов немецкого писателя Карла Мая (1842—1912).

** «Жертвоприношение» («Opfergang») — роман немецкого писателя Рудольфа Ч. Биндинга (1867—1938).

лицо фрейлейн, которая растерялась, потому что не желала показываться ему в таком виде, чего он не понял, а подумал, что она в ужасе от его неожиданного появления, и потому должен был пережить несколько пугающе-мрачных минут на ее неприбранной постели (пока она приводила себя в порядок на кухне), долго не решался сказать правду и лишь спустя несколько часов поверил, что она не притворялась, когда по его требованию (не опасаясь пошлости и шаблона) вновь и вновь повторяла: «Я счастлива, что ты остаешься у меня!»

15

Второй день праздника начался с шума: стук, перешедший в грохот, проник в сон Карла, превратился в разрывы снарядов, которые подымали фонтаны песка, с убийственной размеренностью приближались к нему, достигли его и наконец разбудили. Сквозь надувной матрац он почувствовал жесткость пола, заметил, как вздрагивает золотая рама, прислоненная к двери вольфовской квартиры, приподнялся, ощутил боль в спине, увидел лицо фрейлейн Бродер, казавшееся во сне пятнадцатилетним, и крикнул: «Да?» — после чего стук прекратился, и госпожа Вольф в замешательстве спросила: «Это ты, воробышек?» Тут он впервые увидел, как просыпается фрейлейн Бродер: сразу, без перехода, потягивания, протирания глаз. Она тихо лежала на боку, открыла глаза и — сна как не бывало. «В чем дело?» — «Быстренько зайди ко мне».— «Сейчас, только оденусь».— «Поскорей, пожалуйста».— «Что-нибудь случилось?» — «Да, с моим мужем». Карл отправился с ней. Они шли кратчайшим путем, через чердак, совершенно темный, так как слуховые окна занесло снегом. Фрейлейн Бродер, даже не замедлив шага, тащила Карла за руку. «Нагни голову! Шире шаг! Не споткнись о бревно!» Дверь к Вольфам была приотворена, в коридоре стояли бумажные мешки с голубиным кормом. Фрейлейн Бродер вбежала в комнату. Господин Вольф в черном костюме, белой сорочке и галстуке бабочкой сидел за столом, уткнувшись лбом в блюдо. Фрейлейн Бродер приподняла его. Голова Вольфа запрокинулась, челюсть отвисла, глаза бессмысленно уставились в потолок. Госпожа Вольф вернулась из кухни. Пахло жарким. «Есть в доме телефон?» Карл был испуган и беспомощен. Госпожа Вольф покачала головой. Фрейлейн Бродер сказала: «Он пьян!»— «Не без этого! — заметила госпожа Вольф.— С часу ночи он ничем другим не занимался, только пил, ты же понимаешь, а что вы от этого не проснулись, просто чудо, а теперь уже десять, а он все еще не добрался до кровати, а что хуже всего и пугает меня, так это то, что он даже не покормил голубей, их он еще никогда не забывал, даже если для этого ему надо было ползти на четвереньках, потому что он, дурень, как следует нагрузился, понимаешь ты, и я все время собиралась позвать тебя, чтобы ты все записала и отослала и они бы сразу получили на третий день праздника». А получить должны были полиция и секция разведения голубей союза разведения мелких животных жалобное, разъяснительное или обвинительное письмо с описанием того, как возвращающийся ночью с работы официант Вольф был оскорблен в подворотне господином Кваде (вкупе с гавкающей дворнягой) из подъезда В, оскорблен в столь невоспроизводимой форме, что должен настаивать на официальном извинении. Что же было сказано? Пашке, который, как всегда, незамедлительно оказался на месте происшествия, может засвидетельствовать, что клеветнически говорилось о вывешенном для просушки белье, воняющем голубиным пометом, и о насекомых; но (по секрету) это оскорбление не было еще самым страшным, гораздо хуже, гораздо, гораздо хуже, главной причиной того, что ее муженек напился, была угроза, на которую осмелился Кваде, когда Вольф обругал вечно гавкающе-

го терьера: он, Кваде, мол, уж позаботится, чтобы голуби отсюда исчезли! И он действительно сделает это, если окажется подлецом. Ведь с голубями как с окнами в вагоне: если хоть один против, открывать их нельзя, пусть даже остальные пассажиры изойдут потом или задохнутся. А держать голубей в жилых домах можно только до тех пор, пока кто-нибудь из жильцов не запротестует, тогда их приходится убрать; в секции Вольфа такое уже не раз случалось. «А этого он не переживет, понимаешь ты!» И отсюда идея о жалобе на оскорбление личности. Кваде испугается и уступит. «Напиши прямо сейчас, воробышек, чтобы он наконец успокоился и улегся в кровать, в четыре ему уже нужно в свою пивнушку. За это я приглашаю вас на обед, голуби в духовке, а Вольф все равно их не ест, не может, никогда не мог». Что касается Кваде, воробышек был иного мнения, тот недавно жил в их доме и она его не знала. Ах так, эта мясная туша? Работает в жилищном управлении? И живет здесь, а не в переднем доме? В таком случае, это, должно быть, порядочный человек, с которым можно договориться по-хорошему. Жалоба только раздражит его. Кто любит свою собаку, поймет и любовь к голубям. Хорошо бы прихватить Пашке. Но прежде всего дядюшке Вольфу нужно в кровать. «Помоги мне, Карл!» Когда они тащили его в спальню, случилось чудо — Вольф ясно и четко произнес: «Хозяин-блохоразводного-питомника!» Вот как глубоко мясная туша Кваде оскорбил Вольфа — друга чистопородных спортивных голубей и их разводчиков, это было единственное, что когда-либо услышал Карл из его уст, и он тщетно задавал себе (а потом и фрейлейн Бродер) вопрос, была ли немота Вольфа следствием или причиной извергаемых его супругой словесных потоков, неудержимо лившихся и в последующие часы: за проворно накрытым к завтраку столом, по дороге к Пашке, у Пашке, по дороге к Кваде, у Кваде (который шумно, но охотно вошел в положение, проявил понимание, пошел на уступки, взял назад свои слова), по дороге к обеденному столу, во время обеда, после обеда, за кофе, и прерывавшихся лишь на короткое мгновение репликами окружающих (если они были краткими). Снова уже стемнело, когда они вдвоем достигли — как утопающие спасительного берега — тишины еще не топленной комнаты, оставили печь в холодном покое и обрели убежище в кровати.

Зачем эти второстепенные мелочи? Во всяком случае, не за тем, чтобы совершить настоящее дело и после всякого рода планирующих и осуществляющих руководство литературных героев заново открыть старую прачку (Вольфша была уборщицей), а затем, что для Эрпа и Бродер этот день был полон открытий. Так, например, она обнаружила, каким карликовым становится, благодаря гигантской любви, страх перед плохой репутацией и нарушением условностей, как легко и приятно говорить о своем будущем муже, как охотно она появлялась рядом с ним, как она им гордилась, как радостно ей было показать ему Вольфов, Пашке, Кваде, чердак, голубей, прихожую и двор (гляди: все это относится ко мне!), как чудесно он реагировал, когда во время словесных извержений Вольфши она с тихим пониманием улыбалась ему, какими важными и интересными оказывались десятки раз слышанные истории про ее детство, ее родителей, как все-все становилось новым, и иным, и значительным благодаря ему, Эрпу, который в свою очередь делал открытия, множество приятных, несколько не совсем приятных и ни одного неприятного. Так, например, он понял, какое необыкновенное удовольствие ему доставляло, что чужие люди посвящены в их новые, любовные отношения, какую гордость в нем вызывало, что эту (его!) молодую женщину (не из-за ее красоты, а из-за ее ума и решительности) все ценят, уважают, почитают, и какой посредственностью он сам себе казался по сравнению с ней, потому что хоть и был доброжелателен, но пользы не приносил (он искал популярности, а она заслужила ее!), как он становился ей ближе благо-

даря тому, что видел ее в привычной с детства обстановке, где ее называли воробышком, больше сроднился, любил сильнее, чем прежде. Однако не совсем приятным открытием оказалось, что поразительная внутренняя связь между ними иной раз на несколько секунд и даже минут (по ее вине, конечно) могла прерваться, а она этого и не замечала.

На его месте никто не понял бы, почему их первый совместный день она пожертвовала другим.

Но суть была не в этом. Если б она его спросила, он бы ответил: ладно, делай, как считаешь нужным. А она не спрашивала, она привыкла все решать самостоятельно. Вот в чем было дело — даже если он тогда еще не осознавал этого, хотя, не столько раздраженный, сколько опечаленный, иногда мысленно вдруг и оказывался за тридцать километров отсюда, но еще в черте города, за празднично накрытым столом, на котором стояли цветы, на праздничной послеобеденной прогулке через мост, под которым проплывали льдины, или один, с музыкой, ароматом кофе, в своей комнате с видом на реку и на двух детей, лепивших на берегу снежную бабу. Но это быстро проходило, и позже, в кровати, с воробышком на руке, он уже не помнил ничего такого, упивался, как и она, нет, больше, чем она, составлением планов и смеялся вместе с ней над самыми неприятными минутами дня, когда госпожа Вольф самовольно взяла на себя обязанности заботливой матери и учинила будущему вице-зятю допрос, прямолинейность которого настолько ошеломила тактичного Эрпа, что он не нашел никакой возможности увильнуть, отделавшись милыми шуточками, и должен был отвечать просто и прямо. Да, само собой разумеется, сразу же после праздников он пойдет к адвокату, нет-нет, трудностей никаких не будет, его жена согласна, очень даже, денег им несомненно хватит, как заведующий он ведь получает немножко больше обычного библиотекаря, конечно, дети, их двое, на них ему придется давать деньги, а на жену нет, в наши дни этого не бывает, она опять пойдет работать, ведь она давно уже хотела этого, она здорова, да, тоже библиотекарь, верно, машина стоит дорого, но от нее можно отказаться или же продать ее, да, поженятся они сразу после экзаменов, до этого нет смысла, хотя бы из-за стипендии. Но точных цифр он избегал, о них речь зашла лишь в постели между шестью и восьмью, и между десятью и одиннадцатью, и между двенадцатью и часом, когда они строили планы, не потому, что в этом была необходимость (оба отлично знали, что надо делать), а потому, что говорить о совместном будущем доставляло удовольствие, потому что каждое слово о будущем было объяснением в любви, клятвой в верности, предвосхищенной лаской — итак, планирование как самоцель, это ведь всем знакомо. За те часы, дни, недели, которые им довелось пробыть вместе, они стали мастерами этого искусства — планировали горизонтально и вертикально, хронологически, систематически, по алфавиту, набрасывали преамбулы, определяли ответственность, назначали сроки, составляли балансы, калькулировали, создавали сокращения (БЖ — борьба с жилуправлением), придумывали лозунги (квартира: лучше большая, чем красивая!) и на основе СОБ (систематика для общеобразовательных библиотек) намечали систему основных групп, которые потом при помощи десятично примененных цифр можно было великолепно разбить на множество групп и 1-ю и 2-ю подгруппы. Они были горды собой, размахом и разнообразием своих замыслов и потребностей, когда установили, что, начиная с Б и кончая Ю, могут найти применение всем основным группам. Лишь А (марксизм-ленинизм, общее) и Я (общее) они при всем желании не могли использовать непосредственно. Центр тяжести приходился в основном на группы — Б (экономика, экономическая наука), в частности финансовая экономика и учет, В (государственное управление, юриспруденция и военная наука), гражданское право развода и бракосочетаний,

полиция и прописка, включ. домовую книгу, Е (воспитание и образование) со всеми проблемами библиотечного дела, казавшимися им в постели легко разрешимыми, Л (геология, география, этнография) с планами путешествий, О (здравоохранение, медицина) с плохо обстоявшими в подъезде Б вопросами гигиены и, разумеется, Ю (домоводство) со всеми двенадцатью приведенными в СОБ подгруппами. Интересней (поскольку расширительней) были области, не имевшие четких плановых статей, зато дававшие повод к разнообразным дискуссиям. Так, например, в связи с пунктом Г (история, современная история) дебатировалось расчленение, которое он хотел произвести на личной основе (Г1 Бродер, Г2 Эрп), а она на деловой (Г1 радость исповедей, Г2 воспоминания детства, включ. семейную историю, Г3 история их собственной любви, Г4 взаимный обмен специальными знаниями: Г41 история Берлина — ее глазами, Г42 история библиотеки — его глазами). Что касается пункта Ж (физкультура, спорт, игры), оба быстро согласились вычеркнуть игры (какое счастье: ведь один из них легко мог оказаться страстным игроком в скат, преферанс или шахматы), не давать примечания «любовные игры смотри О» и с лета начать заниматься утренней гимнастикой у открытого окна. Много времени потребовал пункт К (искусство, искусствоведение); тут надо было установить срок принятия решения по поводу кайзеровского города в золотом обрамлении, разобраться в вопросе о комнатных украшениях, художественном ремесле, старой и новой мебели, договориться о посещениях концертов, театров и кино, однако все это под крики ужаса (Как можно любить мужчину, который только три раза в год ходит в кино, не признает битников и в новогоднюю ночь слушает по радио Девятую симфонию! Совершенно невозможна эта женщина, которая считает Бёля сентиментальным, а священный «Берлинский ансамбль» музейным экспонатом!) пришлось отложить, потому что к единому мнению прийти не удалось. В пункте Н (естественные науки) при слове «акустика» речь зашла о проблеме вольфовской двери, которую нужно с помощью тряпок, досок и бумаги сделать звуконепроницаемой, чтобы и вне часов телепередач ничего не было слышно. При У (техника) она испугала его заявлением, что считает машину излишней, на что он ответил молчанием, и она тотчас перестала говорить об этом. При Ц (сельское и лесное хозяйство, включ. охоту и рыболовство) они определяли свое отношение к нарушающим покой голубям и включили в перспективный план следующего десятилетия дачу с садом. «Но к работе в саду я совершенно непригодна: у меня нет ни знаний, ни охоты, ни времени».— «Предоставь это мне. Тебе придется только любоваться цветами и соглашаться, что собственные яблоки вкусней всяких покупных». Или, может быть, лучше совсем переселиться за город, на окраину? Хотя Эрп сказал это как будто между прочим, для него дело обстояло гораздо серьезней, чем могло показаться на первый взгляд, но ответа не последовало, напротив, ему самому пришлось отвечать, а именно на вопрос, что же будет с его мечтой. С какой? Да с той, чтобы жить и работать в деревне, где революция в культуре революционна, где чувствуешь, что вспахиваешь целину, где все друг с другом на «ты». Откуда она это взяла? Они вскользь коснулись этого во время первых ночных разговоров, когда водка навеяла меланхолию, а потом на его счет сплетничал Крач, вызывая смех у сослуживиц. Разве это действительно смешно? Нет, нет, ему не смешно, отнюдь; он часто думал об этом, когда административная суета захлестывала его, когда он неделями вынужден был заниматься только отчетами, планами, финансами, а не книгами и читателями. Для того ли он стал библиотекарем? А несколько часов в неделю, когда он работал на выдаче книг, никак не могли служить противовесом, это ведь все равно что фехтование перед зеркалом, обманываешь самого себя. «Разве ты этого не можешь понять?» Нет, почему же, она

понимала, очень даже понимала, придерживалась того же мнения, высказала его и могла бы дать ему уснуть. Но именно это и было ей не по силам, она должна была пустить в ход одно из своих ужасных «почему», на что он ответил уже знакомой присказкой о доме-детях-Элизабет и закончил словами «Спокойной ночи!», что не помешало ей продолжать спрашивать. А теперь? Теперь он хочет спать. Конечно, она тоже, но прежде должна ему сказать, что условия еще никогда не были столь благоприятными, как сейчас, когда со старым покончено, а новое начинается. И тут (очень торопливо, но чтобы он точно знал), тут она ему не помеха: у нее свои планы, и ничто их не изменит, эти планы предусматривают несколько лет практики, но еще не решено, где именно, возможны варианты, и было бы просто замечательно вместе с ним ступить на целину. «Мы с тобой поговорим об этом. Но не сегодня. Спи спокойно!»

Ее слова он не принял всерьез. Ведь он знал, как сильно она привязана к Берлину.

Он не хотел принимать их всерьез. Вот в чем суть.

16

«Добрый вечер, Фред! Это моя жена»,— сказал Эрп и соврал, за что и был сразу же, как только вступил в квартиру Мантека, наказан страхом, лишившим его способности после пятикратного «Добрый вечер, Эрп!» найти подходящие слова при шестом рукопожатии — что удалось фрейлейн Бродер, которая на обращенное к ней «Добрый вечер, госпожа Эрп!» по крайней мере сумела выговорить: «Вот уж никак не ожидала встретить здесь вас, коллега Хаслер!»

Так первое вступление в общество началось для влюбленных с шока, а для хроникера — с трудностей. До сих пор он изо всех сил старался выжимать сок из плодов факта, да еще выпаривать из него воду, чтобы предложить читателю густое желе в портативной полукилограммовой расфасовке, но на этот раз перед ним беспорядочная груда плодов в виде персонажей новогоднего вечера. Чтобы предотвратить путаницу, нужно их тщательно рассортировать (что нелегко). Небезынтересен, например, д-р Брух, искусствовед, который, казалось, всегда писал «я» с большой буквы, за что на него (как на англичан) никто не обижался, возможно, потому, что он имел на то некоторое право; но он понадобится нам не сейчас, а попозже. Следовательно, оставим его. Сослуживец Мантека Крайтвурст, способный, симпатичный человек, имеющий несчастье любить женщину (свою жену), совершенно для него не подходящую, но не решающуюся бросить его, достоин был бы отдельного романа, а от супружеской пары Баумгертнеров нам понадобится только половина — муж, Эберхард, знакомый всем любителям литературы, читателям газет и телезрителям как популярный автор по фамилии Эбау, который (не только от скуки) всю ночь потратил на безуспешный флирт с фрейлейн Бродер. Остаются уже знакомые нам: Тео Хаслер из районного совета и Фред Мантек, помните: идеал Карла, товарищ, друг со времен грюндерства, его предшественник на посту заведующего библиотекой, вот уже в течение многих лет занимающийся в министерстве культуры народными или, вернее, общеобразовательными библиотеками.

А госпожа Мантек! Она, биолог (в ее узкоспециальной области, еще не значащейся даже в лексиконе, может быть, только один из миллионов что-нибудь понимает), и была в конечном счете (из одержимости культурой и любви к экспериментам) той, кто собрал под своей крышей этих столь различных людей. Она находила неинтересным проводить праздники вместе с коллегами, годами знающими друг друга и взгляды

каждого, способными вести только такие разговоры, которые она называла зеркальными: один говорит то, что думает другой, а этот, в порядке возражения, высказывает мысли своего собеседника,— форма разговора, очень напоминающая иные открытые дискуссии, в которых ни один вопрос не остается открытым, ибо ни один вопрос и не ставится. Если уж праздновать, полагала она (как и Фред, ее муж), то с людьми, которые мыслят, следовательно, могут задавать вопросы, задаются вопросами, может быть, даже сами являют собой (для себя и для других) вопрос. Скуку можно создать и с меньшими издержками. Ей же принадлежала идея пригласить Эрпа с Бродер и Хаслера, вопреки первоначальным протестам мужа (деятеля культуры и, следовательно, не очень большого любителя экспериментов), который, однако, раз уж он в конце концов дал согласие, готов был нести ответственность, что оказалось делом совсем не легким, поскольку Эрп, почувствовавший себя в ловушке, обиделся, и Фреду Мантеку пришлось заниматься им, Элле же Мантек досталась более приятная половина, так называемая госпожа Эрп, ставшая для нее самой интересной и симпатичной фигурой этой ночи.

Симпатия основывалась на взаимности. Это был тот редкий случай, когда две женщины увидели себя одна в другой. Элла Мантек понимала, что, родись она пятнадцатью годами позже, она стала бы такой же, как эта девушка, а фрейлейн Бродер нашла в ней образец того, кем она хотела бы и наверняка могла бы стать, в частности и в браке. На примере Эллы и Фреда Мантека она увидела, что такое бывает: общность без зависимости друг от друга, сосуществование двух суверенов без борьбы за власть, прекрасное равновесие сил, две планеты, чьи орбиты перекрещиваются без осложнений, два солнца на одном небе, два сросшихся дерева, не отнимающих друг у друга света и одинаково разрастающихся ввысь и вширь. Она сразу же почувствовала это по тому, как они обращались друг с другом, как они, хозяева дома, само собою разумеющимся образом распределили между собой роли на этот вечер, как они говорили друг с другом и друг о друге, давали высказаться, спорили между собой (без неуступчивости) — уважительно, терпимо, ни на секунду не разрывая связующей их нити. Фрейлейн Бродер была очарована обоими и спросила о них Баумгертнера, этого гения бестселлеров и флирта (то есть приспосабливания), своего неотлучного новогоднего кавалера, и он подтвердил ее мнение, правда на свой лад, не в чистом виде, а с пряной примесью цинизма, с помощью которого он ошибочно рассчитывал обеспечить себе успех у этой холодной женщины. «Да, вы правы, но им пришлось отчаянно поработать над собой, чтобы дойти до этого изнуряющего состояния брачной демократии, противоречащего не только природе, но и рассудку, всегда тяготеющему к наибольшим удобствам. Такие утомительные отношения можно себе в крайнем случае позволить с любовницей, от жены же требуют безоговорочного восхищения, хозяйственного таланта и по возможности умения печатать на машинке. Быть значительными личностями испокон веков дозволялось лишь гетерам и метрессам. Даже Гёте, в конце концов, женился на Христине, а не на госпоже фон Штейн». Конечно, фрейлейн Бродер удивилась, что подобное говорит великий Эбау, творец столь великолепных брачных боевых содружеств, как союз Эрны и Фрица Штандфест (она и задала ему об этом вопрос, в ответ на что ей была преподнесена теория о большой и малой правде и о литературе, идущей на шаг впереди жизни), но не рассердилась, потому что достаточно знала флиртующих мужчин; Эбау был лишь еще одним доказательством того, сколь бесплодны разговоры с ними; он не открывал ничего о себе и своем творчестве, поддакивал каждому слову, слетавшему с ее желанных губ, болтовня была окольным путем к цели, он принимал всерьез не ее, а ее плоть, он хотел ведь не просвещать ее, а сделать податливой, думал не то, что говорил,

говорил многое, думая только об одном, шел при помощи слов в тайную атаку на нее, заранее уверенный в победе, хвалил ее красоту и ум в расчете на то, что и она найдет его красивым и умным, не упоминал о своей славе (отвечал даже, если кто-нибудь намекал на нее: многие уже видели свое имя высеченным на камне, а потом оно оказывалось начертанным лишь на прибрежном песке), но отлично знал, как слава эта втихомолку работала на него, какое воздействие она оказывала на знакомых женщин. (А кто в нашем телевизированном мире не был с ним знаком?) Да и на фрейлейн Бродер мысль: великий Эбау ухаживает за мной!— подействовала бы, будь она еще одна, то есть несколько недель назад. Теперь же фрейлейн Бродер подумала: нет, ты — не мой герой, только не ты, хотя у тебя слава и борода, и, будь ты даже еще более ловким, ничего бы у тебя не вышло, меня больше не прельщает все это — ни цинизм, ни известность, ни очаровательная ирония над собой, ни даже обезоруживающая прямота: «я считаю вас выдающейся женщиной» (то есть прекрасной любовницей), с этим покончено, но, признаюсь, мне доставляет удовольствие быть настолько уверенной в себе, чтобы ни секунды не бояться, будто я здесь что-то упускаю; поверь мне, все ни к чему, побереги свои силы, ты ведь поэт, можешь ли ты быть таким нечутким и не замечать, как скучно мне выслушивать шуточки в ответ на серьезные вопросы? Разве ты не чувствуешь, что́ между мной и Карлом, как крепки связывающие нас узы, как они нерасторжимы? Любовь помогла ей стать нечувствительной к посторонним эротическим возбудителям, продубила ее кожу, закалила, сделала непроницаемой, как броня, а душа ее в то же время неописуемым образом раскрылась навстречу всему, что казалось сродни ее чувствам — теплу, красоте, добру, и даже этому празднику, и старающимся веселиться людям. Поездка сюда представлялась ей чем-то вроде приключения. Она все ждала, когда же оно начнется. На незнакомое окружение Эрп продолжал реагировать как человек из самой глухой провинции, за вежливостью таил враждебность и недоверие, ожидал пренебрежения, оскорбления, презрения, насмешек и, не встречая их, быстро настраивался на общий лад, скрывал свою неосведомленность, уклонялся, стремился не задавать неудобных вопросов, а фрейлейн Бродер не отказывалась ни от жажды открытий, ни от самой себя. Ее неизменно интересовало, как другие отнесутся к ее точке зрения. Застенчивость, присущую и ей, она всегда преодолевала гордостью и щекочущим чувством новизны, знакомым ей с детства, когда она впервые отправилась в путь, чтобы открыть город и людей, сперва ближайшее окружение со всякого рода пенсионерами, поденными рабочими, потаскухами, спекулянтами, продавцами газет, относившимися вначале к новому строю (в который она просто вросла) как ко всем прежним режимам: со втянутой в плечи головой, хитрой осмотрительностью, жизненно необходимой оборотливостью; потом круги расширились, охватили пространство от Александерплаца до Тиргартена, от Северной гавани до Крёйцберга. Школьные и СНМовские подруги были дочерьми владельцев мебельных магазинов, мастеров точной механики, директоров фабрик; госпожа Кинаст, почитаемая учительница, импонировала своим прошлым в КПГ. Амурные дела прежде приводили фрейлейн Бродер в панковские виллы, на дачи в Грюнау, в квартиры над фридрихсхайновскими магазинами, теперь она впервые оказалась в высотном доме на Карл-Маркс-аллее, в современной, со вкусом (и, видимо, за большие деньги) обставленной квартире, у научной сотрудницы и работника министерства, ей импонировали не их деньги, а их несомненно более широкое представление о важных вещах, их кругозор: они знали больше, чем писалось в газетах. И она хотела извлечь из этого пользу, хотела знать, что собой представлял доктор Брух, и почему госпожа Баумгертнер без малейших признаков неудовольствия позволяла своему удачливому супругу вступать на

военную тропу для завоевания незнакомых женщин, и что делал Краутвурст в министерстве, и, конечно, прежде всего, как сюда попал Хаслер (его присутствие было для нее такой же неожиданностью, какой была бы встреча здесь с Теве Шуром * или Хайле Селассие), и почему Карл явно уклонялся от разговора с Мантеком, ищущим этого разговора.

Своему присутствию в этом кругу удивлялся и сам Хаслер, а так как вино он только нюхал и пригубливал, прошло много времени, прежде чем улетучилось чувство, будто его вторжение сюда незаконно. Мантека он почти не знал, собственно, знал лишь по рассказам Карла, предполагал в нем хорошего советчика и влиятельного союзника, позвонил ему, навестил, потратил больше, чем обычно, времени, чтобы выпутаться из словесных драпировок (потому что его нервировали требующие конкретности и краткости вопросы жены Мантека), и, в конце концов, согласился на этот новогодний заговор, как ни неприятен он был ему с самого начала: успех был сомнителен, а праздник испорчен не только для Карла, но и для него. Конечно, ни о чем другом, кроме предстоящего разговора, он не мог думать, женщин, которые могли бы его заинтересовать, здесь не было (следовательно, отпадала и необходимость растрачивать энергию в танцах), водки и пива тоже не водилось, плескаться в мелководье болтовни он был и не расположен, и не способен, но госпожа Мантек слыла слишком хорошей хозяйкой, чтобы позволить ему (пока не началось объяснение с Карлом) тихо клевать носом в углу: он чувствовал себя не в своей тарелке и с тоской вспоминал привокзальную пивнушку, где перед ним не маячила бы никакая иная задача, кроме пути домой и в постель.

Он чувствовал себя лишним и не под стать остальным. Вот в чем была загвоздка. Глупо, но что поделаешь! Госпожа Краутвурст, интересовавшаяся всеми мужчинами и умевшая думать только в одном направлении, позднее высказала предположение: «Он явно из другого теста! В таком возрасте — и холост! По-моему, это просто аморально: избегать женщин». К тому же недовольство по поводу инсценировки, заранее приуроченной к новогодней ночи, оказалось обоснованным. Мантек рисовал себе все в самых радужных красках: непринужденный разговор в кругу друзей, не содержащий ни малейшего намека на совещание или допрос. Но как этот разговор мог состояться, если Эрп (не без причины) упрямо не поддавался; не могли же они на веревке притащить его к круглому столу,— ни он, ни тем более Мантек, хозяин дома. Эрп все время держался так, что подступиться к нему было невозможно, садился только туда, где сидело еще несколько человек, не реагировал на взгляды, ускользал танцевать, как только Хаслер или Мантек подсаживались к нему,— пока девушка (виновница всех неприятностей, становившаяся тем не менее все симпатичней Хаслеру, потому что на его глазах она с каждым днем все больше и больше оттаивала) не положила конец этой игре. Хаслер видел, как она высвободилась из словесных тисков Эбау, долго сидела с Эллой Мантек на тахте, потом поговорила с Эрпом, который все время качал головой, морща лоб, но в конце концов встал и пробрался к Хаслеру в угол с книжными полками, где вскоре появился и Мантек.

Последнему же настроение Карла к этому времени стало еще более неясным, чем его жене, успевшей посмотреть на Эрпа в бродеровском освещении (конечно одностороннем, но более ярком). Как Элла Мантек и ожидала, девушка без околичностей приступила к делу. «Вы о нас знаете?» Отлично, а для чего этот спектакль? В ее интересах поговорить начистоту. Конечно, на Карла это как будто непохоже, но ему всегда трудно реагировать быстро, он прыгает только с большого разбега. И

---

* Известный в ГДР спортсмен, велогонщик.

тут прозвучало весомое слово о состоянии Карла, которое девушка назвала революционным: старые законы жизни он разрушил, и теперь задача в том, чтобы (преодолевая сопротивление, не располагая опытом) создать новые, а это даже более сильным натурам давалось с трудом. «Сумеет ли он?» В ответ фрейлейн Бродер улыбнулась, и Элла Мантек порадовалась тому, что высокая оценка собственных сил была для этой девушки само собой разумеющейся.

Итак, они сидели на фоне книг — словно их разместил там режиссер телевидения как иллюстрацию к теме: жить культурно! — эти трое мужчин, попивали, покуривали, дискутировали. Возрастная разница между ними была невелика (Хаслеру 50, Мантеку 45, Эрпу 40) и (не считая лысины Хаслера) почти незаметна, но если прислушаться к их разговору, Эрп производил впечатление строптивого юноши среди взрослых, что и понятно; ведь надлежит принять во внимание, что он чувствовал себя окруженным врагами, жаждавшими разлучить его с самой замечательной в мире женщиной, и что он был один, ибо любимая опять смеялась и болтала с литературной знаменитостью, словно не зная, в каком отчаянном положении он оказался.

Его отвлекала ревность (но здесь мы о ней только упомянем в скобках, рассматривать же ее будем в главе 17), и у него были комплексы. Излишние.

Допустим, но тем не менее они у него были, как были бы у любого другого на его месте: Мантек и Хаслер распоряжались его (и ее) судьбой! То, что они были хорошими (то есть относящимися критически) друзьями, тут мало помогало. Карл был честен, как только мог, но вместо того, чтобы задуматься над самим собой, он думал о самообороне. Из-за этого, а не по предварительному плану заговорщиков разговор действительно превратился в своего рода допрос, что особенно сбивало с толку Мантека, имевшего меньше всех времени, чтобы составить себе определенное мнение, и поэтому он много говорил, критически заострял все, вызывал на возражения Карла, но чаще всего добивался возражений Хаслера, против слова «мещанин», например, которое было для него не только чересчур ругательным, но и слишком неточным и многообразие значений которого, по его словам, обычно сводилось лишь к одному: мещанином всегда бывал другой. Но Мантеку важен был не термин, ему хотелось сказать следующее: порывы Карла улетучились вместе с его молодостью, он почувствовал усталость, предался покою, утратил всякое честолюбие, а теперь вдобавок к дому и машине завел еще любовницу. Так ли это было? Огрубленно, конечно, но ведь верно. Нет, неверно, здесь речь шла о любви. Но и о дисциплине! В первую очередь речь шла о людях. Да, но не только о двоих, а по меньшей мере о троих, и о детях тоже. Тут Хаслер вставил Марксово слово: об умершем супружестве, продолжение которого без любви безнравственно, но не попал в цель, ведь Мантек не принадлежал к числу ригористов, не был впадающим в догму противником развода или сторонником сохранения брака во что бы то ни стало, просто он судил как всякий, кто, ничего не зная по существу, услыхал: кто-то ради более молодой бросил жену и детей! Он не мог думать иначе, потому что знал Элизабет и ценил ее ненавязчивую искренность, он считал себя вправе быть резким, так как предполагал, что говорит как товарищ с товарищем.

Что при данных обстоятельствах было весьма наивно. Разумеется, Эрп ощетинился, выставил, как еж, все иглы, когда Мантек почел уместным заговорить о временах их совместной работы без мечтательности и сентиментальности, которые находил нереалистичными, недостойными, вредными, ибо восторженность преуменьшала трудности тех времен, умаляя тем самым значение достигнутого, мешая постичь до конца величие наших дней. Эрп с полным основанием почувствовал себя заде-

тым, ибо сорняки мечтательности цвели в нем пышным цветом, как у всех, кому осталось лишь скорбеть об утраченных порывах. У Мантека оказались наготове назидания: можно уже не быть юношей, но оставаться мужчиной; никакой закон природы не превращает первые седины в траурный венок для юношеских идеалов, иногда такие венки плетутся женами; некоторые поедают свои благие намерения, как воскресные рулеты, прокатываются по ним автомобилем, топят их в пиве, запирают на дачах, забывают где-нибудь — на тахте, на футболе или в чужих кроватях. Из чего еще не следует, будто благосостояние непременно ведет к моральному заболеванию; однако оно иногда способствует тому, что не только кости, но и душа обрастает жиром.

Совершенно ясно, в чем здесь была ошибка: могильщик определенного образа жизни (а именно фрейлейн Бродер) принимался за его хранителя.

А Хаслер молчал.

Ибо полагал, что теперь, наконец, очередь за Эрпом коротко и ясно заявить, что упреки несвоевременны, запоздали, что путешествие к новым берегам уже началось, лодка отчалила. Но Эрп тоже молчал. И Хаслер рассердился еще в старом году: на себя (из-за этого безвкусного новогоднего заговора), на мантековские проповеди высокой морали и кажущуюся надутость Эрпа, которая на самом деле означала не обиду, а страх перед громкими словами (да кто уж на это способен: во время допроса утверждать величие своей любви!) и несомненную рассеянность. Ибо воробышек тем временем порхал вблизи птицелова и как будто не замечал опасности, таившейся в силках галантности и сетях литературной славы. «Почему ты ничего не говоришь?» — спросил Мантек. Действительно, почему? Да потому, скажем, что он взрослый человек, а не школьник, потому что он то и дело из-под своих игл косился на жену (новую), потому что здесь встреча Нового года, а не партийное собрание, потому что он не нуждается в советах и не желает выслушивать упреки, потому что для него все уже решено и, в сущности, он только ждет, чтобы Хаслер, наконец, в свою очередь решил, собирается ли он каким-либо образом помешать соединению начальника и практикантки. О последнем Карл и сказал; причем таким тоном, который ясно показывал, что он обойдется без дружеских услуг Мантека, а Хаслера просит быть кратким. И Хаслер оставил при себе все, что пришло ему на ум о библейских и социалистических десяти заповедях, о грехе, ответственности, покаянии, хорошем или дурном примере (не удержался лишь, чтобы не намекнуть на возможность крайнего мнения: изнасилование подчиненной!), и четко, без орнаментовки, сформулировал свои условия: решительный вывод (то есть развод) и перевод одного из двоих в другую библиотеку. Мантек был недоволен принявшим административный оборот разговором, но в знак согласия кивнул.

Что сделает и каждый читатель.

А потом зазвонили колокола, взорвались ракеты фейерверков, раздались возгласы «С Новым годом!», все чокались, целовались и пили (для любителей подробностей: крымское шампанское).

А ответ Эрпа?

Его не последовало. У Эрпа была более неотложная задача: держать фрейлейн подальше от поэта.

17

Вернемся к ревности Эрпа.

Она была велика, как его любовь. Он постоянно боролся с ней и постоянно терпел поражение. Когда речь идет о его любви, следует помнить и об этих его муках.

Причисление к лику святых за самоистязания! Этого еще недоставало! Впрочем, мучил он больше ее, чем себя. А почему мучил? Потому что знал собственное непостоянство и обвинял в том же фрейлейн Бродер. Причин для ревности ему не требовалось, он создавал их сам. Характерна в этом отношении предыстория приглашения на встречу Нового года. Вначале все у них шло, как почти у всех: до рождества проблема встречи Нового года все отодвигается в сторону, а потом вдруг становится неотложной. Что делать? Выбор таков: праздновать дома одним, уехать куда-нибудь, лечь спать, предоставить другим праздновать вместо себя на экране телевизора, поскучать в баре, пригласить друзей, пойти самим в гости. Идут разговоры, взвешиваются за и против, решения принимаются, затем отбрасываются, пока не постановляют: будем праздновать одни — разве только поступит заманчивое приглашение, но от кого уж? Этот их не пригласит, эти ничего о них не знают, к этому они не пойдут, к этим, пожалуй, можно бы пойти, или нет, лучше не надо, нет, нет, они останутся дома. Приходит школьная подруга: как дела, вышла ли замуж, давно не виделись, как насчет Нового года? Звонит коллега из Кёпеника: что ты делаешь на Новый год? Да так, просто спрашиваю, да, да, ладно уж. Госпожа Вольф говорит через дверь: «Я пеку оладьи, испечь на вашу долю? По телевидению интересная программа». Ответы варьируются, но все заканчиваются отказом, пока не звонит Мантек, и Эрп просит у него времени на размышление. Вечером он перечисляет ей все «с одной стороны» — «с другой стороны», предоставляет ей выбор, но боится отказа, потому что радуется возможности наконец-то показать ее людям, которые сумеют оценить ее неповторимость; когда же она радостно соглашается (потому что угадывает, как он этого хочет, и потому что знает, как важен для него Мантек), его чувства делают крутой поворот или, лучше сказать (чтобы подготовить последующую метафору о волнах), ветер поворачивает с юга на север, и ему приходит в голову мысль: ей уже скучно со мной, она хочет познакомиться с другими мужчинами; он тут же, до мельчайших подробностей, представляет себе, как это будет: первое соприкосновение тел в танце, первое пожатие рук, фривольная болтовня, первые приступы ненависти к страдальцу-мужу, отравляющему ей радость, уговор о встрече, перед тем как быстро разойтись, чтобы никто ничего не заметил (если гарантированы тайна и осторожность, женщины готовы на все — в воспаленном от ревности воображении Эрпа). Но эти изначальные страдания пока еще остаются легкой рябью под северным ветром и только постепенно — когда приходится пересекать океан мучений — вспучиваются в накаты волн; это происходит уже в новом году, на пути домой, который они проделывают пешком. по снегу, заглушающему шаги, словно идешь по улице в домашних туфлях. На Карл-Маркс-аллее: значит, ей понравилось, ну, конечно, почему бы и нет; в особенности Элла Мантек, так, так; а Эбау? Он павлин? Да, но красивый, ведь верно? На Александерплац: это уж вздор, ни один мужчина не скажет такое без поощрения; собственному мужу все равно не рассказывают всего, нет, никогда, при таких исповедях обстругивают и обтачивают правду. На Диркенштрассе: на то, как он страдал, она, конечно, не обратила внимания, да и какое это имеет значение, куда важнее было так положить руку на подлокотник кресла, чтобы щупальца этого профессионального волокиты могли до нее добраться. На Хакешермаркт: что-то он не расслышал скуки в ее смехе, впрочем, стоит ли все это принимать всерьез, ведь многие живут так, просто бок о бок, а вечеринки для того и существуют,— то есть для разнообразия, почему бы и нет, он тоже так умеет, но до сих пор воображал, что у них такое немыслимо, но можно, разумеется, прийти к соответствующим соглашениям, каждый вправе делать что, где и как он хочет, вероятно, для нее

это единственная возможность, ведь она успела привыкнуть к разнообразию, которого ей теперь не хватает,— и так далее, до памятника Шамиссо в снежной шапке, где фрейлейн Бродер вышла наконец из своего испуганного оцепенения и сказала себе: спокойно, девочка, спокойно, это как болезнь, и никакой логикой тут не поможешь, не поможешь и гневом, здесь требуется уход и болеутоляющий пластырь! И поэтому каменный поэт выслушивает (уши ведь у него еще имеются под битниковской прической) произносимую нежным голосом декларацию о ее основных принципах, в которой она подвергает рассмотрению его бред, объясняет, заверяет, клянется, пока проезжающая электричка не заглушает конец ее слов. И ей действительно удается унять грохот шторма и рокот волн, так что у старого еврейского кладбища луна и звезды снова отражаются на зеркальной глади его душевного моря.

Ибо о внутренней бухгалтерии, куда он в этот час внес статью под порядковым номером 1: флирт с Эбау! — он сам едва ли знал, но еще менее он знал о первоначальной причине своего плохого настроения, которую, собственно говоря, можно было определить словами: что это тебе в голову взбрело решать за меня, соглашаться ли мне на разговор с Хаслером и Мантеком или нет!

18

Из роскошной квартиры с центральным отоплением на Карл-Маркс-аллее обратно в подъезд Б. В первый раз Карл вступил в него, как романтик, ищущий приключений; через 14 дней жизни там он стал натуралистом-аналитиком. «До самых звезд вздымалась крыша»... Такое настроение проходит, когда утром в четыре часа соседняя типография приводит в дрожь стены, когда сквозь потолок у наружной стены просачивается талая вода, капли равномерно ударяются о книжную полку и по белой штукатурке расплываются грязные пятна, когда ночью мыши и крысы носятся по чердаку, грызут стены, когда ветер бьет по ним сорвавшейся жестью водосточных труб, а пивная напротив каждую полночь выпускает на волю охочих до песен пьянчуг и слабый напор газа каждое утро превращает варку кофе в игру на нервах.

Мелочи!

Бесспорно, но вся жизнь состоит из них, как канат из множества тонких волокон. Годы тоже растекаются в месяцы, недели, дни, минуты, секунды, великие деяния расчленяются на тысячи мелких, самой толстой книги не было бы без страниц и букв, самые смелые мысли не родились бы в мозгу, если бы в нем не запечатлелось великое множество ощущений. Мелочи, но они обладают властью, в данном случае совершенно изнуряющей. Едва лишь Карлу удавалось после полуночных песнопений натянуть на свой яростно работающий мозг покрывало сна, как его тут же разрывал неистовый свист кофейника: госпожа Вольф варила кофе, было без двадцати четыре. Он зарывал голову в подушку, считал до тысячи, вращал глазами под закрытыми веками, двадцать раз отдавал себе строжайшие приказы уснуть — ничего не помогало; он не мог не прислушиваться к звукам, доносящимся от соседей: невнятное бормотанье, стук поставленной на блюдце чашки, звяканье помешивающей ложечки, щелканье клавишами приемника, бодрая утренняя музыка до первой проверки времени, выключение приемника, треск застегиваемой на сумке молнии, звон связки ключей, открывание и закрывание входной двери. Тишина, напряженная тишина, сейчас заработают типографские машины. Но они были не такими пунктуальными, как уборщица Вольф, их иногда приходилось ждать пять, десять, двадцать минут, потом они начинали с приглушенного завывания, переходящего сперва в гудение, затем, через несколько секунд, в равномерную штам-

повку. Полы тряслись, с ними вместе тряслось и тело Карла, но напряжение спадало, приходил сон, прогнать который удавалось лишь с большим трудом (зато окончательно) в шесть часов, когда зерна кельнера Вольфа с шумом падали в кормушки голубей, а те начинали дробно постукивать клювами. Пять минут между звонком будильника и вставанием превратились теперь в тридцать между кормлением голубей и звонком будильника, и они были самыми мучительными из всего дня не по причине болей в спине или усталости, а по причине сменяющих друг друга видений, судорожно проносящихся в его возбужденном мозгу в то время, как рядом с ним, на тахте, несколько выше, чем он, и на расстоянии одного метра, его возлюбленная беззвучно и безмятежно пользовалась каждой минутой сна.

В самодельных внутренних фильмах он видел себя в сельской библиотеке, в убогой комнате (уборная во дворе), с половинным окладом, без машины, целый час бредущим пешком к вокзалу, на партийном собрании, обсуждающем его персональное дело, в кабинете адвоката, спрашивающего его, когда он в последний раз имел половые сношения с женой, на бракоразводном процессе, рядом с рыдающей Элизабет. Но все время, снова и снова, они являли его взору пустующую комнату с видом на Шпрее, профессора с удочкой, собственную кровать (матрацы «Шлараффия»), книги, утренний душ, накрытый для завтрака стол с цветами, детей, одним словом: он исходил страхом и жалостью к самому себе.

Но такое случалось только в часы бессонницы. И он боролся с этим — впрочем, тщетно.

Ему бы следовало принимать контрмеры, читать, например. Фрейлейн Бродер постоянно предлагала ему такой выход из положения, когда он (разумеется, опуская детали), рассказывал ей об этом; свет ей не помешает, напротив, она проснется, убедится, что он здесь, и, счастливая, опять уснет. Но он этого никогда не делал, считаясь прежде всего с ней и терзая себя: ведь таким образом он становился мучеником, а она — виновницей его мучений.

Кто хочет страдать, всегда найдет своего мучителя, будь то даже спящая.

Причуды ума, кажущиеся неправдоподобными, если учесть, сколько блаженства доставляло ему то, что он видел ее пробуждение! Это было и оставалось для него чудесным переживанием.

Она, правда, вскоре лишила его этого наслаждения, попросту прячась от него. Она полагала, что ласки в непроветренной комнате, с нечищеными зубами и всклокоченными волосами могут повредить любви. Она была счастлива, что он находил ее красивой, но считала это заблуждением, которое как можно дольше не должно рассеяться. Поэтому предпочитала, чтобы он увидел ее только за завтраком. Не могла она привыкнуть и к тому, что, как только просыпалась, он сразу начинал говорить о своих сновидениях и ночных раздумьях. Время между пробуждением и службой было ей очень нужно: она обдумывала распорядок дня. Ей еще никогда не приходилось разговаривать до начала занятий или службы. Она вздыхала с облегчением, когда он надевал пальто и покидал квартиру.

Водопровод, сточные трубы и, следовательно, также клозеты были встроены в здание дома лишь впоследствии, но все-таки тому уже лет 70 или 80. И тем не менее некоторые из жильцов все еще не привыкли дергать цепочку после окончания своих дел, хотя к этому и призывала дощечка с надписью, выполненной, правда, вычурными, но, к сожалению, не светящимися буквами, что было бы весьма желательно, поскольку лампочки в уборной не было, зимой по утрам и вечерам приходилось пробираться ощупью и сидеть в темноте, если забывали (как

то постоянно случалось с Карлом) карманный фонарик и полагались на действующий две минуты световой автомат на лестнице (вспоминая об этом лишь после того, как оказывались внутри, что раздражало жившую на том же этаже (за небесно-голубой дверью) семью Грюн и толкало ее к оборонительному наступлению, осуществляемому тремя рыжеволосыми юнцами, которые вылетали из своей квартиры с криками «какого черта!», «до каких пор?» или еще худшими (относящимися к делу) и с грохотом захлопывали незапертую дверь, а однажды даже повернули торчащий снаружи ключ, так что Карл, не желавший подымать шума, чтобы не выставлять себя на посмешище, вынужден был выжидать в темноте, пока фрейлейн Бродер не заподозрила неладное и не освободила его из заключения. Особенно тягостны были для него, когда он выходил в пижаме и халате, встречи на лестнице, случавшиеся часто, хотя он, замерзая и переступая с ноги на ногу, на пятом или же на третьем этаже долго прислушивался, прежде чем продолжить свой путь. Трудно было отделаться от подозрения, что на четвертом этаже специально подкарауливали за дверями, пока он спускался или подымался по лестнице, чтобы именно в этот момент отправиться на работу, в школу, в булочную или же туда, куда направлялся и он. Образцово вела себя лишь пенсионерка, вдова железнодорожника Ланге, соседка, лежавшая до десяти в кровати и, кроме того, никогда не пользовавшаяся уборной,— феномен, загадочный и для фрейлейн Бродер. (Она признавалась, что не раз задумывалась над этим.) А когда Карл возвращался, кран и зеркало все еще блокировались возлюбленной. Дотронуться до нее в это время, поцеловать сзади ее обнаженные плечи или хотя бы посмотреть на нее строго воспрещалось. Не любила она также, чтобы он оставался на кухне и помогал готовить завтрак. Заторможенный там в своей активности, он начинал в комнате, служившей спальней, столовой и кабинетом, складывать постельные принадлежности. «Что ты там делаешь?» — «Убираю постели».— «Но они должны сначала проветриться!» В бешенстве он уничтожал плоды своих трудов, распахивал окно и мерз. Утренняя гимнастика исчерпывалась несколькими осторожными приседаниями, нигде не было места для разминки лежа, каждый взмах руки вызывал какие-нибудь разрушения. «Ты можешь умываться!» Она исчезала на лестничной площадке. Его тело после вставания жаждало холодной воды, теперь же оно остыло и дрожало в нетопленой кухне, пока он неловко и долго мылся тряпкой и успевал домыться лишь до половины (до пупка), когда она уже возвращалась, останавливалась в дверях, с удовольствием глядя на него. «Мне ведь запрещается смотреть на тебя. Иди в комнату!» Она пугалась его тона и уходила. (На следующее утро и во все дальнейшие утра она проходила мимо, словно его здесь и нет, а он ужасался тому, что она способна на такое.) Она быстро одевалась и возвращалась в кухню, прежде чем он успевал вытереться. Халат прилипал к мокрой спине. «Извини, но нужно сварить кофе, иначе опоздаем!» Как отвратительно было чистить зубы, когда она слышала производимые при этом шумы! В наказание он молчал, даже когда они сидели за завтраком, как всегда в креслах; позади нее на тахте, рядом с ним на полу валялось неубранное постельное белье, его пижама, ее ночная сорочка. Она дотрагивалась до его руки. «Не сердись, завтра сделаем лучше!» Каждое утро она хотела сделать лучше, но никогда это ей не удавалось. «Неубранные постели портят мне аппетит».— «Но должны же они проветриться!» — «Не хочу огорчать тебя, но считаю это предрассудком. Когда их сразу убирают, они просто остывают медленнее, вот и все».— «Но ты же знаешь, что ночью постель впитывает пот».— «Я никогда не потею при такой температуре».— «Каждый ночью потеет».— «Хорошо, хорошо, я потею ночью, хоть и мерзну. Но не думаешь же ты, что при такой влаж-

ности воздуха тут может испариться хоть капелька влаги».— «А запахи тела?» — «Во всяком случае, мне просто страшно возвращаться домой, когда я подумаю о неприбранных постелях».— «Я всегда убирала их, когда возвращалась с работы. Прежде чем ты успеешь помыть руки и войти в комнату, все будет сделано».— «Ты забываешь, что сегодня дежуришь».— «Такое бывает всего раз в неделю!» — «Прости, пожалуйста, мою чрезмерную любовь к порядку».— «Может быть, это признак внутренней неуверенности».— «А может быть, и свидетельство внутреннего порядка». Так разряжалось его утреннее недовольство, без повышения голоса, без взрыва, всегда при наличии контрольных клапанов. Иной раз поводом служили отсутствующие блюдца, иной раз масло в бумаге, не опорожненная с вечера пепельница, хлебные крошки в мармеладе, способ топки печи. Каждый старался сохранить приветливый тон, говорил «дорогой», «дорогая», но отлично понимал, как это раздражало другого. Из вечера в вечер она давала себе слово молчать и из утра в утро защищалась, находила оправдание для привычек, становилась неуступчивой. «Не сердись, воробышек, но запах твоей колбасы вызывает у меня тошноту».— «Почему вдруг сегодня?» — «Просто я раньше ничего не говорил».— «Я охотно ела бы с тобой мармелад, дорогой, как и полагается истинным немцам, но не могу; сладкое утром для меня все равно что рвотное».— «Понимаю. Как для меня вот этот кофе. Неужели тебе нравится такой?» — «Какой — такой?» — «Со всей этой дрянью!» — «Но это же самое вкусное. Процеженный кофе для меня слишком жидок».— «Он не будет жидким, если умело приготовить его».— «Кроме того, это отнимает слишком много времени».— «Раньше я тоже так думал, но это неверно. Вот послушай: в то время как ты...»

Требовать, чтобы такое она сносила молча, было бы действительно чересчур. Мужские советы по хозяйству для женщин, даже нечестолюбивых в этом отношении, оскорбительны. (Для них хозяйство то же, что для мужчин — спорт.) Но она никогда не нападала, только оборонялась, защищалась от остатков (как ей казалось) мужского властолюбия (радуясь, что оно проявляется только в таких мелочах) и всегда оказывалась более сильной не потому, что сохраняла власть над ним, а потому что сохраняла власть над собой; говорила и делала лишь то, что хотела говорить и делать. В противоположность ему.

Все это так. Но ведь ему было труднее. Она страдала только от него, он же от нее и от непривычной, убогой обстановки. Конечно, тяжко (и недаром считается наказанием) спускаться ниже достигнутого жизненного уровня; это факт общепризнанный. (Сколько достоинства, сколько человечности уже принесено в жертву, чтобы избежать такого спуска!)

Но бессмысленно искать понимания (тем более сочувственного) данного факта у тех, кто никогда не достигал высокого жизненного уровня; они вправе смеяться. И то, что фрейлейн Бродер не смеялась, а старалась понять, показывает, как сильно она любила этого человека.

Как, впрочем, и он ее, всегда, особенно же на службе, когда видел и слышал ее, но все-таки был на расстоянии, когда при нем упоминалось ее имя, и даже по утрам, когда мучил ее, сам того не желая, или же вечерами, когда возвращался раньше ее и раздражался при виде неубранных постелей. В такие моменты что-то (чему они однажды вечером, будучи в состоянии спокойно поговорить об этом, дали название нервотирании или психодиктатуры) оказывалось сильнее его, захлестывало, но повредить его любви не могло. Итак, однажды, когда она дежурила, он стал убирать постели, обнаружил при этом пыль под дива-

ком, на шкафу, на полках, грязь на подоконниках и начал подметать, вытирать, смывать (нарушая разделение труда, вменявшее ему в обязанность топить печь, приносить уголь, выносить мусорное ведро, закупать продукты), вместо того чтобы, как то предусматривалось, читать, работать и наслаждаться пустой квартирой. Он трудился, полный гнева на нее, потому что она запустила квартиру, на себя, потому что не выносил грязи, жалости к самому себе, а главное — торжества по поводу постигшей ее кары: она съежится от стыда, когда увидит, что он сделал ее работу, ей волей-неволей придется благодарить его, даже выразить радость. Но заметит ли она? И так как в этом у него не было уверенности, он оставил гардины подвязанными, кресла на тахте, ведро перед полкой, немного почитал и курил, а в половине восьмого, к ее возвращению, снова ползал на коленях и вытирал пыль под тахтой. Она стояла в дверях и медленно снимала пальто. Если не стыд, то уж раздражение должно было овладеть ею, оно и овладело ею (он видел это по ее лицу, но даже приблизительно никогда не смог бы описать то, что видел), однако тут же исчезло, и она засмеялась: она разглядела его насквозь. Он тоже рассмеялся, вселившийся в него злой бес отпустил его, он уже мог в подробностях рассказать ей, каково ему было, когда им распоряжался бес, и вечер прошел чудесно.

Все совместные вечера проходили чудесно. Без любви они могли вынести лишь считанные часы, постоянно открывали ее заново (и открывали в ней новое, хотя и не стремились к тому), мир был полон вещей и мнений, о которых им надо было поспорить и договориться, библиотечные события подолгу обсуждались, то и дело оба наталкивались на что-нибудь пережитое, еще неизвестное другому. Плохо только, что не оставалось времени для чтения и работы. Зато на службе Карл теперь делал больше, чем раньше, проект парковой библиотеки был утвержден, Риплоз руководил строительством, в мае должно было состояться открытие. «Я видела тебя сегодня с Хаслером. Речь шла о стройке?» — «Нет. О нас».— «И это ты мне говоришь только теперь?» Его привычка шлепать по лужам пустяков, прежде чем вступить на твердь значительного, была ей отвратительна, так как ей не удавалось отделаться от страха, что за пустой болтовней скрывается неожиданность вроде этой: Хаслер обсуждал ее судьбу в отделе кадров. Ну и как? Там тоже считали, что один из них должен уйти. Значит, ничего нового? Нет, почему же, хотят предотвратить общественный урон. Дети? Нет, имеется в виду район, культура района, она не должна пострадать из-за ухода испытанного заведующего библиотекой. Значит, уйти должна она? Да, но еще предстоит заседание партийной группы, и он, Эрп, будет на нем присутствовать. Это ничего не изменит, партиец Эрп должен будет согласиться — ведь постановка вопроса правильна, утверждала она, для библиотеки действительно не имеет значения, уйдет ли Крач или Бродер. Она в самом деле так думает? Разумеется! Зато он думает иначе; он и Хаслеру сказал: нет, ни за что. Неужели он боится за ее любовь, если они некоторое время поживут врозь? Разве она не понимает, что он не может жить без нее, ни одного дня не может? А если оба они уйдут, уедут, ну, скажем, в деревню? Откуда у нее такая мысль? От него, конечно. Но он знает, как она привязана к Берлину. «Я привязана к тебе и думаю, для нас было бы хорошо выбраться отсюда, все оставить позади».— «Это было бы бегство».— «Это было бы хорошее начало».— «А знаешь ли ты, сколько мы тогда будем зарабатывать?» — «Разве дело в деньгах?» — «Ты думаешь, они послали бы нас вместе?» — «Почему бы и нет, если ты разведешься?» — «Это было бы жертвой с твоей стороны, а этого я не хочу». Нет тут никакой жертвы, сколько раз надо повторять; ведь ей для осуществления задуманного все равно нужны различные виды практики, почему бы не на-

чать с деревни? «Это была бы жертва!» — «Нет».— «Да».— «Да нет же!» — «Нет — да», и все, и кончено; он уже принял решение — не бежать, а бороться, и точка.

Затем он обрушил на нее поток клятв в любви и верности (которые здесь можно опустить), ее же охватил страх, что его любви трудности не под силу.

А потом эти постели, надувание матраца, походы в уборную, водопроводный кран в ледяной кухне, который она каждый вечер на полчаса блокировала для косметических процедур, в то время как он, обозленный ожиданием, стоял у окна, не мог даже читать, запрещал себе вспоминать Элизабет (у которой и без лосьонов и витаминизированного крема еще не было морщин), давал себе слово не показывать своего раздражения, но все же показывал, в ответ на что она на следующий вечер отправляла его умываться первым, а он потом во время ее процедур засыпал и, разбуженный ее возвращением, часами лежал без сна, ожидал подвыпивших певцов, пробуждения уборщицы Вольф и начала работы типографии, думая при этом о пустых деревенских библиотеках, о лицах спящих детей, школьном сочинении Петера, заносил в подспудную бухгалтерию под номером 2 неуступчивость, под номером 3 щегольство и вместе с тем, в то же время, наряду с этим, вопреки этому неотступно мечтал о наступлении утра: о ее пробуждении, ее первых словах. Когда она спала, он не мог бороться с призрачными видениями.

Разве не было против них средства?

Было: снотворное.

19

Воскресная прогулка за город ясным зимним днем — то, о чем она мечтала. Как ни странно! «С каких пор тебя тянет на природу?» Разве ей не дано право измениться? «Куда поедем?» Они уже сидели в машине, под взглядами Пашке. «В Ненхаузен».— «Как прикажете, сударыня! А где это?» — «Не имею представления». Атлас автомобильных дорог лежал на заднем сиденье: Нельбен, Нельшюц, Немт, Ненкерсдорф, Ненхаузен 18 В 3; значит, на автостраду. «Нет, мне хотелось бы поехать через деревни».— «Очень хорошо!» Утренняя безлюдность делалала улицы широкими. Равнодушно зиял проход Восточного вокзала. «Что тебе приходит в голову при упоминании Штралау?» — «Путина».— «Плохо».— «А тебе?» — «Блуждания, искания»*.— «Ты выиграл». Плентервальд уже изображал собой природу, но потом снова потянулись новостройки, фабрики, похожие на казармы жилые дома, вокзалы, склады, огороды, черные толевые крыши; город распадался задолго до своей черты. Аэродром кичился своей бесконечностью. Голые поля разочаровывали. Справа навытяжку стояли пограничные вышки. Мирно ржавела колючая проволока. «Что тебе приходит в голову при упоминании Клейн-Махнова?» — «Целендорф» **.— «Не считается». Тельтов, Штансдорф, Бабельсберг: пригороду (без города) не было конца. «Потсдам?» — «Старый Фриц».— «Слишком дешево. Потсдамская конференция. Два — ноль». Ветер гнал льдины по озеру Швилов, они гудели и трещали у берегов, словно под водой звонили в надтреснутые колокола. Между ними плыли зимостойкие лебеди с реки Хафель, все еще гордые славой, которой одарил их Фонтане. Под Вердером Моргенштерн одер-

---

* «Блуждания, искания» — «Irrungen, Wirrungen» — название романа Теодора Фонтане (1819—1898), герои которого живут в Штралау, одном из районов Берлина.

** Клейн-Махнов и Целендорф — два расположенных рядом района, первый — в Берлине, второй — в Западном Берлине.

жал победу над цветением фруктовых деревьев *. Бранденбург казался средневековым и современным, приятно непрусским, но сударыня не пожелала здесь остановиться отдохнуть, чтобы не дать сударю возможности освежить любовные воспоминания военных лет; ведь любовь, оставшаяся неудовлетворенной, самая длительная. Итак, дальше, в Брилов, но там ресторан закрыт из-за обветшалости здания, в Радевеге — из-за инвентаризации, в Бутцове — из-за бегства (восемь лет назад) хозяина на Запад, в Кецюре — просто так, без постижимых причин. Но озеро Бец еще существует (Фрице Больман **, три — один!), оно с севера на юг поделено на воду и лед, неровная кромка льда разукрашена пометом пронзительно орущих птиц. Туман сделал озеро Бец морем, холодный воздух разжег щеки, девичьи волосы реяли, как знамя, на ветру, жар счастья разгорался в пылающий огонь. Был ли это ее лучший день? Да, но сотня, тысяча еще лучших дней последуют за ним. Так ли? Непременно! Стремительно и глухо били крыльями по воде взлетающие лебеди; вздох облегчения вырывался, когда они после пятидесяти, восьмидесяти метров пробежки наконец отрывались от воды. И вскоре снова приводнялись, с шумом, выставив вперед грудь, толкая перед собой гребень волны. К чему такая трата сил? Верба искусно нарядилась в сережки. И все-таки приятно было опять оказаться в теплой клетке машины. «А почему, собственно, Ненхаузен?» — «Разве не ужасна мысль, что умрешь, так и не побывав в Ненхаузене?» — «Некоторые думают так о Париже, Новом Орлеане или Багдаде. Но Ненхаузен?» — «Разница в том, что не побывала я в Ненхаузене только по собственной вине». Эти бесстыжие буки, сверкающие наготой! Они столпились на мореновых пригорках и враждебно уставились на болотистый луг внизу. «Как ты хочешь ехать — через Барневиц, Гарлиц или Мюцлиц? Дороги наверняка всюду одинаково плохи».— «А где пахнет чем-нибудь съедобным?» Итак, Гарлиц. У них был выбор между жареной картошкой с яичницей-болтуньей и жареной картошкой с яичницей-глазуньей. Фамилия хозяйки была Ляйденфрост *** и вполне ей подходила. Гарлиц вызвал в нем воспоминание: свадьба в Вельцове ****. Новые с иголочки сеялки переливались летними красками. Телевизионные антенны впивались в облака. Коричневые луга распластались на брюхе под ветром. Ненхаузен: вокзал, дома, церковь, замок с заглохшим парком, сквозь деревья которого старался улизнуть день. «Теперь куда?» — «Домой». Черный шелковый горизонт сужался все больше и больше. Фары машины выхватывали просветы, сквозь которые могли удрать и они. «В Ненхаузене родилась идея Шлемиля!» ***** — «Значит, тебе нужен безносый».—«А ты продал бы свою тень?» — «Никогда!» — «Даже если бы тебе вместо этого пришлось продать машину?» — «Смотри-ка — косуля! Могло кончиться плохо».— «За рулем у тебя другое лицо, чужое».— «Сосредоточенное».— «Самодовольное и властолюбивое».— «Ты ревнуешь к машине».— «Чем меньше дорогих вещей нужно человеку, тем он свободнее».— «Без машины этот день никогда не был бы таким прекрасным».— «А ночи еще прекрасней — без машины».— «Ты не терпишь иных богов рядом с собой, вот в чем суть». Все. Это было все. Два часа длился обратный путь. Так долго они, находясь вместе, еще никогда не молчали.

Ничего удивительного, если едешь ночью по плохой дороге.

---

* Вердер славится своими садами. Во время поездки в Вердер поэт Кристиан Моргенштерн (1871—1914) создал свои первые «Песни висельников».

** Фрице Больман — уроженец этих мест, чудаковатый герой популярной уличной песенки.

*** Leidenfrost *(нем.)* — мерзлячка.

**** «Свадьба в Вельцове» — повесть Гюнтера де Бройна.

***** Герой фантастической повести «Необычайные приключения Петера Шлемиля», принадлежащей перу немецкого писателя Шамиссо (1781—1838).

«Взгляни на любящих: едва лишь приступив к признаньям, тотчас же ложь мешают с заклинаньем».

Приятно, конечно, постоянно иметь наготове общие истины в рифмованном виде; красота формы скрывает их низменный смысл, человек чувствует себя оправданным, почти реабилитированным. Поскольку фрейлейн Бродер знала Рильке лишь по имени и всегда умела прятать вынужденную нечестность за обыкновенным молчанием, стихи могли прийти в голову только Эрпу. Лишь ему они пригодились: февральским вечером на кухне. Она услышала его шаги и, стоя в дверях комнаты, сразу же, в обход всяких пустопорожних подступов к делу, нацелилась на главное: «Ты ходил?» — «Конечно».— «И что же?» — «Еще раз нужно пойти».— «Дело уже начато?» — «Нет, слишком большой наплыв, но заявка уже подана, предварительная заявка». Это была ложь.

Небольшая. Он и сам вряд ли знал, зачем она нужна. Он все равно в ближайшие дни собирался опять пойти туда, должен был пойти, чтобы маленькая трещина, возникшая из-за лжи, исчезла.

Он убеждал себя также, будто не знает, почему удрал из зала ожидания, где в очереди тринадцать человек были перед ним и пять за ним. Что-то, говорил он себе, заставило его подняться с одной из облупленных скамей, стоявших вдоль стен, оставляя свободным лишь проход к двери, и окружавших стол с замусоленными иллюстрированными журналами. Оставаться ему там, гласила его собственная легенда о кинжальном ударе, было столь же невозможно, как, скажем, сорвать со стены потемневшего от времени пикассовского голубя мира, ощипать его и зажарить. Он не мог больше выносить этих людей, разглядывавших его и разглядываемых им; этого трактирщика (или мясника?) с двойным подбородком, полицейского из уголовного розыска в ледериновом пальто почти до пят, искусственную блондинку в тюленьей шубке, интеллигента в берете, которому такой важный вид придавала, наверно, только болезнь желудка, остроносую делопроизводительницу (точно такая же сидела в жилищном управлении и сказала ему: «Комнату? Предъявите сначала свидетельство о разводе!»), ожидающую восхищенных взглядов девицу с обложки журнала мод, простуженного функционера, новобрачную, механически ласкающую своего мальчишку-мужа (а этим что здесь надо?), беззвучно ругающуюся домохозяйку и, главное, этого ужасного ребенка, отец которого (с безучастным лицом небритого карпа) сидел молча, вместо того чтобы запретить своей дочери приставать к ни в чем не повинным людям. К Эрпу девочка сразу же воспылала особенной любовью. Сначала она долго, словно пойманный волчонок, ходила по кругу и лишь искоса поглядывала на Эрпа, потом вдруг остановилась прямо перед ним, открыв рот и тараща на него глаза. Вскоре ее удивление перешло в веселость, она улыбнулась, но Эрп не ответил улыбкой, чтобы не дать ей повода к сближению, чего явно не одобрили все восемнадцать человек. Он уставился в потолок и попытался сосредоточиться. Добрый вечер, господин доктор Земиш, мое имя Эрп, нет, мое имя Карл Эрп, с «п», как, как что? Нет, без шуток, меня зовут Эрп, Карл Эрп, это уже лучше, я хотел бы просить вашей помощи, чепуха, я хотел бы вас попросить, я пришел, я зашел к вам, чтобы... «Дядя?» Он пытался и теперь не смотреть на ребенка, но не мог уклониться от взглядов окружающих, молча зачисливших его в разряд нелюдимов. В надежде, что кто-нибудь из его соседей, ну хотя бы ледериновый мужчина или тюленья блондинка, перехватит у него роль друга детей, выждал несколько секунд и только потом, под давлением коллектива, произнес: «Да?» — в ответ на что девочка, торже-

ствуя, подступила еще на шаг и предложила ему поиграть с ней. Он охотно отказался бы, но не решился и спросил, во что же тут можно играть. Тюленья шубка пришла ему на помощь: «Спой нам что-нибудь, детка». «Сама пой»,— огрызнулась девочка и недовольно потерлась спиной о стол. Этой грубостью она убила симпатию, но вызвала смех. Эрп воспользовался возможностью уйти со сцены, вытащил записную книжку с карандашом и прикинулся очень занятым; трижды начертал свою подпись, трижды написал имя фрейлейн Бродер, неизменное имя, а не фамилию (меняющуюся при замужестве), с фамилией Эрп, что выглядело странно: тогда, значит, будут существовать две госпожи Эрп. Брак у женщин, написал он, это жертвенный алтарь, на который приносится отцовская фамилия. «Д-р Ляйхтфус, прошу вас!» Значит, он не из уголовного розыска, кто же он — врач, филолог? Скорее, пожалуй, юрист. Но тогда зачем ему защитник? Остальным, наверно, нужно было то же, что и ему, кроме разве молодоженов. Ребенок взобрался на освободившийся стул ледеринового доктора, пользуясь рукавом Эрпа, как опорой. Добрый вечер, господин доктор Земиш, вы, конечно, уже догадываетесь, что меня привело к вам, написал он. «Что ты там пишешь, дядя?» — «Это тебя не касается». Почувствовав, как волны антипатии накатились на него, он поднял голову. Ты изверг, говорили взгляды. Он капитулировал, захлопнул записную книжку и сунул ее в карман. «Что это за птица, дядя?» — «Это голубь».— «Смешная, правда?»— «Как же тебя зовут?» Он приветливо улыбнулся, как полагается при обращении с детьми, и сразу же ощутил приятное тепло доброжелательства. «Элька Пилау, Берлин, Акерштрассе, 33. А что это за дядя, дядя?» Кроме домохозяйки, про себя упражнявшейся в проклятьях, все оживились и исполнились ожидания. «Это Вильгельм Пик». «Пик-пик!» — сказал ребенок, дурашливо хихикая, и ткнул Эрпа между ребер. Он беспомощно посмотрел на отца, но тот равнодушно отвел свой рыбий взгляд. «А как зовут тебя, дядя?» — «Август Пипендекель». Девочка закатилась от смеха, и все с удовольствием смотрели на нее. «А что это у тебя за значок? Ты мне подаришь его?» — «Нет!» — «Почему?» — «Потому».— «А это что за значок?» — «Значок как значок». Теперь не только он, но и остальные чувствовали себя неловко; лишь больной желудком интеллигент ехидно ухмылялся и оглядывался в поисках союзников. «Это значок Социалистической единой партии Германии»,— произнес простуженный господин, который мог быть только учителем. Но девочка не проявила интереса к его объяснению, она хотела разговаривать с Эрпом, и ни с кем другим. «Зачем ты здесь, дядя? Мы разводимся. Ты тоже?» Больше он выдержать не мог; тут-то легендарное «что-то» и заставило его подняться и уйти.

Но ведь такое бывает. Называют это «что-то», поскольку точного названия не существует. То было не злорадство, написанное на лицах присутствующих, не собственное смущение, не тот факт, что за целый час ожидания были приняты всего два человека, не само собой напрашивающееся сравнение между ужасным ребенком и умной Катариной, не заранее ощущаемая неуверенность при разговоре с адвокатом — но все это вместе взятое.

И не страх?

Перед чем?

Перед окончательным решением, возможно.

Фрейлейн Бродер восприняла все не так. Она, правда, догадывалась о лжи (потому что он вопреки своему обыкновению тут же оставил эту тему и больше к ней не возвращался), но предполагала, что причина кроется в страхе перед неприятностями. По-видимому, ему требовалось время. Ну что ж, она ему предоставит его. Чего-чего, а времени у них было достаточно, более чем достаточно.

21

К сожалению, на этой успешной стадии, когда дело явно движется к счастливому (?) концу, нужно познакомиться еще с новыми (с другой же точки зрения: старыми) персонажами, временами, местами: с Фридрихом Вильгельмом Эрпом, с детством его сына Карла, с Альт-Шрадовом. Внешним поводом для этого послужат два путешествия нашего, так сказать, героя, две поездки домой или, вернее, в прошлое, состоявшиеся в январе (при такой погоде, как в 12-й главе) и в марте (при такой погоде, как в 13-й главе). Причиной в первый раз была нехватка жилплощади (практикантке Бродер необходимо было провести в одиночестве конец недели, чтобы закончить дипломную работу), а во второй раз — смертный случай. Целью обеих поездок для Карла был отец. Цель этой главы — описание воспоминаний Карла.

Нет — описание эрповского прошлого. Очки воспоминаний лучше отложить в сторону: в первую поездку они были черные, во вторую — розовые (ведь воспоминание приукрашивает прошедшее не всегда, а лишь в печальные времена, в счастливые же дни очерняет прошлое), следовательно, они непригодны для маркировки поворотов развития или, выразимся осторожнее, для попытки произвести ее; ибо как бы однозначны ни были факты, характер их воздействия зачастую очень проблематичен: к счастью для природы человека, к несчастью для манипуляторов и биографов, которым хотелось бы каждый раз по белизне пеленок с точностью определить белизну будущего халата врача, по положению отца — положение сына, по впечатлениям — сознание.

Но попытка не пытка. Поэтому сперва о месте: община Альт-Шрадов, район Франкфурта (на Одере), 616 жителей, преимущественно крестьяне и рабочие, 1 рыбак, 1 полицейский, 1 пастор, 1 хозяин гостиницы, 4 продавщицы, 6 учителей, 1 церковь, 1 центральная школа в замке (проект ученика Шинкеля*), 1 гостиница потребительского кооператива, 1 мясник кооперативного магазина, 1 кооперативный магазин продовольствия и текстиля, 1 булочник (частник), 1 вокзал (на расстоянии 2 км), 1 детский сад (в старой деревянной школе), дорога 2-й категории с мостом через Шпрее (не свыше 3,5 т), сельскохозяйственный производственный кооператив (типа 1), профсоюзный дом отдыха (в бывшей гостинице «К немецкому единству»), деревенская беседка (2 постройки дома, охраняемые как памятники старины: западнославянские «плетенки»), демонтированный памятник павшим воинам; строительство Аусфальштрассе (сегодня она называется улицей 13 Апреля) началось еще при Фридрихе Вильгельме Эрпе, хотя он приехал в эту деревню только в 1924 году (за год до рождения Карла), после чего никогда не покидал ее более чем на двенадцать часов.

Таково это место, но что оно означало для Эрпа? Когда он говорил о нем, к тоске примешивалась ненависть; его отношение к Альт-Шрадову было неопределенным, двойственным, противоречивым. К тому, что хорошо знаешь, всегда испытываешь (особенно если оглядываешься на прошлое) нечто вроде любви, но вместе с тем чувствуешь себя в оковах. Деревня была для Карла мешком с ненужным хламом, захваченным с собой при бегстве: он мешает, его клянут, а бросить нет сил. Отсюда тоска по работе в деревне, но и страх перед нею, отсюда переселение на окраину города, но и сентиментальность при поездке домой. Если кто-нибудь говорил о провинции или Марк Бранденбурге, или Пруссии, Карлу казалось, будто речь идет и о нем, когда же его спрашивали, откуда он родом, он всегда отвечал: из-под Берлина. Он никогда не повторял любимого выражения отца: «Германия, о которой постоянно

* Шинкель, Карл Фридрих (1781—1841) — немецкий архитектор.

твердят, существовала 75 лет, Пруссия же — столетия», не одобрял его, но часто о нем размышлял. После первой поездки он сказал (фрейлейн Бродер): «С возрастом убеждаешься, что от детства никогда не отделаешься; оно прилипает к человеку, как смола». Из второй поездки Карл привез еще одно, более сильное сравнение: детство — родимое пятно, которое с годами увеличивается. Фрейлейн Бродер (олицетворение нового времени), несмотря на исторический кругозор и знание фактов, ничего не понимала во всем этом, то есть в наслоении чувств и мыслей, которые часто лишь громоздились друг на друга, а не взаимопроникали. Ей было легко, она изучала историю, но не пережила ее, история была частью ее образования, но не частью ее самой, и детство означало для нее скромное начало того, чем она была и чем станет. Ее не волновал вопрос «откуда» и не возмущало, что люди, исходившие из ответа на этот вопрос, крайне редко приходили к правильным выводам, зато Карл моментально начинал спорить. Отец его в таких случаях реагировал иначе; Он просто говорил: «Я пруссак».

При этом отец совсем не был таким, каким может показаться, если основываться на вышеизложенном,— очень прямолинейным и невыносимо реакционным. Это был одаренный, много попутешествовавший человек, блудный сын вильгельмовского почтового инспектора (и лейтенанта запаса Желтых улан) Фридриха Эрпа из гарнизонного городка Фюрстенвальде. Вот он стоит в гостиной, в момент наступления нового века, четырнадцати лет от роду, в матросском костюмчике, с матерью, тетками, дядьями, сестрами и братьями, уставившись на открывающийся и закрывающийся рот отца, внимает фразам, каждая из которых зиждется на слове «германский» (германский рейх, германская мечта, германский флот, германские колонии, германское трудолюбие, германская верность, германский век) и обращена не к семье, а от ее имени к портрету над буфетом, где некто в шлеме и с бородой сурово и весело взирает на стоящие в углу часы; слышит, как женщины и мужчины трижды провозглашают здравицу в честь молодого кайзера и поют «Славься, победой увенчанный», поет и сам; улавливает гул врывающегося с колокольным звоном, салютом и фейерверком нового столетия, но воспринимает все это иначе, чем остальные, не как шумное торжество власти, а как гром свободы, рвущей в клочья бархатные занавески, разбивающей вдребезги хрусталь, выдувающей затхлость из квартир, школ, городка, а заодно и его самого, в Берлин, Гамбург, в Сент-Луис к мистеру Генри, в Роки Маунтейнз к Сэму Хоукинсу, Олд Файрхенду и к апашам Виннету*, в первый же день двадцатого века он начинает копить деньги, на пасху уже в пути, на троицу в полицейском сопровождении снова в Фюрстенвальде, через долгих пять лет опять уезжает из дому, но только в Торн в артиллерийские войска, после этого, наконец, по-настоящему в пути, хоть и не в Рио-Гранде или в Льяно-Эстакадо, но все же в Берлине, Гамбурге, Роттердаме, Брюсселе, Париже, Барселоне, вначале бродягой, потом кельнером и в конце концов журналистом в Одессе, где его настигает война, вскоре его интернируют у Каспийского моря, пока революция его не освобождает, тоска по дому тонит через границы и опасности на родину, а родина посылает на Западный фронт; ужасы войны, изменившие столь многих, меняют и его; в смертельном страхе, в крови и грязи он постигает, что существует только один род счастья,— в тихом уголке, с подветренной стороны истории; его братья и сестры, ранее презиравшие его за бегство, приспособились к жизни, занялись делами — хозяйственными, политическими — и теперь презирали его за возвращение, что и укрепило в нем уверенность: он не такой, как все; отец Карла становится учителем, переезжает в Альт-

* Места действия и персонажи произведений Марка Твена и Карла Мая.

Шрадов, ищет молчаливую жену, подходящий комплекс взглядов на мир и находит то и другое: вдову своего предшественника, на пять лет старше его, и свое пруссачество, не пруссачество второго Вильгельма, кайзера и не (хотя это уже ближе) первого Фридриха Вильгельма, солдатского короля, а самодельное, без милитаризма и монархизма, покоящееся на легендарных краеугольных камнях долга и скромности, дополненных, ради удовлетворения интеллекта, кантианскими колоннами; а когда начинается марш австрийца, учитель Эрп с отвращением, а сынок Карл с радостью вступают — один в нацистскую партию, другой в ряды детской гитлеровской организации; умирает жена, а самодельная — do-it-yourself — идеология живет, стоит неприметно, но твердо на прусском песке, переживает (с легкими перестройками, однако без смены фундамента) блицкриги, поражение, освобождение, увольнение из школы, цветоводство и пенсионерское бытие в период социалистического строительства.

Это приводится как особый случай, но вряд ли отец Карла отличается от других людей в его положении, то есть людей, державшихся в стороне от развития техники, цивилизации и общества, допускавших в свой дом лишь стиральную машину, электрический утюг и радио, никакого отношения не имевших к автоматизации, воздушному сообщению и новым соотношениям сил, подныривавших под штормовые валы мировой истории, отряхивавшихся, как мокрые псы, когда волны откатывались, и продолжавших после этого жить, как прежде, в своем узком мирке с постоянными противоречиями между внутренним и внешним укладом, потому что мораль широкого мира снимается вместе с уличной обувью, а со шлепанцами надевается мораль домашняя, принимаемая ими за истинную, ибо они не были свидетелями ее рождения, а вросли в нее, как врастают в природу (она ведь тоже не меняется или меняется очень незначительно), и не могут, не хотят понять: то, что отцы считали ложью и несправедливостью, для детей станет традицией. Как много еще таких! И сколько их было! Один из них — Фридрих Вильгельм Эрп, симпатичный, порядочный, бессильный, как множество других, отличавшийся только тем, что был последовательней и сознательней и имел собирательное название для того, что другие (более безобидно) называли прилежанием, любовью к порядку, скромностью, выдержкой, чувством долга, честностью, трезвостью. Пригодность этой позиции (основанной на этическом формализме) подтвердилась в самых различных обстоятельствах. Поэтому не удивительно, что совет этого семидесятидевятилетнего человека не был попросту отвергнут во время январского посещения.

После полуденного сна они прогулялись вдоль Шпрее до купальни и вернулись через замковый парк, выпили кофе, отослали молчаливую госпожу Венцель домой и уселись у окна, за которым южный ветер шевелил ветви грушевого дерева. «Плохо дело,— произнес старый господин из глубин своего кресла,— но не так уж плохо, как тебе сейчас кажется. Ты, конечно, думаешь: у старика уже нет того, что делает мужчину мужчиной, ему легко быть мудрым. Но в том-то и заключается мудрость — в способности отличать важное от неважного. То, что тебя сейчас влечет к этой девушке, поверь мне, суть неважное, хотя бы потому, что оно преходящее; а то, что ты бросаешь, остается: дети, работа. Семья не всегда нечто приятное, но разве необходимое так уж часто бывает приятным и прекрасным. Самая ответственная должность на свете — должность отца, она безусловна, ибо непреложна. Звучит старомодно, я знаю, но я всегда равнялся не на моду, а, по возможности, на правду. Если бы тебе было двадцать, я бы молчал, так как мои поучения озлобили бы тебя, разлучили бы нас и ни к чему бы не привели. Но тебе сорок, а то, что человеку столько лет, сколько он сам чувствует,

это ерунда: человеку столько лет, сколько ему в действительности, и тот, кто не хочет этого понять,— смешон. Однажды взбунтоваться должен каждый, но во второй раз это никому не под силу, а тебе тем более; даже первый твой бунт скорее походил на приспособление, чем на мятеж; возмущение против так называемого старого в твоем старике привело тебя лишь на более удобный путь, где склонность и долг совпадали друг с другом; и вот они, наконец, разъединились, но вместо того чтобы воспользоваться случаем для самоутверждения и вытекающего отсюда самоуважения, ты снова идешь на поводу у своей склонности. Ты не любишь слова «долг» и с той же настойчивостью, с какой я говорю о нем, говоришь о счастье. Я над подобными вещами думал больше, чем ты, и нахожу, что тут дело обстоит так же, как со свободой, которую обретаешь лишь тогда, когда отрекаешься от нее. Ведь человек по своей натуре суверен, живущий не наедине с природой, а в обществе, стремящемся обкорнать его суверенность где только можно; если же этот акт насилия человек может совершить над собою сам, власть его возрастает по мере ее ограничения; сувереном, следовательно, станет тот, кто обуздает в себе суверена. Тот же парадокс относится и к счастью: только тот, кто в силах отказаться от него, обладает им».

Разумеется, Эрп-младший возражал. Эти рассуждения были для него не только слишком чуждыми, но и слишком по-прусски бело-черными, в них ему слышалось что-то об отречении и о благородной бедности, о подчинении, категорическом императиве. А когда уж философская мудрость влияла на решения, от которых зависит судьба любви! Тем не менее ничего не было сказано понапрасну, кое-что застряло в сознании, пусть хотя бы образ широколицего человека, который в броне своего мировоззрения пережил времена разлива сточных вод, оставаясь всегда опрятным, порядочным и спокойным, который и в отречении (даже от активности) пребывал счастливым, образ сидящего в кресле отца, воздействовавший на Эрпа в течение сорока лет, даже во времена бунта: именно времена (во множественном числе), потому что они повторялись дважды, хотя отец, из-за сходства психологических мотивов, объединил их в одно. Речь идет о временах, когда Эрп вступил в союз гитлеровской молодежи и в Союз свободной немецкой молодежи, побудительной причиной к чему (по мнению Эрпа-старшего) было желание убежать от отцовской опеки. Бегство из самых высоких (снежных) сфер отцовской любви началось со смерти матери, бегство от отцовской холодности в жар восторженности, от навязанного долга к долгу, избранному самостоятельно, от бесконечной проповеди ответственности к безответственности в коллективе. Так это воспринимал старик, памятуя о собственном опыте и глядя на все из глубины своего кресла, сыну же, когда он возвращался домой в январское воскресенье, было ясно, что и он уже сиживал в кресле, перед окном, отделяющим внешний мир от мира внутреннего, и что будет еще сидеть там и без девочки Бродер, на которую в тот вечер взвалил ответственность, это прилипло, как смола, что должно означать — соскреби ее. Даже если будет больно.

Сперва должна была пережить боль она. Еще в январе он сказал ей: в тебе соединяются мои два мира (внутренний и внешний). В марте же он сам оторвал один от другого. Пришла телеграмма из Альт-Шрадова: «Приезжай немедленно отец тяжело болен Фрида Венцель урожденная Швертфиш», и он собрался в путь, даже и не подумав о возможности взять ее с собой, а когда она напомнила ему, что должна разделять с ним все, в том числе и тревоги и горе, он испугался этого, как требования, и она с грустью поняла, что есть в его жизни места, куда ей доступ заказан.

Кресло пустовало. На ветвях грушевого дерева лежал снег. Врач ушел в полдень и собирался прийти на следующее утро; он не надеял-

ся, что слабое сердце справится с воспалением легких. Умирающий лежал в спаленке. Рядом, в бывшей классной, воспитательница детского сада пронзительным голосом пела про кукушку, сидящую на дереве. Зимзалабимбамбазаладузаладим. Наверно, дети пели вместе с нею, но их не было слышно. Старик лежал на спине, прямой и неподвижный. Лицо его из-за впалых щек стало узким и чужим. Дышал он торопливо и неглубоко. «Отошли Венцель домой, она уже две ночи не спала».— «Почему ты не хочешь в больницу?» — «Я хочу умереть там, где жил».— «Ерунда, от воспаления легких теперь никто не умирает». Старик поднял руку и снова уронил ее на одеяло: не старайся, мол. Потом он заговорил о страховании жизни — полисы в правом ящике стола. Карл смотрел на ставшую костлявой руку и раздумывал, погладить ее или взять в свою. Нежности не были приняты между ними; и сейчас они показались бы соглашением со смертью. Когда больной снова закрыл глаза, Карл встал, вышел, отослал плачущую госпожу Венцель домой, сидел у окна, пил кофе и ненавидел себя за мысль: будем надеяться, завтра все кончится, чтобы я мог в понедельник быть на работе. Он попытался грустить, а когда это ему удалось, оказалось, что грустит он не об отце, а о самом себе: ведь он здесь так страшно одинок и беспомощен перед лицом смерти. Отец умирает старомодно, как и жил, подумал он. Кто уж в наши дни требует такого от своих близких? Рождаются и умирают ныне в больницах, стерильно, в стороне, в покое, никого не беспокоя. Кто сегодня в состоянии выносить вопли рожениц, хрипы умирающих? Только люди, которых обучали этому, для которых это служба, которые получают за это деньги. Теперь живут, словно смерти не существует, обманывая самих себя. Из трусости? Чем совершеннее становятся способы умерщвления, тем упорнее отворачиваются от всякой мысли о смерти. И он подумал: изменится ли что-нибудь, когда умрет отец? И ответил: нет, хотя знал, что это неправда. Когда смерть побывает здесь, образ человека в кресле получит большую, чем прежде, власть над ним, станет могущественней, чем все до сих пор испытанное и познанное, потом наступит его черед, он будет сидеть в кресле, а через 10, 20, 30 лет так же лежать, как теперь лежит отец. И кто тогда будет сидеть у его постели и утверждать, что от воспаления легких в наши дни никто не умирает? Одиночество стало ему невмоготу, он решительно встал, еще раз прислушался к короткому дыханию больного и выбежал на улицу, мимо церкви, к трактиру, через все помещение к стойке, узнал, где телефон, и попросил соединить его с Берлином. Телефон стоял у окна, и он мог смотреть вниз на Шпрее. Между снежными островками вода в ней казалась темно-серой, почти черной. Прибрежный лед сжал ее до ширины ручья. Во времена его детства она была широка, как Миссисипи. На обратном пути он зашел к пастору. Потом сидел у окна и смотрел, как наступают сумерки, пока не пришла госпожа Венцель, чтобы приготовить ужин. Слезы текли по ее распухшему лицу. И Карл впервые задал себе вопрос, действительно ли она в течение 25 лет была для отца только помощницей по дому. Пришел пастор, пробыл минут десять у больного, потом присел к столу и выпил чашку чая; он был молод и жаловался на ссылку в это захолустье. В восемь Карл поехал в Фюрстенвальде. Из пригородного поезда вышло много народа, но ее он узнал сразу. Они пожали друг другу руку и пошли к машине. «Он действительно захотел меня видеть?» — «Нет».— «Ты намерен обмануть его?» — «Я хочу доставить ему радость». Она тотчас же вошла в спальню, взяла костлявую руку и прижала к своей щеке. Старик открыл глаза, улыбнулся и спросил про детей. Элизабет рассказала немного, гладя при этом его лоб и не выпуская руку, пока он не уснул. Только тогда она развязала платок, сняла пальто, отослала Венцельшу домой и вымыла посуду. Карл, скрючившись.

лежал на коротком диване, и теперь ему действительно удалось уснуть. Элизабет сидела у постели больного. После одиннадцати дыхание старика стало еще более коротким и неглубоким. Два раза он взглянул на Элизабет, но ничего не сказал. Она гладила его руку. Без десяти двенадцать она заметила, что он больше не дышит. Разбудила Карла: «Отец умер». Лицо старика было маленьким, как у ребенка. Карл поехал в Пегчен и привез врача, который еще час просидел с ними, рассказывая Элизабет о странностях отца и детских болезнях сына. Потом Элизабет спала на диване. Карл сидел в кресле и наблюдал наступление утра. С десяти стали приходить люди. Они обращались к нему на «ты», но лишь немногих он мог вспомнить по имени. После обеда Карл повез Элизабет на вокзал. «Справились ли дети одни?» — «Им и так приходится справляться одним».— «Ты в хороших отношениях со своим начальником?» — «Конечно».— «Дети знают правду?» — «Нет, пока не знают».— «Они часто спрашивают обо мне?» — «Редко. Когда ты заберешь свои вещи? Я думаю отдать твою комнату Петеру, а кое-какие книги мне хотелось бы оставить себе».— «Пока что можешь взять все».— «Но я предпочитаю знать, что мне принадлежит».— «Это так срочно?»— «Для меня так было бы лучше. А как с разводом?» — «Это труднее, чем я думал».— «Что?» — «Я тебе очень благодарен, Элизабет. Не знаю, как бы я выдержал сегодня без тебя».— «Что труднее, чем ты думал?»— «Все».— «Что ты имеешь в виду?» — «Себя».— «Это твое дело. Будь здоров». Он хотел сказать ей еще что-то, объяснить свое состояние, трудность своего положения, но не решился произнести больше ни слова. Почему? Никогда он не испытывал смущения перед прежней Элизабет. «До свидания!» Она вошла в вагон, делая при этом хорошо знакомые ему движения. Он подождал, пока поезд тронется, но она не выглянула в окно. О телеграмме фрейлейн Бродер он подумал только в понедельник. Разобрал книги, письма, фотографии, бумаги, многое сжег, оставшееся упаковал и отправил на имя Элизабет. Мебель он подарил госпоже Венцель; и кресло тоже. В среду, после похорон и обеда, он еще раз, сидя в нем, смотрел в окно. Начало таять. За стеной воспитательница детского сада снова заладила свое зимзаладимбамбазаладузаладим. Вода капала с крыши на подоконник. Он чувствовал себя очень взрослым и созревшим для одиночества. Только когда умирают родители, думал он, перестаешь быть ребенком. Библиотека и подъезд Б отодвинулись куда-то очень далеко. Он боялся того, что его ожидало, и хотел бы остаться в Альт-Шрадове. (Скоро распустятся желтым цветом вербные сережки и над рекой разнесется равномерное гудение пчел.) Это чувство прошло, лишь когда он сел в машину.

Вместо него пришло другое: облегчение. Без грозного авторитета отца он сможет быть решительней.

22

«Как только зиму сменит весна, жди непременно: лопнет труба» — этот стишок много лет назад сочинил один поэтически мыслящий водопроводчик, и они произвели на маленькую девочку, прозванную воробышком, такое сильное впечатление, что частые неполадки с водопроводом и клозетом стали казаться ей неизбежными закономерностями. А это, как известно, очень успокаивает. С тех пор она легче переносила фокусы древнейшего на свете сооружения — водопровода. Если поутру медный кран опять со всхлипом и треском выплевывает воздух вместо воды в некогда белую, а теперь коричневую с черными пятнами эмалированную раковину, она молча и спокойно берет пластмассовое ведро и ключи от чердака и отправляется по пролегающему над ее комнатой пути к Вольфше, которая нацеживает ей воду из другой напорной тру-

бы. Если и оттуда не удается извлечь ничего, кроме всхлипа, то это означает, что весь дом обезвожен. И тогда нужно подаваться в жестокий мороз в соседний дом, в теплую погоду — на кладбище или к водокачке на Краусникштрассе. Но это случается редко, лишь каждые два-три года, как правило же вода бастует только в одном подъезде. И тогда уж приходится быть экономнее в вопросах гигиены, пить больше пива, чем чая, ждать избавителя-водопроводчика и пытаться так регулировать свой обмен веществ, чтобы процессы его внешнего проявления совпадали с часами службы. Ведь для посещения общественной уборной на третьем этаже требуется не только полведра драгоценной воды, но и напряжение центров обоняния, так как остающиеся неизвестными скряги прибегают к сухой эксплуатации агрегата. Но требующее обновления устройство имеет в запасе и худшее: закупорку стоков в подвале или в первом этаже, влекущую за собой запрещение пользоваться раковиной и туалетом, которое не соблюдается рассеянными и злонамеренными, что приводит к затоплениям, воспроизводить последствия которых здесь так же неуместно, как и канонады проклятий, в такие дни гремящие снизу доверху по всему дому. Но в этом году весеннее злосчастье как раз закончилось в тот день, о котором здесь пойдет речь, и его последствия только для того упоминаются, чтобы жители новостроек и вилл поняли радость, с которой фрейлейн Бродер посетила вечером хотя и темный, но снова обводненный третий этаж, на некоторое время завладела им (или: засела там), при этом не услышала легких шагов Карла по лестнице, заставила его дожидаться у входа в квартиру (от которой у него еще не было ключа) и, через несколько минут застав его раздраженным, удивилась, почему у него дурное настроение.

С тех пор как они жили вместе, она знала, что самый его большой недостаток в том, что у него так много маленьких недостатков, ее же недостаток в том, что она никогда не могла разобраться, какой из них сейчас дает о себе знать. Так как в состоянии раздражения он не мог говорить о причинах этого раздражения, она с большим трудом отучила себя от своей прямоты и теперь уже не спрашивала: что с тобой? что случилось? почему ты сердишься? что я сделала неправильно? — а пыталась действовать обходным путем, хотя у нее и было неприятное (но справедливое) чувство, будто она склоняется пред нервотиранией и, маневрируя, ставит себя в зависимое положение, противоречащее как ее натуре, так и намерениям. И все-таки она то и дело прибегала к этому, всякий раз безрадостно и безуспешно, и однажды в гневе у нее даже вырвалось, что единственная возможность не портить ему настроение — не попадаться на глаза.

Итак, Карл стоял перед запертой дверью и, естественно, злился, так как вечер был полон событиями — важными, даже решающими — и он ожидал встретить ее горящей нетерпением.

А она сидела в туалете! Надо же было случиться такому идиотизму...

Не обняв его, не подав даже руки, не засыпав вопросами, она стала говорить о сотне раз залатанных трубах и грубоватом слесаре.

Она хотела сперва помыть руки, а вопросы держала при себе, как ни трудно ей это было, ибо знала, что он не любил, считая невыдержанностью, неуважением, когда ее взволнованные расспросы разрушали построенную на кульминациях и нюансах композицию его рассказов. Его раздражало как раз то, что она делала, чтобы не раздражать его. Этого она не понимала, не могла понять, а если бы и поняла, то ничего не изменилось бы; он нашел бы другие поводы для недовольства, их всегда можно найти. Постичь же причины его недовольства, а тем более устранить их было за пределами ее возможностей. Оно было связано с только что закончившимся совещанием по поводу будущей библио-

течной деятельности обоих, от подробного описания которого мы здесь, к сожалению, должны отказаться, так как высокая инстанция, где было принято решение, оказалась слишком высокой для хроникера, закрытое дело слишком закрытым, обязанные молчать слишком молчаливыми. Таким образом, публичное останется глубоко интимным, в то время как интимное будет широко опубликовано. Сам Эрп, пострадавший, готов был сообщить только о результатах, но не о процессе их достижения (так что читателя придется отослать к внушительному количеству такого рода описаний в других романах).

Конечно, и в этом случае можно было бы сочинить: сизый от дыма воздух, напряженная атмосфера, бледные или красные от волнения лица, один беспрерывно курит, другой ест яблоко, застенчивый юноша, под конец находящий самые точные слова, старик, говорящий не по делу, а о своей жизни, один сыплет цитатами, другая отстаивает права женщин, впечатлительный, корчащийся от неловкости, похотливый, жаждущий услышать побольше подробностей, можно добавить еще тугого на ухо и, наконец, различные группировки: радикалы, приравнивающие супружеский долг к долгу государственному и стремящиеся усложнить дело развода для руководящих товарищей в той же мере, как оно усложнено для сицилийцев, либералы, желающие, чтобы социалистическое содружество имело место и в кровати, и нерешительные, своими «если» и «или» оставляющие все пути открытыми, чтобы под конец присоединиться к одержавшим верх. Можно придумать и выступления в прениях: «Факт остается фактом, у нас, как у членов партии, есть только одна возможность: возвращение к семье».— «Давайте же говорить честно: обманутыми всегда оказываемся мы, женщины. И если здесь кое-кто утверждает, что все мы не ангелы, то я могу только сказать, что тем самым обнажается больное место, с наличием которого нужно считаться».— «О чем здесь, собственно, речь? О политике ведь, не так ли, в данном случае осуществляемой при помощи книг, следовательно, об оптимальной действенности библиотечной работы, которая может быть гарантирована лишь в том случае, если испытанный руководитель останется на своем посту».— «Я считаю все выдвинутые здесь аргументы обоснованными и придерживаюсь еретического мнения, что решающим является следующий вопрос: какое мы примем решение? Вот что будет решающим. Разве я не прав?» И так далее. Но что это дало бы? Возможно, добавило бы литературной красочности и, может быть, вызвало бы даже ухмылку, но не приблизило бы нас к истине, а она заключалась в том, что серьезные люди изо всех сил, с максимальной деловитостью и трезвостью, старались разобраться в конфликте, в коем личное и общественное перемешивалось самым причудливым образом,— и это, конечно (при всем своеобразии высказываний) нашло свое выражение в имевшей место дискуссии: в (во-первых) длинной речи Риплоза (тут достаточно будет привести выдержку), в (во-вторых) коротком и полном достоинства объяснении Карла, в (в-третьих) выступлении в прениях Хаслера, оказавшем решающее влияние на (в-четвертых) постановление.

Итак, Риплоз: «...может, я полагаю, помочь культуре папуасов. Но зернемся к действительности, о которой Лоуренс Стерн, как известно, говорил, что нет ничего выше ее, а Гёте — что она должна направляться нашей волей, и я тоже так считаю именно в связи с нашим Карлом Эрпом, которого я однажды по ничтожному поводу, но (как выяснилось позднее) с полным основанием назвал ослом, имея в виду не глупого осла в народном понимании и не осла Гомера (сравнивающего, как известно, в одиннадцатой песне «Илиады» сражающегося Аякса с таким животным, которого никакими побоями невозможно выгнать с засеянного поля), а с ослом Буридана, место коего в историко-философском

хлеву, где он со времен средневековья стоит между двумя вполне достижимыми копнами душистого сена, одинаковыми по размеру и качеству, и в конечном итоге свалится мертвым, ибо при такой симметрии не сможет сделать выбора, что, разумеется, следует понимать не натуралистически, а символически, как поэтический образ, который я хочу начертать для Карла огненными штрихами на стене в виде предупреждения, в виде угрозы, ибо подобное известно нам еще от Валтасара, правильное имя которого, собственно, Белшарусур, сына последнего нововавилонского царя Набонида, или же от Гейне и Генделя, хотя обращенный к Карлу «Менетекел» *, конечно, ничего общего не имеет с богохульством, а скорее с человекохульством, которое он совершит, если не воспользуется священным правом решения, не употребит свободу воли, а будет ожидать вмешательства высших сил, которые возьмут решение на себя, но все это сказано и должно быть понято с оговорками, я подчеркиваю, что высказываю это лишь как подозрение, предположение, догадку, и говорю об этом лишь потому, что, короче говоря, придерживаюсь того мнения, что мы вправе и должны от него требовать только решения, как такового, и не более, дабы не постигла его судьба схоластического осла, а нас — калифа Омара, которого некоторые и вправду считают поборником физической чистоплотности, апостолом гигиены, поскольку он, согласно легенде, использовал книги всемирно известной Александрийской библиотеки для отопления своих бань, хотя делал это далеко не из гигиенических соображений, а потому, что полагал, будто только коран и его истолкования достойны того, чтобы их читали, и левые интеллигенты того времени наверняка воспринимали это как варварство по отношению к культуре, хотя публично указывали лишь на более высокую теплопроизводительность торфа и дров и надеялись, что угрюмые лица библиотекарей являются надежной защитой запретных книг,— все это, разумеется, для того, чтобы спасти книги, они ведь думали о мировой культуре и о будущем, калиф же — только о религии и престоле, то есть о политике данной минуты, то есть узко и слишком ограниченно, что сделаем и мы, если станем предписывать Карлу смысл его решения и забудем, что для нас и для библиотеки дело кончится быстро, для Карла же оно будет продолжаться долго, может быть даже всю жизнь, и тут нам не мешает вспомнить о страшном обычае индусов...»

(Конец выдержки.)

Во-вторых, заявление Эрпа: «Да, верно: я живу с коллегой Бродер и намерен развестись с женой. С тем, что мы не можем работать в одной библиотеке, я согласен; но не могу согласиться, что коллегу Бродер нужно поменять на коллегу Крача. Это, правда, было бы просто, но неправильно. Мы обещали ей место и должны выполнить свое обещание. Если говорить о вине, то она всецело моя, а не ее. И поэтому уйду я. Вот все, что я хотел сказать».

В-третьих, Хаслер: «Мы не имеем права облегчать себе дело, как в библейской истории с блудным сыном, вернувшимся под родительский кров голодным, грязным и покрытым струпьями, мы не имеем права без раздумий отмыть его и умастить, заклать тельца. А если собираемся хвалить его, то надо прежде спросить: за что, собственно, уж не за возвращение ли к затхлости стародавнего, за отречение, за малодушие, за тоску по перине? Мне кажется, требование вернуться во что бы то ни стало было бы торжеством абстрактной морали, чуждой нам. И если здесь вообще можно судить, то судить надо не по мерке

---

* «Мене текел фарес» — по библии, слова предостережения, появившиеся на стене во время Валтасарова пира.

сомнительных законов, а по законам действительности. А она такова, что, возможно, всем троим страдающим или действующим лицам новое положение пойдет на пользу. Во всех высказываниях о нанесении урона авторитету мне все время слышалось одно: надо наказать не того, кто так поступает, а того, кто признается, что так поступил, то есть честного. Что касается вопроса о кадрах, то тут я другого мнения, чем Карл, но не думаю, что мы должны удерживать его против воли, как мне ни жаль, ибо понимаю, что мы теряем в его лице: члена партии, который благодаря действенной силе любви нашел путь к новой жизни! Но я прошу его рассматривать свое перемещение не как эпитимию или наказание, а скорее как необходимую меру, которая, к сожалению, и для нас и для него чревата трудностями».

И Хаслер убедил. Об этом свидетельствует, в-четвертых, принятое решение: «Ко времени зачисления на работу практикантки Бродер заведующий библиотекой должен быть заменен. В поисках другой подходящей для него должности товарищу Эрпу будет оказана помощь».

Таким образом, Карл одержал двойную победу: над самим собой и над товарищами, но оснований для бурной радости это, конечно, не могло дать.

Точнее говоря: он был потрясен. Хотя его благородство было не просто красивым жестом, он все же надеялся, что его жертву не примут.

Он был опечален, что должен расстаться с плодом своих многолетних трудов, с библиотекой!

А оклад! Считалось то наказанием или нет, на деле оно им было, чего, конечно, не поймут люди, всю жизнь мало зарабатывающие, хотя бы фрейлейн Бродер, никогда еще не имевшая сберегательной книжки и вращающаяся главным образом среди людей, которым сумма, вырученная Эрпом, продай он, скажем, подержанную машину, и во сне не снилась. Соответственно этому она и реагировала вечером, то есть трезво: начала подсчитывать. Ее будущий маленький оклад плюс его будущий маленький оклад составляли вместе больше, нежели его нынешний оклад плюс ее стипендия. В чем же тогда беда? Да в том, что ее будущий маленький оклад и его постоянный большой оклад составили бы, естественно, значительно большую сумму, но, прежде всего — в ее реакции, заявил Эрп после исполненной трагизма паузы. Этого она не понимала, о чем и сказала ему, ведь они уже много дней говорили о предстоящем собрании, обсудили каждое слово, которое скажет Карл, и хотя у нее были совершенно иные планы, она в конце концов пересилила себя и согласилась с ним, но все время пыталась его убедить, что ему незачем приносить ей жертву, снова и снова уверяла, что для нее самое главное быть с ним вместе, в Берлине или где-нибудь еще (лучше где-нибудь еще), он ведь одного только боялся: как бы его предложение не отклонили, теперь предложение было принято,— чего же он хочет? Ничего, решительно ничего, все хорошо, за исключением ее обескураживающей реакции: он возвращается, весь дрожа от возбуждения, после великой битвы, а она несет что-то о водостоке! Но ведь ей хорошо известно, как его раздражают преждевременные расспросы, а за мужество она его уже хвалила — что, ради всего святого, она еще должна делать? Показать, что это касается и ее, ну как-нибудь, что-нибудь, только не безразличие, не хладнокровие! Но ведь это же вовсе не хладнокровие, а трудно дающаяся сдержанность, которой он постоянно требовал. Да, но не в такой ситуации: в конечном счете только что рухнуло дело всей его жизни, и он остался ни с чем! Значит, она вдруг стала для него ничем? Какая чепуха! А как же понять это иначе? В том-то и беда, что она не могла его понять, может быть, потому, что несчастье обрушилось на него одного; странно только, что других она, судя по всему, лучше понимала, хотя бы этого идиотского писаку Эбау, например.

«Прошу тебя, Карл, прекрати, пока ты еще не все разрушил».— «Господи, это дурацкое воркованье голубей сводит меня с ума, и эти белые стены, и эта теснота!»

Она была ему плохой женой. Вместо того чтобы оценить вентилирующие функции маленькой семейной ссоры, она обиделась на его нелогичность и ушла— к Шамиссо, к стоящим на якоре у Национальной галереи баржам и обратно к Мендельсону, чью жену Фромет она всегда представляла себе за раздачей на десерт изюма, как иные представляют себе вертеровскую Лотту за резанием хлеба. Мендельсонам тоже пришлось долго ждать своей свадьбы, но не потому, что Моисей боялся адвоката, а потому, что количество еврейских браков ограничивалось законом, и только смерть одних очищала путь другим. Как же неудачны все исторические параллели, в особенности трагические! Элоизе и Абеляру, Изольде и Тристану, Джульетте и Ромео легко было возвеличить свою страсть, усиливаемую препятствиями. Как мало героического — если сравнивать — в том, чтобы пережить неприятности развода, собрания, тесноту в квартире, перемену места работы (необходимость которой к тому же можно понять), сколько мелкого в этом медленном распаде, в этих подспудных разладах, в этих едва заметных потрясениях, которые однажды дадут широкую трещину. Сопротивляться этому пожалуй, трудней. А справиться нужно. И все же девушка, как будто хладнокровная, приходила в ужас от страха, вдвойне мучительного потому, что он уже не мог быть предметом обсуждения. Эрп воображал, будто принес ей жертву, требовал благодарности и попросту не обращал внимания на то, что она все время противилась его решению, не потому, что думала о нем, а потому, что думала о прочности их любви, которую односторонняя нагрузка поставила под угрозу. В конце концов, он не был создан ни героем, ни мучеником: его можно любить (женщин, мечтающих о героях, конечно же, значительно больше в книгах, чем в жизни), но — и в этом задача — надо уберечь его от переоценки собственных сил; отсюда и ее предложение — уехать вместе в деревню! И тут снова завертелась карусель. В деревню? Да, этого никто бы им не запретил. Значит, она хочет принести жертву? Нет. Да. Нет. Да. Ни в коем случае! И это действительно не было бы жертвой, давно уже. Она тревожилась только за свою любовь, понимала, что он не сможет долго выдержать подъезд Б, что ее последняя возможность — начать совершенно новую жизнь где-нибудь в другом месте, в новой обстановке, среди других людей, в равных для обоих условиях. Разве она действительно никогда не мечтала о весне в деревне? Разве она действительно когда-нибудь думала, что без Берлина зачахнет? Что ей теперь Берлин! Но что для него Берлин? Трезвое объяснение его поведения гласило: он и после перемены работы может остаться в Берлине, она — нет. Однако что его здесь удерживало? Не библиотека же. Тем более не подъезд Б. Что же тогда?

Иными словами: вместо того чтобы признать за ним мужество и способность к победе над самим собой, она не доверяла ему. И это в момент, когда он доказал, сколько в нем силы, проявил величие, которого ей недоставало в наше время.

Ничтожное сопротивление общества придало ему силы для героического жеста. Но устоит ли он при обычных обстоятельствах, не наталкиваясь на сопротивление? Страх ее был страхом перед неопределенностью. И вынести ее она не могла, разве что ей удалось бы сделать ее стимулом к действию. Он пытался увильнуть от какого бы то ни было решения, она шла напролом. Она знала, что поиски счастья всегда связаны с риском, и не боялась его. Ибо она искала необычного, пусть даже связанного не с героизмом, а с самой что ни на есть обыденностью.

Если правда, что величие порождается преодолением препятствий, то наше разумное общество не являет собой почву для историй о великой любви.

Возможно. Но это говорит в пользу общества.

И против Карла.

Само собой разумеется.

23

В этой посвященной концу недели главе речь пойдет о весне, о доме, саде, детях, о курах, о хвале лени, кончиках сигар, Аните, о знакомом, но безымянном полицейском, звуках фанфар, о неожиданном повороте благодаря конному вестнику короля — хотя, в сущности, речь будет идти только об Эрпе, у которого все это фигурировало в монологах, конечно, скачкообразных, слегка хаотических, как то бывает обычно. Проклятье еще только шесть а гнездо воробышка пусто более неподходящего ласкательного прозвища наверно сроду не существовало ведь ничего в ней нет по-воробьиному маленького правда ли что можно определять по рукам или у мужчины по носу чушь какая-то опять спал всего пять часов бессонница превращает в импотента как она надрывается эта типография почему у нее нет хоть одной свободной субботы быть одному тоже не сахар и его больше нет а магазины битком набиты как эти... Так или в таком роде можно было бы создать иллюзию зеркального отражения, но зачем? Важнее ведь порядок и читабельность. И поэтому глава начинается так:

При пробуждении Карл не улыбался, хотя мгновенно вспомнил о начавшемся для него в этот момент свободном и одиноком конце недели, который он предвкушал, как ребенок — рождественскую елку, и который теперь воспринял как отпускные дождливые дни в холодной комнате гостиницы: пустые, тоскливые, бесконечные. Это знакомо каждому — вначале сладостное предвкушение дней безделья, часов, когда полностью принадлежишь самому себе, а потом разочарование: безделье осточертевает; чтобы чувствовать себя самим собой, нужна деятельность, эрзацем отдыха оказываются воскресные занятия: футбольные площадки, танцы, пикники, садовые участки, хобби. Это открытие делается не однажды, а стократно, как видно на примере Карла, который надеялся за десять экзаменационных дней своей возлюбленной в Лейпциге взобраться на гору отдохновения и в первые же свободные минуты упал в яму уныния. А в это время утреннее солнце сияло на зазеленевших кладбищенских каштанах, липах и ясенях, чирикали воробьи, черный дрозд (это, да будет известно фрейлейн Бродер, черная птица величиной со скворца, с желтым клювом), еще хриплый с зимы, пытался спеть свою первую любовную песнь, с непривычки получилось не блестяще, но вполне подходяще для начала весны и нетребовательных жильцов заднего дома, вполне подходяще и для того, чтобы семена отчаяния пустили в Карле крепкие ростки: бесконечный конец недели, он один, без работы, без предстоящей радости свидания, без цезуры в виде какого-либо дела; солнечное утро в асфальтовой пустыне, кладбищенский оазис, который лишь будит воспоминание о потерянной реке, потерянном саде; весенний день, все еще причиняющий боль своей быстротечностью, все еще полный эйхендорфской * (а может быть, и грипсхольмско-рейнсбергской **) тоски по не омраченной повседневностью любви, красоте, радости, оттененной сознанием, что такого не

---

* Эйхендорф, Иозеф (1788—1857) — поэт, представитель немецкого романтизма.

** «Замок Грипсхольм» («Schloß Gripsholm») и «Рейнсберг» («Rheinsberg») — романы Курта Тухольского (1890—1935) о любви.

существует, затуманенной разочарованием, но неизбывной! Тут не могла утешить ни свободная раковина, ни сразу же убранная постель, ни процеженный кофе и спокойно выкуренная утренняя сигарета, и даже шум, поднятый детьми, которые радостней (и шумливей) обычного отправлялись в школу, напротив: именно чужие дети вызвали в нем желание повидать собственных.

Что было лишь поводом, как мы увидим из дальнейшего. Даже по дороге к ним он думал не о них, а усадил рядом с собой фрейлейн Бродер и повел с ней разговор о памятниках самому себе, расставленных вдоль горного пути его маленькой (теперь внезапно оборвавшейся) карьеры: бывшее библиотечное училище (памятное еще и из-за первого восхищенного взгляда, брошенного на Элизабет), вокзал Яновицбрюке (где он впервые ступил на берлинскую почву), Фрухтштрассе (которую он помогал очищать от развалин), Обербаумбрюке (место вторжения в Западный Берлин для агитационных акций), Руммельсбург (его первая меблированная комната, и как меблированная!), Обер-Шёневейде (поиски квартир для участников всемирного фестиваля), Пионерская Республика (поток слез по поводу смерти Сталина), Кёпеник (палаточный городок), Фридрихсхаген (первая практика), по шоссе открытый грузовик снова увозит его в деревню, снова Элизабет стоит в полотняном платье, здесь начинались велосипедные прогулки, походы с Элизабет: Элизабет, Элизабет! Теперь на нее не было табу, она была частью его жизни, значительной частью, как и дети, оба родились в Кёпенике, в одной и той же клинике; при посещении двухчасового Петера с ним был Мантек, которого медицинские сестры и почли отцом, его же самого не принимали всерьез.

Ага, все-таки дети!

Но только так, между прочим, и все время он обращался к фрейлейн Бродер, даже когда медленно проезжал по поселку на Шпрее и был горд, что знает, кто живет в этом доме, а кто в том, что такая отделка называется грубой штукатуркой, а желтые кусты — розы «Форсайт», и как добиться, чтобы живые изгороди были густыми, и что трудно достать луковицы крокусов, и что Элизабет в саду интересуют только цветы, его же, напротив,— фрукты, и Элизабет говорит... Элизабет, Элизабет. Ее не оказалось дома! И никого не оказалось дома. Да и кто там мог быть? У детей суббота не свободна. Но у него ведь были ключи, ключи от сада и ключи от дома. Грядки в палисаднике перекопаны, дорожки расчищены, тюльпаны поднялись на пять сантиметров; три-четыре подснежника еще цветут, и фиалки вдоль стены дома; пробился уже шпорник и касатики, гиацинты, декоративный чертополох и ирисы. В передней еще висели зимние пальто детей; они вызывали такое же чувство, как вещи, оставшиеся от покойников: не столько печаль, сколько ненависть к вещам, более долговечным, чем человеческая жизнь. Но это чувство появилось и исчезло в одно мгновение; и вот он уже взбежал по лестнице в свою комнату. Еще знакома, но уже непривычна эта манера взбегать по лестнице: одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять маленьких ступенек, скрипящих и крутых, как у приставной лестницы, узкие перила, запах дерева, темнота, холодная дверная ручка (маленькая, как ручка ножа) и потом неожиданно светлая комната и пугающий беспорядок: на полу конфетные бумажки и кубики, кровать не убрана, письменный стол завален книгами, тетрадями, разным хламом, полки покрыты пылью, книги разбросаны. Двух томов энциклопедии не хватает; раскрытые, они лежат на письменном столе: половые органы женщины, стадии беременности. Неужели Петера уже занимает это? Разве у него (Карла) страсть к энциклопедиям не родилась позднее? Значит, Петер уже не заинтересован больше в возвращении отца. А кто-нибудь вообще заинтересован? Может быть, не желают,

чтобы он смотрел в это окно: на переливающуюся на солнце реку, на яблони с острыми и круглыми почками, на розовое цветение персиков. Профессор отсутствовал. Может быть, он болен или умер? Или просто уже поздно? Солнце стояло над лесом, да, уже не время ловли рыбы, а время сидения за письменным столом; при открытом окне теплые лучи солнца падали на руки и темя. Предобеденные часы дома у письменного стола: солнце, лесной аромат, запах воды, гудки буксиров! А потом снизу голос: прошу к столу!

Чей голос?

Конечно, фрейлейн Бродер, которой, однако, в этой желанной роли должно быть присуще многое из того, что свойственно Элизабет — скромность, отсутствие тщеславия, умение приспосабливаться или, грубее говоря, услужливость. В придумывании идиллий Эрп достиг большого мастерства. Он навел порядок на письменном столе, вытер пыль со столешницы и сидел (подставив солнцу руку и голову) неподвижно, наблюдая за качающейся на сосне вороной и припоминая всякие сентенции в похвалу лени, безделья, праздности: лень как нравственное достоинство, и если сократить и перевести на язык формулировок этот богатый отступлениями, обрывками мыслей внутренний монолог, то получится примерно следующая грандиозная мысль: кто ни к чему не прикасается, не может запачкаться; кто не двигается с места, не может ушибиться.

Так Карл не думал, он думал примерами, думал о себе самом, о своих юношеских порывах, о том, как долго был во власти иллюзий и честолюбия, придававших всякой догматической утрировке ультраутрированный характер, вспоминал отца и прежде всего своего соученика по садоводству Айзенхардта, который проспал не только свой практический экзамен на звание подмастерья в теплице (с надписью величиной в человеческий рост: «Выращиваем томат для наших солдат!») и вслед за этим все военные тренировки, но в конце концов и битву за Аахен и который таким образом (в противоположность всем одержимым, помешанным на любви к отечеству и долге) счастливо пережил весь кошмар того времени. Разве тогда, задавал себе вопрос Карл, усердные и восторженные не были ужасом мира, а равнодушные — хранителями человечности? Разве тогда старательные не были смазочным маслом для орудий смерти, а нерасторопные — песчинками, которые хотя и не могли остановить машину, но вредили, замедляя ее ход?

Точно установлено: Эрп пытался построить защитное сооружение для заветного существования в кресле у окна, сколачивал воображаемое убежище из ящичных досок, без фундамента, кривобокое и водопроницаемое, к тому же незавершенное, незаконченное, потому что он скоро бросил это занятие, перестал возиться со своей искусственной постройкой, ибо, во-первых, был достаточно умен, чтобы понять, что она годилась лишь (если вообще годилась) для прошлого (когда безделье было лучшим делом), и, во-вторых, в саду, в своем саду, увидел людей, двух стариков (его — в морской фуражке, ее — в платке), начавших перекапывать освященный двенадцатилетними заботами газон. Разумеется, он тут же ринулся к окну, закричал, заорал, завопил — междометия, вопросы, ругательства, но без всякого успеха (за исключением того, что ворона взлетела с дерева и скрылась в направлении леса), помчался вниз по лестнице, через комнату (знакомую читателю по рождественскому торжеству) на террасу и в сад, пока не оказался перед лицом (морщинистым и краснощеким) злоумышленников, которые держались совсем не как таковые,— напротив, они отнеслись к нему самому как к злоумышленнику, сердито спросили, как он сюда попал, через какую дверь (существовала всего одна, и она, по их мнению, была заперта) и что ему здесь надобно. Они задавали вопросы одновремен-

но, но разные, и так как Эрп считал, что задавать вопросы вправе только он, он их и задавал, и таким образом говорили все трое, очень громко и сумбурно, пока старики не сдались, и тут выяснилось, что они туги на ухо, старик как будто меньше, чем старуха, потому что все, что он понял (или недопонял) из истошного крика Эрпа, он орал ей в ухо через сложенные рупором ладони: «Он говорит, что он муж».— «Какой муж?» — «Да муж госпожи Эрп».— «Это который сбежал?» — «Он самый».— «Значит, он вернулся?» — «Он говорит, что нет».— «Значит, он не господин Эрп?» — «Нет, это он».— «Значит, он все-таки вернулся?»— «Он говорит, что пришел в гости».— «Какие кости, госпожи Эрп нет дома».— «Он... сюда... в... гости... пришел».— «Но госпожи Эрп нет дома, у нее свидание, и она вернется поздно. А дети придут к обеду».— «Он ведь не гость, он господин Эрп».— «Значит, все-таки... Добрый день, господин Эрп! Что он говорит?» — «Он спрашивает, почему мы перекапываем газон».— «Боже мой! Но кто же это сделает за нас? Дети наши умерли, и кому охота заботиться о старых людях».— «Он хочет знать зачем».— «Из-за кур, конечно».— «Он спрашивает: каких кур?».— «Всех кур. Вы что же, думаете, я только родлендерским даю кукурузу, а леггорнов откармливаю картошкой?» — «Он говорит: «Значит, вы хотите посадить здесь кукурузу», а я говорю: «Да». А он: «Кто вам дал право?» — «Право на семена? Все было очень даже честно, а вообще это вас не касается! Понятно?» Это, конечно, Эрпу было понятно, и после нескольких минут дальнейшего крика он понял и то, почему именно на его газонах должна быть посеяна кукуруза: Элизабет заключила договор со стариками — они будут поддерживать порядок в саду, а за это могут делать там все что угодно — и сеять и жать, с двумя лишь ограничениями: не трогать цветы перед домом и прибрежную площадку для игр детей. В Эрпе пробудились навыки подъезда Б: отступая, он ругался, правда, слишком тихо для старческих глухих ушей. Он чувствовал себя преданным, обойденным, постыдно обманутым. Он тянул с разводом, чтобы избавить Элизабет от горечи бесповоротности, и вот ее благодарность за все. Значит, и тут, с этой, доныне казавшейся столь надежной, стороны началось уничтожение дела его жизни! Где еще во всем поселке на Шпрее был такой большой, великолепный газон? Сколько часов, дней, недель провел он за эти двенадцать лет только за подстриганием его, сколько гектолитров воды вылил, сколько центнеров удобрений вложил! Пассажиры проходящих мимо прогулочных пароходов обращали внимание друг друга на его газон, спортсмены прекращали гребли, чтобы медленно проплыть мимо. Петер и Катарина могли объяснить расположение своего дома, просто упомянув прекрасный газон. Теперь там будет расти кукуруза, кормовая капуста, свиные бобы. «Свиные бобы»,— повторил он несколько раз; это, казалось, выражало всю меру несчастья: свиные бобы вместо английского газона! Он ни разу не оглянулся с террасы, запер дверь и осмотрелся в комнате, где все было как прежде, только в беспорядке. Окна не вымыты, пыль на серванте, на полу лепестки увядших цветов, две водочные рюмки на столе, початая бутылка на ковре. Он налил себе и выпил, а когда ставил стакан на место, увидел кончики сигар в пепельнице, и все в нем возопило: измена, измена! Элизабет не курила сигар. Он встал в передней перед зеркалом и посмотрел на себя. Неужели все против него, потому что возраст явно давал о себе знать — живот стал круглей, лоб выше, залысины больше, морщины вокруг глаз глубже, зубы желтей, десны поползли вверх. А водку он теперь совсем не переносил, особенно до обеда, и она нарисовала ему ужасающие картины: Элизабет, с отчаяния спившаяся, приводит с улицы мужчин, устраивает оргии, кричит, стонет так, что просыпаются дети! Он побежал в ее спальню. Кровать была не убрана, ночная сорочка висела на стуле,

больше ничего подозрительного он не обнаружил, но лента кошмаров продолжала разворачиваться: двое в ванне, в постели, испуганные дети за дверью! Тут с улицы донеслись детские голоса, и его охватил страх при мысли о встрече с собственными детьми. Он побежал в свою комнату, восстановил беспорядок на письменном столе, раскрыл тома энциклопедии и закрыл окно. В машине он вновь обрел уверенность в себе, медленно поехал по дороге в школу, туда, обратно, снова туда, остановился за школой, под прикрытием придорожных деревьев, курил, ждал, отворачивался, когда мимо проходили люди, наблюдал за играющими в футбол мальчишками, за девочками в черных трико, занимающимися гимнастикой. Иногда учительница косилась в его сторону: что за похотливый старикашка — не может оторвать взгляда от подпрыгивающих грудей? Неужели действительно прошло столько времени с тех пор, как школьный звонок звонил и ему? Он сразу же увидел Катарину в толпе детей. От ворот до улицы она побежала наперегонки с тремя девочками и одержала победу, но потом перестала спешить, остановилась, размахивая руками и смеясь, среди других и наконец под руку с черноволосой кудрявой девочкой побрела прочь. Он развернулся, медленно поехал следом, а когда черненькая обернулась, дал газ и промчался мимо, быстрее, чем дозволено, повернул на автостраду, стремясь куда-нибудь, только не домой, прибавил скорость, но ничто не помогало, хотел где-нибудь пообедать, но не решился свернуть, потому что и справа и слева все было полно воспоминаний, а их с него теперь довольно, и он остался на автостраде, сделал полукруг вокруг Берлина, наконец где-то пообедал (Саармунд ли то был, или Михендорф, или Ферх?) и в дурном настроении (из-за безрассудных расходов на бензин) к вечеру вернулся в город, к Хакешермаркт, где его снова охватил страх перед безотрадностью пустой, без Бродер, комнаты, и он опять развернулся и поехал к Хаслеру, услышал сквозь тонкие стены новостройки, как тот с кем-то разговаривал, не осмелился помешать и повернул обратно. Более миллиона жителей насчитывала столица, но не было среди них ни одного человека, которого он мог бы без стеснения навестить в свободное время. Пойти к Мантеку он не рискнул, тот, наверно, в кино или в театре, а если и дома, то по какой-нибудь причине: из-за гостя, или работы, или телепередачи.

Он вспомнил даже о безымянном полицейском: ему бы он без стеснения рассказал, каково у него на душе — скверно, дьявольски скверно, потому что он открыл, что не только не привык к комнате в заднем доме, но никогда и не сможет к ней привыкнуть, что он чувствовал себя там несчастным не только с воробышком, но и без него, что он не только окончательно растранжирил свою свободу, но даже не сумел воспользоваться ею во время краткосрочного отпуска из добровольного рабства, что почитание чужой воли и чужого мнения ему больше просто не под силу, хотя он (и это главное) не мог оставаться один.

Однако вечером он оказался вовсе не один: из окна свесилась (замещая своего мнимого отца, ушедшего в кино) Анита, заговорила с ним, получила ответ (потому что он был так одинок), ответила сама; затем в продолжение долгого разговора о хорошей погоде ее экзотическое лицо маячило сперва над ним (оттого что он стоял на улице и говорил, подняв к ней голову), позже под ним (оттого что он вошел к ней, сидел за столом и был выше ее ростом); потом он выпил рюмочку (от которой отказался при первом посещении старого Пашке), позже вторую, еще позже третью; потом она лежала на шезлонге (потому что синие джинсы с их содержимым не могли под большим вальштейновским обеденным столом должным образом показать себя); потом он освоился с мыслью: лишь бы не быть одному, Элизабет ведь не запрещала мне этого, у человека столько свободы, сколько он сам себе

дает,— а ей стало слишком жарко в пуловере, и она встала, чтобы стянуть его через голову, что не сразу удалось, поскольку голова была слишком велика, а вырез слишком мал, и пришлось долго стоять перед ним с поднятыми руками, с закрытым лицом, в хорошо наполненной перлоновой блузке, пока он (потому что он не мог быть один) с благотворительной целью приблизился к ней на шаг, расстегнул молнию, и в благодарность за это (хотел он того или нет, а пока он еще не хотел) она повисла на его шее, темная роза без шипов, мягкая, и по-южному теплая, и посерьезневшая, очень посерьезневшая, словно перед трудной задачей, непривычная в своем темнокожем обличье, но уже не противная; потом расстегнулись пуговки блузки, и там тоже было темно, но не в комнате, почему и понадобилось подойти к окну, чтобы с помощью занавесей преградить доступ свету, но попутно он бросил на улицу взгляд, обнаруживший наряду с привычным зрелищем (пивная, автомобиль, играющие дети) мужчину, который искал какой-то номер дома и (сам того не подозревая) заставил Эрпа отдернуть руку от розы, привести в порядок волосы, галстук, пиджак, броситься к двери, в подворотню, через двор, через восемью десять ступеней (то есть на пятый этаж), открыть дверь, захлопнуть ее, схватить книгу с полки, положить ее раскрытой на стол, упасть, тяжело дыша, в кресло и начать ждать.

Ищущего какой-то номер дома мужчину!

Ангела-спасителя!

Неожиданного поворота событий!

Фреда Мантека, конного вестника короля!

Тот заставил себя прождать некоторое время, так как не сразу нашел цель своей скачки, начал систематические поиски, то есть сперва рысью обскакал передний дом и тем самым дал Карлу время испытать усиливающийся страх перед визитом и поразмыслить над оборвавшимся приключением, из-за которого он сердился на себя, но не очень, потому что тут же подвернулась теория: мужчина бессильнее перед навязчивыми женщинами, чем женщина перед навязчивыми мужчинами, сопротивляющиеся женщины слывут добродетельными и стойкими, порядочными и умными, а сопротивляющиеся мужчины, напротив, оскорбляют женщин, кажутся им слабыми, трусливыми или неполноценными; что вселяет к женщине почтение, то делает мужчину смешным, и поэтому... Но тут раздался звонок, и Эрп разыграл неподдельное изумление, отлично замаскировал страх и внутреннее напряжение, не издал ни звука при пытке, которой подверг его Мантек тем, что не стал трубить в фанфары, бить в барабан, не развернул державный пергамент, не спешил и не важничал, не предвещал неожиданного поворота, а скорее вел себя, как вел бы себя любой, то есть вначале сказал что-то о доме («Это ужасно, надо выбираться отсюда, вы уже что-нибудь предприняли?»), и о комнате, и о красотище в золоченой раме, спросил о коллеге Бродер, передал привет от жены, не отказался от рюмки водки, без признаков нетерпения выслушал длинные рассказы Эрпа о доме и его обитателях, и когда наконец приступил к теме, то стал медленно и с наслаждением выкладывать содержащиеся в туго набитых переметных сумах мысли и соображения; он начал с диалектически развивавшихся и лишь теперь окончательно сложившихся суждений о браке Эрпа, любовной связи Эрпа, руководящей деятельности Эрпа, его усталости и новом подъеме, все это долго комментировал, анализировал, конкретизировал, абстрагировал и только потом снял с плеча курьерскую сумку, сломал печать и возвестил решение министерства: поскольку в связи с последними событиями больше не может быть речи о пошлом флирте как следствии легкомыслия, зазнайства, пресыщенности, недисциплинированности, аморальности, безответственности, волокитства, авантюризма или баловства и весь ход событий скорее

свидетельствует о твердости характера, последовательности и серьезности, о том, что мещанское самодовольство, инертность и равнодушие преодолены, а издавна присущие активность и мужество обретены вновь, предложение Мантека в соответствующей инстанции (министерстве) пало на благодатную почву — принято решение использовать опыт Эрпа в центральном руководстве, его официально спрашивают, готов ли он занять пост в министерстве.

В Берлине?

В Берлине, и без уменьшения прежнего оклада. Таким образом, все создавшиеся конфликты окончательно разрешены государством, и этим доказано, что великие любовные истории в обществе, пекущемся о благе человека, невозможны.

Но для Карла дело заключалось не в великой любовной истории, а в преодолении тягот повседневности, поэтому реакция его была более чем странной. В ответ на предложение он не сказал просто «да», а начал говорить обиняками.

Особого счастья он действительно не испытывал в связи с устранением всех внешних помех. Уж не потому ли, что теперь его решения были окончательно лишены всякого героического оттенка? Но он мог ведь и отказаться от предложения. (Многие до него уже поступали так!) Карл говорил обиняками, это верно, но если опустить все несущественные слова его получасового ответа, останется только: да, да, да!

24

Как попали кончики сигар в пепельницу Элизабет?

Если бы Эрп, вместо того чтобы дать волю своим чувствам, пошел по бразильскому следу, то наконец возникло бы нечто интригующее, а достигнуть этого задним числом, путем сложных изысканий, хроникеру невозможно: он спросил Элизабет, и она ему ответила. Вот и все.

Хаслер?

Разумеется.

Любовная история?

Нет, нет. Конечно же нет. Невероятно. Трудно предположить. Во всяком случае, нет никаких доказательств. На соответствующий вопрос Хаслер ответил без ссылок на библию и с непривычной краткостью: «Не во мне дело!» — что дает повод кое-что заподозрить, но в еще большей степени оставляет вопрос невыясненным и не позволяет строить догадки, поскольку ответ ясно давал понять, что дальнейшие расспросы нежелательны. Для Элизабет же подобные тенденции в себе и в нем остались незамеченными. Она обратилась к нему, он пришел, курил сигары, пил водку, спрашивал, говорил цитатами из библии, обещал помощь и пригласил Элизабет в субботу к себе. Если бы Эрп, обескураженный голосами за дверью, не повернул обратно от квартиры Хаслера, он накрыл бы их обоих — да еще и третьего, которого мы здесь однажды упомянули под фамилией доктора Бруха и (как второстепенную фигуру третьей категории) не будем описывать слишком подробно.

Любовная история?

Нет, две! Но не между Элизабет и Брухом, а одна между Брухом и Брухом и другая — между Элизабет и некоей специальной областью, имеющей отношение к современному искусству.

Дело в том, что Хаслер пустил в ход завязавшиеся на новогоднем вечере у Мантека знакомства, чтобы содействовать бегству Элизабет из ведомства народных библиотек. Он знал, что руководящие библиотечные товарищи не одобрят такого поступка, но это его мало волновало. Он всегда (по мере возможности) поступал так, как считал правильным, и поэтому внимательно выслушал все доводы Элизабет, согласился с

ними и тотчас же взялся за телефонную трубку. «Добрый вечер, говорит Хаслер. Надеюсь, вы еще не спали... Именно, я беспокоюсь о вашем институте; надеюсь, он растет и процветает... Да, отлично... А сотрудники?.. Печально, печально, но, может быть, тут я смогу вам помочь. Не нужна ли вам библиотекарша?.. Нет?.. Этого вы можете дожидаться до второго пришествия. Искусствоведа, разбирающегося в библиотечном деле, не бывает... Да, совершенно безнадежно. Есть только один выход: растить кадры! У меня тут кое-кто на примете... Да... Разумеется, точно, как аминь в церкви... Лучше всего уже завтра... хорошо... до завтра. Ну вот!» Последнее относилось к Элизабет, которая плохо спала в эту ночь, потому что искала ответа на два вопроса, которые ей обязательно зададут: почему вы хотите уйти со старой работы? Почему вы хотите работать именно у нас?

И вопросы эти были заданы, хотя и несколько по-другому сформулированные, в субботу после обеда на холостяцкой квартире в новостройке; Хаслер курил сигару и не мешал Элизабет говорить, уверять, пояснять, что было не легко в присутствии мужчины, чьи пальцы беспрестанно вертели свободно сидящее обручальное кольцо, чей взгляд был устремлен поверх нее через окно в пустое синее небо, где он, не найдя, за что зацепиться, блуждал из стороны в сторону, и чей рот то и дело открывался, чтобы с шумом втянуть воздух перед обильным словоизвержением, долго задерживаемым и наконец прорвавшимся, когда Элизабет кончила, замолкнув в ожидании ответа — согласия, возражения или недоумения; однако его не последовало, так что ей и по сей день неизвестно, слушал ли вообще господин Брух ее заранее обдуманные бессонной ночью речи, а если слушал, то понял ли их, что было затруднительно, ибо она не владела мастерством отточенных формулировок и скорее чувствовала, чем знала, что нужно сказать. А хотелось ей сказать следующее: она вернулась к своей профессии в надежде на обновление посредством работы, полушарие должно было превратиться в шар, спутник — в самостоятельное небесное тело. Это оказалось труднее, чем она предполагала. Великая семья народных библиотекарей приняла ее, но не как коллегу Эрп, а как жену коллеги Эрпа, как покинутую жену, к которой надо относиться с жалостью, сочувствием, ободрением или (редко, и то исподтишка) с насмешкой. Она не обвиняла никого, кроме себя (за свою чувствительность); ведь факты оставались фактами, их нельзя было изменить, и меньше всего это могли сделать доброжелательные и приветливые, подчеркнуто державшиеся так, словно фактов этих не существует, и тем самым наглядно подтверждавшие их существование. Если в ее присутствии кто-нибудь упоминал имя Эрпа или наименование его библиотеки, то говорившему редко удавалось сохранить непринужденность, а если и удавалось ему, то не удавалось ей. Она непрерывно старалась освободиться от Эрпа, но это-то и связывало ее с ним все крепче. Элизабет хотела хорошей работой доказать себе и другим, что она не только бывшая жена-содержанка, которой теперь скрепя сердце приходится самой зарабатывать на содержание; но доказывала она лишь то, что любое ее усердие — усердное равнение на него, любое стремление — стремление приблизиться к нему, любое усилие — усилие быть на его уровне; то, что искала она, он уже нашел, чему сейчас училась она, он давно уже знал. Никогда Элизабет не испытывала больше ощущения, которое у нее было во время беременности и которое она мечтала вернуть: это могу только я! Вот откуда ее желание бежать из библиотеки. Очень понятное.

И господину Бруху тоже? Он вертел кольцо на пальце. Уж не волшебное ли это кольцо, которое только после трехсотого поворота обеспечивает исполнение желаний? А чего он, собственно, желал? Получить наконец возможность говорить? Вот он уже накачал себе полные легкие

воздуха. Но ей нужно еще ответить на второй вопрос. Почему именно изобразительное искусство? Брух в самом деле хотел это знать? Рассчитывал ли он на откровенность? Не ожидает ли каждый в таком случае знаменитой формулы всех домогающихся места: уже с малых лет моей сокровенной мечтой было стать тем-то и тем-то? Не требуется ли, чтобы претендент взял на себя труд солгать для того, чтобы засвидетельствовать серьезность своего намерения? Но если бы Брух и не уставился на небо (может быть, в надежде, что его отвратительные желто-серые глаза от этого поголубеют), если бы посмотрел на нее умоляюще: пожалуйста, облегчите мне задачу, соврите,— она все равно не смогла бы солгать. Она должна быть честной; ей ведь все равно, современное искусство или история экономических учений, инженерная психология, подземное строительство или криминалистика, ей нужна специальность, все равно какая (лишь садоводство, литература и библиотечная наука исключались); ее познания были невелики, это верно, но она войдет в курс дела, будет стараться, как никто другой, станет учиться, читать, изучать все, что нужно, возьмет себе помощницу по дому, от сада она уже отделалась, может быть, имеются вечерние курсы, может быть — заочное обучение, может быть, есть возможность стать вольнослушательницей, все, все она испробует. Да. Так обстояло дело. Элизабет кончила.

И стала ждать.

Обручальное кольцо Бруха больше не вращалось. Глаза его (все еще желто-серые) перестали блуждать. Воздух был выпущен вместе с потоком слов, не имеющих никакого отношения к ней, только к нему. Он говорил и говорил: о себе, о своем институте, о современной архитектуре, о себе, о современном пластическом искусстве, о себе, о современной живописи, о себе, об университете, о себе, о социализме, о себе и еще раз о себе и об архитекторах, скульпторах, живописцах, которые без него были бы ничем, и о социализме, которого без него не было бы, и об институте и его значении, которого без него он не обрел бы, и когда Брух кончил, возникла смутная догадка, что он в самом деле был крупной величиной, и твердая уверенность, что он тщеславен, как, да, как кто? Тут невозможны сравнения: ибо самое подходящее, само собою напрашивающееся, а именно сравнение с павлином, здесь не годилось, павлин ведь глуп, как пробка, и кичится своей красотой, чего нельзя сказать о Брухе: он ни красив, ни горд своей (мнимой) красотой, а глуп лишь в том уголке души, где расцветает тщеславие, тягостное и смешное, но безвредное для того, кто не ищет с ним человеческого контакта,— последний исключается. Но эта мысль никому не приходила в голову, не пришла она и в голову Элизабет, нуждавшейся не в человеке, а в специальности, ожидавшей не сближения, а ответа, молча (что ей было нетрудно), нетерпеливо (что было ей несвойственно) и наконец даже гневно, когда Брух, все еще восхваляя собственные деяния, собрался уходить. Тут она его не пустила, тут она преградила ему дорогу, став (тихая, мягкая, терпеливая) в позу: только через мой труп...— и потребовала ответа, есть ли у нее шансы. Брух снова смотрел мимо нее в окно, и взгляд его снова блуждал из стороны в сторону, хотя на небе было достаточно звезд, чтобы зацепиться за одну из них, однако кольцо он не крутил, только один раз втянул воздух и тут же выпустил его: «Мне нужна искусствоведка! Но если вы считаете, что в короткий срок станете ею, то, пожалуйста, подавайте заявление. Можете начать с первого числа, хотя это и не полагается, но я... я... я». Ну, это можно опустить.

А Хаслер тем временем курил сигары и только однажды, после второй, вставил реплику, как будто пояснительную для Бруха, но не совпадающую с тем, что пыталась высказать Элизабет, скорее даже

фальсифицирующую. Может быть, он думал, что так Брух лучше поймет, и неправильное, но понятное объяснение предпочтительнее непонятного, но правильного? Может быть, он полагал, что лучше, чем Элизабет, знает правду? Или хотел (в своекорыстных целях) только проверить ее реакцию? Хаслер сказал: «Ей хочется доказать мужу, на что она способна». Элизабет не согласилась с этим.

Но и не возразила.

25

Хорошо было бы и очень пошло бы на пользу этой главе (а именно — ее можно было бы сократить), если бы читатель, не кривя душой, мог со всеми подробностями припомнить полные ужаса, страха и восторга времена предстоящих, происходящих и закончившихся экзаменов. Тогда достаточно было бы сказать: фрейлейн Бродер испытала то же, что и вы. Хотя она и принадлежала к лучшим в ее группе учащимся и провал или даже средний результат был для нее столь же немыслим, как немыслимо удариться и набить шишку о радугу, вдруг перед самыми экзаменами (по дороге в Лейпциг) ее знания представились ей подобными радуге же, то есть недолговечными. Как и любому, ночь перед экзаменами показалась ей полярной ночью (а та, как известно, длится полгода), каждый сон — кошмаром, каждый ожидаемый вопрос — вопросом «быть или не быть». Как всегда, среди экзаменующих встречались типы, над которыми можно было (задним числом) посмеяться — молодой доктор, охотно подсказывающий всем (в особенности красивым девушкам); старик с гордо запрокинутой головой: он словно рассматривал воображаемые фрески на потолке; дама в зрелом возрасте, голос которой тускнел при виде хорошеньких и подкрашенных девичьих лиц; громовержец, остроумный добрый дядя; духовная наставница и прежде всего — председательница комиссии, высокая и стройная, все еще считающая себя молодой. (Не будь у нее головы, она имела бы шанс стать мисс Лейпциг, с головой же она служила доказательством победы природы над силой воли и косметикой.) Итак, все (за исключением одной мелочи) было как всегда, также и восторг в заключение, бурный и кратковременный, хотя все пытались эффектными описаниями пережитого и шумным весельем помочь друг другу продлить праздник и не так скоро забыть его.

К студентке, практикантке, коллеге Бродер никто не мог относиться безразлично; ее манера держаться и обращаться с другими заставляла и их вести себя с нею соответственно — даже и экзаменующих, которым с нею приходилось крепче, чем с остальными, держать поводья личных симпатий или антипатий. За исключением недавно почившего исследователя потолочных фресок, все они и по сей день помнят ее: преподавательница-доцент по изучению проблемы читателя, как раз критически осмысливающая библиотечно-социологические тезисы товарищ Бродер, историк, пораженный ее обширными знаниями истории, и специалист по руководству библиотеками, восхищенный ее благородным профилем; один находил, что она читала больше, чем полезно для прямолинейного мышления, другая упрекала ее в том, что она подкрашивается, та считала ее более ранимой, чем казалось на первый взгляд, тот слишком холодной и опасной, как глетчер; единодушны все были только в оценке «отлично», и как раз дама, в компетенцию которой входили библиотечные рукописи (а не психолог), открыла (и довела до всеобщего сведения) причину ошибочных суждений о ней: она внешне столь же гордая, как и внутренне, а это раздражает тех, кто из такта, тактики или трусости горд лишь внутренне. Если это верно, то нет ничего удивительного, что соученики соответствующим образом и реаги-

руют на нее: восхищением или осуждением — и сплетнями, пущенными в оборот Крачем, а также изречениями типа: ниже заведующего библиотекой она не опустится; дорога к загсу будет длинной; то был обмен, он предоставил ей место, она ему — ложе. Упомянутая выше мелочь тоже стала известной к выпускному вечеру; должно быть, доценты или секретарши разболтали. А то, что волнения этого дня внешне не отразились на фрейлейн Бродер, никого не поразило; ее сдержанность, самообладание и непроницаемость были привычны для всех. Даже Агнес и Адельгейд, с которыми она поддерживала более тесный контакт в годы учебы, не заметили ее волнения, они обнаружили лишь общую перемену, которую позже назвали размягченностью. Она говорила с ними не о книгах и проблемах, а о впечатлениях, настроениях, даже о пейзаже, описала зимний бесснежный день, озеро со взлетающими и садящимися на воду лебедями. На выпускном же вечере она, ко всеобщему удивлению, после танцев и питья, длившихся не один час, подсела к Крачу, долго разговаривала с ним, после чего он под утро проводил ее домой (то есть в гостиницу). Никто не прислушивался к их беседе, но все были убеждены, что он стал ее последней жертвой. (Парни этого выпуска уже пытались схватить этот букет роз, но натыкались на шипы.) В последний час, когда утреннее солнце высветило в винных парах бледные лица и когда разговорами старались заглушить сознание бессмысленности празднества, все сошлись на том, что она Крачу не пара: он — гений (что, правда, известно пока ему одному), и ему нужна жена, равноправная не больше, чем жены в Швейцарии, молчаливо поклоняющаяся, умеющая хорошо готовить и обладающая интеллектом настолько, насколько это требуется для показа. Но явилось ли увлечение ею закваской для его бурной деятельности, остается невыясненным. Он недосягаем, обучается в Москве режиссерскому искусству и на письма не отвечает, хотя получил гарантию, что его подлинное имя (Крач — вымышленное) не будет названо. Вероятно, он не заинтересован, чтобы восходящее солнце его славы затемнили несколько забегающих вперед облачков. Ведь и в самом деле он поступил не очень-то красиво, когда пустил в ход последнее средство избежать назначения в округ Ангермюнде и раскрыл перед неприятно пораженной экзаменационной комиссией мнимый постельный заговор Эрпа — Бродер. Безуспешно.

Посредственные экзаменационные отметки Крача облегчили комиссии возможность отклонить его подозрения как необоснованные.

А упомянутая мелочь?

Конечно, то была не мелочь, иначе ее не приберегли бы к концу главы. Понятие это употреблено лишь потому, что им воспользовалась фрейлейн Бродер, когда ее поздравляли после экзаменов. «Да, еще об одной мелочи»,— сказала она, когда председательница с молодым пылом пожимала ей руку,— и обобщила все: накопившиеся у нее в течение многих дней и недель мысли, намерения, размышления, мечты, предположения, страхи, молчаливые наблюдения и громогласные попытки объяснений в подъезде Б, мысленные, но никогда не состоявшиеся беседы на Карл-Маркс-аллее, начинавшиеся с прямого вопроса, адресованного Элле Мантек: «Что бы вы сделали, если бы...» и завершившиеся — после метания в полукружиях, которые надо округлить, после блуждания в тумане, который нужно рассеять, после напряжения всех сил, которые еще надлежит испытать,— признанием истины (в общем-то сомнительной, но для фрейлейн Бродер несомненной): «Ничего не делать — самое худшее дело!»; результат обобщения состоял всего лишь из трех фраз, по восемь слов в каждой: «Прошу вас поменять наши назначения, Крача и мое. Вы же знаете, что он возражать не станет. А мне не хотелось бы оставаться в Берлине». Лица у всех присутствующих, кроме нее и громовержца, обрели трагическое выраже-

ние. Духовная наставница предусмотрительно схватилась за носовой платок. Громовержец — он не был ни доцентом училища, ни библиотечным работником, не присутствовал на экзамене Крача и, следовательно, не понимал, что к чему,— потребовал объяснений, не пожелал удовлетвориться коротким ответом фрейлейн Бродер («Это к делу не относится!»), но замолчал, когда заметил молчание остальных. Председательница усилила рукопожатие и спросила: «А вы хорошо все обдумали?» — фрейлейн Бродер, утвердительно кивнув головой, ответила: «Хорошо!»

26

Людям, читающим книги по диагонали (то есть начало — середину — конец), а именно библиотекарям, библиографам, книжным торговцам, функционерам по вопросам культуры, газетчикам-рецензентам и другим, по долгу службы ежедневно прогрызающимся сквозь литературное месиво, в награду за то, что они уже отсюда (а не с трех последних страниц) начали читать конец, дается указание, облегчающее понимание весьма существенной 26-й главы этой хроники (можно — в интересах сбыта — сказать: романа), посвященной любви, женщинам, браку, морали, библиотекарям, нравам, современности, обществу и Берлину. Указание это гласит: самое важное то, чего в этой главе нет, а именно — упоминание о вестнике общественности Фреде Мантеке, который (что неизвестно поверхностному читателю) в 23-й главе прискакал к одинокому Эрпу, чтобы предложить ему выход из положения, делавший излишним жестокое решение (из главы 25-й), принятое фрейлейн Бродер. Теперь остается волнующим вопрос: как она реагировала на звуки фанфар, возвещавшие последние новости, как и когда Эрп затрубил в фанфары? Не сразу по ее возвращении, это ясно; то было бы противно его природе, которой больше пристало начать с грез о цветах.

Полевой мак, целое поле мака, прямоугольник яркого, буйного алого цвета. Оно колышется над молодой зеленью невысокого овса. Должно быть, начало июня. Прохладное летнее утро перед жарким днем. Один из командировочных в купе отрывается от служебных бумаг и говорит: смотри-ка, полевой мак! Другой что-то бормочет о сорняках, и вот уже поезд промчался мимо. Карл тоже поднял голову и увидел поле, и цветущую бузину у дороги, и лес вдали, но красный цвет оставил след в его душе. Что-то он затронул в нем — если выразить его чувства словами, это прозвучало бы примерно так: никогда уже не вырваться мне из неизменной череды лет, если и этот красный цвет мне не поможет! Что-то заставляет его вынуть дорожную сумку из сетки, сойти с поезда в Гёце, Вустервице, Грос-Крёйце или как там оно называется и пойти в обратную сторону, по шоссе, проезжей дороге, тропинке, с солнцем на лице, с дикой радостью в сердце оттого, что он еще способен на такое: махнуть рукой на предстоящую конференцию и погнаться за отцветающим к вечеру полевым маком. Но в полуденный зной он сидит не под кустом бузины, а перед пивом и ведет дискуссию о нерегистрируемом учете выданных книг, обсуждаемом на конференции, на которую он вовремя поспел. И вот алый мак забыт на годы, до той самой минуты в подъезде Б, когда он сидит в привычном кресле, а напротив него, отделенная столом, как барьером, после десяти дней экзаменов вновь сидит возлюбленная, только что вернувшаяся из Лейпцига; едва поставив чемодан, она заявила, что будет работать в округе Ангермюнде...

«Боже мой, надо поскорей отменить это! Жертва, которую ты хочешь принести вместо меня, излишня, Фред добился неожиданного поворота, все хорошо...» — и так далее, вот что он должен был сказать

(чтобы угодить автору и читателю). Фрейлейн Бродер же надеялась (хотя и не очень) услышать от него что-нибудь о его давнишней мечте, о поднятии культурной целины, о плуге, прокладывающем первую борозду, о действительно революционной революции в культуре или хотя бы три слова: «Я с тобой». «Мы поедем вместе». «Вперед, в Ангермюнде!»— или что-либо подобное. А он спросил: «Почему ты это сделала?» И голос его при этом звучал фальшиво, чуждо, словно он одолжил его у человека честного и требующего честности.

Словно одолжил его у более сильного, обладающего волей и мужеством, способным вынести ответы, стерпеть упреки, оспорить утверждения, выслушать правду и признать ее или же опровергнуть, противопоставить правде Бродер правду Эрпа. «Почему ты это сделала?» На самом деле он был не тем человеком, который мог задать такой вопрос; по крайней мере, в данный момент. Ему бы помолчать, с болью, обидой или достоинством, долго заниматься поисками сигарет, предложить закурить или искать спасения в ласках, целовать, вместо того чтобы говорить, или же плакать, или бесноваться, или подняться и уйти, привести в порядок мысли, чувства, может быть, бессонной ночью написать письмо, во всяком случае сделать время своим союзником. Он уже знал это, когда задавал вопрос.

Знал уже и другое — во всем виновата она. Она его ошарашила, захватила врасплох, его, ничего не подозревающего, доверчивого, обманутого беднягу. Она приняла решение без него, не спросив, не посоветовавшись, не поставив его в известность, а потом, когда дело уже было сделано, не подготовила его к злополучной вести, не настроила подобающим образом, не предупредила. Она вошла в комнату, и сразу выпалила свою новость (как она и задумала, чтобы его вид, любимые ею жесты, его слова не заставили ее раскаяться и изменить решение!), и спровоцировала на вопрос, который лишь по видимости требовал откровенности, по сути же был лживым; он поставил ей в вину и это; не будь ее самоуправства, ему волей-неволей пришлось бы быть честным, и когда-нибудь бросить ей в лицо: «Я больше не могу!..» Теперь же она коварно открыла ему дорогу ко лжи, и он вынужден был вступить на этот путь, не мог иначе, хотя (прежде) боялся этого и (позже) презирал себя за это. Ибо, конечно же, в его груди, ах, жили две души*, пока что осаждавшие, но не одолевшие друг друга, и вторая, душа любви и активности, еще теперь полная энергии, выразила боль и искренний протест, когда возлюбленная (в надежде на сопротивление) сказала горькую правду — любви его недостает силы перепрыгнуть через изгороди и заборы, преграждающие доступ в рай. (Тут-то ему и вспомнился полевой мак.) И возмущение его было настолько велико, что он забыл о презрении к самому себе и спросил себя: а что такое в подобных случаях правда? Кто определяет ее, устанавливает критерии, измеряет? Правда должна быть одна, а их бывает много. Одна из них та, что у его любви слишком короткие для прыжка ноги; другая — воспоминания о полевом маке (смутный символ его слабости); то, что он все еще любил ее (как он думал, никогда еще не любил так сильно) — третья; радость от того, что опять избежал необходимости самому принимать решение,— четвертая; что он не хотел уступать кому-то воробышка — пятая; что он был слишком труслив для честного суждения о самом себе — шестая и, может быть, самая правдивая правда; ибо следующий вопрос, определивший дальнейший ход беседы, он позволил продиктовать себе не мгновенно разросшейся до гигантских размеров любви, не ревности к будущему, а собственной трусости. Он бесстыдно воспользовался преимуществом человека, лишенного возможности принимать решение, и, заботясь

* Перефразировка строки из «Фауста» Гёте: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» (в переводе Холодковского: «Ах, две души живут в больной груди моей»).

исключительно о своем престиже, спросил: «Ты, значит, хочешь покончить со всем?»

Какой банальный поворот! Он показывает, насколько неподготовлен был Эрп. Все слова, которые приходили ему еще на ум, были либо патетическими, либо сентиментальными и, следовательно, невозможными перед ее решительным, холодным лицом.

Ему действительно удалось счесть ее лицо холодным, а себя — вправе упрекнуть ее в этом («Как зло ты смотришь на меня!»), потому что сам он не владел собой и не мог сдержать раздражения, на что требовалась причина (точнее: мнимая причина), вначале именовавшаяся бродеровской холодностью, потом бродеровскими слезами. Ибо (верьте или не верьте) вызывавшие восхищение глаза неприступной фрейлейн стали вдруг источником теплых соленых капель, насквозь промочивших (не в первый час и не во второй, а лишь в течение вечера или ночи) ее носовой платок: разочарование было слишком велико, чтобы пережить его с сухими глазами; вожделенная ясность между ней и Эрпом оказалась недостижимой; решение покинуть Берлин — принятым напрасно; он не мог ни последовать за ней, ни признаться, что это решение, при его неспособности выносить подъезд Б и свое низложение, было единственной возможностью спасти их любовь. А ведь она так верила в успех. Все, что отравляло их любовь, тем самым устранялось. Путь, по которому они шли, оказался для него слишком трудным. И чтобы спасти то, что еще можно было спасти, им надо было избрать новый. В этом и был ее долг, только ее. Ей, более сильной, нужно было принести жертву, чтобы, показав пример, заставить его наконец полностью порвать с прошлым и начать все заново — или (если такое ему не по плечу) сказать ей честное, твердое «нет». Даже это было бы лучше, чем медленный, болезненный, унизительный распад большого чувства. Так думала она. Он же пустил в ход сперва упреки, потом увертки, отговорки, полупризнания, которые тут же брались обратно, клятвы, которым она хотела бы, но не могла верить, объяснения, казавшиеся убедительными, самобичевания, заставлявшие ее расчувствоваться, просьбы о терпении и отсрочке и все время снова и снова нечестность, неопределенность. «Неужели ты так и не можешь мне ясно сказать, что ты будешь делать?» — «Все, чтобы не потерять тебя!» А при этом он был даже не в состоянии жить с ней в заднем доме и простить ей потерю руководящей должности. Разве это не достаточная причина для соленых потоков? После того, как его мечта о деревне окончательно оказалась пустой болтовней, она ожидала боли, своей и его, но вдруг поняла, что он, в сущности, всегда был готов сваливать на нее вину за добровольно приносимые им жертвы. Так дальше продолжаться не могло. Она старалась добиться ясности, он же был заинтересован в неясности. Потому что неясность заслоняла туманом необходимость решения. Потому что всякое решение означало разрыв. А разрыв причиняет боль. А боли он боялся. Эрп был труслив; сколько ни повторяй это, все будет мало. Он был подобен ребенку, который готов неделями терпеть зубную боль из страха перед длящейся секунду болью в кабинете зубного врача. Имей он твердую гарантию, что соответствующие нервы будут обезболены, он был бы сговорчивее. «Ты уверен, что вся беда только в угрожающем тебе переводе на другую работу и в трудностях совместной жизни?» — спросила она. Но добиться от него решающего слова было невозможно. А ведь ему стоило только сказать «нет», мысленно он десятки раз говорил это, но повторить вслух не решился. Зато он нашел успокоительные аргументы, почерпнутые из литературы, общие места, такие, которые не компрометировали бы его и не обижали ее: никакая любовь не вечна; вообразить любовь легче, чем пережить в действительности (это касается любой действительности, даже послереволюционной); лишь в разлуке любимая вечно молода;

любишь сновидение и страшишься пробуждения, и так далее. Но вслух ни один из этих аргументов не был высказан. Он ответил: «Да, только в этом!» — и вдруг (во избежание дальнейших вопросов подобного рода) обнаружил, что над наемным домом с узкими дворами и темными подъездами еще много света и пространства, где можно без материала, рабочей силы и разрешения строить, без официального ордера жить в волшебной обители со сказочным комфортом, в чистеньких (не загрязненных действительностью) собственных домиках будущего, и заговорил об этом: о библиотеке в замке (шинкелевского образца), о процветающих деревнях вокруг, где председатели сельскохозяйственных кооперативов и бургомистры из уважения к библиотекарше становятся пропагандистами литературы, о социологических исследованиях, о статьях в отраслевом журнале и газетах, о концах недели, проводимых вместе (с апреля до октября у нее, с ноября до марта у него), о комнате в замке с видом на пруд, о катанье на лодке по реке (если она там есть). Слишком велико было искушение верить его заверениям, в особенности когда его рука покоилась на ее шее, губы касались ее кожи, в том месте, куда не заглядывает солнце. «Ты думаешь, у нас еще что-нибудь получится?» — «У нас будет получаться всегда, всегда, всегда!» — Он верил не во все, что говорил, и говорил не все. Например, ни слова об ангеле-спасителе Мантеке и его радостной вести. Он поблагодарил ее за свою вновь обретенную должность (в которой больше не нуждался) и позволил ей уйти в добровольное изгнание.

С кровоточащим сердцем!

С кровоточащим сердцем, с которого свалился камень.

27

Не успел еще мотор заглохнуть, как Пашке уже вырос в окне, вытирая остатки яйца с утренней щетины, тут же дал справку («подъезд Б, пятый этаж!»), навел справку («К кому это вы направляетесь?») и не торопясь начал устраиваться на своем излюбленном месте: надел кепку, поставил чашку кофе на подоконник, положил подушку между животом и окном, заулыбался: все-таки мы победили! Представление могло начинаться. Зрителей собралось достаточно: хозяйка пивной, госпожа Геринг с сеткой, полной хлебцев, трое ребят с ранцами. Из соседнего двора шарманщик обеспечил спектакль музыкальным сопровождением: «Ля палома», «Воздух Берлина». Ногти Пашке отстукивали такт на дребезжащем подоконнике, показалась госпожа Вольф с торшером и ведром, пробормотала что-то похожее на приветствие и опять исчезла. Мальчишки опрокинули ведро и удрали. Щетки, порошок для мытья посуды, вакса оказались на мостовой. Наконец появилось одно из главных действующих лиц. Эрп и водитель тащили огромную корзину с двумя ручками, с которой Вильгельм Бродер десятилетия назад вернулся из своей восточной глухомани на родину, в рейх, треть столицы которого теперь вновь покидала в восточном направлении его дочь. Ведь Ангермюнде находилось, кажется, на востоке, а может, и на севере, почти в Польше или почти на Балтийском море, так уж точно Пашке этого не знал, да ему и наплевать, лишь бы она убралась, не действовала ему на нервы и не пугала своим надменным лицом, холод которого не растопили ни прощальное настроение, ни утреннее солнце, когда фрейлейн Бродер выступила на сцену с чемоданом и портфелем, молча кивнула в знак приветствия и вновь удалилась, чтобы принести кресло, настольную лампу, метлу, бак для белья, Вольфша притащила книжные полки, Эрп с водителем — стол и ложе разврата и стали все это грузить на машину, а шарманка переключи-

лась со старинного вальса на неумирающую мелодию «Через Берлин течет все еще Шпрее». Пашке барабанил. Он считал мелодию верной, соответствующей ситуации, успокоительной, точной, ибо многократно воспетая река все текла и текла, в том же русле, так же как и он (Пашке) высовывался все из того же окна, в то время как Бродеры приходили и уходили, а аморальность и заносчивость справедливо карались: выселением из столичного рая, разлукой, переездом, достаточно жалким — маленькое грузовое такси, да и то почти не загруженное, половину имущества составляла не мебель, как у порядочных людей, а всего лишь ящики с книгами. Куда девалась единственно ценная вещь, картина в золотой раме, настоящее масло?

О ней спросил и водитель, не вынимая потухшей сигары изо рта. «Эту штуку тоже брать?» Мужчина, не представившийся ему, но, судя по всему, бывший муж, сделал дурашливое лицо и пожал плечами; он знал только, что кухонная мебель, надувной матрац, ящик с пижамой, домашними туфлями и бритвенными принадлежностями остаются, как и он сам. Тут несчастный случай, уяснил себе водитель, но отнесся к этому равнодушно; его не интересовало, что он увозит отсюда на кладбище, к тому же он все равно все узнает, ведь потом, в машине, наедине с ним люди становились разговорчивыми, давая выход волнению, и тогда достаточно было наводящего вопроса, чтобы ему выложили всю историю. Он транспортировал уже не один брачный труп, они бывали разные, но сочувствовал он всегда только женщинам, виновным (что случалось редко) или невиновным, хотя бы уже потому, что жены ревели, мужья же всегда держались твердо, и еще потому, что они были женщинами, с красивыми волосами, или глазами, или губами, как эта вот; она, правда, не ревела, а казалась более спокойной, чем мужчина, беспрерывно куривший и (несмотря на намечающееся брюшко) выглядевший как устрашающая иллюстрация на тему о вреде никотина. Почему он не уезжал в деревню? Свежий воздух пошел бы ему на пользу; впрочем, ей тоже, но вряд ли она думала об этом при такой массе книг. Сколько их тут? 1000? 2000? 3000? Когда она их прочтет? Ведь больше одной в неделю не осилишь, стало быть — 52 в год, 520 в десять лет, 3000 в 60 лет; значит, все она никогда не прочитает. Пусть бы оставила их этому пропащему курильщику, а сама лучше прихватила бы картину. «Так берем мы эту штуку или нет?» — «Да, как с ней быть, воробышек?» Называть ее воробышком столь же абсурдно, как его — львом или слоном; но она откликнулась: «Я бы хотела сохранить ее, но не брать с собой».— «Может быть, госпожа Вольф возьмет ее на хранение». Да, почему бы и нет, что уж тут такого, отчего воробышек так испугался? Водитель почувствовал, что он лишний. Лучше ему подождать в машине. Похоже, здесь не все ясно. «Еще что-нибудь, молодая дама?» — «Нет, спасибо, мы можем сейчас ехать». «Сейчас» было, конечно, преувеличением. Он съел свой завтрак, прочел газету от начала до конца, со скуки даже передовицу под названием: «Мы можем все, стоит нам только захотеть!»

«Ты не останешься здесь?» Близкая разлука озарила последние дни и ночи вспышкой боли и счастьем. Любовь еще раз засияла ярким светом: многоцветье заката стало для нее свечением восхода, осеннее золото весенней радугой. И вдруг почувствовалось наступление сумерек, холода. «Прошу тебя, будь честен!» Его взгляд не выдержал ее взгляда, скользнул в сторону, остановился на громадах собора, писанных масляной краской, на реке, колоннах музея, надписях над порталами, словно там были ответы, которые оставалось лишь прочесть вслух.

Он ждал этого вопроса, перебирал разные ответы, останавливался на каком-нибудь и снова отбрасывал его, подыскивал другой, третий, наконец, оставил в резерве все, чтобы иметь наготове подходящий для любой ситуации — а теперь не находил никакого, вынужден был мол-

чать, искал, но тщетно, отказался от готовых ответов, чтобы подумать над другими, но думать мог лишь о необходимости раздумий и о боли, причиняемой ей его молчанием, и наконец вымолвил: «Не знаю», что было ложью; не такой большой, как если бы он сказал: «Да, я остаюсь здесь», но все же ложью, ибо к этому времени он уже точно знал, что́ будет делать.

Она же только теперь поняла, что знала правду, но сама от себя скрывала ее. Она уговаривала себя, что он останется здесь один, сможет здесь без нее выдержать, пока не разведется и не найдет комнату. Она предавалась иллюзиям, чтобы насладиться последними днями. И насладиться ими она смогла только потому, что чувствовала: они последние. А теперь все кончилось. Наступила ночь, холод, зима. Пока еще не ощущая боли, опустошенная, оглушенная правдой, она взяла свое пальто и дошла до кухни, где он обнял ее, прижал к себе, снова осыпал ее словами, фразами, ответами, объяснениями: не может он оставаться здесь, потому что все тут будет напоминать о ней, потому что он пропадет здесь от тоски по ней, потому что этот дом, двор и людей он мог выносить только вместе с ней, и вонь, и осыпавшуюся штукатурку, и воркование голубей, и включенный телевизор за стеной, и трескотню госпожи Вольф, и каменную пустыню, и потому что бессмысленно ведь покупать мебель для этой комнаты, и потому что нельзя же здесь принимать гостей и... и... и... Она чувствовала, как оглушение проходило и приходила боль. Но не плакала. И не спросила: «Ты хочешь вернуться домой?» Она уже старалась освоиться с новым положением, выработать в себе противоядие, задубить кожу, оцепенеть, чтобы держаться прямо, побороть паралич, наметить новые цели, пойти дальше. Но его пальцы на ее шее все еще имели власть над ней, и она предприняла последнюю попытку: «Поедем со мной! Брось все!» Он прижал ее голову к своему плечу. (Чтобы она не могла смотреть на него?) В последний раз ощутить эти волосы, эту кожу! Нет, это немыслимо! Но у него даже не хватило мужества сказать: «Я не могу», или: «Я не хочу». Он заговорил о профессиональной ответственности и о том, что с его помощью она ведь в любое время сможет вернуться в Берлин. Тут она высвободилась из его объятий.

Госпожа Вольф принесла водителю кофе в машину, присела рядом и стала просвещать его насчет любви и брака. «То, что седьмое небо, где живешь поначалу с милым, скоро становится шестым или вторым или самой обыкновенной комнатой, это ведь каждый знает, понимаете ли, но никто не хочет поверить в это, потому что каждый обязательно считает себя исключением и бог весть что воображает, а когда в конце концов все получается, как у других, один становится тряпкой, другой дьяволом, и тут начинают вовсю пилить друг друга, понимаете ли, а зачем? Чтобы потом опять прижать друг друга к груди и причитать: «Я подлая тварь, я идиот!» — и все опять хорошо, до следующего раза, ведь мир и покой (наступающие после мук первой любви) не каждый выносит, хотя это и самое лучшее в браке, только нужно время, чтобы понять это, иной раз даже много времени, в особенности мужчинам, уже однажды сбежавшим от одной и потом все время сравнивающим, понимаете ли, но постоянно поворачивая голову назад, никогда не выберешься из леса, вот тогда и получается, как тут получилось, да так оно и лучше, ведь сколько ни скреби осла, конем он не станет, понимаете ли». И она вылезла из машины, потому что в подворотне показался воробышек, которого еще нужно было обнять и расцеловать и снабдить на дорогу изречением из календаря: «Пусть небо дарует тебе солнце и силу обходиться без него». Пашке же не пришло в голову ничего лучшего, как «Счастливого пути!» Потом они все махали ей вслед: госпожа Вольф, госпожа Геринг, господин Пашке и господин Эрп. Уже на Шёнхаузераллее водитель задал наводя-

щий вопрос, но был разочарован. Фрейлейн Бродер оказалась исключением из правила. Она ничего не рассказала.

Кайзеровский город в кайзеровскую погоду в золотом обрамлении в тот же день был доставлен (через чердак) в передний дом. Он висит в столовой, и его можно там обозреть: подъезд А, пятый этаж, справа. Госпожа Вольф рада каждому посетителю, готовому слушать. А если симулировать интерес к голубям, то, может быть, даже удастся услышать несколько слов из уст ее супруга. Но чтобы увидеть редкое издание Мендельсона, надо без особых удобств провести несколько часов в поезде.

28

Подходящим для этой истории концом был бы следующий: когда Буриданов осел наконец выбрал одну из двух охапок сена, не оказалось ни одной! Что должно означать: Карл Эрп прощается с подъездом Б. Вечером Пашке вычеркивает его из домовой книги, он выпивает еще стаканчик водки, просит передать сердечный привет Аните. Утром Вольфша превращается в рыбу: безмолвную и холодную. Он помогает ей отодвинуть шкаф от двери, но не слышит ни слова благодарности. Как тюремный страж, стоит она около него, когда он пакует свои вещи: папку со статьями, надувной матрац, умывальные и бритвенные принадлежности, белье, костюмы, удостоверения, лекарства, подушку, одеяло. Пашке уже бодрствует, когда Эрп с двумя чемоданами направляется к машине. Преждевременно закончившееся путешествие! Неудавшийся побег! Он опаздывает на службу, где его уже дожидается, вместе с Хаслером, преемник, чтобы принять дела. День быстро проходит в напряженной работе. Вечером Хаслер провожает его до машины, видит чемоданы и спрашивает, не уезжает ли он куда-нибудь. Напротив, отвечает Эрп, но ему приходится дать и более внятный ответ, а чтобы Хаслер его понял, он становится многословным, обстоятельно излагает доводы, отличные доводы, нравственные доводы, с частым употреблением таких слов, как семья, долг, дети, ответственность, один раз даже проскальзывает мысль о безусловной, непреложной обязанности отца (известная читателю по Альт-Шрадову). Хаслер понимает, что тут произошло, высказывает свое мнение, изложить которое можно (высвободив ради краткости из всей орнаментовки) следующим образом: бывают такие нравственные поступки, при которых всякая нравственность оказывается мыльным пузырем! Он желает Эрпу всего плохого, Элизабет — всего наилучшего, а именно — силу для сопротивления, и уходит, скрипя протезом, прочь отсюда и из книги. Эрп отъезжает; он едет через город, имеющий в это время вид столицы, оживленной, полной движения, как никогда; под двумя сводами электрички, по улицам, где дозволена повышенная скорость, через леса, мимо гидростанции, пляжа, школы. И останавливается: перед садовой калиткой, на которой висит табличка с его именем, перед домом, где в столовой (с террасой и видом на реку) за ужином сидят женщина и двое детей, пугающиеся неожиданного стука и появления вслед за ним человека с двумя чемоданами; он ставит чемоданы на пол и смущенно улыбается, но ответной улыбки ему не дождаться ни от кого, ни от женщины, ни от детей, так что он и сам перестает улыбаться. Женщина, правда, отвечает на приветствие, но смотрит на мужчину с таким недоумением и неприязнью, что тому начинает казаться, будто он коробейник, нищий, докучливый проситель, агент по продаже вещей, которые ей совершенно не нужны, но которые он собирается все-таки всучить: то есть самого себя. Итак, улыбка замирает, он не восклицает радостно: «Вот и я, дети!» — а являет им иное выражение лица, покаянное, измученное, страдальческое, превращается в человека, по-

павшего под Иерихоном к разбойникам и уповающего на милосердие самаритянина, которым женщина не желает быть. Это она недвусмысленно дает понять, вяло, неохотно протягивая ему руку и тут же отдергивая ее, когда он пытается задержать ее дольше, чем требуется для короткого приветствия. Дети здороваются вежливо и холодно, с поклоном и книксеном, и выходят из комнаты. Женщина не предлагает ему стула, а он не решается сесть без приглашения, стоит между чемоданами и говорит, пристыженно, смиренно, покорно, униженно, останавливается, снова говорит, начинает сначала, меняет тон, просит, настаивает, становится плаксивым, гневным, гордым, но в ответ слышит только одно: нет, нет и нет! Он берет чемоданы, идет к машине, едет обратно в город, к Мантекам, которых не застает дома. Поехать к Хаслеру не решается. Гостиницы переполнены, да и, кроме того, берлинцам не разрешается ночевать в берлинских гостиницах. В сумерках он снова выезжает из города, сидит в загородном ресторане, пока кельнеры не опрокидывают стулья на столы. Опять едет мимо гидростанции, сворачивает к берегу озера. Холодно и темно, накрапывает дождь. Он вынимает подушку и одеяло из чемодана и пытается уснуть на заднем сиденье. Дождь барабанит по стеклу.

Это был бы подходящий конец. Но поскольку действительность редко поставляет пригодные для романов концы, а хроника больше нуждается в ясности, чем в яркости, то в фактически достоверном конце, к сожалению, меньше красоты, меньше однозначности, меньше справедливости. Риплоз, этот непродуктивный аккумулятор знаний, считает: «Верность деталям обязательна, хотя бы уже потому, что Эрп никак не может уподобиться Карлу Пятому, не без оснований называвшему придворного биографа Иоганна Слайдана своим лейб-вралем». И потому здесь последует действительный, истинный, фактически достоверный конец (с которого книга, впрочем, могла бы и начаться: человек возвращается к своей семье; соседи, друзья, коллеги, товарищи по партии говорят: «Слава богу, наконец-то, какое счастье!» И они считают это победой нравственности. Писатель же спрашивает себя и своих читателей: на самом ли деле это счастье?)

Итак, истинный конец точь-в-точь походил на столь хорошо придуманный до того момента, когда Эрп вошел в комнату с террасой, поставил чемоданы, поздоровался, смущенно улыбаясь,— нет, этого он не успел сделать, потому что Катарина уже повисла у него на шее и крепко обвила ее руками, от недостатка воздуха он так же покраснел, как она — от радости. Сказать что-нибудь она не успела, а он говорил только: «Да!», «да!», «да!», словно она его спрашивала, останется ли он теперь тут, что она и сделала, но значительно позже, спустя много времени, после трижды повторенного вопроса о том, что он ей привез. На бледном лице Петера не отразилось никаких душевных переживаний; он моргал, глядя на заходящее солнце, пока не улеглась приветственная буря сестры, подошел, выполнил обязательный поцелуйный обряд, спросил, должен ли он освободить теперь комнату. Все это время Элизабет сидела молча и неподвижно за столом в ожидании бестактного нежного приветствия, которому она воспротивилась бы, невзирая на присутствие детей, и, когда Карл всего лишь протянул ей руку, наконец произнесла: «Ты уже поел?» — и замолчала надолго, а Карл говорил с детьми или, вернее, заставлял их говорить, придумывая разные вопросы, очень много вопросов, из страха, как бы они не спросили его о чем-нибудь. Позднее он посидел у кровати каждого из них и пообещал (он был достаточно размягчен) желаемое: Катарине — предпринять автомобильное путешествие в какой-нибудь город, в котором она еще никогда не бывала, Петеру — перестроить чердак в комнату для него, обоим — отвозить их каждое утро в школу. В столовой он Элизабет не застал. «Можно»,—

она сказала это таким тоном, словно было естественно, что он стучался, прежде чем войти к ней. Она сидела за письменным столом. «Ты купила письменный стол? — спросил он, и немного погодя: — Нравится тебе новая работа?» — «Да».— «Это меня радует. Но надеюсь, ты знаешь, что работать тебе не обязательно».— «Обязательно».— «Я хотел сказать — из-за денег. Ты нужна детям».

Молчание показалось ей наилучшим ответом; он же, еще не знавший новой Элизабет, принял это за раздумье и решил, что наступило время рассказать ей, как все было, совершенно честно, без увертюк, без пощады, никого и не пощадил (за исключением себя), внезапно все понял до конца, тут же изложил теорию, избегая при этом первое лицо единственного числа, пользуясь безличным оборотом, поведал обо всем, отнюдь не умолчал о величии своей внебрачной любви, даже подчеркнул это величие, вознес любовь на мифическую высоту (став, таким образом, главным действующим лицом собственной легенды, героем, полубогом); ведь именно непостижимое разумом величие его чувства сделало недопустимым его реализацию в повседневности; золотая цепь оказалась слишком тяжелой, чтобы долго носить ее, сплетенная своими руками сеть — слишком тесной, она превратилась в кандалы, сковывающие движения; жизнь с такой любовью возможна лишь как жизнь только ради этой любви, а кому такое под силу, то была жизнь со взаимно расставляемыми ловушками, в которые они и попадались, так что оставался только один выход: насильственное разрушение (теперь оно уже позади), кровоточащие раны, но зато и сознание: сделано то, что надо; к тому же в этом возрасте уже осознаешь целительное действие времени. «Поверь мне, я скоро снова буду прежним».— «Вот именно»,— сказала Элизабет, чего он не понял и что ему пока еще не разъяснено.

Но для этого будет много времени после окончания книги, в которой описаны еще два часа, всего лишь два часа одного вечера (не холодного и мокрого, а теплого и тихого) на берегу Шпрее, когда дети спали, а Элизабет готовилась к семинару по истории искусств (часто поднимая глаза от книги и глядя на стену) и после этого без сна лежала в кровати и думала о радости детей, в то время как Карл (впервые после войны) сам постелил себе (на тахте в столовой) постель, стоял в пижаме на террасе, уставившись на луну, прислушивался к запоздавшим байдарочникам, подбадривавшим себя в темноте (без опознавательных огней) песней, смотрел на кукурузу и свиные бобы на бывшем газоне и, наконец, тихо пробрался в дом и постучал в дверь Элизабет. «В чем дело?» Эрп нажал на ручку, но дверь была заперта. «Я только хотел спросить, когда ты утром уходишь».— «Раньше, чем ты. Спокойной ночи»,— ответила она громко ему и тихо себе: если бы не дети, я бы знала, что делать; все действительно только из-за детей! Но тут два часа истекают. И на чем-то надо же наконец остановиться, если герои не умирают. (А эти здесь пока как будто не собираются.)

Может быть, она еще подумала: противно, когда в доме чужой! Или: почему бы человеку и не измениться? Разве я не изменилась?

Может быть. Кто разберется в Элизабет!

ТАМАРА ХОВИ

Стремления маленькой мошки

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

ЧАСТЬ II

Глава 5

I

— ао-о-оли, пригородный! Паоли, пригородный! Пятьдесят вторая улица, Овербрук, Мэрион, Нарбет, Хейвфорд, Уинвуд, Брин-Мор, Уэйн и Пао-о-оли!

Кондуктор характерной, раскачивающейся походкой прошел мимо того места, где сидела Кристина, и перед ней мелькнули обтрепанные, замызганные манжеты, блестящая от носки черная саржа костюма, худое лицо. Его облик соответствовал поезду, на котором он работал: краска облезла, скамьи потрескались, полы поцарапаны, выщерблены; правда, все поезда, которые довелось до сих пор видеть Кристине на востоке Америки, были такими — старье, покрытое многолетней пылью. После сверкающих красок Калифорнии вообще все здесь выглядело обветшалым и устаревшим. Однако это не вызывало в Кристине разочарования, скорее удивляло и казалось даже привлекательным.

Откуда-то, словно из недр земли, послышался мучительный скрежет металла, и поезд, дернувшись, тронулся. Громоздкий черный чемодан, который тетя Хоуп заставила ее взять с собой, поехал по полу и ударил сидевшую рядом девушку по ноге.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказала Кристина.

— Ч-ч-черт! — пробормотала лишь девушка и плотнее прильнула к окну.

Кристина придвинула к себе свои пожитки. Поезд, еще раз металлически икнув, вышел со станции и, раскачиваясь из стороны в сторону, помчался мимо кирпичных домов и заасфальтированных улиц, сменивших за окном переплетение рельсов, семафоров и черных от копоти стен.

— Мы так внезапно тронулись,— сказала Кристина.— Я даже опомниться не успела.

Окончание. Начало в № 11.

— Ничего, привыкнете,— ровным тоном произнесла ее соседка.

Кристина взглянула на девушку. Она была высокая и такая тощая, что даже чулки собирались гармошкой у нее на икрах. На ней было пальто из леопарда и такая же шапочка. Густо напудренное лицо ее неестественно белело, перечеркнутое красной полоской губ, шелковистые светлые волосы прямыми прядями падали на плечи.

— Новенькая? — спросила девушка, чувствуя на себе взгляд Кристины. Но при этом даже не улыбнулась. Наоборот: тонкие губы ее скривились, словно где-то поблизости дурно запахло.

Кристина кивнула.

— А вы?

Раздался глубокий вздох.

— Старожил.

Заскрежетали тормоза, поезд накренился, вздрогнул и замер.

— Пятьдесят вторая улица!.. Пятьдесят вторая улица!..— возгласил кондуктор.

Несколько человек вошли, несколько других вышли. Поезд снова дернулся и пошел, оставляя позади совершенно одинаковые дома и узкие улочки — серые полоски асфальта среди кирпичных строений Филадельфии,— устремляясь к лесам, что отделяют друг от друга небольшие городки вдоль Главной магистрали. За окном замелькало тусклое золото, охра, жженая сиена, изумрудная зелень.

— Вы только посмотрите! — воскликнула Кристина.

Девушка, которая вновь было откинулась на спинку скамьи и закрыла глаза, шевельнулась и посмотрела в окно.

— Поразительно,— произнесла она ровным тоном и приняла прежнее положение. Но Кристина, пригнувшаяся к окну, мешала ей расположиться удобнее.— О господи,— заметила девушка, раздраженно заерзав,— да неужели вы никогда не видели деревьев в период листопада?

Кристина отрицательно покачала головой.

— Откуда же вы, черт возьми?

— Из Калифорнии...

Девушка внимательно посмотрела на нее и со вздохом поднялась.

— Сдаюсь.

Кристина тотчас вскочила.

— В чем дело?

— Меняемся местами.

Кристина из вежливости попыталась возразить.

— Нет уж, прошу вас,— все тем же ровным голосом сказала девушка.— Я устаю от споров.

Кристина поблагодарила и, протиснувшись мимо нее, села к окну. Ей хотелось сказать девушке что-то приятное, но она ничего не могла придумать и лишь представилась, назвав свое имя.

— А меня зовут Сэнди Уилмот,— сказала девушка, успевшая уже снова прикрыть глаза.— Я учусь на старшем курсе и живу в Родс-Холле.— Она отбарабанила это, как солдат — свою фамилию, звание и номер.

— Мне стукнуло шестнадцать, и я...— начала было Кристина.

— Что? — переспросила девушка, явно удивившись.— Что же вы будете делать в колледже в шестнадцать лет?

Кристина пожала плечами. Сэнди поглядела на нее.

— А чем вы собираетесь заниматься?

— Древнегреческим.

— А-а,— протянула Сэнди и отвернулась.— Вы, значит, из *тех*.

У Кристины было такое ощущение, точно против ее фамилии поставили невидимый черный крестик. Она решила, что надо посидеть тихо

и помолчать. В эту минуту дверь из соседнего вагона распахнулась, и в проходе появились три растерянные девушки.

— Извините, пожалуйста,— сказала первая.— Не могли бы вы сказать нам, этот поезд идет...

— Идет, идет,— отрезала Сэнди, даже не взглянув на девушек.

— ...в Брин-Мор? — докончила девушка.— Значит, идет? Ну, большое спасибо.

— Откуда вы узнали, куда им надо? — спросила Кристина, когда девушки пошли дальше.

— По обмундированию,— небрежно бросила Сэнди.

Кристина оглянулась: девушки как раз усаживались на пустую скамейку. Все они были в блекло-серых или блекло-бежевых костюмах, видневшихся из-под безупречно сшитых пальто, все — в темных шляпах с белыми перышками, воткнутыми, правда, под разным углом.

— Это, конечно, костюм для путешествия,— сухо пояснила Сэнди, проследив за взглядом Кристины.— Для выхода у нас существует черное — более или менее открытое в зависимости от обстоятельств — платье, а на каждый день — клетчатые юбки, шерстяные кофточки и гольфы. Все в Брин-Море,— мрачно добавила она,— ходят в гольфах.

Кристина рассмеялась.

— Не смейтесь,— сказала Сэнди.— И вы тоже будете их носить.— Она порылась в сумочке и извлекла оттуда мятую коробку сигарет.— Хотите курнуть?

— Нет, спасибо,— вежливо ответила Кристина.

— Не курите? Ну так когда начнете, не выбирайте себе, пожалуйста, «Честерфилд», а то еще будете у меня стрелять.

Почему это Сэнди так уверена, что она начнет курить? И почему все девушки одеты одинаково? Она решила спросить об этом.

Сэнди, не отвечая, молча выпустила дым через нос. Кристина успела подметить, что такая уж у нее манера: никогда не отвечать сразу на вопрос и никогда не волноваться.

— Все носят одинаковые носки,— неторопливо начала Сэнди,— потому что головы у всех одинаковые.— Она тщательно стряхнула пепел, несколько раз постучав по сигарете, пока не обнажился ярко рдеющий кончик.— Хотя есть, конечно, и отклонения. Но даже эти отклонения загнаны в жесткие рамки, унифицированы.

Кристина озадаченно покачала головой.

— Но это же нелепо,— сказала она, в то время как перед ее мысленным взором возникли видения Альт-Гейдельберга: она увидела студентов, взволнованно склонившихся над столами в трактирах, спорящих об искусстве, философии, исступленно отвергающих все, что было до них, сомневающихся во всем, что будет потом.— А вам не кажется, что в колледже студент должен чувствовать себя независимым, свободным, ничем не связанным? — осторожно спросила она.

Сэнди улыбнулась — тонкогубой, непроницаемой улыбкой, бросила сигарету на пол и раздавила ее каблуком под оглушительный крик кондуктора, возвестившего на этот раз: «Бррн-Мор!.. Бррн-Мор!..»

II

— П'осто пот'ясающе! — воскликнула одна из девиц, не забыв, несмотря на свой восторг, проглотить букву «р».— Неужели это Б'ин-Мо'?

— Он самый,— изрекла Сэнди таким тоном, будто они только что въехали в ворота женского исправительного дома.— Вот это корпус Гударта.— И она указала из окна такси на тяжелую готическую глыбу, увитую плющом и увенчанную колокольней, которая возвышалась сле-

ва.— А вон там — Рокфеллеровский...— Справа возникло другое здание, еще плотнее укутанное плющом.— За ним — Восточный и Западный Пемброук. А там, повыше — с часами на башне — это Тейлор-Холл. Там у нас аудитории...

По мере того, как машина, урча, поднималась по извилистой аллее, перед Кристиной разворачивался парк и изысканные здания колледжа. Здесь чувствовались установившиеся традиции, спокойное достоинство, сознание своего веса и всеведения, и Кристина подумала о том, как непохоже это на Лос-Анжелес, где такую аккуратно подстриженную, округлую зелень можно увидеть только на Лесном кладбище.

Машина остановилась перед большим трехэтажным готическим зданием, самым новым на вид.

— Родс-Холл,— объявил шофер, и девушки выскочили на тротуар.

— Если вам что-нибудь понадобится,— сказала Сэнди,— не стесняйтесь, заходите ко мне. Комната двести тридцать четыре, южное крыло.

— Спасибо вам...— начал было кто-то.

— Я вхожу в состав так называемого Комитета по приему,— прервала говорившую Сэнди, как бы стремясь подчеркнуть, что ее предложение объясняется не добротой, а просто обязанностью. Она огляделась по сторонам и глубоко втянула в себя воздух.— Вот он,— сказала она все так же бесстрастно,— добрый старый запах Брин-Мора!

Но никто ее не слышал, в том числе и Кристина,— она уже входила вместе с остальными в здание и чувствовала, как в груди ее, точно снежный ком, растет радость.

Внутри Родс-Холл выглядел на редкость современно. В вестибюле, залитом светом невидимых ламп, стояли кресла, отделанные хромом и обитые дорогими грубошерстными цветными тканями. Многоцветные ковры устилали натертые до блеска полы. Покрытые пластиком стены дышали свежестью и чистотой.

— Ужин в семь,— объявила сидевшая за столиком женщина, пока девушки расписывались в книге вновь поступивших.

Кристина взглянула на свои часы. Было еще только половина шестого.

Через четверть часа она уже стояла посреди пустой комнаты с высоким потолком, где пахло мелом и пылью, как бывает в каменном здании, которое все лето не проветривалось. Отопление еще не включили, и в помещении была леденящая сырость.

Оставив чемоданы в дортуаре, Кристина поспешила сюда — в учебный корпус — и, хотя здание было заперто, проникла внутрь через приоткрытое окно. Она огляделась вокруг: старые столы с зазубринами и чернильными пятнами, жесткие, неудобные скамьи, немало претерпевшая, вытертая до блеска доска — типичная классная комната, убогая родственница самой жалкой из комнат, и, однако, то, что она была такая заурядная, успокоило Кристину. По крайней мере здесь, подумала Кристина, всё без обмана.

Интересно, кто будет сидеть в этой аудитории? Что за девушки? Какая-нибудь будущая Эдна Сент-Винсент Миллей, или Уилла Кэйсер, или доктор Элизабет Блекуэлл *? Вполне возможно. Откуда же еще, если не отсюда, выйдут великие женщины будущего? Она остановилась перед рельефной картой, порванной, с загнутыми углами.

И то, что она может стать одной из этих «великих женщин» — хотя

* Эдна Сент-Винсент Миллей (1892—1950) — американская поэтесса; Уилла Кэйсер (1873—1947) — американская романистка; Элизабет Блекуэлл — первая женщина-врач в США, получившая в XIX в. высшее образование.

бы потому, что ее мать рассчитывает на это, как в свое время рассчитывала на то, что ее братья Эллиот и Квентин сотворят чудеса,— казалось сейчас настолько невероятным, что Кристина поспешила выкинуть эту мысль из головы.

И все же, прогуливаясь между столами, она почувствовала, как в ней крепнет решимость оправдать надежды матери, и она поклялась, что будет вслушиваться в каждое слово преподавателей, читать все положенные тексты, будет стараться понять не только то, что лежит на поверхности, но и внутренний смысл прочитанного. Она не будет гнаться за отметками и расположением преподавателей — ей нужны факты, доказательства, ясность...

Стемнело. Кристина побежала по мокрой траве назад, к Родс-Холлу. В Денбиге, Пемброуке и Рокфеллеровском корпусе зажглись окна— словно появились светляки в темноте. Осенний холодок покусывал кожу. Внезапно где-то глухо ухнул колокол. Это забили часы на башне Тейлор-Холла. Кристина остановилась, глядя вверх, на древнюю готическую башню. Почтительно прослушала голос колокола и заспешила дальше.

III

Ужин подавали наверху, а потом все спускались в гостиную на первом этаже, известную под названием Демонстрационный зал, где пили кофе. Казалось, эту залитую теплым светом комнату с большим французским окном сейчас оккупировал полк шотландских стрелков: на современных диванах и в глубоких креслах сидели девушки в ярких клетчатых юбках, в то время как негритянки в белоснежных передничках разносили подносы с чашками разбавленного молоком кофе. Взяв в руки чашку, Кристина оглянулась в поисках свободного места,— вокруг нее оживленно болтали:

— ...Платье было просто чудо: с высокой талией, широкой юбкой. И я раздобыла *потрясающие* туфли к нему...

— ...Родители этим летом привезли с собой из Европы французского повара: стоит он гроши, а готовит — божественно...

— ...Я просто *обожаю* твой лак. Что это за цвет — «чудо-розовый»?

Прислушиваясь к этой болтовне, Кристина с изумлением подумала, что ведь о том же болтали и ее товарки там, в Лос-Анжелесе,— только слова произносили по-своему, как принято на востоке страны. А она почему-то ждала, что здесь все будет иначе. Да в известной мере так оно и было, и она поняла это, когда присела возле болтавших девушек и осторожно поднесла чашечку к губам. Ее соседки, несомненно, получили менее строгое воспитание, не впервые пили кофе, красили губы и ходили на свидания и в кино одни, а не в сопровождении тетушки. Просто удивительно, подумала она, как это ее осторожная, неспокойная мама решилась послать ее так далеко в колледж, а не устроила где-нибудь поблизости, чтобы лично наблюдать за ней. Должно быть, все-таки Брин-Мор немало значил для Наоми, коль скоро она взяла и послала дочь из Голливуда учиться на другой конец страны.

— Хотите?

Кристина помедлила, но всего лишь миг.

— Благодарю,— сказала она новенькой, с которой они вместе ехали со станции и которая сейчас протягивала ей пачку сигарет.

Но после первой же затяжки у Кристины закружилась голова, и она продержала сигарету в пальцах, пока та не догорела до конца; тут она не без стыда вспомнила, что обещала родителям написать сразу же по приезде.

Однако прошло еще немало времени, прежде чем она взялась за перо. Наверху в дортуаре она обнаружила свою соседку по комнате Эли-

зу Фроум из Скарсдейла, штат Нью-Йорк. Распаковывая вещи, они разговорились — особенно Элиза, оказавшаяся хорошенькой и болтливой. Она была влюблена в некоего юношу по имени Дэвид, актера, чью улыбающуюся фотографию она поставила на свой ночной столик, как бы бросая вызов Кристине. Однако узнав, что у Кристины «никого нет», она тут же предложила свои услуги, пообещала в первый же свободный уик-энд взять ее с собой в Нью-Йорк и познакомить с друзьями Дэвида. Наконец Элиза улеглась и теперь, в пижаме и бигуди, сладко похрапывала в своей постели. Кристина пригнула лампу, чтобы не мешать ей, и принялась за письмо.

«Дорогие мама и папа,

много писать не буду, так как моя соседка по комнате уже спит и я не хочу ей мешать. Хочу только сказать вам, что я уже немножко огляделась...»

Она подумала, вычеркнула два последних слова и написала взамен: «совершила обход территории»,— так, казалось ей, будет ироничнее и больше понравится маме.

Глава 6

Лампа под зеленым абажуром отбрасывала трапецию света на раскрытую страницу из Катулла. Было около одиннадцати. Читальный зал погрузился в темноту, если не считать еще одного уголка света у противоположной стены, где в глубоком кресле сидела какая-то старшекурсница и с увлечением читала детективный роман. На улице было тихо, лишь холодный осенний ветер завывал среди голых ветвей. Самое подходящее время, чтобы как следует поработать, решила Кристина. Но она смотрела на раскрытую страницу и не могла сосредоточиться. Почему-то ничего не получалось. Она уже несколько раз подумывала о том, чтобы бросить все и лечь спать. Но если ей становилось невмоготу при одной мысли о необходимости копаться в латинском стихе, то при мысли о постели сонная одурь тотчас улетучивалась, ей хотелось двигаться, что-то делать. У нее было такое чувство, что если она сейчас заснет, то упустит нечто чрезвычайно интересное. Добрая половина обитательниц этого здания уже легла, скоро и остальные последуют их примеру. Так что же может произойти сейчас интересного? И тем не менее она ждала... ждала чего-то...

Часы на башне пробили половину, и, взглянув на лежавший перед ней том, Кристина поняла, что за весь вечер разобрала лишь одну фразу. Тогда она решительно захлопнула книгу...

В темном коридоре, который вел в курилку, она столкнулась с надзирательницей.

— Ради бога извините, мисс Глэдстон, я...

— Кто это? — спросила надзирательница, близоруко щурясь в темноте.

— Кристина Малл.

Мисс Глэдстон склонила долу свой длинный нос и посмотрела на Кристину. Она выглядела удивительно беззащитной без очков, и Кристине стало неловко — словно она увидела надзирательницу неодетой.

— Извините. Я спешила.

— В такой поздний час? Разрешите узнать, куда же это? — осведомилась мисс Глэдстон.

Вопрос был поставлен точно. Кристина не знала, что отвечать.

— Неужели мы разучились ходить, мисс Малл? Или мы должны всегда только бегать? Весь дом гудит от топота ног.

— Извините,— повторила Кристина.

— А главное — нет никакой надобности спешить,— сказала мисс Глэдстон.— Жизнь от вас не убежит. Вся вам останется.

Кристина посмотрела на мисс Глэдстон, высохшую, близорукую, в выцветшем халате, и ничего не сказала.

— А теперь можете идти, только *идти*, а не бежать, поняли? — предупредила надзирательница.

Заглянув в курилку, Кристина обнаружила там несколько новеньких, в большинстве своем светских девушек из Балтиморы, которые сидели на диване и делали маникюр, готовясь к предстоящему уик-энду. На галерее первокурсницы играли в карты. Кристина села и раскрыла свою греческую книжку.

— Так вот, милые девы, раз уж речь у нас зашла о мужчинах...— произнесла одна из новеньких, хотя никто этой темы вроде бы не касался,— пойду-ка я наверх и лягу спать, чтоб сберечь красоту.

Следом за ней поднялись и остальные, зевая и потягиваясь. Зашевелились и картежницы на галерее. Скоро здесь никого не останется. Но Кристина решила побыть еще немного. Ей не хотелось встречаться с этими девушками в туалетной, видеть, как они выходят из ванной после горячего душа в стеганых нейлоновых халатиках, розовые, умащенные кремами, волосы накручены на бигуди. Каждый вечер она наблюдала, как Элиза проделывает ритуал — Большой Вечерний Обряд Ухода за Телом,— и ее уже начинало тошнить от этого. «Вся жизнь в этом, вся жизнь в этом»,— казалось, говорили розовые ножки, только что вышедшие из горячей ванны.

— Спокойной ночи...

— Спокойной ночи...

Через несколько минут последняя пара домашних туфель прошлепала по коридору. В курилке не осталось никого, кроме Кристины, Эдны Рут, старшекурсницы, изучавшей археологию,— «заядлой зубрилки» Родс-Холла, которая сидела сейчас с книжкой в уголке, и еще кого-то, о чьем присутствии — словно это был индеец у костра — свидетельствовал лишь дымок, тихонько поднимавшийся к потолку.

Но вот уже и Эдна, видимо, решила отбыть ко сну. Кристина услышала зевок, звук захлопнутой книги, а через минуту Эдна стояла над ней, круглолицая, изжелта-бледная, со следами шоколада в уголках губ.

— Занимаетесь? — спросила Эдна.

— Понемножку.

Кристина проследила за ней взглядом: толстый зад, обтянутый простенькой юбкой, складки жира на спине под севшим от стирки свитером, спутанные нечесаные волосы. Но все это было бы ничего, если бы Эдна не обожествляла уродства и не гордилась им, как светские девицы гордились своим совершенством. А может быть, Кристина все это придумала — так легче было объяснить, почему она избегает Эдну, и успокоить свою совесть: ведь у девушки не было подруг, и она явно стремилась сблизиться с Кристиной.

— Что это вы тут делаете, Малл?

Кристина виновато вздрогнула. Так, значит, это Сэнди сидела там, внизу. Кристина поспешно выпрямилась и раскрыла книжку, лежавшую у нее на коленях.

— Занимаюсь.

— Ни черта подобного,— ровным голосом произнесла Сэнди.— Вы ни одной страницы не перевернули за сорок пять минут.

— Ну, во всяком случае, пытаюсь заниматься,— сказала Кристина.

— Идите сюда, давайте покурим.

Кристина медлила.

— Да идите же, черт возьми,— сказала Сэнди,— не заставляйте меня напрягать голос!

Кристина спустилась по ступенькам вниз и увидела, что Сэнди лежит на диване в глубине комнаты. Кристина в нерешительности остановилась. Этот темный уголок безраздельно принадлежал старшекурсницам, именовавшимся «интеллектуалками», и по молчаливому уговору новенькие никогда не преступали его границ.

— Какого черта вы там стоите и дышите,— буркнула Сэнди и жестом указала на диван.— Только не выводите меня из терпения.

Это было своеобразное приглашение разделить компанию. Кристина села. В ту же минуту где-то поблизости раздался странный звук, гулко отдавшийся в ночной тишине, точно кто-то ударил бутылкой об стену и она разлетелась на тысячу кусочков.

— Что это? — спросила Кристина, вздрогнув.

Сэнди слегка усмехнулась, но ничего не ответила. А через минуту комната наполнилась сомнамбулами в шлепанцах; впереди шла девушка с откупоренной бутылкой кока-колы в руке, которую она несла словно чашу святого Грааля. В противоположность Эдне, девушки были хорошенькие, но одеты были так же небрежно, как и она. Внимание Кристины привлекла очень светлая блондинка с нечесаными платиновыми волосами; она была в джинсах и рубашке навыпуск, настолько перепачканной чернилами и разными химикалиями, что ее первоначальный цвет невозможно было установить. Кристина невольно уставилась на нее. Девушка в свою очередь посмотрела на Кристину.

— Что это вы на меня уставились?

— Да так,— с улыбкой сказала Кристина.— Любуюсь вашей рубашкой.

— Спасибо,— коротко сказала девушка.— Мне она тоже нравится.

— Я подумала,— продолжала Кристина,— что если бы подвергнуть ее анализу — изучить природу и происхождения этих пятен,— можно было бы разгадать, что же представляет собой этот феномен, именуемый «питомица Брин-Мора».

Она произнесла это небрежным тоном, но в глубине души очень волновалась. Судя по разговорам в столовой, эти девушки держались весьма независимых взглядов на политику, но политика не интересовала ее, и она решила показать себя в беседе на другую тему. Однако девушка лишь пристально посмотрела на нее и повернулась к Сэнди.

— Кто эта ваша приятельница?

— Новенькая,— с улыбкой сказала Сэнди.— Ее зовут Кристина Малл.

— Новенькая? — повторила другая девушка, приподняв бровь и тем самым выражая удивление по поводу появления на их территории низшего существа.

— Она изучает древнегреческий,— сказала Сэнди,— приехала из Голливуда.

— Вот как? — произнесла девушка, и брови ее опустились. Столь странное сочетание в достаточной степени выделяло Кристину, давая ей право по крайней мере на временное пребывание в их уголке.

— Вы не думаете, что интересно было бы провести такой анализ?— продолжала Кристина.

— Потрясающе,— сказал кто-то, но таким безразличным тоном, что Кристине оставалось лишь гадать, было это сказано иронически или вполне искренне, тогда как окружающие переглянулись с улыбкой.

Кристина понятия не имела, что в этом кругу считалось детски наивным спрашивать о чем-то напрямик. У них была особая манера продвигаться к цели в обход, потаенным, извилистым путем, лишь намеками давая понять слушателю, о чем идет речь. Даже когда речь шла о чем-то действительно важном, как, например, о проблеме перенаселения или о предстоящих выборах, обсуждать это следовало неторопливо,

презрительно скривив губы. Кристина тотчас почувствовала, что попала не в точку, и инстинктивно отступила.

— Ну, я когда-нибудь займусь этой проблемой сама,— пробормотала она, откидываясь на диванные подушки.

Девушки заулыбались. Вот теперь все в порядке. Так можно выйти из положения. Кристина, почувствовав это, обрадовалась и в то же время огорчилась. Прошел целый месяц с тех пор, как она приехала в колледж, а жизнь здесь по-прежнему казалась лишь увертюрой к некой великой опере, которая все никак не начиналась.

Глава 7

СПРЮС-СТРИТ... Надпись подрагивала на сильном ноябрьском ветру, задувавшем из-за угла. Крепче запахнувшись в пальто, Кристина взглянула на адрес, оторванный от письма Наоми, и заспешила дальше, пробираясь сквозь толпу филадельфийских прохожих. Руки она держала в карманах и, хотя перед выходом целых полчаса отмачивала их в горячей воде, все же боялась, что они будут недостаточно послушны. Квентин — тот никогда не волновался: ему было все равно где играть на скрипке — перед аудиторией в пятьсот человек или в одиночестве. А Кристина, поднимаясь по ступенькам старого кирпичного жилого дома, уже чувствовала, как у нее деревенеют пальцы.

В ответ на ее звонок дверь тотчас отворилась, и перед Кристиной предстал мужчина лет под шестьдесят, с гривой длинных седых волос и пронзительными карими глазами.

— Доктор Лэнджер? — спросила она.

— Проходите, пожалуйста,— сказал он и протянул ей руку.

Она вошла в темную переднюю.

— Только не доктор, а *мистер* Лэнджер,— продолжал он, беря у нее пальто.— Степеней мне пока еще никто не присуждал и теперь уже едва ли присудят. Я всего лишь бедный учитель музыки... вернее, хороший учитель музыки, но бедный человек,—поправился он и, жестом предложив ей пройти в гостиную, указал на диван, а сам сел напротив.

— Итак, значит, Тесслер рассказал вашей маме обо мне,— начал он.— Прекрасно. Теперь ваша очередь рассказать мне о себе.

И он принялся задавать ей обычные вопросы: с кем она работала, сколько лет занимается музыкой. Она отвечала, поглядывая вокруг. У окна стояло два рояля, диван, на котором она сидела, да несколько разрозненных стульев с потертыми кожаными сиденьями; остальную обстановку составляли полки, прогибавшиеся под тяжестью книг — больших и маленьких, старых и новых, вперемежку с бюстами музыкантов и старыми литографиями, выполненными сепией. Это была странная комната — чем-то безобразная, а чем-то прекрасная.

— Итак, вы хотите продолжать занятия музыкой одновременно с занятиями в колледже,— сказал Лэнджер, попыхивая сигаретой.

Она кивнула:

— Если смогу совместить.

— Ну-с, послушаем, как вы играете,— сказал он, не приглашая ее, однако, к роялю.— А как поживает Тесслер? — продолжал он.— Наверно, хорошо. Много зарабатывает?

Кристина помедлила, вспомнив высокого эстета, которого она видела на вечеринке несколько месяцев тому назад. Потом пожала плечами.

— Не думаю, чтобы Тесслера интересовали деньги.

— Вот как? — заметил Лэнджер и презрительно фыркнул. Она удивленно взглянула на него.— Евгений забрался на одну из самых высоких в этом мире вершин, где восседают те, кто использует красоту

ради вот этого...— И он характерным жестом потер указательный палец о большой.

Кристина подумала, что это какое-то уж слишком крайнее суждение.

— Вы в самом деле так считаете? — вежливо спросила она.

— Я готов сказать это ему в лицо! — бросил Лэнджер.— Он это знает и, должно быть, потому старается не показываться мне на глаза.— Он рассмеялся шумным, неожиданно громким смехом, но Кристина почувствовала, что это не просто смех по поводу собственной остроты.

— Много лет тому назад мы с Евгением вместе работали в Европе,— продолжал Лэнджер, как бы отвечая на ее невысказанный вопрос.— Мы были молоды, и оба думали о том, как вывести музыку из концертных залов, которые посещают избранные, чтобы она дошла до каждого, способного ее воспринять. Мы исповедовали тогда великие идеалы, которых сейчас один из нас, боюсь, уже не разделяет...

— Но мне кажется...— осторожно начала Кристина,— что Тесслер именно это и делает.

— Каким же путем?

— Дает концерты перед большими аудиториями.

— Да, конечно, дает концерты,— согласился Лэнджер.— Но я-то имел в виду нести музыку в народ... Ну, а теперь сыграйте мне,— неожиданно сказал он и энергично вскочил на ноги.— Вы ведь для этого пришли сюда, а вовсе не для того, чтобы обсуждать Евгения.

Кристина заволновалась, и все мысли о Тесслере сразу вылетели у нее из головы.

— Что будете играть?

— Прелюдию Баха.

— Которую?

Кристина молчала, внезапно забыв обозначение Прелюдии.

— Ну, ту, что на шестьдесят четвертой странице,— сказала она.

— А-а, фа-минор,— сказал он,— если вы имеете в виду издание Брейткопф-Хертеля.

Бог мой, подумала Кристина, он даже знает, на какой странице какая вещь напечатана. Но, почувствовав на себе нетерпеливый взгляд, стряхнула с себя оторопь, быстро подкрутила табурет и начала играть.

Лэнджер присел возле другого рояля и весь превратился в слух. Он слушал, прикрыв рукою рот, глядя вдаль отсутствующим, невидящим взглядом.

Но вот Кристина кончила Прелюдию и с тревогой посмотрела на него.

— Дальше, дальше...

— Вы хотите, чтобы я сыграла фугу? — спросила она.

— Конечно.

Он вскочил с табурета и зашагал по комнате, бесшумно ступая в своих мягких туфлях на каучуке. Дойдя до окна, он повернулся и издали посмотрел на Кристину. Она принялась играть. А он наблюдал за ней, изучал ее, думал...

Ну, скажем, он присоединит эту девушку к крошечной горстке своих учеников, станет тратить на нее энергию и жизненную силу, отдавая ей то, чего, как все время предупреждали врачи, у него осталось так мало,— к чему это в итоге приведет? Наступит ли такой день, когда он будет сидеть в золотистом полумраке набитого до отказа городского концертного зала и вместе с затаившей дыхание аудиторией слушать в ее исполнении Бетховена и Баха? Едва ли. Скорей всего эта студентка Брин-Мора какое-то время помечтает о карьере пианистки, но очень быстро забросит свою мечту, станет сначала светской девицей на выданье, потом прелестной матерью семейства с музыкальными детьми, потом, много лет спустя, дряхлой бабушкой с многочисленными внука-

ми; она будет сажать одного из них к себе на колени и наигрывать ему на рояле колыбельную скрюченными от артрита пальцами, в которых, однако, еще будет чувствоваться выучка Лэнджера. Да, подумал он, так скорей всего и будет. Но есть ли у него выбор? Мать этой девушки в состоянии платить по пять долларов за час,— может ли он отказаться от них?.. Он нахмурился и сосредоточил все свое внимание на звуках. И по мере того, как он слушал, он понял, что в ее игре что-то есть, есть какое-то свое понимание,— он не улавливает, какое именно, и все же...

— Достаточно,— спокойно сказал он.— Вы неплохо показали мне свои возможности.

— Вы хотите сказать: очень плохо,— пробормотала Кристина, снимая руки с клавиш.

— Да, играли вы плохо,— ровным голосом произнес Лэнджер,— во всех отношениях плохо, только не громыхали, что уже слава богу.

Лэнджер произнес это спокойно, точно говорил о погоде. Это была объективная истина, и потому в его критике не было ничего оскорбительного, обидного. Однако Кристина, словно попав под струю ледяной воды, в первую минуту сжалась, но потом воспрянула духом.

— Не знаю, согласится ли со мной Евгений,— продолжал он,— но в каждом человеке, по-моему, живет музыка. Или что-то не менее возвышенное. Однако лишь немногие находят способ выразить то, что в них живет, и оно умирает, так и не родившись.— Он помолчал, нахмурившись.— Главное для художника найти средство самовыражения, дать потоку излиться, не позволить страху преградить ему путь. Истина озаряет нас, но поскольку провозглашение ее может принести нам мучения, мы хороним ее в себе. И делаем вид, будто истина выглядит иначе. Процесс творчества в том и состоит, чтобы извлечь на свет подлинную истину, вытащить ее из склепа, ни во что ее не рядить, а чтоб она была такая, как есть — *нагая*.

Он произнес это с горечью — словно не раз пытался, но не всегда мог следовать своему желанию.

— Но как,— спросила Кристина,— как этого достичь на инструменте?

— Это должны знать пальцы,— сказал он.— Ведь в музыке они — и глаза, и уши.

— Нередко мне кажется, что я знаю, как должна звучать та или иная вещь,— сказала она,— но пальцы меня не слушаются.

— Не вините во всем руки,— противореча сам себе, сказал Лэнджер.— Вся беда в вас самой — ну, не в вас лично, во многих людях. Они играют, стремясь показать свою виртуозность, или тонкость души, или что-то еще, что, по их мнению, может понравиться публике...— И он обвел рукой воображаемую аудиторию.— Они хотят нравиться и ради этого продают себя, а заодно и музыку. Но себя не так-то легко продать,— добавил он с горечью.— Нельзя продать только руку или ногу. Надо продавать себя целиком, как продает свое тело проститутка. Все или ничего, да, все или ничего,— повторил он.— Это единственный выход для художника.

Она растерянно пожала плечами.

— Преподаватели обычно требуют, чтобы каденция звучала, как рассыпавшийся жемчуг.

Лэнджер неожиданно рассмеялся.

— Большинство преподавателей обычно учат игре на рояле, а не тому, как творить музыку. А ведь это далеко не одно и то же. Ну, а теперь идемте сюда,— сказал он, беря ее за руку и подводя к дивану.— Я приготовлю чай. Кстати, вы любите китайский чай?

Они просидели целый час, беседуя о музыке, искусстве, жизни. Слушая Лэнджера, Кристина удивлялась его неистребимой энергии и

думала о том, сумеет ли она когда-нибудь узнать хотя бы сотую долю того, что знает он. Когда под конец, немного смущаясь, она высказала эти свои мысли вслух, он рассмеялся.

— Да, дух у меня сильнее тела. И бренная моя оболочка не в силах справиться с такой нагрузкой. Поэтому я больше и не выступаю перед публикой,— добавил он уже совсем не игривым тоном.— Тесслер, наверно, говорил вам об этом. У меня было большое имя в Европе, но здоровье подвело.

По тому, каким бесстрастным тоном это было произнесено, она поняла, что речь идет о главной трагедии его жизни. И почувствовав необъяснимую жалость к нему, отвела взгляд. Он это заметил и улыбнулся. Потом вдруг резко выпрямился.

— Ну-с, когда же вы хотели бы начать? — спросил он.

— Начать? — повторила она.

— Да, начать занятия.— И, видя, что она медлит, быстро добавил: — Я ведь многому могу вас научить. Я очень хороший педагог.

— Я думала, что это отпало,— вспыхнув, сказала она.

■

Кристина быстро шла по Спрюс-стрит, вдыхая бодрящий ноябрьский воздух, лавируя среди толпы. На душе у нее было легко, и все казалось нипочем — никогда прежде она еще не испытывала такого чувства. Она не раздумывала над его происхождением, не спрашивала себя, отчего оно возникло, а с наслаждением отдалась ему и даже стала напевать.

Войдя в ворота колледжа, она по извилистой аллее направилась к Родс-Холлу. Кругом царила тишина — то тут, то там возникали высокие готические здания, светились медовым светом окна, сумрачно поблескивали шиферные крыши, изящные шпили прорезали небо цвета индиго, усеянное звездами...

Во всем этом было что-то картинное — столь же искусственно красивое, как декорации на киностудии. Расхрабрившись после встречи с Лэнджером, который словно вспрыснул ей в вены мужества, она подумала: неужели за этим красивым фасадом тоже пустота — одни только покрытые пылью подпорки? Мысль пошла дальше. А если это так, то все ли общепризнанное, установившееся, превозносимое так уж бесспорно?

Ей вдруг стало страшно — неизвестно почему. Она с тревогой посмотрела вокруг. Все было мирно и покойно. Нигде никого. И тем не менее она ускорила шаг и заспешила по аллее к освещенному входу.

Глава 8

I

Секретарша просунула голову в дверь.

— Мисс Барски? Я только хочу сказать вам, что эти страницы, которые вы велели перепечатать...

Но Наоми шикнула на нее и жестом отослала из комнаты. Девушка исчезла, а Наоми снова склонилась над телефоном.

— Кейзи, дорогой, не смей губить себя,— горячо заговорила она, держа трубку у самых губ и до предела повысив голос.— Хватит переживать — надо работать. Это единственный выход.

Она была рада, что секретарша так быстро исчезла. Глупо как-то, когда кричишь такие вещи по телефону, но связь была плохая, и она еле слышала глухой пьяный голос, говоривший на том конце провода.

— Все было так хорошо сначала... потом разъехалось,— донеслось до нее сквозь помехи.

— Я знаю, как это бывает, знаю,— прервала его Наоми: ей хотелось, чтобы этот несчастный человек за три тысячи миль от нее понял, как она ему сочувствует.— Но все браки этим кончаются, даже самые удачные. Это естественно. Хотя тебе несомненно больно, что все так получилось. Но нельзя же есть себя поедом. Слишком ты даешь волю чувствам, слишком остро все переживаешь...

— Глупая шлюха...— долетел до нее скрежещущий голос.

— Правильно, Кейзи, дорогой, она, конечно, шлюха,— начала было Наоми, но голос перебил ее:

— Я говорю: ты — глупая шлюха!

Наоми умолкла, насупилась, собирая всю силу воли, чтобы сдержаться.

— Послушай, Кейзи, повесь-ка трубку и позвони мне, когда протрезвеешь, хорошо?

Последовала длинная тирада — слова сыпались, перемежаемые помехами, так что она ничего не могла разобрать. Потеряв терпение, она вздохнула:

— Кейзи, это же стоит тебе уйму денег.

— *Ты* мне стоишь уйму денег,— совершенно отчетливо послышалось в трубке: все помехи куда-то вдруг исчезли.— Почему ты не отвечаешь на мой вопрос, черт возьми?

— Какой вопрос? — спросила Наоми.

— Надо мне браться за этот сценарий или не надо? Мне предлагают за него состояние, но я могу послать этих мерзавцев ко всем чертям...— Последовала цепь ругательств в адрес заправил студии.

Наоми ничего не поняла, только мучительно старалась вспомнить, есть ли такой федеральный закон, который запрещает ругаться по междугородному телефону.

— Постой,— поспешила она прервать его.— О каком сценарии идет речь?

И Кейзи еще раз повторил то, что, по-видимому, все время пытался ей вколковать, а она думала, что он говорит о своей бывшей жене. Студия предложила ему написать сценарий по одному роману. У романа хорошее начало, но и только, и Кейзи никак не может решить, браться ему за это или нет.

Наоми выслушала его, взвесив все «за» и «против», и, когда Кейзи умолк, сказала:

— Мне думается, ты должен взяться — и не только из-за денег, а потому, что тебе, наверно, удастся что-то из этого сделать.

— Ты уверена? Ты думаешь, из этого можно сделать что-то стоящее? — донесся до нее издалека голос Кейзи.— Ты думаешь, я действительно смогу что-то *сказать*? В противном случае я и притрагиваться к этому не стану. У меня есть более серьезные дела. Гораздо более серьезные.

Ей трудно было понять, говорит ли он сознательно или просто спьяну, поэтому она повторила лишь, что было бы разумно принять предложение.

— Но роман-то ты считаешь стоящим? — настаивал он.

— Я считаю, что стоит за это взяться,— сказала она и действительно так думала. Нельзя Кейзи оставаться в Нью-Йорке. Слишком живы там воспоминания. За один только месяц он третий раз звонил ей по телефону, жалуясь на разные беды, и неизменно был пьян.— Кейзи, дорогой,— сказала она,— берись за эту работу. Ты не пожалеешь.

В трубке наступило молчание, потом он сказал:

— Ну, хорошо, но если ты ошиблась, я снова начну пить и не остановлюсь, пока не сдохну.

Кейзи уже повесил трубку, а Наоми все сидела, погруженная в тревожные думы. Ее тревожил не Кейзи — последнюю фразу он произнес совершенно трезвым тоном,— а она сама: почему, не расслышав его, она тотчас решила, что речь идет об Эйлин? Почему? Не потому ли, что она все время думает о неудавшихся браках? Неужели собственные тревоги, подозрения так влияют на весь ход ее мыслей?.. Но ведь она дала себе слово не думать больше об этом — во всяком случае до тех пор, пока у нее не будет конкретного повода. Подозревать гораздо хуже, чем знать: ведь тогда человек съедает себя живьем.

И тем не менее, сидя у замолкшего телефона и продолжая машинально вертеть в руках провод, она снова представила себе, как те двое изо дня в день трудятся вдвоем в залитой солнцем библиотеке наверху, у старого письменного стола со складной крышкой: он — такой остроумный, такой рафинированный, такой обаятельный (а Бэкстер мог быть очень обаятельным, когда хотел), она — наивная девчонка, зачарованно и жадно глотающая каждую кроху, оброненную этим блестящим умом. На первый взгляд, тут не было ничего предосудительного. Бэкстер написал несколько глав своего романа и нанял секретаршу, чтобы их отпечатать. Она оказалась образованная, неглупая — что ж тут удивительного, если ее пленили разглагольствования Бэкстера. Сказал ли Бэкстер агентству, когда нанимал ее, что просит прислать кого-нибудь помоложе и поинтереснее? Наверняка. Но это было вполне естественно — во всяком случае для Бэкстера. Некрасивые женщины раздражали его — об этом знали все в доме. И подтрунивали над ним. Тогда чего же она волнуется? Она тряхнула головой. Право же, нет причин для волнений. Просто она устала, чертовски устала после того, как день и ночь корпела над очень трудным куском, и любое свежее, кипучее молодое существо вызывало у нее зависть.

Она потянулась через стол и нажала на зуммер. Надо привести себя в порядок. Она поседела, работая на студии,— значит, и выправлять положение она будет за счет рабочего времени студии. Когда секретарша вошла, Наоми была уже в шляпе.

— Можете не торопиться с перепечаткой,— сказала она.— Эти страницы мне понадобятся лишь завтра. Я уезжаю в парикмахерскую.

— Сейчас, мисс Барски? — спросила удивленная секретарша.

Наоми очень редко покидала студию среди бела дня.

— Если кто-нибудь зайдет, скажете, что у меня разболелась голова и я уехала домой.

II

Голова не позволила Наоми солгать и в самом деле разболелась. Когда Наоми вылезла из-под сушильного аппарата, у нее разыгралась настоящая мигрень. Было еще рано, и она собиралась купить кое-что в Беверли-Хиллз, но, подумав о толчее в магазинах, она почувствовала дурноту, села в машину и поехала прямо домой.

Интересно, что они делают сейчас в библиотеке, подумала она,— наверно, сидят и смеются над каким-нибудь анекдотом, как близкие друзья. Но проходя мимо раскрытой двери, она увидела, что оба погружены в работу: Бэкстер диктует, а карандаш девушки так и летает по блокноту,— картина, представшая ей, была столь обыденна, что Наоми лишний раз поняла,— как беспочвенны ее страхи. Она тихонько прошла к себе в комнату и прикрыла за собой дверь.

Через два часа Наоми проснулась, голова у нее после лекарств была все еще тяжелая, тем не менее она поднялась, надела самое хоро-

шенькое из своих домашних платьев, тщательно подмазалась и причесалась. Когда она вошла в библиотеку, Бэкстер стоял у камина, а секретарша собирала исписанные страницы. Вид у обоих был напряженный, усталый, но опять-таки это было естественно после целого рабочего дня.

— Здравствуйте,— сказала Наоми.

Девушка — ее звали Адель — подняла на нее глаза и покраснела; Наоми заметила, что она всегда краснеет, когда к ней обращаются старшие. Какая она молоденькая, какая молоденькая, подумала Наоми, едва ли она намного старше Кристины.

— Я не помешала?

— Что вы, миссис Малл,— поспешила заверить ее девушка.— Мы уже кончили. И я ухожу...

Наоми подошла к мужу и поцеловала его. Он ответил ей сдержанно, в бостонском стиле, слегка коснувшись губами ее щеки, как всегда делал при чужих.

— Куда же вы так торопитесь,— заметила Наоми, обращаясь к девушке.— Я надеялась, что вы побудете немножко и поболтаете со мной. Мы ведь, собственно, почти не знакомы.

— Она торопится на автобус,— сказал Бэкстер.— Не надо ее задерживать.

— Не страшно, я успею. Я с удовольствием посижу с вами несколько минут.

Адели, видимо, и в самом деле хотелось остаться: Наоми по ее лицу поняла, что девушку интригует и притягивает знакомство с женщиной, сделавшей такую удачную карьеру.

— Вот и прекрасно. Садитесь, пожалуйста,— сказала она, опускаясь на диван и жестом указывая на место рядом.— Бэкстер столько говорил мне о вас — какая вы отличная секретарша. Откуда же вы родом? Уж конечно, не из Лос-Анжелеса. Я что-то не знаю никого, кто бы здесь родился.

— Я родилась в Кармеле. И сейчас живу там с тетей. Родители мои умерли. Они оба погибли в автомобильной катастрофе три года тому назад.

Какая, видимо, чушь все эти ее страхи, подумала Наоми. У девушки и без романа с женатым человеком хватает в жизни забот. А Наоми всегда считала, что тайные романы заводят лишь те, кому некуда себя девать, что они возникают от безделья и скуки или от безволия. Эта же девушка вовсе не производила впечатления безвольной.

— Какой это, должно быть, страшный был для вас удар,— искренне сказала она.— Мне очень жаль вас.— Она помолчала.— Вам, наверно, и школу не удалось окончить?

— Нет, я проучилась год в колледже, но потом сама бросила.— Она вдруг густо покраснела.— Видите ли... моя мечта — стать писательницей. Не знаю, смогу ли, выйдет ли из меня что-нибудь, но хочу попытаться. Вот почему для меня такое удовольствие работать с вашим мужем,— добавила она и подняла глаза на Наоми.— Право же, так повезти может только раз в жизни.

— Ну, я надеюсь, вы еще долго будете работать с моим мужем,— сказала Наоми.— Вы ведь так ему нужны.

— Я бы очень этого хотела,— самым естественным на свете тоном сказала девушка,— но беда в том, что не могу. Сегодня был мой последний рабочий день здесь. Завтра я уезжаю в Кармел.

— В Кармел? — Это было неожиданностью для Наоми. Она знала, что Бэкстер еще далеко не закончил своей работы.

— Да,— сказал Бэкстер,— она покидает меня. Бросает с бессмысленной непоследовательностью всех особей женского рода.— Он произ-

нес это шутливым тоном, но Наоми уловила в его голосе досадливые нотки, словно он был зол на девушку.

— Моя тетя очень больна,— пояснила та.— Она много старше мамы и последние годы плохо себя чувствует. Так что придется мне посидеть с ней дома.

— Очень жаль,— сказала Наоми, не спуская глаз с девушки.— Но, может быть, вы вернетесь, если тетя почувствует себя лучше?..

Адель пожала плечами.

— Право, не знаю. Не думаю.

Она произнесла это таким безоговорочным тоном, что последние подозрения Наоми исчезли. Эта девица — не дурочка, сказала она себе. Значит, тут можно не беспокоиться.

Как только Адель вышла из комнаты, Наоми потянулась за стаканом виски. До сих пор она не притрагивалась к нему, но сейчас почувствовала, что хочет выпить. Она поднесла стакан к губам и сделала большой глоток как раз в ту минуту, когда Бэкстер, проводив девушку, вновь появился в комнате.

— Ну, ты, по обыкновению, совершенно покорила ее,— сказал он.— Такой умной, такой скромной женщины она в жизни не встречала.

— Она всячески превозносила и тебя тоже,— сказала Наоми.

Бэкстер промолчал.

— Обидно, что она от тебя уходит.

Бэкстер пожал плечами.

— Неужели тебе не жалко терять ее?

Бэкстер помедлил немного.

— Конечно, черт побери! Она оставила груду страниц, в которой я не могу найти ни конца, ни начала. У меня уйдет не одна неделя на то, чтобы привести все в порядок.

— Ну, времени-то у тебя сколько угодно...— сказала Наоми. «Это жестоко и недостойно,— тут же подумала она.— Ведь он, по сути, ничего мне не сделал, за что же я мщу ему?»

Но он пропустил это мимо ушей. Он стоял у камина и рассеянно, маленькими глоточками пил коктейль. Он был явно зол, как человек, оставшийся у разбитого корыта. И Наоми впервые почувствовала к нему что-то похожее на жалость.

— Не огорчайся,— тихо сказала она,— найдешь себе другого секретаря.

Он посмотрел на нее и ничего не сказал, но явно все понял и догадался, что она знает истинную причину его досады, а потому решил быть осторожнее — переменил тон и заговорил ласково, заботливо:

— У тебя опять сегодня болела голова? И ты поэтому вернулась так рано?

Наоми кивнула. Он посмотрел на нее с минуту, потом поставил стакан и вышел из комнаты.

Наоми продолжала сидеть на диване. Дневной свет угасал, и в библиотеке стало сумеречно. Однако она не зажигала лампы. Виски не улучшило ее настроения, а наоборот: подействовало угнетающе. Но по мере того, как шло время, в ней разгорался гнев. Как это ужасно всецело зависеть от мужчины, с горечью подумала она, сознавать, что ты существуешь лишь постольку, поскольку существуешь для него. Как она ненавидела эту тюрьму, которую чувства воздвигают вокруг женщины и в которой она живет всю жизнь. Неужели нет средств избежать этого? Хорошо еще, что у нее есть работа. И у Кристины тоже будет. Она окончит колледж, и перед нею откроются возможности, которых не было у ее матери,— она получит диплом и сможет выбрать себе любую профессию. И тогда не будет зависеть от мужчин и их настроений. Она будет свободна — в той мере, в какой человек может быть

свободен. Если бы только эта девочка понимала, что́ она имеет, каким сокровищем может стать для нее образование. Но понимает ли она это? Наоми надеялась, что да, от всего сердца надеялась.

Когда Бэкстер вернулся в комнату с газетой под мышкой, он обнаружил, что жена его стоит у окна. Он включил свет.

— Что ты тут делаешь в темноте? — удивленно спросил он.

Наоми смотрела на месяц, который нарождался за причудливым домом с колоннами, принадлежавшим английской кинозвезде. Она смотрела на него пристально, через левое плечо, как бывало ребенком, когда сидела в крестьянском доме в Литве на коленях у своей бабушки.

— Загадываю желание,— сказала она.— Просто загадываю желание — вот и все.

Глава 9

I

Толстые колонны черного дыма тянулись под углом из фабричных труб, медленно проползавших за окном. В сумрачном небе над серо-черным пейзажем нерешительно загорелось несколько бледных звезд.

— Где мы? — спросила Кристина.

— Это Ньюарк,— ответила Элиза и повернулась к подруге.— Так и не пойму, почему ты вдруг решила ехать со мной в Нью-Йорк. Мне казалось, что ты намерена заниматься все субботы и воскресенья до самых рождественских каникул — особенно эту субботу, перед концом семестра.

— Я ведь тебе объяснила вчера вечером, когда мы легли, разве не помнишь?

— Неужели из-за того, что тебе внушил твой учитель музыки — что мол, нельзя жить чужим умом, а надо видеть все своими глазами?..

— Примерно.

— Ерунда.

— Ты так считаешь, потому что заснула, не дослушав меня.

— Я очень старалась дослушать, но ты так долго разглагольствовала. Все равно я рада, что ты решила поехать — по крайней мере познакомишься с новыми людьми, что-то увидишь, а не будешь корпеть над пыльными книжками.

Лицо Кристины помрачнело.

— Я не уверена, что мама одобрила бы это,— сказала она.— Не думаю, чтобы ей это понравилось — такая беспутная поездка в Нью-Йорк и вообще...

— Что же тут беспутного? — спросила пораженная Элиза.

— Ну, то, что мы решили повеселиться. И что махнули рукой на занятия.

— Господи боже мой, что же у тебя за мама?

Но Кристине вовсе не хотелось обсуждать свою мать, особенно сейчас, и она пригнулась к окну, разглядывая приближавшийся силуэт незнакомого города.

В городе они взяли такси; поток машин подхватил их и понес к гостинице, где снимала комнату незамужняя тетка Элизы, агент по продаже готового платья, уехавшая сейчас по делам в Европу,— племяннице было разрешено пользоваться комнатой в ее отсутствие. Девушки переоделись и отправились на автобусе по городу. Шел уже десятый час, когда они добрались, наконец, до старого дома на Десятой улице.

По узкой крутой лестнице, освещенной тусклой лампочкой, они поднялись на самый верх. Элиза постучала — дверь распахнулась, на

пороге стоял высокий молодой блондин, с приятной улыбкой и довольно тупым взглядом. «Элиза, бэби!» — воскликнул он и заключил ее в объятия. Позади него Кристина увидела дымную комнату, набитую народом.

— Привет, Фил! — пылко воскликнула Элиза.— Это моя соседка по комнате, Кристина.

— Проходите, проходите.— Фил слегка подтолкнул их, и они очутились в мансарде с высоким потолком, где стоял гул голосов.— Раздевайтесь здесь — это у нас вешалка...— И указав на стул, где горой лежали пальто, он исчез.

Пока Кристина раздевалась, Элиза тоже куда-то исчезла и через некоторое время вновь появилась с красивым брюнетом в галстуке бабочкой — оригиналом фотографии, стоявшей у нее на ночном столике, но только без ретуши, без застывшей улыбки и меньше ростом, чем казалось Кристине.

— Ты хочешь, чтоб я познакомил тебя с нашими друзьями? — спросил Дэвид, не спуская руки с талии Элизы.

— О нет, спасибо, я сама.

И они исчезли куда-то, а Кристина осталась одна среди незнакомых людей, заполнявших мансарду. Должно быть, раньше здесь помещалось ателье какого-нибудь художника, а сейчас стояли продавленные диваны в плохо пригнанных чехлах, вместо столов — рыжие упаковочные ящики, накрытые крашеным холстом и служившие столами, лампы, сооруженные из пустых винных бутылок, с шаткими абажурами из рафии. Кристина смотрела на все это, и все ей здесь нравилось, особенно группа молодых актеров, оживленно споривших в уголке по поводу какой-то пьесы,— голоса их возбужденно звенели, причем больше всех говорила девушка в удлиненных очках и узких джинсах. Внезапно Кристина почувствовала, что кто-то тянет ее за рукав. Это был Фил, молодой человек, открывший им дверь. Он протягивал ей стакан с пивом.

— Хочешь? — спросил он с улыбкой.

Кристина помедлила, но лишь какую-то долю секунды.

— Спасибо.

Она опустилась на стоявший поблизости диван, и он сел рядом.

— Сигарету?

— Не откажусь.

Он дал ей прикурить и закурил сам. Она старательно выдохнула дым.

— Элиза говорит, что ты из Голливуда и совершенствуешься в греческом,— начал Фил.

Кристина кивнула.

— По-моему, это здорово,— с жаром воскликнул он.— Меня всегда безумно интересовал Голливуд... сама идея существования такого города... ну, а человек, говорящий на древнегреческом...

— На нем не говорят, а только читают,— пояснила Кристина.

— Вот так та́к! — удивленно отозвался юноша и, увидев, что она так и не пригубила пива, добавил: — Что это с тобой — не любишь пива?

Она сделала большой глоток.

— Хорошее.

— А знаешь, что я люблю? — спросил вдруг Фил.

— Что?

— Люблю натянуть на себя толстый свитер и два часа подряд гонять шары в кегельбане, вспотеть как следует, а потом выпить сразу целую кварту пива — прямо из бутылки, со льда!

Кристина не нашлась, что на это сказать, и только улыбнулась.

— А тебе нравится играть в шары? — спросил Фил.

— Я никогда не играла.

— Не играла? Что же это, милая моя, за жизнь! — Он на мгновение небрежно положил руку ей на плечо.— Надо будет как-нибудь взять тебе в кегельбан, я это непременно сделаю.

И он так же небрежно снял с ее плеча руку.

— Только придется немножко подождать, пока у меня снова появятся деньжата,— продолжал он.— Сейчас я на мели. Плачу за зубы.

Она удивленно уставилась на него.

— Разве я тебе еще не показывал мои зубы? Я думал, их уже все видели.— И он оскалился, выдвинув вперед подбородок.— Нравятся?

— А чем они должны мне нравиться? Ты их что, вычистил? — спросила она.

— Куда ты только смотришь! Неужели не ясно? Коронки,— сказал он. И с явным удовольствием быстро провел языком по сверкающим белым зубам.— Уж конечно, ты не в первый раз видишь такие зубы. Они почти у всех голливудских звезд. Или, может, ты считала, что они так и родились с красивыми зубами?

— Я никогда над этим не задумывалась,— сказала Кристина.

— Конечно, коронки должны быть хорошо подогнаны,— продолжал он,— иначе не стоит их и делать. Моими зубами занимался лучший дантист Нью-Йорка. Но это себя окупит: мои шансы теперь, конечно, повысятся.

Кристина с любопытством посмотрела на него.

— Ты хочешь сказать, что это поможет тебе получить работу на Бродвее?

— Ну, это не помешает мне и на Бродвее, конечно, но я не к этому стремлюсь. Моя цель — Голливуд. Да-с,— произнес он, чокаясь с ней,— вот куда я мечу и, дай мне только срок, попаду.— Он крепко сжал ее пальцы.

— Мне, пожалуй,— неуверенно начала Кристина,— надо поискать Элизу.

— Зачем? Я уверен, что она неплохо себя чувствует.

Кристина окинула взглядом комнату. Элиза стояла с Дэвидом. Он обнимал ее за плечи, и пальцы его небрежно играли завитушками на ее шее.

— Да ну же, выпей, наконец,— сказал Фил, отпуская руку Кристины.— Я сейчас принесу нам еще.

Она поднесла к губам стакан и на этот раз выпила все до капли.

— Вот теперь порядок! — сказал он и поднялся, чтобы принести еще бутылку.— Я вижу, мы с тобой поладим.

Кристина неуверенно вздохнула и уставилась в пол.

— Ну-ка, помолчите, пожалуйста. Тишина,— сказал какой-то рыжеволосый юноша. Он произнес это, не повышая голоса, но все тотчас умолкли.— Пройдем последнюю сцену еще раз.

Длинный, веснушчатый, в джинсах и клетчатой рубашке, он больше походил на сельского парня, чем на актера, и тем не менее в нем чувствовалась незаурядная личность. Кристина проследила за ним взглядом.

— Кто это? — спросила она, когда Фил вернулся с пивом.

Но Фил не успел ей ответить — вокруг зашикали, и все быстро расселись кто куда, освобождая место для актеров.

По мере развития пьесы — а это была драма из жизни Южных штатов — Кристина все больше убеждалась в том, что рыжеволосый юноша обладает тем неуловимым даром, теми золотыми россыпями таланта, который отличает Лэнджера за роялем, Тесслера за пультом и Брэнда в его книгах...

— Кто этот парень? — снова спросила она у Фила по окончании сцены.

Фил улыбнулся с таким видом, точно был уверен, что она задаст ему этот вопрос.

— Местный гений. Он написал пьесу и теперь ставит ее.

Комната вокруг них снова загудела голосами: актеры громко спорили, разбирая только что сыгранную сцену.

— Такого талантливого малого не часто встретишь,— заметил Фил и с сокрушенным видом добавил: — Да только едва ли он чего-нибудь добьется.

— Почему же? — спросила удивленная Кристина.

— Разве ты не заметила, какие у него зубы?

По мнению Кристины, у юноши были самые обыкновенные зубы, но Фил стоял на своем:

— Если он с ними что-то не сделает — ну, хотя бы не поставит коронок на передние зубы,— он никогда ничего не добьется.

Кристина кивнула. Фил продолжал разглагольствовать о зубах и их значении, но она лишь в пол-уха слушала его. Комната вокруг нее, казалось, наполнилась колышащимся туманом, но ее это не раздражало, а было даже приятно.

Время подходило к полуночи, и все стали расходиться. Кристина тоже поднялась. Голова у нее кружилась, очертания предметов таяли, расплывались. Однако она твердо стояла на ногах.

— Ну теперь, по-моему, наконец стало получаться,— заметил Дэвид, отыскивая в груде вещей свое пальто.— А ты как считаешь?

Но рыжеволосый юноша, к которому он обращался, лишь пожал плечами.

— День на день не приходится: бывают дни хорошие, бывают плохие. Хотя «сами по себе вещи не бывают ни плохими, ни хорошими, а только в нашей оценке» *.

Кристина услышала свой голос, произнесший:

— Это из «Гамлета». Акт второй, сцена вторая.

Актер в изумлении повернулся к ней.

— Откуда вы знаете?

— Я в свое время выучила эту пьесу наизусть — включая ремарки.

Он уставился на нее.

— Но зачем, скажите на милость? — мягко спросил он.

Кристина вспыхнула: она никогда не задавалась этим вопросом. Но прежде чем она сумела ответить, группа уходивших гостей увлекла ее вниз по лестнице. Когда они вышли на тротуар и стали прощаться, к дому подъехал старый «понтиак» 1933 года, за рулем его сидела девушка в черном платье и бирюзовой накидке.

— А вот и Айвена,— сказал кто-то.

Девушка, улыбаясь, прошла мимо них к двери. Кристина заметила безупречную кожу и красивые глаза, которые даже в полумраке улицы сверкали зеленоватым огнем.

— Кто это? — спросила Кристина у стоявшей рядом Элизы.

— Подружка Уоррена Брэккена.

Так Кристина узнала имя рыжеволосого актера.

II

«СДЕЛАНО В ТРЕНТОНЕ — КУПИТ ЛЮБОЙ». Пылающие буквы над эстакадой мигнули и исчезли, и поезд врезался в дождливую мглу.

— Хорошо ты провела время? — спросила Элиза.

---

* Шекспир. «Гамлет». Перевод Б. Пастернака.

— Великолепно,— отозвалась Кристина.

Вся их компания просидела большую часть дня в кино, где они два сеанса подряд смотрели «Жену пекаря», изучая стиль игры Рэмю. Потом все отправились выпить горячего шоколада, и Уоррен Брэккен развлекал их, подражая знаменитым иностранным актерам. Это было так интересно, что Кристина с Элизой забыли о времени и чуть не опоздали на поезд в Брин-Мор.

— Ну, как он тебе понравился? — осведомилась Элиза. Она имела в виду, конечно, Дэвида.

— Он очень красив... и... умен,— сказала Кристина.— Вообще все они славные,— добавила она.

— Это, конечно, дикая пошлятина, когда люди знакомятся в паршивой киношке,— продолжала Элиза,— но именно так мы встретились с Дэвидом. Я тебе не рассказывала?

Кристина внимательно слушала, хотя Элиза уже не раз все это ей излагала.

— Я знаю, тебе этому трудно поверить,— сказала Элиза.

— Почему?

— Ты считаешь, что все должно быть логично, рационально. А есть вещи, которые просто невозможно объяснить,— они случаются, и все тут.

— Одно не противоречит другому. Когда человек вдруг влюбляется — это все равно не любовь с первого взгляда. На самом деле ты уже где-то видела его раньше.

— Но я же говорила тебе,— перебила ее Элиза.— Мы с Дэвидом...

— Я знаю; вы никогда до того не встречались,— не дала ей договорить Кристина.— И все же... ты видела Дэвида... видела его в других людях, видела в своем воображении. И когда ты, наконец, его встретила, то сразу узнала. Понимаешь? Ты увидела человека, которого хотела встретить, о котором мечтала. Ты нашла в нем те черты, которыми восхищалась в других. И когда вы встретились, ты не влюбилась в него — нет, ты уже любила его многие годы до этой встречи.

Она произнесла это с таким пылом, что подруга в изумлении уставилась на нее.

— Ну, знаешь ли, Малл... откуда у тебя такие теории?

Кристина покраснела, но ничего не ответила.

— Нет, в самом деле? — не отступалась Элиза. И не получив ответа, тихо сказала:— А знаешь, мне кажется, ты права.— И отвернувшись к окну, задумалась.

Кристина тоже сидела молча во власти необъяснимого, гнетущего чувства отчаяния. Словно у ее ног вдруг разверзлась бездна. И манила ее зияющим провалом. Она тщетно искала, за что бы зацепиться, чтоб не думать об этом. Скажем, можно было бы найти утешение в последнем письме, которое она получила от родителей и где впервые ее не столько критиковали, сколько хвалили. Письмо лежало у нее в сумочке, но она не вынула его сейчас, потому что знала: оно не поможет, не снимет боли, сжимавшей ей сердце с той минуты, когда она впервые увидела этот резко очерченный, спокойный профиль при свете лампы под абажуром из рафии. Теперь ей безразличны были похвалы родителей и уже не имело значения, в самом ли деле она такая необыкновенная, как они считают. Она перешла границу, за которой начиналась страна, где хождение имела другая валюта.

В темном стекле окна Кристина увидела свое отражение. Волосы прямыми прядями свисают вдоль лица, глаза ввалились, и само лицо — костистое, некрасивое, что толку, что его обладательница может прочесть наизусть всего «Гамлета»! Она долго смотрела на свое отражение, словно впервые видела его.

Глава 10

Самолет нырнул. А что, если мы будем падать так без конца, подумал Кейзи, но, как бы отвечая на его вопрос, пилот выровнял машину, и они полетели дальше, пробиваясь сквозь шторм. Кейзи перевел дух. Еще один такой провал, и он расстанется со своим обедом, как это уже произошло со многими пассажирами вокруг. Он посмотрел в исполосованное дождевыми струями окно. За ним была чернота. Он попытался прикинуть, что там внизу, над чем они могут сейчас пролетать— Ньюарк? Трентон?.. Возможно. Ведь они лишь несколько минут тому назад покинули Нью-Йорк. И где-то там, внизу, под ними — города и люди и, может быть, даже «Двадцатый век» с грохотом мчится сейчас сквозь ночь в Чикаго. А другие поезда мчатся через Нью-Джерси в Филадельфию... Он пожалел, что не едет в одном из них, причем обратно, в Нью-Йорк.

Почему на этот раз ему так не хочется уезжать из Нью-Йорка, подумал он, когда самолет снова начал терять высоту,— правда, не так сильно и почти тотчас выровнялся. Не из-за Эйлин. Он ей не нужен, если не считать тех случаев, когда она просит пойти с ней на коктейль, чтобы показать своим высокоинтеллектуальным друзьям, что она по-прежнему «в наилучших отношениях» со своим бывшим мужем. Он с трудом переносил эту утонченную пытку, практикуемую в цивилизованном обществе, и в этом отношении был рад возможности удрать. Работа тоже не удерживала его. Никаких замыслов у него сейчас не было. К тому же Голливуд, куда он летел, предлагал ему как раз работу и, быть может, интересную, если верить Наоми. Нет, не этим объяснялось его нежелание лететь в Голливуд,— он это понял, увидев в газете, которую держал сидевший через проход пассажир, заголовок о войне в Европе и вспомнив об этом чертовом австралийце с ясными голубыми глазами, которые, казалось, видели тебя насквозь.

Перед мысленным взором Кейзи снова предстал Гиббон — как он сидел у него в комнате, вытянув на ковре длинные ноги, и спокойно наблюдал за сборами Кейзи.

Кейзи раздражало это: вот он укладывает дюжину свежих белых рубашек, новые галстуки, тщательно отутюженные брюки в элегантные чемоданы, которые в «Саду Аллаха» в Голливуде возьмет у него посыльный и отнесет в специально забронированный для него номер с телефоном в спальне и в ванной, тогда как все пожитки этого нескладного длинноногого австралийца умещаются в выцветшем мешке, на котором черными буквами написано: «Х. Гиббон, военный корреспондент».

«Omnia mea mecum porto» *,— подумал Кейзи. Так оно и было; Гиббон пронес свою цельность сквозь жизнь, не расплескав ни капли. Он был такой же надежный, скромный, без претензий, как этот мешок у его ног.

«Какого черта, что это значит?» — раздраженно спросил у него Кейзи, желая одного — чтобы Гиббон перестал наблюдать за его сборами, перестал его осуждать, поигрывая наполовину полным стаканом, тогда как его собственный уже давно был пуст.

«А ты подумай, сколько в мире бед,— задумчиво произнес Гиббон.— И не только из-за войны, а вообще. Ну, как человек может быть счастлив? Однако он надеется, а раз так, значит, бывает счастлив. С одной стороны, надеется, с другой стороны, отчаивается, так и живет, бросаясь из одной крайности в другую».

«Легко тебе»,— заметил Кейзи, укладывая в чемодан кипу новых носков.

---

* Все мое при мне *(лат.)*.

«Почему?»

«Потому что ты веришь, что есть еще надежда. А я — нет».

«Неужели ты считаешь, что мы не победим?»

«В войне — возможно, но неужели ты думаешь, что на этом все беды и кончатся?»

«Нет, я этого не думаю»,— признался Гиббон.

Кейзи пожал плечами.

«Войны и раньше выигрывали. А что это меняло? Менялся облик географических карт, но не внутренний облик людей».

«Это потому, что мы не очень ясно представляем себе, каким человек должен быть. Настало время очистить авгиевы конюшни и вымести все отбросы нашего общества».

Кейзи скептически фыркнул и изо всей силы захлопнул ящик бюро.

«Послушай,— овладев собою, ровным тоном сказал он,— если бы я считал, что ты занят чем-то действительно стоящим, я бы тоже за это взялся. Но я много над этим думал и, право же, не вижу оснований рисковать жизнью. Ради чего? Ради того, чтобы мой призрак мог после войны наблюдать из безымянной могилы за тем, как мир помогает Германии снова встать на ноги — а ведь так уже было в прошлый раз.— Он помолчал, дожидаясь реакции Гиббона, и, так и не дождавшись, продолжал:— Ты считаешься с такой возможностью?..»

«Считаюсь».

«Значит, ты согласен со мной, что миллионы людей в этой войне погибнут ни за что?»

Гиббон пожал плечами.

«Тогда в чем же смысл твоего решения?» — раздраженно спросил Кейзи.

«Но дело ведь не только в том, что война несет людям гибель. Она будет иметь и другие последствия».

«Хорошие?»

«Во всяком случае будет лучше, чем сейчас».

Кейзи вдруг взбесила эта уверенность молодости.

«Ты так в этом убежден? Ну что ж, я тоже убежден... только в противоположном»,— сказал он, захлопывая чемодан.

Спор продолжался — упорный, горячий. И чем больше они спорили, тем дальше расходились во мнениях и тем бесплоднее были их препирательства. Дело кончилось тем, что Кейзи чуть не опоздал на самолет.

Память об этом споре он увез с собой и никак не мог переварить его, как не мог переварить холодное мясо, поданное стюардессой, и ему захотелось вернуться в Нью-Йорк, бросить в лицо Гиббону все аргументы, которые с тех пор пришли ему в голову и казались ему неопровержимыми, потому что их никто не оспаривал. Он жаждал этого разговора, хоть и знал, что убеждать-то надо не Гиббона, а себя.

Глава 11

I

Снег выпал рано в этом году, покрыл зеленые лужайки, пригнул к земле сучковатые ветви дубов и кленов. Потом он растаял, обнажив голые сучья под унылым, беспросветно-серым небом. В улицах и переулках завывал ветер. Временами меж облаков проглядывал оранжевый луч солнца, в размывах мелькал кусок бледно-голубого, холодного, как сталь, неба, но от этого не становилось светлее. Девушки не разгуливали больше по газонам, не бродили лениво по дорожкам, но, натянув тол-

стые свитеры и накинув плотные двусторонние плащи, торопливо пробегали из дортуаров в классные комнаты. Наступила зима.

Кристина смотрела на тонкие бескровные губы и длинный хрящеватый нос профессора Кинга, и ей казалось, что этот нос служит как бы указкой для бесцветных глаз, заставляя их перемещаться со строки на строку. В уме ее невольно возник вопрос: как выглядел профессор, когда ему было двадцать лет? Впрочем, вопрос этот занимал ее недолго—почти тотчас перед нею возникло другое лицо: нос тоже тонкий, но кончик едва заметно вздернут, а переносица усеяна рыжеватыми веснушками. Она старалась припомнить и другие черты этого лица, не будучи, однако, уверена, соответствует ли действительности то, что ей припомнилось,— может быть, когда она увидит снова это лицо, то с удивлением убедится, что оно совсем не такое. Доктор Кинг раскрыл грамматику — чуть слышно зашелестели страницы,— но Кристина даже не шелохнулась.

Она понимала: скоро, очень скоро ей придется прекратить это бесплодное витание в облаках, придется так или иначе взять себя в руки. Но она страшилась этого мучительного момента возвращения к действительности, она знала, что, упав с облаков, вынуждена будет реально посмотреть на вещи, а она уже теперь начинала смутно подозревать, что все, о чем она мечтала, на поверку окажется совсем иным.

Доктор Кинг вызвал мисс Донагл.

Мир состоит из отдельных маленьких мирков, думала Кристина, в то время как мисс Донагл негромко и без всякого выражения принялась читать описание воинского строя движущихся на укрепленный город когорт. И класс — один из таких мирков. Доктор Кинг принадлежит к этому мирку, и мисс Донагл, изучающая археологию,— тоже, и мисс Крейвин, специализирующаяся в латыни, и эта зубрила Эдна, что живет в Денби-Холле. Все они принадлежат к этому мирку, и все по праву находятся здесь. А вот она, Кристина,— она самозванка, случайно оказавшаяся среди них, как непрошеный визитер в чужом номере гостиницы.

Зачем она здесь? Да, конечно, ей когда-то очень хотелось прочесть Софокла в оригинале. Но достаточное ли это основание, чтобы тут торчать? Раньше она думала, что достаточное, но потом утратила то чувство почтительного восторга, с каким переступила порог класса в начале семестра; это отразилось даже на ее манере держать себя. Теперь она иной раз входила, отряхивая снег с пальто и громко смеясь, и доктор Кинг вскидывал на нее глаза, несколько озадаченный столь неожиданно шумным и веселым ее появлением. Ей на мгновение становилось стыдно, и она стихала, как все. А потом снова забывала говорить шепотом и начинала переговариваться с товарками не стесняясь, во весь голос, и тогда доктор Кинг с укором смотрел на нее, словно хотел сказать, что сюда, в этот мирок, никого не заносит случайным ветром: сюда либо приходят навсегда, либо вообще не приходят. Но она пришла сюда не навсегда,— она вообще пока еще не знала, к какому прибьется берегу, хотя каждый одобрительный кивок доктора Кинга, каждая хорошая отметка, которую она получала у него, как бы захлопывали за ней некую невидимую дверь.

— Следующая, пожалуйста.

Настала ее очередь. Она бегло прочла короткий отрывок и еще раз отметила про себя, что доктор Кинг остался ею доволен. Он резко мотнул головой, словно клюнул острым носом грудь своей сорочки, и вызвал следующую ученицу.

— Мисс Малл... будьте любезны, задержитесь, пожалуйста,— сказал он, когда прозвенел звонок.

Она подождала, пока опустеет класс. Доктор Кинг разыскивал что-то, шаря в потрепанном портфеле.

— Я... гм... у меня тут есть для вас кое-что,— сказал он, доставая небольшую книжечку.— Мы с главою латинской кафедры обсуждали на

днях успехи наших учениц,— пробормотал он, вертя книжечку в руках,— и по ее мнению, вы принадлежите к числу студенток, подающих наибольшие надежды. Я... гм... разделяю ее мнение. И я подумал, что, быть может, вам будет небезынтересно кое-что дополнительно почитать.— Он поднял на нее глаза и заморгал.

— Дополнительно почитать? — переспросила Кристина.— Я... право, не знаю, сколько я смогу уделить этому времени.

— Видите ли, я подумал, может быть, вам было бы интересно познакомиться с каким-нибудь более глубоким автором, чем Ксенофонт.— Он щелкнул замком портфеля и направился к выходу.

Кристина поглядела на заглавие книги: Эпиктет. «*Беседы*». Она открыла ее, полистала и вышла из класса следом за доктором Кингом.

Когда они спускались по широким ступеням, доктор Кинг спросил ее, нравится ли ей греческий и так ли она себе представляла занятия языком.

Кристина заколебалась. Дело было не только в греческом — решительно все, с чем она столкнулась, с тех пор как покинула дом, было непохоже на то, чего она ожидала. Однако она чувствовала, что не может обсуждать это с доктором Кингом. Она взглянула на книжечку, которую держала в руке и каждая из страниц которой являлась для нее зашифрованной загадкой.

— Боюсь, если я действительно захочу овладеть каким-то предметом, я должна буду потратить на это всю жизнь.

— А если и так? — сказал доктор Кинг.

Она удивленно на него поглядела.

— Ни в чем значительном нельзя достичь совершенства вдруг или между прочим,— заметил доктор Кинг, и Кристине почудилось, что он на секунду стряхнул с себя застенчивость и словно бы вырос.— И если даже кисть винограда или плод смоковницы не созревают мгновенно, как может созреть плод ума человеческого в один краткий миг и без приложения труда?

Кристина продолжала смотреть на него удивленно и с любопытством. Он вдруг покраснел и снова стал самим собой.

— Вы найдете это высказывание здесь,— пробормотал он, указывая на книгу. И, повернувшись, быстро зашагал по газону в сторону библиотеки.

II

— Послушайте, детки, надо завтра двинуться в город и немного поскандалить по поводу безобразий, которые творятся в муниципалитете,— сказала Кора, лениво перебирая струны гитары.

— А что там еще случилось в этой выгребной яме? — пробормотала Куигли, затягиваясь сигаретой и выпуская колечками дым.

— Они пытаются что-то подстроить с регистрацией избирателей-демократов. Хотят помешать им голосовать за Рузвельта.

— Ну, нет, этого нельзя допустить, верно я говорю? — широко зевнув, заметила Монро.— Пожалуй, придется ехать.

Забившись в угол дивана с томиком Эпиктета на коленях, Кристина безучастно прислушивалась к разговору. Она, как и ее братья, всегда считала политику уделом грубого мира, лежащего за пределами интересов чувствительного возвышенного ума. Но девушки, обосновавшиеся в этом уголке курительной комнаты,— Кора с ее гитарой, Куигли в мальчишеской рубашке, Монро—темноволосая коротышка с челкой,— как бы по молчаливому соглашению включили ее в свой круг, и ей приходилось теперь волей-неволей интересоваться тем, чем интересовались они.

— Может быть, и ты поедешь с нами завтра? — предложила Кора, видя, что взгляд Кристины устремлен на нее.

Кристина затянулась сигаретой. Она понемногу осваивала это нехитрое занятие.

— А зачем? — спросила она.— Разве люди не могут просто пойти и проголосовать за Рузвельта, если им этого хочется?

Девушки быстро обменялись взглядами, легкими, снисходительными улыбками. Так бывало всякий раз, когда Кристина высказывалась по какому-либо вопросу, но она научилась не обращать на это внимания, зная, что в общем они неплохо к ней относятся.

— Нет, это не так просто, потому что городские власти за Уилки,— пояснила Кора, обладавшая чуть большим человеколюбием, чем остальные.— Они делают все возможное, чтобы украсть у Рузвельта голоса — и чем больше, тем лучше. И жульничают при регистрации избирателей.

— Но это же противозаконно, разве нет? И им это, конечно, не может сойти с рук!

Снова обмен снисходительными улыбками.

— Поезжай и посмотри сама.

Кристина колебалась: одно дело — слушать и совсем другое — действовать.

— Не могу,— сказала она.— Мне надо готовиться к контрольной.

Это была ложь, и все это прекрасно понимали.

— О'кей,— сказали девушки,— о'кей. Если ты не хочешь ничего знать о мире, в котором живешь...

Кристине не терпелось снова углубиться в книгу, но эти слова задели ее за живое. Кейзи тогда в Калифорнии сказал ей примерно то же и с таким же оттенком досады в голосе.

— Неправда, хочу,— сказала она.— С чего вы это взяли?

— Потому что стоит нам заговорить о политике, как у тебя делается этакий высокомерный вид. Да ну тебя к черту,— сказала Куигли и потушила сигарету.

— Никакого у меня нет высокомерного вида. Просто меня не интересует политика.

— Слушайте, слушайте,— сказала студентка с археологического.

— Как ты можешь говорить, что политика тебя не интересует, когда ты понятия не имеешь о ней? — возмутилась Монро, вскинув на Кристину глаза.

Кристина смущенно пожала плечами.

— Имею — и вполне достаточное.

— Вот как? — с вызовом произнесла Кора.— В таком случае скажи мне... ну хотя бы, что такое капитализм?

Кристина нахмурилась. Хотела было сказать, что она не специалист по социально-экономическим вопросам, но тут же почувствовала, как глупо это прозвучит.

— Ну, не так-то просто это объяснить,— сказала она уклончиво.

— Ладно, пусть это не так просто. В таком случае что такое коммунизм?.. Или социализм?.. Или, если ты предпочитаешь не касаться этих вопросов, то, может быть, скажешь нам, что такое национал-социализм?

Нет, это было уж слишком.

— Мне кажется, это вопросы для узких специалистов.

— О, боже милостивый, Кора, зачем ты попусту тратишь время!

— Я не трачу времени попусту.

— Да ты только погляди на нее: сидит себе, уткнувшись носом в своих жалких стоиков. Она же ровным счетом ни в чем ничего не смыслит! — Куигли с изумлением глядела на Кристину.— Да где ты, черт побери, росла — в вате тебя держали, что ли?

— Должно быть, она просто может позволить себе роскошь ничего об этом не знать,— заметила Кора, окинув беглым взглядом Кристину. Сама Кора жила на стипендию и одевалась крайне просто, а на Кристине была новая юбка, которую она только что купила в Филадельфии.

— Может, я ничего и не знаю,— попыталась она защититься,— но я хочу знать.

— Гип-гип, ура,— бесстрастно произнес чей-то голос.

— Да, хочу,— настаивала Кристина.

— В таком случае, если ты не можешь поехать с нами завтра, поедем в конце недели,— сказала Кора.— На конгресс молодежи в Вашингтон.

Кристина настороженно поглядела на нее.

— А что это такое?

— Конгресс — это собрание людей,— сказала Монро.— А молодежь — это наши с тобой сверстники.

— Что же вы будете там делать? — спросила Кристина.

— Будем обсуждать международное положение. Устроим факельное шествие к Капитолию, будем петь и кричать, пока не охрипнем. Будем произносить речи... голосовать... выносить резолюции...

— Будет здорово,— с искренним восторгом сказала Кора.— Ты непременно должна поехать... хотя бы просто чтоб поглядеть.

Кристина молчала. Посвятить всю субботу и воскресенье политике? Ей, конечно, хотелось узнать побольше, но не такой ценой. К тому же она понимала, что ей не удастся остаться в роли стороннего наблюдателя. Тем или иным способом они втянут ее в свои дела. И она сидела молча, загибая и отгибая уголок страницы.

— Можешь не делать нам одолжения,— так и не дождавшись ее ответа, отрезала Монро и отвернулась.

III

Кристина решила, что она никуда не поедет, и в субботу, после того как девушки отправились с первым автобусом в Вашингтон, вернулась в свой дортуар с намерением взяться за книги. Но другие девушки то и дело врывались в комнату: одна хотела одолжить у Элизы сандалеты на вечер, другой понадобилась комбинация, третьей — бигуди (вечером в корпусе Денбига должен был состояться курсовой бал). Кристина, сидя за своим письменным столом среди всего этого шума и треволнений, тщетно пыталась сосредоточиться на греческих глаголах, оканчивающихся на йоту.

— О господи, но все же просвечивает!

— Тогда возьми мой бюстгальтер без бретелек.

— Ладно, спасибо. Но что же мне делать с туфлями?

— А чем они плохи?

— Я не могу надевать туфли с вырезанным носком, когда хожу с *ним* на вечер. Он прелесть, но он же футболист. А у тебя нет закрытых туфель?

— Нет, но давай разыщем Сериз — у нее есть лишняя пара...

С шумом хлопнула дверь. Потом снова и снова. Наконец Кристина с решительным видом закрыла книгу, бросила на кровать чемодан и откинула крышку. Элиза спустилась вниз прогладить платье, но в комнате оставалась Теодора, рывшаяся в ящике гардероба в поисках английской булавки. Она с удивлением поглядела на Кристину.

— Куда это ты собралась? — спросила она.

— В Вашингтон...

— В Вашингтон? В вечер курсового бала?

— Я хочу наконец увидеть мир, в котором я живу,— угрюмо ответила Кристина.

Глава 12

На эстраде перед микрофоном стоял худощавый юноша в очках; его пронзительный голос разносился над открытыми трибунами стадиона Тэрнера. В прохладном воздухе был виден пар от его дыхания. Аудитория с напряженным вниманием слушала оратора.

— ...и вовлечь молодежь нашей страны в войну. Патриотические чувства у нас, конечно, есть. И мы готовы защищать традиции наших предков, но разве цели этой войны таковы? А не для того ли она ведется, чтоб потуже набить карманы военных промышленников?..

Кристина, сидя на жесткой скамейке, напряженно вглядывалась в однообразную массу толстых свитеров и кожаных курток в надежде увидеть кого-нибудь из знакомых. Она чувствовала себя здесь неуютно — чужой среди чужих. Ее слегка познабливало, и она потуже запахнула плащ. Всю ночь она ехала в продуваемом сквозняком автобусе и потом несколько часов ждала на тротуаре на ветру, пока откроют стадион. Ей почти не удалось вздремнуть. Все это вместе взятое плюс то, что она не встретила никого из знакомых и оказалась совсем одна, действовало на нее угнетающе.

По какой-то непонятной причине Кристина вспомнила Уоррена Брэккена и задумалась. Но тут кто-то дернул ее за рукав. Думая, что это Кора или Монро, Кристина подняла глаза и увидела высокую блондинку, прижимавшую к себе груду небольших картонных коробочек с прорезью на крышке.

— Ты из какой делегации? — торопливо спросила блондинка.

— Я не с делегацией...— начала было Кристина.

Но девушка не стала ее слушать.

— Неважно. Может, ты нам все-таки помогла бы со сбором средств? А то мне людей не хватает.

Кристина ничего не поняла, тем более что пропустила момент, когда оратор с политики переключился на сбор пожертвований. Воспользовавшись ее замешательством, девушка сунула ей в руки пустую коробку:

— Пошли...

Она повела ее вниз по бетонным ступенькам, поставила в начале прохода и сказала, что поручает ей первые три ряда.

— Но что я должна делать? — спросила Кристина.

Девушка нетерпеливо взглянула на нее.

— Пройдись по рядам. Неужели непонятно?

Кристина поглядела, как делают другие сборщики, и тоже пустила свою коробочку по рядам...

Но вот сбор пожертвований закончился, и Кристина, отыскав свободное место, уселась опять, а на трибуну продолжали подниматься все новые ораторы. Они говорили о правах молодежи на образование, на труд и обеспеченную жизнь в мире, где не будет войн. Покончив с речами, начали петь; тощий юноша в джинсах руководил хором, яростно отбивая такт и подыгрывая на банджо, и вскоре весь стадион загудел нестройными голосами — высокими, звонкими, срывающимися и низкими, глуховатыми, с хрипотцой...

Кристина поглядывала по сторонам. Мелодии некоторых песен были ей знакомы, но она не знала слов. И она сидела молча, совсем потерянная, а вокруг нее ширилась и крепла песня:

Солидарность навсегда... Солидарность навсегда...,
Соли-да-ар-ность навсегда...

Митинг окончился, и Кристина, направляясь вместе с толпой к выходу, вдруг заметила впереди знакомую белокурую головку.

— Кора! — крикнула она.

И принялась протискиваться к своей товарке. У нее было такое чувство, точно она вновь обрела давно утраченного друга.

— Привет! — воскликнула она, заметив, что и Монро здесь.

— А, привет...— небрежно бросила Кора, а Монро, занятая оживленной беседой, даже не заметила Кристины.

— Вы, конечно, никак не ожидали увидеть меня здесь. Правда? — сказала Кристина. Чувство одиночества прошло, ей сразу стало веселей.— В последнюю минуту я все-таки решила поехать... Особенно,— добавила она,— когда наши девчонки чуть не свели меня с ума своими сборами на этот дурацкий курсовой бал.

Но Кора уже отвернулась — ее куда больше интересовало то, что говорила молодежь, окружавшая Монро и оживленно обсуждавшая сейчас одно из выступлений. Кристина стала поодаль. Она рассчитывала произвести на них впечатление своей largesse d'esprit * и теперь была несколько ошарашена тем, что им, в сущности, нет до нее никакого дела — их интерес к ней не шел дальше шутливых поддразниваний в курительной комнате. Она снова обратилась к Коре, на этот раз уже другим тоном:

— Можно мне побыть немного с вами? Я ведь здесь никого не знаю... И, может быть, я могла бы остановиться там же, где вы?

— Исключено,— смягчаясь, сказала Кора.— Мы будем спать на полу в чьей-то гостиной, и нас там и так уже пятеро.

— Ну, меня это не смущает.

— Ладно, посмотрим,— сказала Кора.— Мы этим займемся потом, а сейчас, если хочешь, пойдем с нами. Мы хотим пообедать.

Все это было произнесено таким небрежным тоном, что Кристину так и подмывало сказать им, что она отлично обойдется без них, но она побоялась, как бы Кора не поймала ее на слове. И они с Корой побежали догонять остальных. Теперь все стали обсуждать, куда пойти поесть.

— Не можем мы туда идти,— заявила одна из девушек.— Туда же не пускают негров.

Глава 13

Через полчаса, после того как их не впустили ни в один из трех ресторанов, куда они пытались зайти, юноша-негр предложил им идти без него, но все наотрез отказались и в конце концов пристроились у киоска с сандвичами на углу какой-то окраинной улочки; хозяин киоска, хоть и с явной неохотой, все же согласился их обслужить.

Кристина была поражена до глубины души.

— Какой позор! — возмутилась она.— Просто не верится, что такое может происходить в Америке!

Но Монро лишь равнодушно поглядела на нее и повернулась к Коре.

— Что ты будешь есть? Я возьму сандвич с бифштексом.

Весь день Кристина колесила с Корой, Монро и другими по Вашингтону: сначала они отправились в вестибюль отеля «Командор», где пытались уговорить собравшуюся там группу раскольников отказаться от своего намерения встретиться с миссис Рузвельт и убедить ее в необходимости скорейшего вступления Америки в войну; затем — в какой-то частный дом, чтобы обсудить, что делать в связи с угрозой, брошенной одним из ораторов — сторонником оказания помощи Великобритании, на-

* Широтой ума *(франц.)*.

травить на делегатов Американский легион; затем обратно на стадион Тэрнера, где снова произносились речи и выносились новые резолюции... Кристина очень старалась быть как все, но хотя все держались с ней дружелюбно, собственное невежество стеной отделяло ее от них — у нее было такое чувство, словно все вокруг говорили на каком-то незнакомом языке. И когда они очутились, наконец, на улице, после того как закрылось последнее, намеченное на этот день, собрание, она почувствовала, что с большой охотой ускользнула бы от этой деятельной, целеустремленной группы и первым же поездом возвратилась бы к себе в колледж; однако участь ее уже была решена: ей предстояло переночевать в доме у одной девушки, которую звали Мириам и которая уже пригласила ее к себе на ужин.

Глава 14

— А ты уверена, что твои родители ничего не будут иметь против? — спросила Кристина, торопливо шагая рядом с Мириам по темной и незнакомой улице Вашингтона.

— Разумеется. Ты сможешь переночевать на кровати моего брата.

— А твой брат в школе, в интернате? — спросила Кристина.

— Нет, он в тюрьме,— небрежно ответила Мириам.

Хотя Кристине в этот день пришлось столкнуться со множеством необычных впечатлений, это сообщение совершенно ошеломило ее. Она попыталась представить себе, какое преступление мог совершить брат этой девушки, но спросить не решалась.

— И давно он в заключении? — после продолжительного молчания отважилась, наконец, спросить она.

— Нет, со вчерашнего вечера. Возможно, завтра его уже отпустят.

Кристина понимающе кивнула, но когда они вошли в полутемный подъезд старого многоквартирного дома, весь заставленный детскими колясками и велосипедами, и стали подниматься по тускло освещенной лестнице, она невольно спросила себя, куда это ее занесло.

Однако квартира, в которой они очутились, была вполне пристойной: аккуратно прибранные комнаты, темная мебель, из кухни доносился легкий, еле уловимый запах стряпни. Большая общая комната обставлена дешево, но с потугами на элегантность. Посредине — большой стол, на нем — из угла в угол — дорожка с машинной вышивкой, на ней — большая стеклянная ваза с фруктами. Над камином — потемневшая от времени картина маслом: дриада, любующаяся своим отражением в пруду.

— А, так ты уже вернулся,— радостно сказала Мириам, и Кристина увидела юношу лет восемнадцати в клетчатой рубашке и джинсах, сидевшего в старом кожаном кресле у окна. Голова у него была забинтована.

— Я бы предпочел остаться там,— угрюмо ответил юноша.— По крайней мере не пришлось бы иметь дело *с ней.*

Он ткнул пальцем в направлении кухонной двери, откуда в эту минуту появилась невысокая плотная женщина лет пятидесяти в темном платье, с застывшим трагическим лицом.

— Так и отправляйся туда обратно,— резко сказала она.— По мне, хоть всю жизнь сиди за решеткой!

— Мама, я пригласила мою приятельницу поужинать с нами,— перебила ее Мириам, указывая на Кристину.

— Здравствуйте,— вежливо сказала Кристина.

— Здравствуйте,— отозвалась мать и снова повернулась к сыну.— Почему ты его ударил? — спросила она.— Может, ты будешь так любезен объяснить мне, почему ты ударил полицейского?

— Я уже объяснял тебе сто раз. Это был фашист. К тому же он первый меня ударил. Он пнул меня ногой в голову.

— Фашист, фашист... Послушать тебя, так всякий, кто охраняет порядок и закон, непременно фашист!

— О господи...— пробормотал юноша.

Они продолжали пререкаться; Кристина присела на край дивана, повинуясь молчаливому приглашению Мириам.

— Что, собственно, сделал твой брат? — шепотом спросила она.

— Кто, Херби? Вчера вечером во время антивоенной демонстрации он ударил полицейского, который обозвал его... хебе.

Кристина не сразу поняла, потом решила, что поняла: Геба.

— В самом деле? Смешно!

Услышав это, Херби стремительно повернулся к ней.

— Что же тут смешного? — резко спросил он.

Она покраснела.

— Смешно, что он вдруг ни с того ни с сего назвал так мужчину.— Она пожала плечами.— Это же глупо.

Херби как-то странно дернулся на стуле и повернулся к сестре.

— Где это ты подцепила сию фашиствующую особу? — спросил он со сдержанной яростью.— Где, я спрашиваю, ты ее откопала?

— Я не фашистка,— сказала Кристина.

— Я тоже не считаю, что она фашистка,— смущенно сказала Мириам.— Просто, мне кажется, она ничего не понимает.

— Почему же я ничего не понимаю,— сказала Кристина, снова чувствуя себя как-то неуверенно. После выпавшего на ее долю трудного дня она как-то отогрелась в этом доме, но сейчас снова почувствовала себя всем чужой... Ее пронизал озноб, хотя она по-прежнему была в пальто, и ей показалось, что она вот-вот расплачется. Порывшись в карманах, она вытащила перчатки и, натягивая их, шагнула к двери. Но Херби преградил ей путь.

— Обожди минутку,— решительно сказал он.— Ты живешь в Америке, окончила школу, даже учишься, наверно, в колледже и знаешь кучу всяких вещей, и при этом по сути дела не знаешь ничего. Так вот ответь мне: как, черт побери, тебе это удается?

Что-то словно надломилось в Кристине, когда он задал ей этот вопрос... Тот самый вопрос, да, тот самый, который она в эту секунду задавала себе сама. Она стояла молча, неподвижно, не в силах ни двинуться, ни заговорить, чувствуя, как слезы обжигают ей глаза.

— Ужин на столе,— раздался вдруг голос хозяйки дома. Она уже успела выйти из комнаты и возвратилась, надев фартук.

Приглашение прозвучало, словно сигнал отбоя. Херби отвернулся, а Мириам подошла к Кристине, все еще в нерешительности стоявшей у двери, и сказала мягко, не глядя ей в лицо:

— Ну-ка, дай мне твое пальто. Ты же не собираешься садиться в нем за стол?

Глава 15

На другой день было воскресенье, и обе девушки поднялись пораньше, чтобы успеть на утреннее заседание конгресса на стадионе Тэрнера, поднялись, невзирая на то, что накануне засиделись допоздна. После ужина они всем семейством убирали со стола, а потом опять долго разговаривали, перебивая друг друга,— о войне, о преподавании древнегреческого, о ценах, о фильмах. Кристина сначала только слушала, потом тоже приняла участие в разговоре, а немного погодя, порывшись в нотах на этажерке возле пианино, извлекла из-под дюжины

экземпляров брошюры архиепископа Кентерберийского «Советская власть» потрепанную тетрадь «Избранной классики» и стала играть с листа, пока все не разбрелись по комнатам спать.

Весь день Кристина провела с Мириам, Корой и Монро на студенческом собрании и на этот раз чувствовала себя уже не непрошеным чужаком, а как бы частицей этой шумной, разгоряченной толпы. Что-то произошло... Какая-то оболочка, ставшая слишком тесной, была сброшена, и в то же мгновение возникло что-то новое, сближавшее Кристину с ее поколением.

Когда автобус, миновав окраину Вашингтона, выехал на широкую магистраль, ведущую к различным университетским городкам, и студенты снова затянули те же песни, которые пели на конгрессе, а качающиеся стены автобуса завибрировали от их голосов, Кристина, откинув голову на сиденье, запела тоже, сразу непроизвольно поддавшись общему настроению. В этот сумеречный предвечерний час жизнь представилась ей долгим, долгим, нескончаемым праздником, а громыхающий автобус — центром мирозданья.

Возбуждение ее не спало и тогда, когда они добрались до Бринмора, и ей даже показалось странным, что все здесь было таким же, как до отъезда. Проходя мимо круглого кленового стола в столовой, она спросила сидевших за ужином первокурсниц из Балтиморы, как прошел бал в пятницу, и они, промямлив бесцветными, как всегда, голосами, что бал был «оча'овательный» и они «шика'но» повеселились, снова уныло принялись за еду. Кристина даже и не пыталась рассказать им, как провела она эти дни, а прошла дальше — к старшекурсницам, сидевшим за другим столом в углу.

Пока Кора и Монро рассказывали подругам, которым не удалось поехать с ними, что происходило на конгрессе, Кристина распечатала письмо от отца — она нашла его на столе, где оставляли почту. Письмо было из Кармела. Что он там делает, с удивлением подумала Кристина. Отец писал, что отправился в Кармел на несколько дней, чтобы покончить с остатками простуды. Он очень поэтично описывал море, и воздух, и рыбаков на Монтерейском пирсе, но Кристину больше заинтересовала другая часть его письма:

«...Ты пишешь, что никак не можешь решить, пойти ли тебе на осенний курсовой бал или же поехать на конгресс молодежи в Вашингтон и провести там субботу и воскресенье. Будем надеяться, что ты выберешь последнее, как несомненно более интересное. По-моему, побывать один раз на курсовом балу вполне достаточно, чтобы получить представление о всех курсовых балах вообще, и хотя в некотором отношении то же самое можно сказать и о политических митингах, тем не менее ты не была еще, насколько мне известно, ни на одном, а это нечто такое, с чем следует познакомиться, особенно в молодости, так как с годами такие вещи начинают приедаться.

Если ты решишь поехать в Вашингтон, я не сомневаюсь, что твой ум, интеллект и рассудительность помогут тебе устоять против зова сирены, именуемой толпой. Я уверен, что ты посмотришь на этот род деятельности так, как он того заслуживает, а именно: лишь как на способ уклониться от личной ответственности, ибо в конечном счете человек только как индивидуум может чего-то достигнуть и свершить в жизни. Я уверен, что в тот момент, когда тебе придется делать выбор, ты несомненно изберешь более трудный, но и более достойный путь. Ничего нет легче, как погрузиться в широко раскрытые, веселые и потные объятия толпы... особенно в молодости. Лично меня в последнюю минуту всегда спасало от этого здоровое и естественное отвращение к стаду...»

Кристина еще раз внимательно перечитала письмо, словно ждала, что ей откроется в нем какой-то другой смысл, но этого не произошло.

Одна фраза настойчиво вертелась у нее в голове: «...способ уклониться от личной ответственности...» Не потому ли она чувствовала себя так легко, такой счастливой и беззаботной? Может быть, она просто старалась сбросить с плеч неотвратимые обязательства перед жизнью?

Она протянула письмо сидевшей рядом Коре. Последние полсуток очень сблизили ее с Корой и Монро, но особенно с Корой, которая опекала ее на всех митингах и старалась растолковать то, чего она не понимала, поэтому Кристина, естественно, и решила поделиться с ней. Кора пробежала глазами текст, улыбнулась и, не промолвив ни слова, возвратила письмо.

— Ну, что ты скажешь? — притворно небрежным тоном спросила Кристина. Ей не хотелось показывать Коре, какое сильное впечатление произвело на нее письмо, а кроме того, она надеялась, что Кора как-то смягчит это впечатление. И надежды ее в известной мере оправдались.

— Да что ж тут говорить? — ответила Кора.— Разве можно ожидать чего-то другого от буржуазного интеллигента?

Глава 16

Наоми не хотелось ехать на студию, но ее рабочий стол был битком набит рукописями, а накануне вечером ей удалось увезти только часть их. Если бы она захватила с собой чемодан или какую-нибудь коробку, возможно, ей удалось бы забрать все сразу, но тогда это слишком многим бросилось бы в глаза. Правда, то, что произошло, вовсе не было тайной. Всякий раз, когда на студии кто-нибудь вдруг оказывался без работы, весть об этом мгновенно облетала всех сценаристов, поскольку ни один из них не был уверен в завтрашнем дне. Вероятно, и сейчас они все уже знают о том, что с ней случилось. И тем не менее Наоми чувствовала, что если они своими глазами увидят, как она выметается отсюда, это психологически плохо на них подействует. Лучше незаметно проскользнуть к себе в кабинет и так же незаметно выскользнуть оттуда и мало-помалу все унести.

Она ходила по кабинету и бросала в пустую сумку то один, то другой предмет. Вязаный шарф, который накидывала на плечи, когда свежая струя кондиционированного воздуха слишком сильно дула в спину; электроплитку, на которой подогревала чай; резинки, скрепки, катушки клейкой ленты... Хорошо, что как раз накануне того дня, когда пришло извещение из сценарного отдела, она выписала себе дополнительно бумаги. Сейчас она достала ее из нижнего ящика стола — две пачки писчей бумаги, белой и желтоватой,— и коробку с копиркой. Затем извлекла оттуда еще три пачки мягких карандашей, какими любила работать. Их она тоже прихватит с собой. Весь этот бесплатный запас канцелярских принадлежностей очень пригодится ей теперь, когда чеки с жалованьем уже не будут поступать к ней каждую неделю. Придется урезать себя и в еде, решила Наоми; придется отказаться от покупки новых туалетов и экономить каждый цент. А если случится самое худшее и после обусловленного перерыва с ней не возобновят контракта,— что ж, тогда у нее есть еще дом на морском побережье, который можно будет продать, и второй — в Беверли-Хиллз, откуда придется переехать в домик поменьше. Может быть, она даже арендует небольшой участок земли с двумя-тремя бунгало: в одном поселится сама... или с Бэкстером, если он вернется из Кармела, остальные будет сдавать внаем.

Она обдумывала это спокойно, бесстрастно, продолжая собирать вещи. Она не могла позволить себе распускаться перед лицом всех этих событий — угрозы напрочь потерять работу, внезапного отъезда Бэкстера, вызванного якобы необходимостью закончить роман в каком-нибудь

тихом местечке на севере (хотя она понимала истинную причину его отъезда, и он знал, что она понимает), растущего отвращения Квентина к преподавательской деятельности, новых неполадок у Эллиота в колледже... Если она позволит себе распуститься, ей придется признать, что с ней произошло то же, что с Маленьким Цыпленком, на которого вдруг упало небо,— придется признать, что она и есть этот Маленький Цыпленок из сказки, которую она, бывало, читала на ночь Кристине. Пока небо стояло высоко над головой, еще можно было охать и волноваться, как бы оно не свалилось, но когда это уже произошло, Наоми инстинктивно поняла, что единственное ее спасение — запрятать свои чувства поглубже, закрыть, так сказать, клапан и, перестав волноваться, начать действовать.

Так она и поступила сейчас — бросила какие-то последние предметы в сумку, застегнула ее, сняла с вешалки пальто. Она поглядела на свои руки. Они были грязные — в ящиках накопилось немало пыли. Но если пойти в туалет, можно на кого-нибудь нарваться. Придется выслушивать изъявления сочувствия, а ей даже мысль об этом была невыносима. Но все равно, нельзя же выйти из студии черт знает в каком виде. Наоми выглянула за дверь, убедилась, что путь свободен, и проскользнула по коридору в дамскую комнату.

Она торопливо вымыла руки, наспех вытерла их бумажной салфеткой и, хотя одной салфетки явно не хватило, не взяла второй. Она уже чувствовала себя незваным гостем, словно случайно забрела в это здание. Она сняла с крючка сумочку, вышла из туалета и, едва ступив за порог, увидела, как распахнулась в конце коридора дверь. Люди, вышедшие оттуда, так быстро приближались к ней, что избежать встречи с ними было просто невозможно. Их было трое: продюсер, режиссер — она хорошо знала обоих — и Кейзи; они громко разговаривали, смеялись. Кейзи сильно загорел — он провел уик-энд в Палм-Спригс — и был очень хорош; в своем новом дорогом костюме он держался величественно и небрежно, словно монарх, у которого еще дюжина таких костюмов висит в шкафу. А может, и вправду висит, промелькнуло у Наоми в голове, когда она подошла ближе. Дела у Кейзи шли теперь хорошо, так хорошо, что он даже не трудился звонить ей. В тот первый день, когда он пришел к ней в кабинет и она помогла ему вытянуть сценарий, подарив немало идей, он был нежен, исполнен благодарности, собирался снова наведаться к ней, пригласить ее куда-нибудь пообедать. Но больше так и не появился.

В обычных условиях она не придала бы этому значения, но сейчас это задело ее: у нее было такое ощущение, что он просто воспользовался ее добрым отношением, что вообще все ее приятели-сценаристы без зазрения совести эксплуатировали ее неистощимую способность придумывать все новые и новые сюжетные ходы, а потом, получив нужную помощь и поддержку, тотчас про нее забывали. Ну что ж, теперь этому конец, решила Наоми. Свою энергию, которую она так щедро растрачивала направо и налево, она отныне обратит на благо одной себе.

— Привет, Наоми!..

— Привет, Билл, Рэнди, Кейзи...

А вид у Кейзи все-таки виноватый, подумала она, когда проходила мимо. И тотчас услышала, как он, обернувшись, крикнул ей вслед:

— Не забудь, что мы условились пообедать вместе.

Наоми улыбнулась, помахала ему рукой и вернулась к себе в кабинет.

Она знала, что это пустые слова. А если он и заглянет сюда как-нибудь на днях, то уже не найдет ее,— на том все и кончится. Возможно, он даже почувствует облегчение от того, что ему не нужно будет вести ее обедать. Вот пока она с кем-то вместе работала, все было иначе. То-

гда такие обеды проходили весело, они подшучивали друг над другом, обсуждали возникавшие в связи со сценарием проблемы. Но как только сотрудничеству приходил конец — так бывало уже с другими, и она знала, что так будет и с Кейзи,— соавторы ее начинали вести себя за обедом рассеянно, разговор приобретал уныло профессиональный характер, и она чувствовала себя словно получившая отставку любовница, которой бросают жалкую подачку в память былой любви. Нет, ей эта милостыня не нужна... Тем более от Кейзи, особенно от Кейзи.

Наоми подхватила свои вещи и вышла на улицу. Машину она поставила позади здания и, направляясь теперь туда, спрашивала себя, почему Кейзи для нее не то, что другие. Действительно ли он не такой, как все, или это просто одна из обычных, старых, как мир, иллюзий — желание обнаружить в каждом человеке какие-то скрытые ценности? Но Наоми знала, как рушатся эти иллюзии. Киноактеры — люди как раз такого сорта, ходячие иллюзии для дураков. Поглядишь на них на экране, и кажется, что они способны на глубокие чувства, исполнены мужества, отваги... а узнаешь поближе, оказывается, большинство из них эгоистичны, поверхностны, тщеславны и считают себя пупом земли. Однако она неплохо знала Кейзи, постоянное сотрудничество сблизило их, и в нем она ни разу не замечала такого эгоцентризма. Он слишком много пил — это правда. Он вечно терзался и бичевал себя за свою никчемность. И вместе с тем глубоко внутри в нем крылась сила, стремление идти бескомпромиссным путем. Вероятно, именно это и отличало его от других. Кейзи на свой лад тоже стремился к чему-то, к чему-то неуловимому, неосязаемому, и ей вдруг вспомнились строки из стихотворения Шелли, приведенные в романе, который она читала накануне вечером:

Стремление мошки к звезде,
Заката — к рассвету,
Верность далекой мечте.*

Да, это несомненно так: многие люди стремятся к чему-то далекому, недостижимому. Но Кейзи, в отличие от других, казалось, вовсе не гнался за призрачной мечтой, не падал духом при виде препятствий, не складывал крылья, признавая бесплодность своих усилий, и не удовлетворялся жалкими суррогатами. Он держал себя всегда в узде и как бы сберегал для чего-то — чего именно, она понять не могла, но чего-то или, быть может, кого-то такого, кому он готов будет отдать себя целиком.

И вдруг Наоми пришло в голову, что несмотря на все недостатки Кейзи, брак с ним мог бы принести ей большое счастье, и она вновь ощутила острую, жалящую боль, которая пронзила ее, когда она увидела его красивое худощавое лицо между жирных физиономий двух боссов. Но почти тут же она поняла, что неправа, что это вовсе не то, чего ей не хватает. Ей не хватало в ком-то другом тех качеств, которыми обладал Кейзи. А этот кто-то был таким слабым, таким заблудшим, таким эгоистично-жестоким, он тоже чего-то искал на свой лад, тоже гнался за чем-то, но это что-то было ненастоящим, эрзацем, иллюзией, и он очень быстро обнаружит, что искомое — совсем не то, к чему он стремится. Тогда он вернется к ней. Это послужит ему хорошим уроком, но чего это будет стоить, с горечью подумала Наоми. До тех пор он кованым башмаком пройдет по ее любви, по их браку, растопчет все, что было прекрасного в их жизни.

Она подошла к машине, в сердцах бросила сумку на сиденье, поверх нее швырнула пальто. При этом она неловко повернула руку, почувствовала боль и подумала, что вот уже и не осталось никого, кто помог бы ей нести вещи. Она снова была одна, как много лет назад, когда ребенком сошла на берег с океанского парохода и была встречена чужи-

* Перевод А. Сергеева.

ми, незнакомыми людьми, ни одному из которых не было дела до этой маленькой замухрышки, какой-то родственницы из Литвы. С тех пор минул не один десяток лет; она работала, училась, писала, вышла замуж, родила детей, и вот круг замкнулся, она вернулась к тому, с чего все началось,— к одиночеству. Впрочем, теперь это было иначе. Тогда она была полна радужных надежд, ей казалось, что волшебной силой своей воли и желания она достигнет всего самого недостижимого, получит в руки все, к чему стремится. И получила. И отвоевала себе место под солнцем. А теперь мало-помалу теряла одно за другим. Мужа, друзей, работу... И детей тоже? Эллиота — да, Квентина — скорей всего тоже... А Кристина? Может ли она рассчитывать на Кристину? Тень сомнения закралась к ней в душу. Но так или иначе, придется держаться за дочь, потому что больше у нее никого не осталось.

Наоми вставила ключ в зажигание, запустила мотор. Она уже сворачивала в аллею, когда молодой полицейский — не тот, что дежурил здесь постоянно и хорошо знал мисс Барски, а другой, новый,— окликнул ее:

— Эй, куда это вы поехали, а?

Наоми нажала на тормоз.

— Вы что, не знаете, как отсюда выезжают, дамочка? — раздраженно спросил полицейский, подходя к машине.

Наоми крутанула баранку, чтобы свернуть в другую аллею, и поглядела на молодчика, который стоял перед ней, нахально-самоуверенный и, как ей показалось, враждебный; внезапно вся горечь поднялась у нее со дна души и вылилась в желчные слова, что случалось с нею нечасто.

— Меня зовут мисс Барски,— негромко сказала она,— и я знаю, как отсюда выезжают. И знаю еще кое-что, чего не знаешь ты, потому что я уже работала на этой студии, когда ты еще пешком под стол ходил...

Она рванула машину вперед и, даже не посмотрев на него, помчалась к воротам.

Глава 17

I

Косой луч солнца падал в окно первого этажа отеля «Сад Аллаха», выходившее на бульвар Заходящего солнца, и словно ножом разреза́л сигаретный дым. Кейзи сидел на диване и думал о том, что надо бы встать и открыть окно, но не двигался: опустошенность и апатия, рожденные паническим страхом, который овладевает порой писателем перед завершением работы, приковывали его к месту.

Прошло́ две недели с того дня, когда он столкнулся с Наоми в коридоре,— две недели упоенно приподнятого настроения, когда все вокруг восторгались ходами, изобретенными его неутомимой ирландской фантазией. А затем он попал в цейтнот, срок сдачи материала истекал на следующий день, он же никак не мог преодолеть чувства безнадежности и апатии и не видел выхода из этого состояния.

Как же это с ним произошло? Да как бы ни произошло, означало это прежде всего то, что двадцать тысяч долларов проехали мимо носа, поскольку у работодателей на сей раз хватило смекалки поставить условие: «оплата по представлении материала»,— более того, у них хватило смекалки понять, что на Кейзи не очень-то можно рассчитывать и рисковать не стоит. А вот у него смекалка не сработала. Он снова повторил старую ошибку, пытаясь создать что-то крупное, значительное, в то вре-

мя как им нужен был лишь пошленький фарс. Неужели он никогда не поумнеет? Вначале он так и сыпал идеями, но ни одна из них, несмотря на всеобщее восторженное одобрение, не нравилась ему, а сейчас даже ничтожной части того, что он отверг, хватило бы с избытком, чтобы всех удовлетворить. Зафиксируй он это в свое время на бумаге, у него уже был бы готовый сценарий, который он сунул бы им в руки и завтра же улетел бы в Нью-Йорк с денежками в кармане. Но беда в том, что ничего из этого он не мог восстановить в памяти,— ровным счетом ничего. Да если бы и смог, уже не было времени. Стендаль написал «Пармский монастырь» за три месяца, Хемингуэй, говорят, закончил свою «Фиесту» за шесть недель. Но может ли он, Кейзи, написать сценарий за двенадцать часов? В таком состоянии, как сейчас, он не мог бы написать даже собственного имени.

Кейзи, наконец, встал с дивана, подошел к окну и распахнул его. Был прохладный осенний день, но калифорнийское солнце щедро озаряло широкий бульвар, окаймляющие его высокие пальмы и строительный участок напротив, где рабочие в спецовках заливали цементом подъездную аллею. Наблюдая, как они работают, Кейзи не без горечи позавидовал их плодотворному, осязаемому труду. В эту минуту за спиной его раздался стук в дверь.

— Войдите.

Мальчик-рассыльный из вестибюля подал ему записку. Кейзи взял ее, узнал знакомый ровный почерк.

— Когда это принесли?

— Только сейчас.

Рассыльный ушел. Кейзи бросил записку на постель и снова подошел к окну. Он увидел, как из подъезда отеля вынырнула невысокая тоненькая фигурка и быстро зашагала по тротуару. Он крикнул:

— Наоми!

II

— Я встревожилась за тебя, Кейзи. Вчера встретила Солтера в «Рыжем котелке», и он сказал, что ты уже несколько дней не показываешься на студии. Я испугалась — уж не заболел ли — и решила заехать оставить записку.

Наоми сидела на краю дивана, словно птичка, готовая в любую минуту вспорхнуть. Она даже не сняла шляпы — несколько странного сооружения из искусственных цветов, не слишком гармонировавшего с ее голубым костюмом. И вид у нее был усталый, напряженный, словно спокойствие давалось ей нелегко. Но Кейзи сказал, что она выглядит отлично. Он даже и не думал, что есть еще люди, способные тревожиться о нем.

— Я временно сижу без работы,— сказала Наоми,— и не бываю сейчас на студии. Поэтому я и написала в записке свой домашний телефон.

— Без работы? — с притворным удивлением переспросил Кейзи. Он, конечно, знал об этом, но ему было неловко, что он не позвонил ей.

— Собственно, я сама об этом попросила,— сказала Наоми.— Мне необходимо отдохнуть. Я ведь не отдыхала по-настоящему уже три года. Ты и представить себе не можешь, какое это чудесное ощущение — проснуться утром и знать, что не надо ехать на эту чертову студию.

Едва ли это так уж чудесно, подумал Кейзи. Интересно, она действительно сама попросила об отдыхе или ей навязали его, и не поэтому ли она выглядит такой замученной и постаревшей?

— Ну, а что у тебя? — спросила Наоми, спеша переменить тему.— Как со сценарием?

Панический страх мгновенно снова овладел им, вытесняя все остальное.

— О, господи, лучше не будем об этом говорить,— сказал он.

Но она настаивала. И когда он нехотя мало-помалу рассказал ей все и умолк, она озабоченно поглядела на него.

— Что же ты собираешься делать?

— Списать со счета три впустую потраченных месяца, что же еще?

— Неужели ты ничего не можешь изобразить на бумаге? Ну, хоть что-нибудь... чтобы формально выполнить договор и получить деньги?

— Ты имеешь в виду все то же, уже затасканное старье?

— Ну, не обязательно, но...

— В том-то все и дело,— перебил он ее.— На этот раз я не могу подсунуть им обычную дребедень.— Она хотела сказать еще что-то, но он снова перебил ее:— Брось, моя дорогая, не пытайся меня спасти. Это бесполезно. Из беды меня уже не вызволить. Будет только лишняя нервотрепка. Я вернусь в Нью-Йорк... засяду за новую книгу... как-нибудь выкручусь.

— Я в этом не сомневаюсь,— пробормотала Наоми, но складывать оружие ей не хотелось. Она подошла к письменному столу и стала машинально перебирать валявшиеся там исписанные листки. Хмурая складка у нее на лбу залегла еще глубже.— Жаль, что я не знала об этом неделю назад... хотя бы несколько дней назад. Я бы помогла. Как жаль, что ты не позвонил мне, Кейзи.

Кейзи ничего не ответил; он сидел на диване, тупо уставясь в одну точку. Наоми продолжала перебирать страницы.

— А ты не мог бы прочесть мне это? — внезапно спросила она.

Он пожал плечами.

— Для чего?

— Прочти. Или хотя бы перескажи.

— Я же говорил, что пересказывать нечего. У меня есть только начало.

— Тогда расскажи то, что есть.

Она присела на край стула. Он внимательно поглядел на нее и отвел глаза.

— Ты просто ненормальная.

— Нет,— сказала она.— Нисколько.— Она встала, подошла к нему.— Ну же, давай, сделай мне одолжение. А то у меня такое чувство, что это я виновата во всем. Ведь я же уговорила тебя принять это предложение, помнишь?

— Но не твоя вина, что, одержимый манией величия, я три месяца валял дурака.

— Неправда. Просто ты старался создать что-то по-настоящему хорошее — вот и все. Не хотел следовать банальному сюжету книги. А мне только приятно будет тебе помочь, и, думаю, мне это удастся.

— Но, черт возьми, как же ты сумеешь мне помочь?

Она пересела на диван рядом с ним, положила руку ему на плечо.

— Кейзи, ты отлично рассказываешь свои задумки. Это у тебя получается великолепно. Слова так и льются сами собой. А вот пишешь ты трудно, потому что ты — настоящий писатель, и тебе хочется, чтобы написано было хорошо. Но ты знаешь меня — я старая голливудская наемная кляча, для меня не существует этой проблемы. Я легко могу изложить на бумаге то, что ты расскажешь мне.

Он внимательно поглядел на нее, чувствуя, как загорается искорка надежды.

— Ну, почему не попробовать? — продолжала настаивать Наоми.— Почему? Что мы теряем?

Он отвернулся, закурил сигарету.

— Прежде всего ты потеряешь целую ночь.

Она отмахнулась.

— Ну и что? Я все равно плохо сплю сейчас по ночам.

— О господи, а семья? Ведь скоро время ужина. Разве тебя не ждут дома? А мы ведь можем провозиться с этим до утра.

— Не имеет значения. К тому же дома никого нет. Ни детей, ни Бэкстера — он в Кармеле.

— В Кармеле?..— машинально повторил Кейзи, думая о своем и не зная, как же все-таки поступить.

— Он поехал туда заканчивать свой роман. Ему так хотелось куда-нибудь уехать на две-три недели, вот я его и отправила.— Наоми не стала углубляться в подробности.— Мне, право же, очень хочется написать это,— с жаром продолжала она,— а то я совсем обленилась. Я не привыкла к безделью, и мне будет полезно поработать. В самом деле.

Он недоверчиво покачал головой.

— Вечно я у тебя в долгу. Я знал, что, если расскажу, как обстоит дело, ты мне поможешь, но мне и в голову не могло прийти, что ты изобразишь все так, будто не ты мне, а я тебе делаю одолжение.

Наоми улыбнулась; она уже вскочила с дивана, горя нетерпением приняться за работу.

— Давай-ка бумагу,— сказала она, подходя к пишущей машинке.— И копировальную тоже, если она у тебя есть.

Кейзи шагнул к ней.

— При одном условии,— сказал он.— Сними к черту эти полевые цветочки.

Она покраснела, сняла шляпку, швырнула ее на диван и, слегка взбив волосы, улыбнулась Кейзи.

— Так лучше?

Она уже полна была энергии, готова вступить в нелегкий поединок, это как бы сразу вдохнуло в нее жизнь, разгладило на лице морщинки. И сейчас, глядя на нее, Кейзи снова подумал, что она действительно очень привлекательная женщина.

— Безусловно,— сказал он.

И они принялись за работу.

Поначалу дело не очень ладилось. То, что предлагал Кейзи, на бумаге выглядело убого. Но Наоми продолжала внимательно слушать. И когда что-то задевало ее за живое, она тут же принималась стучать на машинке, а потом слушала дальше. Ее внимательный, исполненный интереса и ожидания взгляд сперва раздражал Кейзи. Она немного притворялась, напускала на себя чрезмерную восторженность, делая вид, что все куда лучше, чем было на самом деле: ей хотелось подбодрить Кейзи, вдохнуть в него уверенность. Он это понимал, и она тоже. Однако она не оставляла его в покое, требовала, чтобы он рассказывал еще и еще, развивал свои мысли. Так она просидела у него около двух часов — исполненная решимости вытянуть из него все, что можно, наталкивая его на новые и новые идеи.

Внезапно она сказала:

— Теперь, по-моему, уже можно записывать все по порядку.— И принялась печатать.

Страница за страницей появлялись из машинки, и Кейзи начало казаться, что сценарий получается. Впервые за три месяца он почувствовал облегчение. Наоми больше не раздражала его, наоборот — он испытывал к ней огромную нежность.

— Ты просто чудо,— изумленно сказал он, прочитав один абзац.— Как, черт побери, это у тебя получилось?

— Будет тебе, Кейзи,— сказала она, не желая отвлекаться от дела.— Расскажи мне лучше еще что-нибудь про эту девушку. Они, конеч-

но, захотят пригласить какую-нибудь звезду. Значит, надо придать героине больше обаяния, больше блеска...

К двум часам ночи уличное движение на бульваре Заходящего солнца почти прекратилось, лишь время от времени под окнами проносился одинокий автомобиль. Вспыхивала и гасла неоновая реклама над аптекарским магазином на Кресчент-Хейтс. Вдали волнистая цепочка огней прочерчивала темные холмы. Кейзи стоял у окна и при свете уличного фонаря, освещавшего подъезд отеля, пробегал глазами желтоватые страницы.

— Ну, как? — спросила Наоми, которая все еще сидела за столиком у машинки и складывала копировальную бумагу.— Волнует это? Держит в напряжении?

— Это здорово,— сказал он.— Конечно, это не «Война и мир», но все равно здорово! — Он шагнул к письменному столу.— Ты прекрасно знаешь, что спасла мои денежки,— сказал он.

Наоми улыбнулась и принялась нумеровать страницы. Кейзи наблюдал за ней. Пальцы у нее были перепачканы копиркой, волосы растрепаны, от губной помады давно уже не осталось и следа, но увлечение работой наложило на нее свой отпечаток, сгладив все, что было в ней искусственного,— все эти кокетливые ужимочки, которые она пускала в ход, чтобы завоевать чье-то расположение или преподнести себя, и которые так раздражали Кейзи, потому что он ценил ее и без этого. Пока они работали, Кейзи все время ощущал теплое чувство товарищества, радость от общения с человеком, который относится к тебе как к равному. Он чуть было не предложил ей: пойдем и напьемся так, чтоб чертям было тошно... Но вместо этого сказал:

— Пошли куда-нибудь поедим.

III

— Эллиот очень одаренный мальчик, но мне бы хотелось, чтобы он, наконец, остановил на чем-то свой выбор. Не успеет он чем-нибудь заинтересоваться, как тут же, без всякой видимой причины, охладевает. То же самое Квентин. У него превосходная специальность, но она ему не нравится. Не понимаю, что с ними такое, вечно они перескакивают с одного на другое, вечно чего-то ищут.

— Возможно, потому, что у них есть возможность выбора, тогда как у других ее нет,— сказал Кейзи.

Они сидели в ресторане на авеню Мелроуз, открытом всю ночь. Зал был наполовину пуст, и еда была не очень вкусная, но Кейзи чувствовал себя счастливым. Наоми тоже мало интересовало и само это место, и то, что им подали оладьи с застывшим жиром,— ей важно было выговориться. Теперь, когда волнения, связанные со сценарием, улеглись и Кейзи снова стал воспринимать окружающий мир, он увидел, что Наоми не на шутку чем-то встревожена.

Она сидела, опустив глаза в тарелку, и ела молча, сосредоточенно хмурясь, словно хотела что-то сказать и не могла припомнить, что именно. Через некоторое время она снова подняла на Кейзи глаза.

— Я не показывала тебе письмо, которое пришло сегодня утром от Кристины?

Кейзи отрицательно покачал головой. Наоми потянулась за сумочкой.

— Разреши, я прочту тебе несколько строк, не возражаешь?

— Читай, читай.

Наоми стала читать, а Кейзи терпеливо слушал. Письмо было довольно забавное, кое-где проглядывал живой, восприимчивый ум, но в

общем это было совсем не то, что его сейчас занимало. Его беспокоила Наоми, и он предпочел бы, чтобы она говорила о себе.

— Ну, что ты скажешь? — осторожно спросила Наоми, кончив читать.— Мне, право, кажется, что она не лишена проницательности.

— Да, конечно,— сказал Кейзи.

Наоми обрадованно улыбнулась.

— По-моему, она необыкновенная девушка,— сказала она и тут же добавила:— Хотя, возможно, мне так кажется, потому что я мать.

— Вовсе нет. Я уверен, что это так и есть, но...— Это «но» вырвалось у него невольно.

— Что — «но»? — сразу насторожившись, спросила Наоми.

Увильнуть было невозможно.

— Я думал не о ней,— с расстановкой произнес Кейзи.— Я думал о тебе. Конечно, это приносит большое удовлетворение — иметь детей, наблюдать, как они растут. Но нельзя всецело растворяться в них, нельзя жить только ими. У тебя должна быть своя жизнь.

Он сказал это и тотчас пожалел. Лицо ее словно окаменело. Прошло некоторое время, прежде чем она сумела овладеть собой.

— Разумеется,— сказала она.— И я вовсе не так уж всецело занята ими. Просто они доставляют мне радость, вот и все. Как ты правильно подметил, интересно наблюдать за их ростом.

Наоми спрятала письмо в сумочку,— она уже была вполне спокойна. Но в краткий миг ее смятения Кейзи инстинктивно догадался обо всем. У Наоми не было больше личной жизни. И она просто выдумала, будто Бэкстер заканчивает в Кармеле свой роман. Она лишилась мужа, лишилась работы. Кейзи был убежден, что и то и другое — дело временное, но вместе с тем понимал, что Наоми от этого не легче. Она осталась одна, не имея возможности даже отвлечься... Тогда понятно, почему она так держится за эту свою необыкновенную дочку.

Кейзи с минуту молча наблюдал за Наоми; она продолжала машинально есть. Он протянул руку и сжал ее пальцы.

— Знаешь, что я тебе скажу? Ты сама — необыкновенная.

Но она осторожно высвободила из-под его руки свои пальцы, пробормотала: «Ох, Кейзи» — и продолжала есть.

Глава 18

Приближались рождественские каникулы, и в стенах Брин-Мора смех начинал звучать по-другому; хорошо отрепетированные, искусственные смешки теряли свою изощренность, в них все больше и больше просачивались нотки подлинного веселья. Рано утром в душевых студентки уже не проходили молча, насупившись, друг мимо друга, а вступали в разговор и порой даже улыбались. А накануне каникул, в последний день занятий, коридоры наполнились взволнованным щебетом и веселыми песенками, вроде «Подари мне, папочка, колечко» или «Бетси, нам грогу стакан» под аккомпанемент выдвигаемых ящиков и щелканье чемоданных замков.

Кристина тоже собирала вещи, улыбалась, даже напевала, но не разделяла веселости и приподнятого настроения своих товарок. Она не собиралась на каникулы домой. Мать написала ей, что временно сидит без работы и поэтому считает безрассудным ради двух недель тратить деньги на билет через все Штаты. К тому же Эллиота не будет дома, так как он решил отправиться вместе с Квентином и его женой в Солнечную долину покататься на лыжах, и отца, возможно, тоже, так как он до сих пор работает над своим романом в Кармеле. Значит, дома ей может

показаться скучновато, писала мать, и, вероятно, лучше подождать до весенних каникул, когда вся семья уже будет в сборе.

В письме, которое Кристина получила от отца примерно неделю назад, он писал, что отправился на север для поправки здоровья, а теперь выходит, что он работает там над романом. Однако Кристина недолго раздумывала по поводу этих разноречивых сообщений — куда больше заботило ее сейчас то, что мать прислала ей всего тридцать пять долларов для поездки в Бостон. Перспектива провести каникулы у бостонских Маллов, которых она совсем не знала, казалась ей невыразимо унылой, и, глядя, как другие девушки весело готовятся к поездке в Нью-Йорк, Чикаго или Балтимору, она чувствовала себя словно узник, приговоренный к заключению в тюрьме на далеком острове.

Большой дом на Бикон-стрит, полный мебели и почти лишенный каких-либо признаков жизни, оказался даже более унылым, чем предполагала Кристина. Тетушка Фейз, еще более миниатюрная и хрупкая, чем тетушка Хоуп, но с таким же длинным узким лицом, как у всех Маллов, жила одна в обветшало-викторианском окружении старинных бостонских родов, в атмосфере покоя, напоминавшего покой склепа. Все вещи в этом доме были ветхими. И хотя служанка в белом накрахмаленном переднике ежедневно и очень старательно вытирала повсюду пыль, Кристину не покидало чувство, что все здесь безнадежно пропылено. Если на колченогом столике возле входной двери кто-нибудь оставлял письмо для отправки на почту, оно поражало глаз свежестью конверта, новизной марки, словно явление какого-то другого мира, другой, несовместимой с этим домом эпохи.

Каждое утро Кристина спускалась в полутемную столовую к завтраку, который подавала служанка Амелия. Тетушка Кристины, хотя и суровая с виду, была, в сущности, очень кротким существом. Кристина поняла, что ее молчаливость проистекала не из чопорности,— просто она от природы была неразговорчива и немногодумна. Обменявшись с Кристиной утренними приветствиями, она продолжала сидеть, с углубленно-отсутствующим видом проглядывая поверх очков письмо или газету, а Кристина с величайшей осторожностью тихонько постукивала крошечной ложечкой по скорлупе сваренного всмятку яйца. Говорила тетушка Фейз с изысканным акцентом первых английских поселенцев. Поэтому слушателю казалось, что перед ним человек старинной культуры, высоких традиций, благородства. Но изысканное произношение тетушки было лишь пустым отголоском старины,— узость ее существования давно вытравила из унаследованных ею канонов всякое содержание. Когда-то тетушка несомненно читала книги. Даже теперь какая-нибудь книга всегда лежала на ее туалетном столике, но менялась она куда реже, чем салфеточка, накрывавшая его. Тетушка Фейз каждую неделю посещала концерты бостонского симфонического оркестра и даже заглядывала в Музей искусств, если по дороге от дантиста ее застигал на улице дождь. В этих условиях Кристине оказалось не под силу установить с тетушкой хоть какой-то контакт; первые дни и та и другая еще пытались найти общий язык, но потом обе махнули на это рукой и погрузились в молчание.

Кристина заполняла дни прогулками по улицам Бостона, посещением музеев, игрой на расстроенном пианино с пожелтевшими клавишами или чтением. Ее спальня находилась на верхнем этаже, и там всегда было холодно, так как старая система отопления не могла доставить нужного количества тепла на должную высоту. Поэтому Кристина большую часть времени проводила в цокольной бельевой, где топилась печь и работала служанка Амелия — шестидесятилетняя старушка в очках без оправы, еще более хрупкая и бледная с виду, чем тетушка Фейз, и

такая безупречно-чистоплотная, что казалось, она состоит из мыла и крахмала.

Каждое утро Кристина просыпалась в пять часов одна в темной комнате, на большой кровати с четырьмя столбиками, поддерживавшими полог,— лежала и думала о смерти; не о той, что приходит к людям, перенося их из мира живых в небытие, а о той, которую она ощущала вокруг себя, о той, что уже завладела еще живыми — тетушкой Фейз, Амелией, пожилыми дамами и пожилыми господами, которые время от времени появлялись по вечерам в гостиной и сидели возле незажженного камина, обмениваясь банальностями и щеголяя таким же, как у тетушки Фейз, изысканным бостонским произношением, так же что-то обещавшим и так же разочаровывавшим.

Однако Кристина думала о смерти не только применительно к ним, но и к себе, потому что становилось все острее ощущение, будто ее, живую и теплую, по какой-то страшной ошибке заключили в невидимый склеп. И ей казалось, что она бьется о стены окружающего ее мрака и кричит: «Да ведь этого не может быть, не может быть...» — и все время сознает, что никто ее не слышит и не может услышать, а главное — что никому, в сущности, нет до нее дела.

Она старалась взять себя в руки и часами сидела с томиком Эпиктета, читая и перечитывая, словно инок свой требник, рассуждения о мужестве.

«Хочешь ли ты жить в страхе? Хочешь ли ты жить в печали? Хочешь ли ты жить в смятении?» — спрашивал Эпиктет.

«Нет, не хочу»,— ответствовал ему Ариан.

И Кристина про себя повторяла: «Нет, не хочу, нет, не хочу...» И продолжала читать дальше, до того места, где Эпиктет говорит: «Только обладание знаниями дает свободу...», после чего хватала свои записи лекций и заставляла себя заниматься; но сколько бы ни твердила она себе, что могильная тишина и покой этого дома — как раз то, что требуется для занятий, и сколько бы ни притворялась, что чрезвычайно рада такой возможности расширить свои познания, в душе она отчаянно тосковала и с нетерпением ждала конца каникул.

Медленно ползли дни, наконец настал сочельник, и весь огромный ледяной дом как бы слегка оттаял. В этот день тетушка Фейз позвала к себе человек двадцать гостей. Разукрашенная игрушками елка, выбранная по велению указующего ревматического перста тетушки Фейз, хотя и довольно жалкая, чахоточная с виду, все же заметно оживила темную гостиную. Зажгли все лампы. Появились свежие цветы, и комната повеселела. Потянуло запахом яичного глинтвейна, зажужжали голоса.

Все указывало на то, что люди собрались приятно провести время, однако сборище это странным и неожиданным образом подействовало на Кристину. Вместо того чтобы повеселеть, она еще больше приуныла: перед ней была лишь имитация жизни, горькое напоминание о том, каким бывает настоящее веселье. И обнося гостей сандвичами, медленно двигаясь с подносом в руках среди пожелтевших кружев и едва уловимого аромата лаванды, она чувствовала, как тоскливое ощущение пустоты с удесятеренной силой охватывает ее.

— ...Доктор Хупер посадил меня на бессолевую диету, и это дало превосходные результаты, совершенно превосходные, как показал мой анализ крови.

— ...Леди Галифакс выступала в Бостоне на прошлой неделе. Я ужасно огорчена, что мне не довелось ее послушать. Она такой прекрасный оратор.

— ...Их теперь больше не производят, разве что в Европе, но боюсь, и там прежнее искусство уже утрачено.

— ...Мне пришлось рассчитать мою старуху Мэри. Ей перевалило за восемьдесят, и я заметила, что она стала плохо соображать.

Обрывки разговоров долетали до Кристины, и тоска сжимала ей сердце, душила ее. Она чувствовала, что готова отдать все на свете, лишь бы вырваться отсюда,— куда угодно, хотя бы назад, в душную курилку Брин-Мора! На секунду у нее мелькнула сумасшедшая мысль под каким-нибудь предлогом вернуться в колледж. А затем ее осенило... И через минуту она уже атаковала тетушку Фейз в буфетной, куда та зашла за пирожными.

— Тетя Фейз... Могу я сказать вам несколько слов? — взволнованно спросила она.— Мне только что позвонили из Нью-Йорка. У меня там подруга... она тяжело заболела и просит приехать к ней немедленно!.. Вы позволите?

Тетушка Фейз продолжала не спеша перекладывать пирожные из кондитерской коробки на фарфоровое блюдо.

— Я что-то не поняла,— сказала она.— Что ты говоришь?..

— Моя подружка Элиза,— сказала Кристина.— Она живет в Нью-Йорке. Она тяжело заболела и просит меня приехать поухаживать за ней.

— Но почему вдруг? — растерянно и с досадой спросила тетушка Фейз, тщательно закрывая пустую кондитерскую коробку и ставя ее на полку, чтобы потом сложить в нее оставшиеся пирожные и печенье.— Разве у этой девушки нет родных? Почему они не позаботятся о ней?

— Потому что не могут,— сказала Кристина.— Потому что они сейчас в Палм-Бич и в доме никого нет, кроме служанки... Да и служанка там не все время, потому что...

И Кристина без передышки продолжала нагромождать все новые и новые подробности, какие только приходили ей на ум, стараясь, чтобы ее выдумка звучала как можно правдоподобнее и дошла до сознания тетушки Фейз. Тетушка, совершенно растерявшаяся перед столь сложной проблемой, стояла, держа в руках блюдо с пирожными, и глядела на Кристину.

— Я просто не знаю, что и сказать,— промолвила тетушка,— все это очень неожиданно.

— Конечно, неожиданно! — сказала Кристина.— Потому-то я и должна отправиться туда немедленно, если вы разрешите.

— Ну, раз это необходимо...— неуверенно проговорила тетушка.

Кристина глубоко перевела дух, поблагодарила и поспешила исчезнуть. Боясь, как бы тетушка не передумала, она собрала свои вещи, пока гости еще не разошлись, и как только последний гость покинул дом, спустилась в гостиную. Тетушка Фейз и Амелия уже усердно разбирали салфетки; за окнами сгущались сумерки. Кристина попрощалась с тетушкой, притронувшись губами к ее щеке, получила такой же поцелуй в ответ и с жаром поблагодарила за оказанное гостеприимство. Она еще вернется, если ее подруга выздоровеет до конца каникул, пообещала Кристина. Она готова была обещать что угодно, расстаться со всем, что имела, лишь бы сбежать вниз по этим каменным ступеням и навсегда захлопнуть за собой тяжелую, украшенную медной ручкой дверь.

В сидячем вагоне поезда Бостон — Нью-Йорк народу было совсем немного. Все молчали. Но время от времени чей-нибудь взгляд падал на девушку в голубой шапочке, и в этом взгляде мелькало сочувствие, потому что девушка была такой юной и ехала в поезде совсем одна, да еще в сочельник. Пожилая супружеская чета, сидевшая напротив, жалела ее; мужчина, стоявший у окна в проходе, жалел ее; даже проводник, перевидавший на своем веку много одиноких людей, разъезжавших туда

и сюда, и тот, пройдя через вагон и увидев Кристину, пожалел ее. Но Кристина, не ведая об их молчаливом сочувствии, сидела довольная, сжимая ручку черного чемоданчика тетушки Хоуп,— она радовалась душному теплу старого железнодорожного вагона и в блаженной полудреме прислушивалась к торопливому перестуку железнодорожных колес.

Глава 19

— Что ты вцепилась в эту штуку?

Кристина вздрогнула, услышав у себя над ухом чей-то шепот. Затем ощутила запах «Эвкалиптового ингалятора Викс» и поняла, что позади нее появился Фил. Она стояла за пыльными кулисами маленького захудалого театра, придерживая еще не успевшую высохнуть декорацию, на которой было намалевано дерево: на сцене шла репетиция «Прихотей Марианны» Мюссе.

— Брось ты ее, слышишь? — гнусаво сказал Фил и шмыгнул носом: он схватил сильный насморк, позируя на прошлой неделе для рекламы нижнего белья.— Я хочу, чтобы ты поглядела из зрительного зала, как у меня получается.

— Я не могу,— прошептала Кристина.— Уоррен велел мне держать эту декорацию.

— Так когда это было! Можешь преспокойно бросить ее.

Но Кристина не решалась.

— Нет, я, пожалуй, еще подержу...

Фил вздохнул, раздраженно высморкался, но не уходил, продолжая топтаться возле нее в ожидании своего выхода.

— «Лет пять-шесть вас еще будут любить, лет восемь-десять вы сами еще будете способны любить, а затем вам останется только молиться богу...» — долетел до нее со сцены проникновенный юношеский голос, и Кристина, чуть выглянув из-за темных кулис, увидела рыжеватый затылок, выразительный взмах руки, порывистый упругий поворот тела: Уоррен снова, насилуя свое естество, перевоплощался из веснушчатого деревенского паренька в неаполитанского дворянина.

Репетиции шли уже третий день. Труппа арендовала заброшенный театр оперетты и проводила в нем целые дни, работая над двумя короткими пьесами (одна из них принадлежала перу Уоррена, другая — Мюссе в переводе на английский), которыми они намеревались открыть сезон. Кристина, поселившаяся с Элизой на остаток каникул у тетушки Джо, каждое утро приходила в театр, присутствовала на всех репетициях, помогала чем могла по части реквизита и выполняла различные мелкие поручения. Когда же актеры отправлялись перекусить, она тоже шла с ними и с удовольствием поглощала в ближайшем магазине залежавшиеся бутерброды вместе с новыми для нее, волнующими разговорами, а в промежутках между репетициями, которые затягивались иногда до четырех часов ночи, не отказывалась выпить со всеми пива.

— Ты на меня не сердишься, нет? — снова прозвучал гнусавый шепот.— Надо же, чтоб так не повезло: ты приехала в Нью-Йорк, а у меня эта чертова простуда.

Кристина смутилась. Она все эти дни даже и не замечала присутствия Фила.

— Может, в субботу или в воскресенье пойдем поиграем в кегли?— предложила она.

В слезящихся от насморка глазах вспыхнула искорка надежды.

— Ты считаешь, что, если хорошенько вспотеть, простуда пройдет?

Кристина ничего не ответила. Уоррен вышел со сцены и застыл среди темных кулис, пристально следя за игрой актеров.

— Уоррен! — прошептала Кристина.

Он вздрогнул.

— Кто здесь? Я просил всех пройти в зал.

— Но ты велел мне подержать эту декорацию. Можно ее отпустить?

— О господи, разумеется! Я совсем позабыл про тебя.

Кристина прислонила нарисованное дерево к соседней декорации и быстро спустилась вниз, в полутемный зал.

По вечерам после репетиций они все собирались в однокомнатной квартирке на Десятой улице. Появлялась Айвена, которая днем работала манекенщицей. Она садилась возле Уоррена,— в опущенной руке сигарета, другая рука привычно поигрывает рукавом накинутой на его плечи куртки,— и слушала, как актеры обсуждают планы работы на следующий день. Но как-то раз она не пришла, и когда актеры, все обсудив, принялись открывать банки с пивом, Кристина подсела к старенькому пианино, стоявшему под высоким окном мансарды, и стала играть. Почти никто не обратил на это внимания, все продолжали болтать, но Уоррен, пробегавший глазами свою роль, вдруг отложил листки, подошел и остановился возле пианино. Пальцы Кристины летали по клавишам, рассыпая блистательные арпеджио, однако краешком глаза она то и дело косилась на руку Уоррена, лежавшую на крышке пианино. Эта рука, волосатая у кисти,— рыжеватые завитки курчавились вокруг кожаного ремешка часов, ловя блики света,— рука с короткими, негибкими пальцами простолюдина резко дисгармонировала с музыкой Шопена и Шумана; впрочем, обладатель ее, казалось, сам это чувствовал. Кристина в эту минуту создавала то, к чему Уоррен мог только стремиться, но не мог проникнуть вглубь, и она поняла это по тому, как он слушал, и по выражению его лица, когда она взглянула на него, кончив играть. Это было странное, напряженное выражение, словно с него вдруг слетел налет северной культуры, который ему удалось приобрести. И перед ней оказался мальчишка из бедной семьи, бродяга и самоучка. Она поглядела на него задумчиво, бессознательно разгадав его состояние.

— Что же ты,— сказал он, стараясь защититься от ее пристального взгляда.— Сыграй еще что-нибудь.

Кристина принялась играть, но еще прежде, чем она кончила, Уоррен отошел и присоединился к остальным. А на следующий день он сел рядом с ней у длинной стойки закусочной Уолгрина.

— Дидро говорит, что такой вещи, как идеал, не существует,— неожиданно сказал он.— Есть только материя. Мне кажется, он прав, как ты думаешь?

— Что не существует идеала? — повторила Кристина и, потянувшись за кетчупом, вылила больше, чем нужно, на свой рубленый бифштекс: она силилась припомнить, приходилось ли ей читать что-либо подобное у Дидро.

— Я вовсе не хочу сказать, что его вообще нет,— продолжал Уоррен, задумчиво жуя свой бифштекс.— Где-то он, возможно, и существует! Но тебе он никогда не попадет в руки и в окружающей действительности его не найти...

Кристина же думала лишь о том, как это удивительно, что он сидит сейчас с ней, выбрав из всех ее.

— А впрочем, ничего нельзя утверждать категорически,— заключил Уоррен и, пожав плечами, соскочил с табурета.— Ну, друзья, пошли,— крикнул он, бросая на стойку несколько монет.— Поздно уже, а я хотел прогнать сегодня весь второй акт.

Часа два спустя Кристина сидела в партере нетопленого театра и смотрела репетицию. Актеры уже прошли целиком второй акт и теперь отрабатывали отдельные мизансцены. Уоррен в старом грубошерстном свитере с закатанными по локоть рукавами работал с одним из актеров

над ролью, показывая, чего он хочет, и его глубокий выразительный голос проникал в самые отдаленные уголки пустого театра.

Прочитав кусок до конца, он протянул актеру листки, спрыгнул с подмостков и опустился в кресло рядом с Кристиной.

— Привет,— сказал он.

— Привет...

— Попробуйте эту последнюю сцену еще раз,— крикнул он актерам.

Он казался озабоченным. Кристина чутьем угадывала быстрые смены его настроения, ощущала бурлящую в нем энергию, когда он беспокойно поворачивался на сиденье, то радуясь удаче актеров, то раздражаясь. На мгновенье шершавый рукав его свитера коснулся ее обнаженного локтя, лежавшего на ручке кресла. Решив, что это получилось случайно, она поспешно, демонстративно убрала руку.

Он тут же вскочил.

— Нет, нет,— почти простонал он.— Я вовсе не этого хочу.

И они принялись репетировать всю сцену сначала. Время бежало, Кристина отвлеклась, и мысли ее постепенно приняли другое направление: она вспомнила о том, что в воскресенье вечером им с Элизой предстоит сесть в поезд и вернуться в Брин-Мор, и неустойчивая стрелка ее душевного барометра резко поползла вниз.

Очнулась она от чьего-то прикосновения: рядом с нею стоял Фил.

— Ну как, детка? — прошептал он.

— Что?

— Как — «что»! Ты погляди на меня! — потребовал он.

Он стоял перед ней в кожаном жилете и рубашке с пышными кружевными манжетами; на ногах были гетры, в шляпу воткнуто перо. Но прежде чем Кристина успела произнести хоть слово, раздался голос Уоррена:

— Боже милостивый, где ты это откопал? Что это еще за маскарад, черт возьми?

— Это мой костюм,— очень довольный собой, отвечал Фил.

Уоррен спрыгнул вниз и подошел к ним.

— Только сумасшедший может напялить на себя такое.

— Но это почти точная копия костюма той эпохи. Я видел картинку в книжке, которую нашел в библиотеке,— обиженно отвечал Фил, поправляя манжеты.

— Принеси мне эту книгу,— сказал Уоррен.

— Не могу. Ее не выдают на дом. Это справочник по истории костюма, с цветными репродукциями.

— Все равно надо ее как-то раздобыть. Я должен сам проверить все костюмы,— сказал Уоррен и пошел обратно на сцену.

— Есть же на свете такие люди — вынь им да положь, а можно или нельзя, их это не касается,— пробормотал Фил.

Кристина промолчала. Но как только Фил отошел от нее, она тут же выскользнула из театра...

Поспешно спустившись в метро, она вышла на Сорок второй улице и направилась к высокому каменному зданию, а через несколько минут уже стояла в просторном, тихом зале нью-йоркской публичной библиотеки и глядела на полки с книгами, время от времени украдкой озираясь по сторонам. В зале была лишь горстка посетителей и всего одна сотрудница. Склонив голову над ящичком, стоявшим на столе, она перебирала карточки; Кристина повернулась к ней спиной и небрежным жестом сняла с полки тяжелый том...

Ее дождевой плащ странно топорщился спереди, когда, выйдя из библиотеки, она сбежала по каменным ступеням и смешалась с шумной уличной толпой. Не глядя по сторонам, она ринулась в метро. Поезд только что подошел. Кристина нырнула в вагон и села, уставясь прямо

перед собой, точно окаменев. И лишь когда поезд с бесстрастным грохотом ринулся в туннель, она незаметно извлекла книгу из тайника, раскрыла и не без чувства удовлетворения перелистала вощеные страницы...

— Где Уоррен? — спросила она, вбегая в театр через актерский вход.— Я достала для него кое-что.

— Его нет,— сказал Фил. Вид у него был надутый, обиженный.— Он только что ушел.

— Ушел? А когда вернется?

— Понятия не имею. Ты же знаешь эту голливудскую публику,— угрюмо сказал Фил. И пояснил, что в ее отсутствие Гарри Хэтчер, бродвейский агент, заинтересовавшийся Уорреном, пригласил его к себе в Вестчестер, куда к нему должен приехать продюсер из Голливуда.— Верно, Уоррен пробудет там субботу и воскресенье,— завистливо сказал Фил.— Там будет шикарный новогодний вечер. А что ты для него достала?

Кристина не ответила.

— Субботу и воскресенье?.. До самого вечера? — переспросила она.

— Да, наверно. А что?

Кристина покачала головой.

— Ничего...

— И на кой черт Гарри Хэтчеру понадобился Уоррен, просто в толк не возьму,— сказал Фил.— Уоррен же актер совсем не голливудского плана. Он не годится для кино. Не могу сказать, чтобы я был таким уж сногсшибательным актером, но, честно говоря...— Однако фраза так и осталась недоконченной, ибо Фил в эту минуту обнаружил, что Кристины с ним рядом нет.— Эй! — крикнул он, но она уже исчезла. Он поглядел на книгу, которую она оставила на столе, машинально взял ее в руки — и выражение его лица мгновенно изменилось.

— Куда это ты? — спросил Дэвид, столкнувшись с ним минуту спустя в дверях и увидев, что Фил в пальто и в кепке.

— В Голливуд,— игриво ответил Фил.

— Вот с этим? — спросил Дэвид, указывая на сезонный билет метро, который Фил на ходу вытащил из кармана.

Но Фил только ухмыльнулся в ответ и помчался по улице.

Глава 20

I

Нераскрытый томик Эпиктета покоился на кофейном столике рядом с одним из фарфоровых бульдогов тетушки Джо. Возле него стоял телефон, похожий на монахиню в черной рясе. и Кристине казалось, что своей каменной неподвижностью, своим молчанием он как бы выносил ей приговор, утверждая, что она глупа, наивна и витает в облаках. Ей нечего было возразить на эти обвинения. Ведь она знала: даже если этот молчаливый аппарат заговорит, ну что это будет означать? Ничего особенного, кроме того, что один добрый друг проявит внимание, позвонит ей сегодня, в этот ее последний вечер в Нью-Йорке, позвонит потому, что его нет в городе и он не сможет повидаться с нею до ее отъезда. Вот что это будет означать.

И тем не менее она не пошла на встречу Нового года, сославшись на несуществующую простуду, и Элиза отправилась на Десятую улицу одна. Кристина не жалела об этом. Ей казалось, что без Уоррена едва ли там будет весело, а если раздастся телефонный звонок, это вознаградит ее за все... Но минуты бежали в унылой тишине.

Прошел час, за ним второй. Ближе к полуночи начал падать снег; за темным окном бесшумно летели пушистые снежинки, опуская прозрачно-белую завесу на уличные фонари и здания. Казалось, все навечно замерло в белом молчании. Затем в тишину пустой комнаты ворвались из соседней квартиры звуки радио: пронзительные, визгливые вскрики рожков, веселый гам и шум праздничной толпы, встречающей Новый год на Тайм-сквере, и тут же, перекрывая весь этот гомон, зазвонил телефон. Кристина порывисто схватила трубку.

— Алло, алло? — Голос ее упал.— А, это ты... С Новым годом, Фил.

На нее дохнуло холодным ветром действительности, и мечты ее разорвало в клочья.

— Я страшно расстроился, когда Элиза сказала мне, что ты заболела. Неужели ты заразилась от меня? Сказать по правде, я тоже чувствую себя погано. И не только потому, что заложен нос, а вообще. Если бы ты только знала, какие я строил планы,— и все рассыпалось.

— Как жаль...— Кристина просто не могла заставить себя слушать его излияния.

— Ну, а сейчас мы веселимся вовсю, и мне бы очень хотелось, чтоб ты была с нами. Сказать тебе кое-что? — добавил он вдруг совсем другим тоном.

— Что?

Он рассмеялся.

— Я осел и пьян в доску.

Кристина положила трубку. Ни разу в жизни, казалось ей, у нее еще не было так тяжело на душе.

II

Многоцветная рыба плавала в неоновом море над заполнявшей Бродвей кипучей толпой. Резкие звуки бумажных свиристелок разрывали Кристине уши. В нос то и дело ударяло винным перегаром. Она с трудом переводила дыхание, зажатая в толпе, одетой в толстые пальто. Ей казалось, что все вокруг пьяны,— иначе как могут они получать от этого удовольствие? Толпа, внезапно изменив направление, швырнула ее куда-то в сторону, и она безвольно дала себя увлечь вниз по ступенькам метро. Хотела ли этого судьба или то была простая случайность, но первый поезд шел в Бронкс.

Кристине было все равно. Впрочем, в голове у нее уже созрел план: она все-таки простится с Уорреном, хотя и не совсем обычным путем. И это будет не «au revoir» *, как говорят французы, это будет «adieu»**, только он его не услышит и никогда об этом не узнает. Ну и что ж. Она и не хотела, чтобы он узнал. Она просто хотела сказать ему «прощай»... Ей это было нужно.

Унылое старое здание театра стояло, погруженное во мрак, и все двери, разумеется, были заперты. Но каждый в группе знал, что можно проникнуть внутрь через разбитое окно гримерной. Кристина бесшумно спрыгнула с подоконника и пошла на свет единственной электрической лампочки, которая горела на сцене всегда — и днем и ночью. Она смутно сознавала, что ее затея носит уж слишком романтическую окраску, но ей и это было все равно. Никто не мог видеть, как она стоит здесь, закутавшись в мокрое от снега пальто, и с глухой тоской оглядывает знакомые предметы. Ей было, конечно, больно, но она приветствовала эту боль, даже растравляла ее в себе, зная, что потом, утихая, боль пробудит в ее душе протест — силу, которая поможет ей выстоять. За этим она сюда и пришла.

---

* До свидания *(франц.)*.

** Прощай *(франц.)*.

Внезапно за спиной у нее послышался шорох, что-то скрипнуло. Кристина испугалась. Что это — крыса? Она знала, что в театре полно крыс, и тихонько, на цыпочках попятилась в тень кулисы, желая удостовериться, что это действительно крыса, а не что-то более страшное. Здесь было совсем темно, высокий задник загораживал свет, и Кристина чуть не упала, споткнувшись впотьмах обо что-то. Стараясь устоять на ногах, она протянула руку, и пальцы ее нащупали что-то мягкое и теплое, похожее на смятые постельные принадлежности. Еще совсем недавно здесь кто-то спал, и постель не успела остыть. Но кто же мог забраться в пустой театр? Разве что какой-нибудь бродяга, который случайно, как и она, знал про разбитое окно. Сейчас ей самой казалось странным, как она не побоялась прийти сюда. Это было безумие, чистейшее безумие идти ночью в пустой театр, да еще в самом неблагополучном районе города. Кристина начала ощупью, неуверенно продвигаться к выходу среди темных кулис, и тут чья-то рука протянулась из мрака и схватила ее.

— Кто здесь? — спросил мужской голос.

Услышав его, она сразу перестала вырываться, замерла и задрожала с головы до пят, хотя уже ясно было, что ей не грозит никакая опасность. И чуть слышно она пролепетала:

— Это я, Уоррен... Кристина...

Щелкнул рубильник, и мгновенно всю сцену и кулисы залило призрачным зеленоватым светом.

— Что ты тут делаешь? — с изумлением спросил Уоррен, глядя на нее во все глаза.

Растерянные, они стояли друг против друга в мертвенном зеленоватом свете, словно два заблудившихся привидения.

— А я думала, что ты в Вестчестере,— пробормотала Кристина.— Почему ты здесь?

— Я уехал оттуда раньше, чем предполагал. А здесь — я же здесь работаю... ночным сторожем при театре.— В голосе его прозвучал вызов. На нем были мятые джинсы — он в них спал — и старомодная ночная сорочка, застегнутая на все пуговицы до самого горла. Порывшись в постели, он извлек оттуда свитер и смущенно натянул его на себя.

— А я считала, что ты работаешь в каком-то ночном кабаке,— пробормотала Кристина, страшно удивленная тем, что он ночь за ночью спит в этой темной дыре. Его жизнь рисовалась ей совсем иной — богемной, беззаботной, тесно сплетенной с жизнью Айвены. Но окидывая взглядом пустые пыльные кулисы, она почувствовала, что Айвена несовместима с этим окружением.

— Я ушел оттуда и нанялся сюда сторожем, чтобы не отлучаться из театра.— Уоррен откинул рукой пряди рыжеватых волос, падавших ему на глаза. Он уже оправился от удивления, обрел обычную уверенность в себе и с откровенным любопытством оглядывал Кристину.— Но все-таки... что привело тебя сюда в такое странное время?

— Я пришла за книгой.

— За книгой? За этой, что ли? — озадаченно спросил он, перехватив ее взгляд, устремленный на книгу, лежавшую на перевернутом вверх дном ящике возле его раскладной кровати. Он взял в руки увесистый том с цветными репродукциями.— Но Фил ни словом не обмолвился, что это ты ее раздобыла.

— Фил?

Уоррен кивнул и стал рассказывать, что Фил не поленился явиться в Вестчестер с этой книгой под мышкой, якобы для того, чтобы встретиться с ним, Уорреном, на деле же, чтобы под этим предлогом вломиться без приглашения в чужой дом и ослепить своей улыбкой Хэтчера, бродвейского агента, а заодно голливудского продюсера и всех осталь-

ных: он считал, что они тотчас ухватятся за него, как только увидят тридцать два великолепных зуба. Однако никто не предложил Филу остаться... как, впрочем, и ему тоже, добавил Уоррен.

— Это совершенно в духе Фила — все заслуги приписать себе,— заключил Уоррен,— и спокойно слушать, как я рассыпаюсь в благодарностях, которые по существу должны предназначаться совсем другому человеку.

— Ну, это не так уж важно,— смущенно пробормотала Кристина. Он неправильно истолковал ее замешательство.

— Прошу прощенья. Я не должен был этого говорить.

— Чего именно?

— По поводу Фила.

— А почему? — спросила она напрямик, стараясь, чтобы он не заметил, чего ей это стоило.— Какое это может иметь значение?

— Не знаю,— сказал он и отвернулся, пожав плечами.— Людям свойственно делать предположения...

Это ей было известно: она сразу же подумала об Айвене. Они стояли в нерешительности посреди сцены, залитой зеленоватым светом, и молчали. Кристина поежилась.

— Мне надо идти,— сказала она.— А то я опоздаю на метро...

Когда он остановился у выхода, пропуская ее вперед, она сказала, что он может, если нужно, еще какое-то время подержать книгу, но только потом надо вернуть ее так, чтоб никто не заметил,— ведь эта книга не выдается на руки.

— Так как же ты ее достала? — спросил Уоррен; он пошел проводить ее до станции метро на углу и теперь шагал рядом с нею в накинутой на плечи кожаной куртке, закутав горло старым клетчатым шарфом.

Кристина пожала плечами.

— Это было не так уж трудно.

В мерцающем свете рекламы китайского ресторана, мимо которого они проходили, она заметила недоумение, отразившееся на его лице.

— Ты что — стянула ее? Для меня?

Они остановились у спуска в метро; по лестнице сбегали запоздавшие гуляки, спеша на последний поезд. Кристина молча кивнула.

— Но почему?

Из всех вопросов, которые он мог ей задать, труднее всего было ответить на этот. Она стояла перед ним замерзшая, растерянная, с мокрыми, слипшимися от снега волосами и не находила слов.

Он молча, пристально поглядел на нее.

— Ты совсем промокла,— сказал он наконец. Голос его прозвучал глухо. Он снял шарф и набросил ей на голову.

— Да, кажется.

— Промокла до костей.

— Да...

Он притянул ее к себе.

■

— О господи, я уже собиралась звонить в полицию,— сонно пробормотала Элиза, приподнявшись с дивана-кровати в гостиной тетушки Джо.— *Где ты была?*

— Вышла немного пройтись.

— С такой простудой? Завтра у тебя будет воспаление легких!

— О нет! Все прошло. Мне сейчас гораздо лучше,— сказала Кристина, снимая шарф Уоррена и беспечно бросая его на спинку стула, поверх своего пальто. Элиза взглянула на шарф. Она так часто видела его на Уоррене, что даже при тусклом свете ночника не могла не узнать,

и Кристина это поняла. После секундной паузы Элиза проговорила небрежно:

— Что ж, ты и вправду выглядишь куда лучше. Я очень рада.— И перевернулась на другой бок, показывая, что намерена продолжить прерванный сон.

«Что может быть лучше доброго друга, который ни о чем не расспрашивает?» — подумала Кристина, раздеваясь и ныряя в постель.

Глава 21

Серый зимний день стоял за пыльным окном, и белые клавиши рояля казались посиневшими от холода. Пальцы Лэнджера скользили по ним в безупречном легато. Тонкая струйка дыма из зажатой в зубах сигареты вилась вокруг его массивной головы.

Он играл вторую часть «Апассионаты», а Кристина, сидя за другим роялем, слушала музыку, следила за его руками, зная, что должна все запомнить — запомнить, как он этого достигает,— и постараться повторить. Она изо всех сил пыталась сосредоточиться, глядя на эти уверенные руки, слушая творимое ими, но все проходило как бы мимо нее. Она видела перед собой лишь Уоррена, видела, как он стоит в тихом читальном зале колледжа, а взгляды всех девушек прикованы к нему...

...В мягком свете настольной лампы под зеленым абажуром глаза его вспыхнули, когда он заметил, как поразило Кристину его появление. Их театр открыл, наконец, свой сезон в Нью-Йорке, и Уоррен, страшно довольный, приехал сообщить ей об этом. Кристина вскочила и вышла вместе с ним, не потрудившись даже закрыть книги, лежавшие перед нею на столе.

Они свернули с шоссе и целый час гуляли по лесу, а потом, когда стемнело, вернулись в Брин-Мор. У каменных ворот колледжа они простились. Но прощанье их было таким же легким и светлым, как встреча: оно не оставило в душе Кристины щемящей тоски, а лишь страстное желание пережить снова и снова этот незабываемый час...

Руки Лэнджера мощно опустились на клавиши в последнем аккорде. Затем они устало повисли, а он еще некоторое время молча сидел, глядя на блестящую поверхность рояля.

Потом поднял голову. Игра взбудоражила его и опустошила, но голос звучал буднично.

— Ну, а теперь послушаем вас,— сказал он.

— У меня так не получится.

Он мягко улыбнулся и по-отечески добрым взглядом посмотрел на нее.

— Я этого и не жду. Пока. Однако со временем — почему бы и нет?

Кристина начала играть. Но ничего не выходило. Аккорды звучали неуверенно, акценты были расставлены неправильно, она забыла выделить левую руку.

— Не то, не то, не то! — раздраженно прервал ее Лэнджер.— Это никуда не годится! Вы что же — совсем меня не слушали? Вам хоть ясно, чего я от вас хочу?

Она кивнула.

— Тогда почему же вы этого не делаете? Почему?.. Ну, давайте начнем сначала, и постарайтесь на этот раз сыграть как надо.

Она начала играть снова, чувствуя, что теперь Лэнджер долго не оставит ее в покое — будет прерывать почти на каждом такте, будет сам по нескольку раз играть один и тот же пассаж, пока день не перейдет в вечер и в комнату не заползут сумерки.

Но вот с Бетховеном было покончено, и Лэнджер предложил ей сы-

грать этюд Шопена, а затем партиту Баха, которую она должна была приготовить к этому уроку. Однако партита не была приготовлена. Кристина ожидала, что Лэнджер станет корить ее, издеваться над ее исполнением, а он вместо этого принялся терпеливо и бесстрастно разбирать ее игру. И Кристине стало стыдно. Ей было бы легче, если бы он пришел в ярость, отругал ее.

— Нет смысла брать уроки музыки, если вы не будете самостоятельно работать,— сказал он, наконец.

— Я знаю,— сокрушенно сказала она.

— Может быть, вы слишком загружены по основным предметам? А потом еще, наверно, экзамены? — заметил Лэнджер, приходя ей на помощь.

Кристина снова молча кивнула. Ей не хотелось лгать ему. Но, по-видимому, он понял, что она лжет. И он сказал уже другим, сухим тоном:

— Если сейчас это для вас слишком большая нагрузка, может быть, нам лучше на время прервать занятия.

Кристина колебалась. Если она перестанет заниматься музыкой, у нее будет гораздо больше свободного времени, гораздо больше. Она сможет почти каждую неделю уезжать на субботу и воскресенье в Нью-Йорк.

— Не на совсем, конечно,— сказала она осторожно.— Может быть, на две-три недели... или, скажем, до весны.

Она понимала, что Лэнджер ждал от нее совсем другого. Он думал, что она станет возражать, извиняться, пообещает заниматься прилежнее. Кристина сделала вид, что не замечает разочарования, отразившегося на его лице.

— Прекрасно,— сказал Лэнджер, закрывая стоявшие на пюпитре ноты. И в эту минуту Кристина пожалела, что так поступает. Тем не менее она встала из-за рояля и, сославшись на первый пришедший в голову предлог, отказалась от традиционной чашки чая.

Выйдя от Лэнджера, она направилась на Тридцатую улицу и села в пригородный поезд, идущий в Брин-Мор. Торопливо шагая к колледжу, она думала о том, что, быть может, уже пришло письмо от Уоррена, и старалась не вспоминать про Лэнджера. Как-нибудь потом она постарается все это загладить, говорила она себе. Месяца через полтора, а то и раньше, она снова начнет брать у него уроки...

Она вошла в ворота и быстро зашагала по аллее. Уже совсем стемнело, и проходя мимо здания библиотеки, она чуть не столкнулась с доктором Кингом, сбегавшим по ступенькам с кипой книг под мышкой.

— Как поживаете, мисс Малл? — приветствовал он ее.

— Отлично, благодарю вас, доктор Кинг,— ответила Кристина, избегая его взгляда. Она почти не прикасалась к книге, которую он ей дал для факультативного чтения, и даже повседневные задания были у нее в последнее время выполнены далеко не с прежней тщательностью.— Извините, ужасно спешу,— сказала она смущенно... И тут же забыв про него, побежала дальше по темной аллее.

Глава 22

Выйдя из лифта, Кейзи услышал звуки рояля, доносившиеся из его квартиры, и у него тотчас мучительно заныло сердце, как бывало всякий раз, когда какой-нибудь звук или предмет напоминал ему об его бывшей жене. Он поспешно шагнул обратно в лифт, решив погулять немного вокруг дома и привести в порядок свои чувства до встречи с ней. Но едва дверцы лифта захлопнулись за ним, как он осознал свою ошибку. Эйлин так никогда не играла... Он остановил лифт и поднялся наверх.

К тому же, подумал Кейзи, его бывшая жена никогда не пришла бы к нему домой — она избегала встречаться с ним наедине. И не потому, что относилась к нему с неприязнью,— просто ей такие встречи были ни к чему. Она даже перестала звонить ему, чтобы предложить пойти с ней к кому-нибудь на коктейль. Словом, выражаясь языком ее весьма эрудированных по части психоанализа друзей, она «изжила свое чувство вины».

Кейзи вышел из лифта и направился по коридору к своей квартире, теряясь в догадках, кто бы это мог быть у него. Едва ли какой-нибудь громила станет так громко и бесцеремонно играть Бетховена... Войдя в прихожую и остановившись под аркой, он увидел за роялем девушку: она сидела, слегка наклонив голову, не отрывая глаз от летающих по клавишам пальцев. Кейзи не узнал ее. Лишь когда он подошел ближе и она, резко оборвав игру, воскликнула «Привет!», он понял, что это — долговязая дочка Наоми Барски. Ему стало совестно: он же обещал Наоми навестить ее дочь в колледже и не сдержал слова.

— Здравствуйте,— сказал он.— Как это вам удалось сюда проникнуть?

— Меня впустила уборщица,— сказала Кристина.— Я позвонила по телефону, а она сказала, что вы вернетесь домой часа в два, ну, я и решила зайти и подождать.

Кейзи взглянул на часы над камином. Было почти пять.

— Долго же вам пришлось ждать,— сказал он.

— Это пустяки,— сказала Кристина, поднимаясь из-за рояля.— Мне хотелось поговорить с вами.

Ей явно нетерпелось выложить то, что привело ее к нему, однако Кейзи усадил ее и заставил подождать, пока он приготовит себе виски с содовой. Но когда он со стаканом в руке подошел к дивану, на который пересела Кристина, по тому, как она взглянула на него, он понял, что она, как видно, не возражала бы выпить с ним.

— Ох, извините,— сказал он.— Может быть, и вы хотите выпить?

— С удовольствием,— небрежно ответила она.

Он налил ей виски, сильно разбавив содовой. Ему как-то не хотелось спрашивать, что она будет пить — виски или кока-колу. Он принес ей стакан и сел напротив нее в некотором отдалении. По ее манере держаться он понял, что она уже научилась владеть собой, но внутренне все еще оставалась взбудораженным, неуверенным в себе подростком, и ему не хотелось ее смущать.

— Я видел вашу мать не так давно в Голливуде. По правде говоря, она просила меня навестить вас, узнать, как вы живете.

— Живу я хорошо,— сказала Кристина.

Кейзи ждал, что она станет расспрашивать про мать, но она не спросила. Он отхлебнул немного виски.

— Ну, выкладывайте, что привело вас ко мне?

Кристина пересела на самый краешек дивана и начала свой рассказ. Она пришла, чтобы поговорить по поводу одного маленького, необычайно талантливого актерского коллектива, который уже создал совершенно замечательный спектакль в одном из театров Бронкса, но в настоящее время, увы, находится на грани краха. Если эта постановка не получит признания и никто о ней ничего не напишет, театр придется закрыть.

— По-моему, это просто позор,— говорила Кристина, изо всех сил стараясь казаться спокойной и не волноваться,— если такая талантливая работа пройдет незамеченной и никто даже не попытается привлечь к ней внимание...

Она говорила, а Кейзи внимательно наблюдал за ней. Вместо пря-

мых, небрежно рассыпающихся по плечам волос — аккуратно уложенная головка; светлые ресницы подчернены тушью; нежная девичья кожа покрыта слоем тона цвета загара. Молодость, наивность не исчезли, но вступили в явное противоречие с попытками придать себе ультрасовременный вид. И Кейзи, видя все это, смутно почувствовал, что ему чего-то жаль. Он закурил сигарету и постарался вникнуть в смысл ее слов, а она как раз пересказывала пьесу Уоррена. И вскоре чувство товарищества по отношению к неизвестному собрату по перу пробудилось в душе Кейзи. Он нахмурился и прервал Кристину.

— Обождите,— сказал он мягко.— Эдак не годится. Ни одно литературное произведение не передать таким пересказом.

Кристина умолкла.

— Наверно, вы правы,— растерянно сказала она.

Воцарилось неловкое молчание.

— А вы не хотите, чтобы я посмотрел этот спектакль и составил о нем собственное мнение? — спросил Кейзи.

Кристина вскинула голову.

— А вы могли бы? И тогда, если вам понравится, вы, может быть, даже написали бы о нем? Конечно, лишь в том случае, если вам понравится,— повторила она.

Кейзи кивнул. Едва ли пьеса ему понравится, подумал он и уже пожалел, что предложил посмотреть спектакль, но идти на попятный было поздно. Единственное, что он мог еще сделать,— это хоть немного оттянуть предстоящее испытание.

— Не знаю, смогу ли я это сделать сегодня,— неуверенно сказал он.— Но если удастся освободиться, постараюсь приехать.

— О, не обязательно сегодня,— сказала Кристина.— Лишь бы только на этой неделе. На следующей неделе вы можете уже ничего не увидеть,— добавила она с горькой усмешкой.

Кейзи промолчал. Несмотря на все ее старания казаться беспристрастной, она ни секунды не сомневалась, что спектакль ему понравится. Кейзи это понял, и профессиональное чувство в нем возмутилось — его раздражала эта беспочвенная восторженность молодости.

— Я постараюсь приехать сегодня,— повторил он.— Но слишком на меня не рассчитывайте.

— Хорошо,— вежливо сказала Кристина.

Снова наступило молчание.

Кристина поднялась.

— Мне, пожалуй, пора,— сказала она.

Если раньше Кейзи ломал себе голову, не зная, как от нее отделаться, то сейчас ему вдруг стало жаль, что она уходит. Живое дыхание жизни давно уже не врывалось в его опустевшую квартиру.

— Вы так торопитесь? — спросил он.— Может быть, хотя бы допьете виски?

— Я обещала поскорее вернуться в театр,— поспешила оправдаться она.

Кейзи больше не настаивал. Он проводил ее до дверей, помог надеть пальто. Она улыбнулась ему.

— Извините, что я тут у вас расположилась, как дома,— сказала она.

— Ну что вы, чего ж тут извиняться.

— Я выпила бутылку кока-колы, которая стояла у вас в холодильнике. И даже прочла вашу книгу, то есть почти прочла.

— Мою книгу?

Кристина мотнула головой в сторону книжной полки у камина. Кейзи нахмурился. Ему всегда казалось нескромным, когда авторы вы-

ставляют свои книги на видном месте, и поэтому он был уверен, что ни одной его книжки она найти не могла,— разве что какой-нибудь завалявшийся экземпляр его первого романа.

— Это замечательная книга,— сказала Кристина. И помедлив немного, с нескрываемым любопытством подняла глаза на Кейзи.— Она тоже была бестселлером, как все ваши произведения?

Кейзи озадаченно посмотрел на нее, но тут же вспомнил их разговор в Калифорнии, улыбнулся и покачал головой.

— Я так и думала,— сказала она и шагнула за порог.

Вернувшись в гостиную, Кейзи нашел книгу и принялся рассматривать старую, знакомую суперобложку. Это был его первый роман. Глядя на него, он вдруг испытал то же ощущение, какое бывает, когда человек, имеющий за плечами уже не один десяток лет, вдруг наталкивается на старый альбом и видит себя на фотографии подростком. В такую минуту первое побуждение — захлопнуть альбом, не углубляться в воспоминания, не подводить итога минувшим годам. Так и Кейзи прежде всего захотелось поскорее поставить книгу на полку. Но что-то удержало его. С минуту он стоял неподвижно, глядя на книгу, потом положил ее на стол — туда, где ее оставила Кристина...

Глава 23

I

Почти каждый вечер Кейзи вспоминал обещание, данное Кристине, но появился он в тускло освещенном, душном, полупустом театре только в субботу. Спектакль уже начался. Зрители слушали внимательно, захваченные молодым волнением актеров, их задорной игрой, своеобразной, чисто американской интерпретацией пьесы Мюссе. Низко пригнувшись, Кейзи торопливо пробрался между рядами к своему месту.

Он с интересом следил за игрою актеров, особенно худого рыжеволосого юноши — Уоррена Брэккена (Кейзи отыскал его имя в программке), которому все давалось одинаково легко — и великолепные прыжки через балюстрады, и естественность интонации, когда он произносил неуклюже переведенный текст Мюссе. Но сама пьеса, сшитая на скорую руку из легковесных перипетий и переживаний неверных любовников, не могла надолго приковать внимание Кейзи, и вскоре мысли его унеслись назад, в только что покинутую им гостиную, где он был на коктейле. С чувством легкой тошноты он вспоминал все, что там было,— чрезмерно острую закуску, бесцельную полупьяную болтовню, возбужденно блестевшие глаза женщин и особенно одной из них, Райны Редклиф, начинающей звезды, с которой он познакомился в Голливуде. Райна получила роль в музыкальной кинокомедии (Кейзи как раз присутствовал на ее пробах) и теперь приехала в Нью-Йорк для рекламы. Держалась она значительно увереннее — успех придал ей блеска и сделал жестче; хрупкие прежде доспехи честолюбия облекли ее надежным панцирем, не позволяя заглянуть в душу. Райна остановилась в отеле «Шерри-Незерлэнд», в номере, смежном с апартаментами молодого Роджера Констейбла. Кейзи не оставил без внимания ни сообщенный ему адрес, ни прозвучавший в словах Райны намек на то, что, быть может, ей удастся высвободить для него два-три часа. Он решил позвонить ей (что еще не поздно будет сделать и завтра), но потом ему почему-то стало от всего этого тошно, и он неожиданно для себя вызвал такси и поехал в Бронкс.

Даже сейчас, вспомнив о Райне, он поспешно отогнал от себя ее образ, заменив его другим — образом высокой, немного нескладной девушки, которая неожиданно явилась к нему и наполнила его одинокое

жилье своими суматошными чувствами и музыкой Бетховена. Интересно, будет ли она сегодня здесь в театре, подумал Кейзи. Он чувствовал потребность сказать ей что-то, но ему самому неясно было — что именно. Быть может, это побуждение порождено было ее наивностью и идеализмом, делавшими ее беззащитной перед окружающим миром, которому она так безоглядно раскрывала себя, словно сознательно бросаясь навстречу подстерегавшему ее разочарованию? Быть может, ему хотелось предостеречь ее от столь опасной склонности держать душу нараспашку, подставляя себя под удары судьбы, которая всегда готова поразить простака? Если так, то с какой стати он решил взять на себя такую миссию? Почему он должен предостерегать ее? Какое ему, в сущности, до нее дело?

Или тут что-то другое? Просто, может быть, ее накрашенные губы и выщипанные брови пробудили в нем желание объяснить ей, что она выглядела много лучше — если не сказать отлично — без этих ухищрений? Но кто он такой, чтобы давать ей советы? Случайное лицо в толпе, чудак-одиночка, чей голос прозвучит нелепым диссонансом в мощном, согласованном хоре модных журналов, фильмов, рекламных объявлений, уверенно утверждающих обратное. Или это снова не то, и в нем говорит нечто не осознанное, какое-то чувство, которое он еще не может облечь в слова? Так или иначе, именно это, а не только обещание посмотреть спектакль заставило его оставить свой бокал с коктейлем, покинуть скучное сборище, отказаться от приглашения на ужин и приехать сюда в слабой надежде увидеть ее...

После короткого перерыва, во время которого Кейзи выкурил всего одну сигарету, занавес снова поднялся. В программе значилось: «Пыль» — одноактная драма на этот раз самого Уоррена Брэккена. И снова пьеса заинтересовала Кейзи куда меньше, чем ее исполнители. Он внимательно следил за их игрой — увлеченной, самозабвенной.

Юность одинока, до ужаса одинока, думал Кейзи. Она одинока, потому что ее опекает, не желая понять, целое поколение умудренных жизнью людей, помнящих ошибки и безумства собственной юности, но забывших ее искания и мечты. Она одинока, ибо не может принять то, что общество предлагает ей в качестве самоцели: богатство, материальное благополучие, славу, обретенные вследствие удачи или затраты лишь частицы того, что в человеке заложено, причем не всегда самого ценного. И поскольку это всего лишь утехи, но не цель жизни, юность физиологически, биологически не может примириться с таким идеалом.

Одни пытаются подавить в себе идеализм — и в этом им помогает окружающая действительность. Другие, слепые идеалисты, вот как эти молодые актеры сейчас, хватаются за первую подвернувшуюся соломинку и этому отдают себя целиком. Они объединяются в жалкие маленькие группки и объявляют о своем безразличии к современному миру, которому и дела нет до их безразличия.

Кейзи немало перевидал их на своем веку — этих отчаянных пловцов против течения в океане повседневности; одних объединяло банджо или гитара; другие торжественно и углубленно впивали в себя каждый звук какого-нибудь струнного квартета, стократ изученного ими от первой до последней ноты, или вели жаркие споры о сравнительных достоинствах того или иного исполнителя; третьи, сидя в душной, пропахшей пивом, насквозь прокуренной комнате, в самозабвенном трансе стучали стоптанными каблуками по истертому ковру в такт горячечному саксофону или меланхоличному роялю... Неистовые фанатики крошечных культов, яростно отвергающие мир уродливых условностей, гладкокожих упитанных щек и безукоризненных зубов, отвергающие власть денег и закона, отвергающие пустопорожние ценности и ничтожные стремления, делающие отчаянные попытки потерять себя... и себя найти.

Чем же все это кончается? Кейзи бросил последний взгляд на сцену, где уже прозвучала заключительная реплика и занавес опускался. Что-то они, наверно, и находят, но только не самих себя. Им не дано было для этого возможности, поэтому и у пьесы нет возможности удержаться на подмостках театра. Зрители вокруг Кейзи громко аплодировали. Это были по большей части родственники или друзья, и пьеса им понравилась, а кое-кто даже растрогался. Но Кейзи знал, что, невзирая на блестки подлинного таланта, невзирая на бесспорную поэтичность отдельных мест, эта пьеса обречена на провал — ей не выдержать беспощадной критики бродвейских снобов, холодной иронии элегантных дам с тощими морщинистыми шеями и загаром, приобретенным на островах Карибского моря. Эти люди не станут платить четыре с половиной доллара за билет, чтобы смотреть наивно-беспощадную пародию на их жизнь. Опытные импресарио и бдительные критики уберегут их от этого испытания — они не допустят появления подобной пьесы на бродвейских подмостках.

А что станет с этим молодым драматургом и актерами, которые выстроились сейчас вдоль рампы — сияющие, довольные — и раскланиваются под громкие, продолжительные аплодисменты преданных друзей? Какое-то время они еще продержатся — жизнь не сразу растопчет их, подождет, пока все, что есть в них ценного, не будет выжато и потреблено. Подобно старцам, которые, тщась вернуть себе жизнедеятельность, прибегают к гормональным препаратам, общество высасывает из молодежи все соки, чтобы не захиреть. И пока потрепанный бархатный занавес поднимался и падал под аплодисменты зрителей, Кейзи думал о том, что с этой постановкой будет покончено через неделю-другую, когда одну из актрис заграбастает какой-нибудь голливудский продюсер и она, подписав контракт на крошечную роль, станет его наложницей, другой предложат сыграть в бродвейском ревю, а остальные члены труппы возвратятся к своим прежним занятиям. Весьма возможно, что талантливому рыжеволосому юноше тоже найдется применение на Бродвее. Роль, которую ему предложат, будет смехотворна, как и вознаграждение, но, невзирая на все его упрямство и дерзкие мечты, ему не останется ничего другого, как согласиться.

Занавес опустился снова. Аплодисменты начали стихать. В зале зажгли свет. Кейзи вздохнул и поднялся с кресла, внутренне готовя себя к предстоящему испытанию.

II

Кейзи стоял в продуваемом сквозняком проходе за кулисами и ждал: кто-то вызвался пойти узнать, здесь ли Кристина. Взгляд его скользил по ветхим задникам, пыльным канатам, тускло освещенным, пропахшим плесенью закоулкам, мимо пробегали какие-то юноши и девушки — одни еще в театральных костюмах, другие уже в обычном платье,— и никто из них явно не замечал убожества окружающей обстановки. А Кейзи был уже не так молод, чтобы не чувствовать сквозняка и запаха отбросов, которым тянуло из соседнего проулка, и он еле сдерживал тошноту, дожидаясь возвращения молодого человека, взявшегося разыскать Кристину. Наконец молодой человек вернулся; глаза его сверкали от возбуждения.

— Она сейчас придет, мистер Кейзи! — объявил он.— А пока позвольте вам представиться: Фил Беркли. Но настоящая моя фамилия Мак-Гонигл.

Кейзи что-то пробормотал и пожал юноше руку.

— Страшно рад познакомиться с вами, вы мне поверьте,— сказал Фил, ослепляя Кейзи блеском своих бесподобных зубов.— Вам понравился наш спектакль?

Кейзи почувствовал себя припертым к стенке.

— Да, очень,— сказал он. Этот юноша был совсем как те парни, что обслуживают бензоколонки: стоит появиться автомобилю, и он уже улыбается во весь рот, так как знает, что должен всучить вам что-то, в чем вы абсолютно не нуждаетесь, иначе не видать ему комиссионных. Только в отличие от тех парней, этот хотел всучить вам не автомобильные свечи, а самого себя.

— Ну, это просто великолепно,— сказал Фил.— *Ваше* мнение очень много значит для нас. Я льщу себя надеждой, что вам понравилась и моя игра. Я нервничал, как нашкодившая болонка. Во втором акте мне подсунули не те перчатки. Перчатки Оттавио вместо перчаток Мальволио, и удивительно, как подобная мелочь может выбить человека из колеи. Кстати,— продолжал он без всякого перехода,— Кристина уже говорила вам, что мы хотим сколотить небольшую группу из таких вот энтузиастов, как вы, которые принимают близко к сердцу судьбу нашего театра и согласились бы пожертвовать... вернее, авансировать нам небольшую сумму, чтобы мы могли продержаться до тех пор, пока наша деятельность не получит признания критики? — Он умолк, ожидая, что скажет Кейзи.— Разве Кристина ничего вам не говорила?

— Нет,— сказал Кейзи.— Она не упоминала об этом.

— Ну, теперь уж она непременно вам скажет,— заверил его Фил.— Как только услышит, что вы восхищены нашей постановкой.— Он обернулся: к ним приближались Уоррен и Кристина.

— Ваш друг мистер Кейзи в безумном восторге от нашего спектакля,— сказал Фил.

— Кейзи! — сказала Кристина, сияя от радости.— Я уже не ждала, что вы придете! — Она представила ему Уоррена.

— Я с большим удовольствием посмотрел вашу пьесу,— сказал Кейзи, пожимая руку Уоррену.

— Вы, конечно, сами заметили все, что у нас не получилось, и потому я не стану приносить вам шаблонных извинений за недостатки спектакля,— сказал Уоррен.

— А у вас и нет для этого оснований,— сказал Кейзи.— Вы играли прекрасно. И вообще... это очень интересное начинание.

Различие в оценках не осталось не замеченным.

— Благодарю вас,— сказал Уоррен, и что-то промелькнуло в его глазах, едва уловимо изменив их выражение. С этой минуты взгляд его стал непроницаем. Наступило молчание. Кейзи взглянул на Кристину.

— Вы не заняты сейчас? Может быть, поужинаем вместе? — предложил он без обиняков.

— Охотно,— сказала Кристина и поглядела на Уоррена, словно спрашивая у него разрешения.

— Ну, до завтра,— небрежно бросил ей Уоррен и пожал руку Кейзи.

Зато Фил многословно простился с ним, а Кристине сказал игриво:

— Доброй ночи, детка!

— Это ваш друг сердца? — спросил Кейзи Кристину, когда они шли вдвоем по холодному коридору.

— Фил? Ну, что вы! — с испугом сказала Кристина.

— Я имел в виду другого — рыжеволосого. Его зовут, кажется, Уоррен?

— Он тоже нет,— сказала Кристина и покраснела.— У меня вообще никого нет.— Она невольно солгала, сама не зная почему... Быть может,

в ней шевельнулась подсознательная боязнь, что какие-то вести могут через Кейзи дойти до Калифорнии, до ее семьи.— Сюда, пожалуйста,— торопливо сказала она, выводя Кейзи в проулок.

Глава 24

I

«У Сарди» было полно народу — преимущественно актеры, которые, казалось, все знали друг друга. Кристине вспомнился «Рыжий котелок», совсем такой же ресторан в Голливуде,— просто не верилось, что два таких одинаковых по публике заведения могут существовать на расстоянии четырех тысяч миль друг от друга, разделенные лесами, пшеничными полями, кактусовыми пустынями. Все, видимо, знали здесь и Кейзи — разные люди то и дело махали ему рукой. Какой-то человек подошел к их столику — оказалось, журналист.

— Знакомьтесь: Кристина Малл,— представил ее Кейзи.

— Здравствуйте,— сказала Кристина.

— Подсаживайтесь к нам,— предложил Кейзи.

— Нет, спасибо, я уже ухожу,— сказал Гиббон. И продолжал стоять, похожий на высокое дерево.— Вы получили мое письмо, которое я написал вам, когда вернулся из Европы?

Кейзи небрежно кивнул; этот долговязый австралиец, конечно, выглядел бы чужеродным элементом здесь, «У Сарди», подумал он, не будь у него, непонятно откуда, врожденного чувства достоинства.

— Я был занят до дьявола,— попытался оправдаться Кейзи.— Голливуд и еще куча всяких дел.

Ему не хотелось объяснять, почему он ни разу не зашел к Гиббону после его возвращения.

— Я в этом не сомневался,— сказал Гиббон.— Но все-таки загляните как-нибудь, когда будет время... просто поболтать...

— Хорошо,— сказал Кейзи, а сам подумал: едва ли.

Гиббон кивнул на прощание Кристине и направился к выходу,— Кейзи долго смотрел ему вслед, пока двери ресторана, качнувшись, не скрыли из виду его длинноногую молодцеватую фигуру.

Кейзи предпочел бы, чтобы Гиббон явился к нему и высказал напрямик все, что он, по всей вероятности, думает: что Кейзи оказался слабовольным хлюпиком, что он не верит в победу союзников и потому не поехал военным корреспондентом за границу,— пусть даже Гиббон сказал бы, что разочаровался в нем, что считает его ничтожеством. Сам он на месте Гиббона давным-давно списал бы такого субъекта со счета. Но во взгляде австралийца Кейзи прочел лишь дружелюбие и сочувствие. Люди любят тех, кто их предает!

Он тряхнул головой и, запретив себе думать о Гиббоне, протянул Кристине меню.

— Что вы будете кушать? — спросил он.

— Рубленый бифштекс, если можно.

Подошла официантка и приняла заказ. Кейзи закурил и, внимательно глядя на дым сигареты, постарался сосредоточиться на том, что побудило его пригласить Кристину.

— Пока мы еще не приступили к еде,— сказал он,— может быть, поговорим о делах?

Кристина кивнула. Она положила перчатки и сумочку на стоявший рядом стул и — вся внимание — повернулась к Кейзи.

— Во-первых,— начал он, по-прежнему глядя на дымок от сигареты,—вы даже не обмолвились, что хотите устроить сбор пожертвований.

— Я намеревалась сказать вам об этом,— возразила Кристина,— в том случае, если вам понравится спектакль.

— Ваш приятель выдал вашу тайну.

— Я знаю. И прошу у вас прощения. Понять не могу, почему Фил такой болтливый.— Она передернула плечами.— Боюсь, из него не выйдет хорошего актера. Никакой интуиции — он же ничего не чувствует.

— А успеха он добьется,— сказал Кейзи.— Вот увидите: он пойдет куда дальше, чем этот талантливый рыжий парень.

Кристина подняла на него глаза:

— Вы шутите.

— Нисколько.

— Вы считаете, что он талантливее Уоррена? — не веря своим ушам, спросила она.

— Нет. Но он честолюбив. И как вы правильно изволили выразиться, ничего не чувствует.

Кристина не нашлась, что сказать. Цинизм Кейзи огорошил ее. Официантка принесла ему коктейль. На столе лежали его сигареты. Кристину так и подмывало взять одну, но она удержалась — опять-таки из опасения, что он скажет родителям. Она уже жалела, что выпила виски у него на квартире. Вот о чем она думала, сидя напротив Кейзи и глядя на него, а он тем временем взял своими длинными пальцами высокий стакан, сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на место.

— А что вы все-таки думаете насчет пьесы? — спросила она.

— Вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно?

— Конечно,— сказала она.— Совершенно откровенно.

— Что ж, в таком случае я вам сразу все скажу. Денег на нее я не дам. И не потому, что я скряга, или что у меня нет денег, или что я не желаю выбрасывать их на ветер. Я отказываю вам из человеколюбия. Потому, что я знаю: спектакль обречен и глупо затягивать агонию.

— Вы в самом деле считаете, что все так плохо?—спокойно спросила она.

Он пожал плечами.

— Нет, это не так плохо. Но пьеса никогда не пойдет на Бродвее, а потому можно считать, что все «так плохо».

— Очень любопытно,— осторожно заметила Кристина, поигрывая ножом, лежавшим на скатерти перед ней.— А приятель одного театрального критика из «Таймса» считает, что это как раз то, что нужно на Бродвее. Он сказал, что Бродвей нуждается в таком «вспрыскивании». Вы же, видимо, придерживаетесь другой точки зрения: что вспрыскивания ему вообще не требуется.

Кейзи почувствовал, что она злится, но решил этого не замечать.

— М-да,— сказал он,— вспрыскивание. Но в данном случае это вспрыскивание в вену. Бродвей едва ли такого захочет.

— Не понимаю,— сказала Кристина: она была смущена и расстроена и изо всех сил старалась скрыть это.

— Так писать для Бродвея нельзя,— сказал Кейзи.— Нет кульминации... да и вообще нет сюжета... ничего. Какое же это развлечение!

— Но ведь это же правда,— защищалась Кристина.— Уоррен знал такую семью. Она реально существует.

— Реальность,— мягко возразил Кейзи,— это еще не искусство.

— Не знаю,— сказала Кристина.— Просто не понимаю, что же еще, кроме правды, может лежать в основе искусства.

— Но правда — это не реальность,— возразил Кейзи.— Реальность может представляться разным людям по-разному, и люди делают миллион ошибок, описывая какую-то вещь. Только художник может описать или нарисовать реальность так, что вы видите все, как оно есть.— Он потушил сигарету.— А это не тот случай,— добавил он.

Официантка принесла Кристине рубленый бифштекс, а Кейзи — ветчину. Он взял салфетку Кристины, встряхнул и набросил ей на колени.

— Давайте кушать,— сказал он.

Кристина взяла в руки нож и вилку.

— Какой же здесь случай? — нахмурившись, спросила она.

— Говоря, что пьеса не продержится,— сказал он,— я подразумевал не актеров. Есть отлично сыгранные места. И отлично написанные. Я имел в виду не это, а то, что пьеса написана без адреса.

— Уоррен пишет для всех, кто готов его слушать,— не сдавалась Кристина.

— Неправда,— сказал Кейзи.— Он пишет для себя. Если же ты хочешь протолкнуть свою пьесу на Бродвей, ты не можешь писать для себя, ты должен писать для него.— Кейзи еще раз осторожно отхлебнул из стакана.— Почему, например, такому человеку, как Кантор Макдональд, потребовалось столько времени, чтобы пробиться в театр? — спросил он.

— Кантору? — Кристина пожала плечами.— Возможно, он долго не мог найти себя.

— Ерунда,— сказал Кейзи.— Ему потребовалось столько времени, чтобы *избавиться* от себя. Вы знаете, из какой семьи вышел Кантор? Он сын раввина. И вырос он в Ист-Сайде. Мальчишка-иммигрант, которому пришлось изрядно попотеть, чтобы приспособиться и выжить в Америке,— вот кто такой Кантор. А о ком он теперь пишет? О людях, которые разгуливают по сцене в вечерних туалетах, потягивают коктейли и с интеллигентным псевдоанглийским акцентом глубокомысленно рассуждают о жизни. И ни в одном из этих персонажей вы не увидите ничего от Кантора.

— Но, может быть, как раз о таких людях ему и хотелось писать,— заметила Кристина.

— Ему хотелось успеха,— сказал Кейзи,— очень хотелось.

— Но это же ужасно,— сказала Кристина.— Если все, что вы говорите, так и есть, я просто не понимаю, как могут уважающие себя писатели жить и почему они не кончают самоубийством!

— Возможно, так им и следовало бы поступать,— сказал Кейзи.— Да, собственно, так они и поступают — умерщвляют себя и превращаются в то, чем их хотят видеть.

— Но это же трусость.

— Ничего не попишешь,— сказал Кейзи.— Они вынуждены так поступать.

— А вы?

Кейзи пожал плечами.

— Я не пишу для Бродвея,— уклончиво сказал он.

Поигрывая вилкой, Кристина опустила глаза в тарелку.

— Я знаю кое-кого, кто бы вам понравился,— сказала она.— Некоторые мои друзья в колледже. Они, как и вы, тоже считают, что надеяться не на что.

— Я так не говорил. Я просто считаю, что нечего тешить себя иллюзиями, вот и все.

На этот раз Кристина смолчала. Она продолжала сидеть, уставясь в тарелку. Кейзи посмотрел на нее.

— Кушайте же,— сказал он.— А то ваш бифштекс совсем остынет.

После ресторана он пошел проводить ее до бульвара, где она могла бы найти такси, чтобы доехать до гостиницы,— с тех пор, как вернулась Элизина тетушка, Кристина жила в «Мэррей-Хилл». Кристина была молчалива, задумчива, она словно не замечала холодного ночного ветра, разогнавшего остатки дождя. Кейзи метнул на нее взгляд.

— Что происходит? — с улыбкой спросил он.

Она вздохнула.

— Ничего. Просто иной раз как-то все не очень понятно.

— Не иной раз, а почти всегда.

— Вы так это сказали, точно вам это нравится, точно вам легче от того, что все шиворот-навыворот и понять ничего нельзя. Ну, а мне не легче.

Они дошли до уличного фонаря и остановились. Одинокий извозчик поджидал ездоков у тротуара, возница сидел нахохлившись, закутанный до ушей.

— Вот вы говорили об иллюзиях,— вдруг сказала она, глядя на какой-то предмет, который она достала из кармана пальто.— Посмотрите на это...

В руках у нее был большой старинный ключ от номера в гостинице «Мэррей-Хилл».

— Ну и что? — спокойно спросил Кейзи.

— Это ключ, и он металлический,— сказала Кристина.— Но даже если б мы не знали, что это такое... что бы от этого изменилось? Ведь все существует помимо нас и нашего сознания. Как же докопаться до сути вещей?

Кейзи смотрел на нее и вдруг понял, что перед ним уже не прежняя Кристина, не наивное существо, какое он знал, и не философствующая особа, рассуждающая о правде жизни, а что-то новое, но какая она, эта новая Кристина, он пока еще не мог сказать.

II

Лошадиные копыта глухо плюхали по мокрой мостовой. Ночь была холодная, небо очистилось от дождевых туч и широкой черной пеленой расстилалось над ними.

— Что это за здание — такое старинное и красивое? — спросила Кристина.

— Старый отель «Плаза».

— А это?

— Отель «Шерри-Незерлэндс»...

«Что происходит, почему я так волнуюсь»,— недоумевал Кейзи. Извозчик медленно вез их, старые пружины мягко опускались под грузом их тел. Они ехали по краю Сентрал-Парка. Конечно же, это была просто причуда — прокатиться с ней на извозчике, но Кейзи сознавал, что рука его отнюдь не случайно, хоть и по-отечески, лежит на спинке сиденья, слегка касаясь плеча девушки.

— Нью-Йорк — удивительный город,— прошептала Кристина.— Как бы ты ни отличался от окружающих, тебя приемлют без разговоров. И никому до тебя дела нет.

— Человек может упасть на улице замертво,— сказал Кейзи,— и никому тоже не будет до него дела.

— Наверно. Но вот странное дело. В Брин-Море я чувствую себя порой просто ужасно. А здесь, в этом городе,— никогда, я никогда не бываю по-настоящему одинока. Мне кажется, я могла бы жить здесь совсем одна, и даже если бы не знала ни души, не чувствовала бы себя одинокой.

— А разве вы испытывали когда-нибудь одиночество? — спросил он и как бы мимоходом поправил прядь волос, упавшую ей на глаза.

Она пожала плечами.

— По-моему, ничего тоскливее, чем моя жизнь, быть не может,— сказала она.— Вам даже трудно представить себе, что значит жить вот так — скопищем девчонок.— Она взглянула на него и вдруг рассмеялась.— Знаете, что делает наше начальство, чтобы мы не слишком лезли на стенку? Подбавляет селитры в салат! Мне рассказала об этом на днях одна старшекурсница.

Кейзи улыбнулся.

— В самом деле?

Кристина кивнула и откинулась на сиденье, бессознательно прижавшись головой к руке Кейзи. Он быстро выдернул руку и сосредоточенно уставился на затылок возницы.

— А что вы изучаете? — спросил он.— Какие у вас предметы в этом полугодии?

Она принялась рассказывать, описывая поочередно преподавателей, перечисляя их причуды, а Кейзи исподтишка изучал ее. Голова ее была откинута на спинку сиденья, лицо обращено к темному небу. Лицо было некрасивое — казалось, она унаследовала от каждого из родителей все самое непривлекательное,— и тем не менее Кейзи не мог оторвать от него глаз; ему доставляло удовольствие смотреть на эту девушку, на ее молодую (такую молодую) шею, на едва намеченную под платьем грудь. В какой-то момент им овладело острое, непонятное желание,— он сам испугался этой вспышки,— ему захотелось привлечь ее к себе, пробудить в ней чувства, ошеломить ее, ошеломить себя...

— А знаете, что сказала Эдна про доктора Кинга? — спросила вдруг она, глядя на него в упор.

Кейзи ничуть не интересовало, что сказала Эдна про доктора Кинга.

— Кто это? — спросил он.— Ваш преподаватель латыни?

— Нет, греческого... его зовут Эдгар Гопкинсон Кинг.

Кейзи кивнул с сосредоточенным видом, хотя вообще-то это было ему глубоко безразлично. Он пошарил в кармане пиджака, вытащил две сигареты, раскурил их и протянул ей одну. Она взяла ее молча, только пристально посмотрела на него. Потом отвернулась, все так же не говоря ни слова. Кейзи смотрел на рдеющий кончик сигареты.

— Вы удивительная девушка,— сказал он немного погодя.— Вы это знаете?

Он почувствовал, как она затаила дыхание.

— Но берегитесь,— продолжал он.— Настанет день, и кто-нибудь влюбится в вас... и когда это случится, он не удовольствуется взмахом ваших ресниц или кусочком вашего сердца.

— Я... я, право, не знаю,— сказала она, чтобы что-нибудь сказать, скрыть свое смущение, удивление.

Кейзи понимал, что она видит в нем друга своих родителей, представителя другого поколения. И решил воспользоваться этим, чтобы поставить точки над «i» — не для нее, для себя.

— И когда это случится,— продолжал он,— надеюсь, вы поймете, что надо либо всю себя отдать, либо выйти из игры. Любой компромисс будет слишком жесток.

Он говорил это, а сам думал, молил ее: «Почему, почему это должен быть кто-то другой? Чего ты страшишься?.. Меня? На свете много людей, которых надо бояться... но не надо бояться меня».

На какое-то время воцарилась тишина — лишь поскрипывали колеса извозчика.

— Кейзи...— неестественно напряженным голосом спросила вдруг она.

— Что?

— Вы говорили сейчас о том, что может случиться когда-нибудь, когда я... ну, словом, стану взрослой. Это вы имели в виду?

Он тихонько вздохнул.

— Есть вещи, в которых вы должны отдавать себе отчет, милочка,— сказал он.— Никаких «ну», никаких «словом». Вы уже взрослая.

— Пожалуй. Просто я не могу еще свыкнуться кое с чем.

— Вот когда это «кое-что» станет реальностью, тогда и свыкнетесь.

— Я знаю,— поспешно вставила она.— Просто у меня в голове такая путаница. И я не могу понять, что правильно, что неправильно, что хорошо, а что плохо. Ничего не понимаю.

Он чувствовал необходимость приласкать ее, приголубить. Обнять за плечи или взять за руку. Но он боялся — боялся не за нее, за себя.

— Не так все это страшно, как кажется,— сказал он.— Все постепенно прояснится.

— Как? — спросила она.

Он сам не знал как, он только чувствовал, что мог бы помочь ей в жизни, не сейчас и не здесь, но мог бы. И вдруг все стало очень просто. Он не только научил бы ее любить, нет, он шел бы с ней рядом, наставлял бы ее, советовал, за что браться, чего избегать. Он научил бы ее видеть ложь и распознавать западни. Он взял бы ее за руку и провел по жизни так, чтобы она не соприкоснулась с пошлостью, тупостью, бесчувственностью, которые могут уничтожить в ней человека, сломать ее, как ломают многих и многих вокруг. Но обо всем этом, конечно, и речи быть не могло.

— Как? — повторил он ее вопрос.— Дело в том, что вам внушили много всякой лжи. И по мере того, как вы будете познавать мир, вы поймете, что это ложь.

— Очевидно,— согласилась она.

— Но разуверитесь вы не во всем,— продолжал он.— Чему-то вы будете продолжать верить. И попытаетесь как-то противопоставить лжи то, во что будете верить. Но не сможете. И не должны этого делать. Потому что — и это главное, что я хочу сейчас сказать,— все ложь. Подождите,— сказал он, видя, что она хочет его перебить,— дайте мне кончить. Вы считаете, что я циник или, подобно вашим приятельницам в Брин-Море, презираю жизнь. Постарайтесь хотя бы минуту не думать об этом. И поймите, что я говорю вам правду: все ложь, все, и вы не должны ни при каких обстоятельствах свыкаться с ней и считать, что все в порядке или хотя бы частично в порядке. В то же время, если есть в вас что-то настоящее,— продолжал он,— и вы знаете, чувствуете, что это — настоящее, держите это, Крис, держите и не выпускайте.— Он внезапно умолк, сознавая свое бессилие, невозможность внушить ей то, что он так хорошо понимал.— А, к черту,— сказал он, отшвыривая в сторону сигарету.— Все равно ничего не объяснишь.

— Но я все поняла, Кейзи,— сказала она.— Честное слово.

Он взглянул на нее и по лицу ее увидел, что ничего она не поняла, но очень старалась понять — хотя бы для того, чтоб угодить ему. Но он ничего не сказал,— в голове у него гудело от этой не слишком удачной попытки извлечь из потаенных уголков души все, что он передумал и осмыслил.

Долго ехали они молча вдоль темного парка. Наконец он сказал:

— А ведь вам давно уже пора спать.

И нагнувшись к вознице, велел ехать в отель «Мэррей-Хилл».

III

В доме стояла тишина. Лифт уже не работал. Было начало четвертого. Кейзи подсунул под машинку фетровую прослойку, чтобы она не так стучала, вставил чистую страницу и стремительно отстучал: «АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Милые мои дамы...» Помедлил, глотнул виски из стоявшего рядом стакана и застучал дальше. Так он отбарабанил десять страниц, выдернул последнюю и, перевернув, положил ее на остальные. Потом он выключил настольную лампу и, подойдя к бару, налил себе новую порцию виски.

Он не собирался перечитывать речь. Утром он запечатает ее в конверт и отошлет своему бывшему однокласснику, который стал конгрессменом и попросил написать ему что-нибудь для выступления на встрече с Лигой женщин-избирательниц. Кейзи знал: то, что тут написано, вполне сойдет, хотя это, конечно, макулатура. Не мог он писать об американском или чьем бы то ни было образе жизни. Не для него это. Потому что он не верил больше в жизнь — во всяком случае так, как верят те молодые люди, которых он видел в театре, ибо у них эта вера в крови, в каждой клеточке их существа, в каждом вздохе.

И все же Кейзи иной раз приходило в голову, что в каждом человеке сохраняется что-то от юности. И хотя мышцы его стали менее упругими и кровь медленнее бежит по жилам, однако глубоко внутри таится воспоминание о молодости, дремлют молодые инстинкты.

Иначе как объяснить эти внезапные, не подвластные разуму порывы? Не тот, что Кейзи ощутил сегодня, а другие, безудержные, глупые, романтические порывы юности — эти эмоциональные анахронизмы, возникающие в слишком старом для них теле?

Кейзи глотнул еще виски. Возможно, это случается не со всяким, возможно, это случилось только с ним. Какая-то частица его состарилась. Но он сохранил иррациональность молодости, не имея сил поставить наконец точку. Он был все такой же упрямый, как любой юнец, хотя давно забыл, почему и зачем он упорствует. Наверно, это и называется «перезрелый мальчишка», явление чисто американское, которое не встретишь больше нигде...

Кейзи взглянул на уровень жидкости в бутылке и вспомнил, как он писал свой первый роман по ночам, после двенадцатичасовой работы на консервном заводе. Вот вам еще одно непостижимое свидетельство юности,— такое уже не повторишь, хотя в полупьяном состоянии это и кажется возможным.

Нет, с тяжелым вздохом подумал Кейзи, уже ничего не изменишь, и от этой мысли ему по обыкновению стало горько и легко. В боку вдруг резко закололо — эта боль не давала ему покоя весь день. Он посидел, пока она не прошла, потом встал и принялся шагать по комнате. Теперь все лишь вопрос времени. Он посмотрел на полупустую бутылку виски. Алкоголь творил свое дело. Оставалось только утопить в нем остатки сознания и рухнуть безжизненным, отяжелевшим телом в постель.

Он все шагал и шагал — туда-сюда, туда-сюда, мыслей в голове больше не было, он пил и ждал. В какой-то момент взгляд его упал на рояль. Он взял две ноты. Они гулко, дребезжащим эхом прозвучали в тишине ночи. Однако это эхо вызвало в памяти другие звуки. «Весенняя соната». Эту вещь она тогда играла? «Весенняя соната» Бетховена... Но ведь у Бетховена нет «Весенней сонаты» для фортепиано. Или есть? Какая разница? Ведь не только музыка, а музыка и девушка вместе заставили его вспомнить о весне. Жизнь ее была в разгаре весны, и Кейзи завидовал этому,— как бы ему хотелось пережить сейчас пору весны.

Он вылил остатки виски в стакан, потом взглянул на себя в большое зеркало над камином. И криво усмехнулся. Граненый край зеркала

исказил его изображение, разорвал на части, как сам Кейзи любил разрывать себя изнутри, искажая и выпячивая свои недостатки, превращая их в нечто закоренелое, не подлежащее излечению, а значит, и не требующее затраты усилий, раз это так безнадежно. Он увидел свое лицо, разделенное на две половины, без носа, с глазами, слившимися в один глаз, с горестно изогнутым ртом, вздернутым с одной стороны и опущенным с другой,— даже не пол-лица, а полчеловека. И весь ужас был в том, что он и чувствовал себя, как человек, рассеченный надвое, но продолжающий жить...

Глава 25

I

Спектакль, несмотря на предсказания Кейзи, еще продержался две-три недели на грани провала, а затем, однажды в пятницу, Кристина, приехав из Брин-Мора, обнаружила Уоррена и всю компанию на улице перед театром среди груды декораций. Увидев в проулке небрежно составленные задники, над которыми в свое время так трудились художники, расписывая их под стены комнат, и сваленные в кучу костюмы, которые тоже не так-то просто было вручную сшить, Кристина была потрясена. Она помогла перетащить все это в гараж, принадлежавший дядюшке Фила, а потом вместе со всеми отправилась в их логово на Десятую улицу.

— По-моему, надо проголосовать и распуститься,— сказал Фил, в расстройстве теребя заусеницу.— Другого выхода я не вижу.

Уоррен сухо рассмеялся.

— Не понимаю, что тут смешного,— возмутился Фил.

— Ты,— сказал Уоррен.— Неужели ты считаешь, что мы еще не распущены?

Фил передернул плечами и отвернулся к окну. Остальные молча сидели на жестких диванах и стульях с продавленными сиденьями.

— Вот Уоррен напишет новую пьесу, и вы сможете снова попытать счастья,— желая приободрить их, сказала Кристина.

Уоррен молчал. Но и никто другой не произнес ни слова.

— Разве Бернарду Шоу удалось сразу пробиться на сцену,— добавила она,— прошло несколько лет, прежде чем его поставили!

Уоррен вздохнул.

— Маленькая поправка,— сказал он.— Я не Шоу.

Кристина хотела возразить, что и Шоу не был Шоу в двадцать один год, но подумала, что все это ни к чему. Им не нужны ее советы, как и она сама.

— Все дело в том, что мы по уши в долгах,— сказал кто-то,— а платить нечем.

— Правильно,— сказал кто-то другой.— Что делать? Давайте обсудим это, остальное не так уж важно.

Головы сдвинулись. Настала долгая пауза. Все ждали. И всем нечего было сказать.

II

Когда артисты разошлись, Уоррен пошел проводить Кристину до гостиницы. День клонился к вечеру, над головой темнело хмурое небо, улицы были мрачны. По обеим сторонам вздымались однообразные многоквартирные дома, прокопченные, уныло-серые.— лишь кое-где мелькнет красное пятнышко герани на окне, тянущейся хилыми ростка-

ми к несуществующему солнцу. Тротуары были запружены народом, но Уоррен и Кристина брели не спеша, не обращая внимания на толчею.

— Смотри не дай им себя затоптать,— сказала она.

— А кто собирается меня топтать? — отозвался Уоррен, отшвыривая ногой пустой пакет из-под молока.

— Не надо обращать на них внимания — на этих эгоистов-профессионалов и на всех прочих бессердечных людей.

— А я и не обращаю,— обычным своим веселым тоном ответил Уоррен.— Я даже не думаю о них.

Пробить эту броню было невозможно. Он окружил себя неприступными стенами, забаррикадировал все подступы и поставил гордость, а может быть, инстинкт самосохранения, у ворот. Они поровнялись с незастроенным участком между двумя высокими домами, и Уоррен, остановившись у забора, заглянул поверх него в котлован.

— Ты только посмотри на эту кошку,— заметил он таким тоном, точно кроме этой кошки его ничто на свете не интересовало.— Она хочет прыгнуть вон на ту гору цементных мешков.

Он дождался, пока кошка прыгнула, расхохотался и медленно побрел дальше. Кристина следовала за ним. Немного погодя она спросила:

— Хочешь бифштекс?

— Почему вдруг?

— Не знаю... Я подумала, что, может, ты голоден и не отказался бы от бифштекса.

Уоррен ничего не сказал. Они пересекли улицу, потом другую. Кристина тихонько взяла его за руку. Он машинально сжал ее пальцы, как сжал бы книгу, любой предмет, попавший ему в руку, и так же машинально выпустил их, когда она попыталась высвободиться.

Кристина чувствовала себя глубоко несчастной; она ненавидела сейчас всех, кто восторгался Уорреном и в то же время предрекал ему провал. Человек должен бороться, всегда говорила ее мать,— мир не обязан награждать тебя успехом, ты должен завоевывать его сам. И приводила примеры, подтверждающие древнюю истину, что выживает сильнейший. Так неужели мир создан лишь для сильных, для тех, кого ничем не сломить? А как же другие, менее сильные,— они что же, не в счет? Неужели у них не может быть ни мечты, ни стремлений? Ее мать боролась и добилась успеха, а сколько других не менее отчаянно пытались добиться того же и ничего не достигли? Сколь многие пытаются и сейчас — безостановочно, неустанно, хотя где-то, в некой невидимой бухгалтерской книге баланс уже подведен не в их пользу!

Они перешли через улицу по сигналу светофора... Что это говорил Кейзи про Бродвей? Что здесь не властно даже это правило — насчет сильнейшего. Выживает лишь тот, кто умеет приспособиться к требованиям Бродвея. И только тот.

Она взглянула на Уоррена. Он, казалось, был всецело погружен в размышления о своих долгах, своих поражениях, своем мрачном будущем. Сердце у нее оборвалось: ей так хотелось, вопреки всему, зачеркнуть провал, вымарать самую память о нем, уничтожить.

Вокруг начали зажигаться уличные огни. Они заметили, что дошли до гостиницы, лишь когда перед ними возникло тускло-красное кирпичное здание. Они молча остановились.

— Ну вот...— протянул он.

— Что? — спросила она.

— Вот и твоя гостиница,— сказал Уоррен.

— Вижу.— Но она не двигалась.

— Что с тобой? — спросил он.

Она колебалась. Последние недели он так добивался ее, но она не сдавалась. Сейчас все страхи вдруг отступили куда-то.

— А мы никуда не можем пойти? — спросила она.

Уоррен внимательно посмотрел на нее.

— Конечно,— сказал он чуть более хрипло, чем обычно, и повел ее прочь.

Глава 26

Они лежали в почти полной темноте дешевого гостиничного номера. Кристина смотрела поверх спинки кровати на окно, по которому безостановочно стучали тяжелые дождевые капли, а порой гулко звенели, попав на жестяную водосточную трубу. Белая неоновая вывеска озаряла голубовато-белым холодным светом мокрую кирпичную стену напротив. Непрочно прикрепленная ставня глухо хлопала по приоткрытому окну. Время приближалось к полуночи. Кристина шевельнулась. Старые пружины матраса застонали, в нос ударил прокисший запах изношенного шерстяного одеяла, плечо ощутило шершавость простыни. Все было так, словно некий художник нарочно подготовил сцену для какого-то мерзкого зрелища. Декорации были такие жалкие, что смотреть не хотелось. И чтобы не смотреть на них, Кристина закрыла глаза. Но ненадолго — скоро она снова их открыла. Ничего не изменилось, все жалкие предметы по-прежнему стояли на своих местах — и шифоньерка, и стул, и кровать со скрипучим матрасом. Она вздохнула и придвинулась к Уоррену.

Он посмотрел на нее внимательно, изучающим взглядом.

— Что ты так смотришь? — мягко спросила она.

— Просто думаю... Почему ты не отпустишь волосы? Тебе бы пошло, если бы они были длинные.

— Они и были длинные, когда мы с тобой познакомились, помнишь?

— Правда?

— А я вот хорошо тебя помню,— сказала она.— Если бы я умела рисовать... я могла бы нарисовать твой портрет — каким ты был в тот первый вечер. Ничего бы не упустила.

Он улыбнулся. В эту минуту в коридоре послышался шум. Она вздрогнула.

— Что это? — прошептала она.

Шум прекратился.

— Ничего,— сказал он.

Они продолжали тихо лежать в темноте.

— Тебе холодно? — немного погодя спросил он.

— Нет.

Они еще помолчали. Потом он неловко погладил ее по голове.

— Но ты же дрожишь.

Он нежно, но крепко прижал ее к себе,— она лежала в его объятиях и чувствовала не радость, а глухую тревогу.

— Ты уверен, что дверь заперта? — немного погодя шепотом спросила она.

— Конечно. Это тебя и тревожит?

В коридоре снова послышался шум. Кристина села на кровати.

— Что это?

— О, господи, да что с тобой? В Нью-Йорке живет семь миллионов. Неужели ты считаешь, что кто-то из знакомых может войти сейчас сюда?

Ей хотелось сказать ему, что они все уже стоят там в коридоре — не чужие люди, а знакомые — и осуждают ее. Она почему-то особенно остро чувствовала сейчас их осуждение.

— Не сердись,— сказала она.

— Никто ведь не знает, что мы здесь,— сказал он, смягчаясь.

Звуки в отеле постепенно затихли. Кристина разговорилась — она говорила, говорила без умолку, пытаясь восторжествовать над гнетущей атмосферой этой комнаты, доказать себе, что жалкая обстановка не имеет значения, как не имеют значения и ее тревоги, раз есть чувство — такое большое, такое прекрасное... И вдруг умолкла, обнаружив, что Уоррен заснул.

Через некоторое время заснула и она. И проснулась от грохота — кто-то барабанил в их дверь. Оба сразу открыли глаза.

— Кто это? — еле слышно прошептала Кристина.

— Ректорша Брин-Мора,— сонно пробормотал Уоррен.

Вслед за стуком послышалось гнусавое бормотанье. Уоррен расхохотался.

— Да это же какой-то пьянчужка. Он сейчас уйдет.

— Давай лучше уйдем мы.

Где-то снизу, где тек поток транспорта, раздался далекий вопль сирены. Они выскочили из постели и ринулись к окну. Уоррен слегка приоткрыл ставню — так, чтоб видна была улица, и, глянув вниз, они увидели черную полицейскую машину с красной мигалкой на крыше, мчавшуюся сквозь дождь. У входа в гостиницу она сбавила скорость и остановилась. Из нее вышел полисмен.

В темноте Уоррен протянул руку и обнял Кристину.

— Да успокойся же,— мягко сказал он.— Они ничего не могут нам сделать, даже если придут сюда... а они не придут. Ведь тебе же стукнуло восемнадцать.

— Семнадцать.

— В самом деле? — прошептал он, чувствуя, что теперь и ему становится не по себе.— А по-моему, ты говорила, что тебе восемнадцать.

— Мне только в прошлом месяце исполнилось семнадцать. Но какое это имеет значение?

Он не ответил. И стал поспешно натягивать на себя одежду.

Когда они оделись, Кристина вышла в коридор и, даже не взглянув в ту сторону, где толпился народ, быстро спустилась по лестнице, прошла через грязный холл и выскочила на улицу. Через несколько минут ее нагнал Уоррен. С трудом переводя от волнения дух, они быстро пошли прочь и шли, не останавливаясь, восемь кварталов, пока не добрались до кафетерия Чайлдса.

Они взяли по тарелке с чуть теплыми, осклизлыми спагетти и сели друг против друга за один из пустых столиков, расставленных вдоль кафельных стен. В большом подвальном помещении с каменными полами гулко отдавался грохот дешевой посуды. Стол был закапан кетчупом и яйцом, на полу валялись окурки сигарет, обрывки бумаги. Юнцы, убиравшие грязную посуду со столов, были потные, взмокшие, в засаленных передниках. Здесь ели одинокие люди, которые стремились лишь насытиться и мало интересовались окружающей обстановкой. Но Кристине стало вдруг тепло и хорошо, она почувствовала огромное, неизъяснимое облегчение.

Рука ее протянулась через стол к руке Уоррена. Он сжал ее пальцы.

— Прости, я там так перепугалась,— извинилась она.

Он улыбнулся.

— Я рад, что мы оттуда ушли.

Немного погодя он выпустил ее руку и принялся за спагетти. Она смотрела на него и понимала, что любит—любит его рыжие волосы, любит прямые, упрямо торчащие ресницы, любит каждую веснушку, любит так, что просто не верится, неужели можно с такою силой любить. А он ел спокойно, методично, точно эти спагетти ничем не отличались от хоро-

шо приготовленных и эта минута ничем не отличалась от любой другой.

— Что с тобой? — спросил он.— Почему ты не ешь?

Она улыбнулась и передернула плечами.

Он тоже улыбнулся ей и снова опустил глаза в тарелку. А она наблюдала за ним: ей хотелось разгадать, о чем он думает, хотелось понять, счастлив он или разочарован. И любит ли он ее, а если любит, то насколько сильно. Хотелось, хотелось... столько всяких вопросов теснилось у нее в голове, и в то же время было досадно, что даже сейчас, даже после всего, что произошло, она не перестала задаваться вопросами.

— У тебя все остынет,— сказал он немного погодя, не поднимая глаз от тарелки.— Почему ты не ешь?

— Сейчас буду,— сказала она кротко и, взяв вилку, принялась накручивать на нее клейкие спагетти.

■

Кристина, потрясенная, смотрела на прямоугольный белый листок.

— А чего же ты еще ждала, Малл? — процедила Сэнди из глубины мягкого дивана в курилке.— Каждую субботу и воскресенье — в Нью-Йорке. Веселая жизнь. Неужели ты в самом деле думала, что получишь одни пятерки?

— Ну, может, и не пятерки... но так провалиться! — Кристина, не веря глазам своим, продолжала смотреть на табель отметок за полугодие и снова и снова перечитывала примечание, написанное красными чернилами и холодно оповещавшее о том, что она на некоторое время лишается всех поблажек. Это означало, что впредь до нового разрешения она не сможет ездить на конец недели в Нью-Йорк. Но не это тревожило ее сейчас.— Я в жизни никогда не получала таких отметок,— в изумлении шептала она.— Я в жизни не получала меньше четверки... да и то по шитью.

Сэнди улыбнулась и пустила в потолок колечки дыма.

— Похоже, ты вообще последнее время делала много такого, чего никогда в жизни не делала.

Кристина посмотрела на нее, стараясь ничем себя не выдать. Неужели Сэнди знает? А, не все ли равно. Страшно было другое. Она вертела в руках табель, теребя его за уголки.

— Что я им напишу? Боже мой, что мне им сказать?

— Родителям? Соври что-нибудь,— предложила Сэнди.— К примеру, изобрази дело так, будто ты вдруг заболела и не могла учиться. Да не волнуйся ты, что-нибудь придумаешь.

Кристина молча кивнула.

— Жизнь-то на этом не кончается. Если ты сейчас засядешь за книжки и подтянешься к июню, к выпускным экзаменам, ты их выдержишь.

Нет, Сэнди этого не понять. Кристине недостаточно выдержать, имея таких родителей, особенно такую мать. Об этом говорило ее лицо, отражавшее всю безмерность ее ужаса.

— Ей-богу, Малл, ну не убьют же они тебя!

Кристина невольно улыбнулась. Сэнди права. Конечно, они ее не убьют. И все же... Она потянулась к пачке сигарет, лежавшей перед Сэнди.

— Можно?

Сэнди вытряхнула из пачки сигарету, дала Кристине прикурить. Кристина задумалась: она думала о себе и об Уоррене. Они любили друг друга — это ясно. И тем не менее держится он с ней все так же

замкнуто, храня про себя свои раздумья и тревоги о будущем. А она? Она только и думает о том, что скажут ее родители там, в Калифорнии. Она вздохнула: как-то все не так получается, но чем она была разочарована, она и сама толком не знала.

— Ого, смотри, как навострилась! — пробормотала вдруг Сэнди.

Кристина взглянула на нее. И увидела, что, сама того не заметив, выпустила идеальное колечко дыма. Она проследила за ним глазами, пока оно не растаяло под самым цементным потолком.

— Лихо! — небрежно бросила Сэнди.— Поздравляю.

ЧАСТЬ III

Глава 27

Блики плясали в полосе солнечного света, проникавшей сквозь узкое окно в толстой стене, и Кристине казалось, что в этом сумеречном мире время остановилось. Где-то за пределами этой библиотеки, за высокими, увитыми плющом стенами колледжа была жизнь — люди дышали, двигались, изменялись,— но только не здесь. Здесь все остановилось. Чья-то невидимая рука нажала на рукоятку, и кадр замер, застыл,— даже дух перехватило, как между двумя ударами сердца.

Две девушки, сплетясь в тесном объятии, молча выплыли из-за стеллажей и как две тени исчезли в дверях.

— Какая мерзость! — раздался шепот Элизы, сидевшей за соседним столом.

Кристина пожала плечами.

— Да, да,— настаивала Элиза.— Я знаю, в школах, где учатся одни девчонки, такое бывает. Но за этим надо следить и выкорчевывать заразу.

— Уж лучше было бы выкорчевать все это место — стереть его с лица земли.

— Но тебе же нравилось в Брин-Море,— сказала Элиза.— И ты весьма критически относилась к этим типессам, с которыми теперь проводишь все дни. Ты стала таким же скептиком. И одеваешься, как они, и так же цедишь слова сквозь зубы, и даже держишь сигарету, как они. Смотри, как бы тебе не стать во всем такой же!

— Не говори глупостей.

— Вот увидишь.

Кто-то шикнул на них — Кристина сгребла в кучу книжки и вскочила на ноги.

— Пойду на воздух.

Она пошла по дорожке к полям, расстилавшимся по склонам холмов позади корпуса Гударта, туда, где трава росла нескошенная и стояла высокая, но уже пожелтевшая от преждевременной майской жары. Кристина нашла уединенное место и, швырнув на землю книжки, опустилась на траву. Глубоко вдыхая запахи весны, Кристина размечталась... Как бы ей хотелось рассекать сейчас прохладные зеленые волны в Малибу или шагать рядом с Уорреном — рука в руке. Или, сойдя с пригородного поезда, бежать в полумрак квартиры Лэнджера, потягивать светлый жасминный чай и слушать, как он играет Бетховена.

Но Тихий океан был далеко: ее отделяло от него три тысячи миль. А Уоррен после провала своей пьесы сидел без гроша в кармане и не мог даже помыслить о каких-либо прогулках. А Лэнджер... Беднягу

Лэнджера за это время хватил удар, и он находился в частной клинике. Кристина как-то поехала навестить его и вместо непоседливого, брызжущего энергией человека увидела вялого, апатичного старика, который сидел целыми днями в кресле на унылой кирпичной террасе и смотрел на собеседника слезящимися пустыми глазами...

Она вытянула из груды книг учебник греческого языка и раскрыла его. Каковы бы ни были ее стремления, сегодня жизнь ее такова и не станет иной до тех пор, пока не будет изменен приговор в табеле, полученном из деканата.

Кристина принялась за работу, мучительно разматывая сложное переплетение слов, с трудом выуживая не очень ясные сведения о том, что в некоем году до рождества Христова группа сиракузских солдат ждала подкрепления, а группа афинян готовилась к атаке с моря. Но тут началось лунное затмение, и некто по имени Нис отказался двинуться с места, пока не пройдет трижды девять дней. Разобрав этот кусок и переведя его, Кристина долго смотрела на высыхающие чернила и думала о том, какую пользу в жизни могут принести ей эти строки. Да и принесут ли вообще — этот ли факт, другие ли факты, которые она узнала за эти месяцы,— когда она, наконец, выйдет из стен колледжа в широкий мир? Помогут ли они ей разгадать так называемую «тайну жизни»?..

Она все сидела и смотрела на темно-синие чернила, и мысль ее почему-то перескочила на несколько недель назад, к встрече с Яном Брэндом.

Он как-то вдруг явился в колледж, когда она была на лекции, и оставил ей записку с просьбой зайти к нему в местную гостиницу на чашку чаю. Она догадалась, что он приехал на восток, видимо, для того, чтобы повидаться со своим сыном Саймоном, который учился в Хаверфордском колледже в нескольких милях от нее и ни разу за это время — не без досады подумала Кристина — не потрудился навестить ее. Но ее досада мигом исчезла, как только она узнала, зачем приехал Брэнд.

Она обнаружила английского романиста в дальнем конце кафе при гостинице. Он сидел один, на столике перед ним стоял его слуховой аппарат, большие глаза за толстыми стеклами очков отсутствующе смотрели куда-то.

— Саймон? Саймон пропал без вести,— сказал он, когда она спросила его про сына.

Даже сейчас, вспоминая это, она вновь пережила то, что почувствовала тогда, узнав страшную весть. Она понятия не имела о том, что уже много месяцев назад Саймон бросил колледж и вступил добровольцем в британскую авиацию; не знала она и того, что его вскоре перевели в разведку и, по всей вероятности, со специальным заданием забросили на парашюте в оккупированную Францию. И с тех пор, сказал ей Брэнд, приехавший в Хаверфорд с тяжкой миссией забрать вещи сына, о нем ничего не известно. Сумел ли Саймон и его товарищи приземлиться и спрятаться, живы ли они — никто ничего не знал, потому что самолет был подстрелен немцами над территорией Франции и не вернулся.

— Значит, он, может быть, еще жив? — спросила Кристина.

— Да, не исключено,— ответил Ян Брэнд.

И тем не менее она видела Саймона лежащим на спине посреди поля боя — совсем как лежал князь Андрей в «Войне и мире», глядя вверх на большое голубое небо,— только в противоположность Андрею Саймон, может быть, уже и не жив, и все его знания — все логарифмы, все стихи английских поэтов, все сведения, приобретенные наспех в разведке,— все умерло вместе с ним, исчезло с лица земли, точно никогда и не было.

И тем не менее человек учится, набирается знаний, стремится понять жизнь. И, возможно, в таком вот академическом накапливании сведений и фактов есть какой-то смысл — ведь дымовая завеса тоже состоит из мириад отдельных частиц. Она нетерпеливо отшвырнула от себя книгу.

Последние теплые лучи солнца коснулись ее лица. Разлапистые ветви дубов нависали над ней, огромные и застывшие. Кристина смотрела вдаль на мирные готические крыши и думала: неужели все университеты мира — и Оксфорд, и Кембридж, и Дублинский университет, и Сорбонна — такие же, как этот,— огромные тюрьмы без решеток на окнах, где не чувствуется бега времени, где с каждым годом в твое сознание вбивают все больше и больше фактов, а невежество твое только растет.

Тени становились длиннее, день короче, но Кристина все сидела, и вопросы, на которые она не могла найти ответа, теснились у нее в голове, появлялись, исчезали, один тащил за собой другие, все новые и новые.

Глава 28

Наоми подбросила еще полено в огонь и, когда пламя разгорелось и весело затрещало, оглядела гостиную. Все лампы были зажжены, тускло поблескивала деревянная обшивка стен. Приглушенно звучал концерт Баха. На столе стояли фрукты, на диване — несколько книг и шитье. Она оглядела все это и осталась довольна. Ей хотелось, чтобы комната радовала глаз. Хотелось, чтобы Бэкстер, когда он придет, видел, что живет она хорошо, счастлива, всем довольна. И еще хотелось, чтобы он застал ее за делом, а не просто дожидающейся его.

Она подошла к дивану, отодвинула в сторону шитье и достала из ящика дневник, желая не только внешне, но и внутренне подготовиться к встрече, так как не знала, с чем он явится. Последняя запись гласила:

«...По-моему, я наконец обрела спокойствие. Я постаралась отделить от себя боль, как будто это не я страдаю, и теперь минутами даже чувствую себя вполне хорошо. Надо и дальше так держаться — только не дать себе раскиснуть, не дать сердцу взять верх...»

Наоми помедлила, старательно подчеркнула последние слова и, перевернув страницу, принялась писать дальше:

«Я должна беспристрастно выслушать Б., когда он придет,— отнестись к нему честно и беспристрастно, но не мягко. Вчера я получила от него письмо: он пишет, что хочет видеть меня по делу. Что же это за дело? Чтобы оформить разрыв? Или он хочет вернуться? А может быть, просто ему нужны деньги, и он прочел в «Рипортер», что мне предложили работу на студии «Уорнер бразерс»? Впрочем, не все ли равно, зачем он хочет видеть меня. Честное слово, мне это безразлично. Я уже достаточно настрадалась. Я хочу покоя, вот и все. И хочу работать. Да, работа — единственное решение проблемы. Если разобраться, это единственное в жизни, что никогда не подводит и не предает...»

Она задумалась, пошевелила затекшими пальцами и написала:

«Сейчас я сижу и жду телефонного разговора с Кристиной. Мне кажется, прошли месяцы со времени ее последнего письма — того самого, в котором она сообщала, что плохо сдала полугодовые экзамены, потому что у нее был грипп с высокой температурой. (Молодец, что она вообще пошла сдавать экзамены вместо того,

чтобы лежать в изоляторе. Моя закваска.) И все-таки я волнуюсь. Надеюсь, у нее не было повторной вспышки гриппа. Надеюсь, что вообще у нее все в порядке...»

Раздалось неуверенное позвякиванье телефона, и Наоми бросила перо. Захлопнув дневник, она поспешила в холл. Но когда она сняла трубку, в аппарате послышался лишь равномерный гудок. Должно быть, проверяют линию, решила она и, положив трубку, пошла обратно. В коридоре, у выхода из холла, ее ждал Бэкстер. Она вздрогнула и отшатнулась.

— Я напугал тебя? — небрежно спросил он, вешая пальто на крючок.

Знакомое пальто, знакомое загорелое лицо, стройная высокая фигура — все это было так неразрывно связано с другими временами, другими минутами в ее жизни, что она почувствовала острую боль, словно ей вдруг вонзили нож в еще не зажившую рану. У нее перехватило дыхание. Да, все будет сложнее, чем она полагала, подумала Наоми.

— Нисколько,— мягко сказала она и, пройдя вперед, первой вошла в гостиную.

Когда он появился на пороге, она уже успела спрятать дневник и сидела на диване, сложив на коленях руки, напряженная, но спокойная.

— Не погода, а черт знает что,— сказал он, поправляя пальцами редеющие седые волосы.— Туман от самой Вентуры. Я еле различал дорогу.

Она промолчала — только посмотрела рассеянным взглядом на зашторенное окно. Бэкстер не привык видеть жену такой молчаливой, ничем не занятой. Он закурил сигарету и сел в кресло напротив нее.

— Ты получила мое письмо? — спросил он.

— Да.

Он взглянул на нее и тут же стал смотреть в сторону.

— Я очень надеялся, что мы спокойно обсудим все, как люди воспитанные,— сказал он.— Я почему-то был уверен, что ты не станешь вести себя, как типичная обиженная жена.

Наоми слегка нахмурилась.

— А мне кажется, я веду себя отнюдь не типично. Любая другая на моем месте выбросила бы тебя из дома. Так мне, во всяком случае, кажется,— добавила она, стараясь держаться возможно спокойнее.

— Ну, это было бы чертовски старомодно, правда?

Она пожала плечами, чувствуя, как внутри у нее все напрягается, точно струна.

— Не знаю. Я в этом не разбираюсь. И я вовсе не воспитанный человек.

Он не стал развивать эту тему. Наступила пауза — она решила было не прерывать ее, но поскольку пауза затягивалась, она тихо спросила:

— Зачем же ты все-таки приехал? О чем ты хотел со мной поговорить?

— Я хотел объяснить тебе мое поведение.

— *Объяснить?* — Она устало передернула плечами.

— О, я знаю, ты считаешь, что все ясно,— продолжал он не без иронии.— Ты твердо уверена, что я уехал туда с вполне определенной и одной-единственной целью. Ты всегда видишь в моих действиях только низменную сторону. Не стану отрицать, я действительно виделся с Аделью. Я действительно ездил к ней. Но все это лишь косвенное следствие кое-чего другого, куда более важного для меня.

— Косвенное!..— воскликнула она, чувствуя, как испаряется ее решимость держаться спокойно.

— Да,— ровным голосом продолжал он.— Если бы у тебя не было предвзятого мнения обо мне, если бы ты смотрела на вещи шире, ты бы это сама поняла. Если бы ты могла сейчас хоть ненадолго забыть о себе и объективно взглянуть на то, что происходит со мной, то я раз в жизни сказал бы тебе, что́ меня гложет.

— Так что же?..— уже спокойно спросила она.

Бэкстер вынул изо рта сигарету. Глаза его смотрели вдаль,— он словно прислушивался к тому, что происходило у него внутри.

— Не знаю, заметила ли ты это,— начал он,— но последнее время я отчаянно пытаюсь найти себя...

Двадцать пять лет назад она уже слышала эти слова. И слушала тогда участливо, с открытым сердцем, с пониманием, так как готова была стать тем катализатором, который поможет ему проявиться.

— Найти себя? — прервала она его наигранно патетическим тоном, как бы желая подчеркнуть всю безнадежность этого предприятия.

— Я вот все думал,— продолжал он, словно она и не прерывала его,— что должна же быть какая-то причина, почему человек моего возраста, более чем средних способностей, достаточно образованный, не дурак и не бездарь, никак не может найти себе применения, на что-то употребить то, что ему дано...

— И потому ты решил отправиться к этой девице, которая твердила тебе, что ты необыкновенный,— снова прервала его Наоми.— Твердила, что ты талантливый, что тебя ждут великие свершения. Это в шестьдесят-то лет!

Не выдержав, она отвернулась от него, схватила какое-то шитье и принялась шить.

— Мне хотелось поговорить с кем-то, у кого достанет времени меня слушать,— сказал он.— Мне хотелось прояснить для себя, что же я за человек, какой я писатель. Мне хотелось вырваться из неудачников. Хотелось понять, что́ со мной происходит.

Снова наступила пауза.

— Ну и как, понял? — тихо спросила она, пытаясь вернуть себе утраченное спокойствие.

— Не очень. Поездка моя оказалась не слишком успешной. Я и тут потерпел крах.

На этот раз она в изумлении подняла на него глаза.

— О нет, не в прямом смысле слова,— сказал он, как бы прочтя ее мысли.— Ты прекрасно знаешь, что в этом я бы не оплошал. Она просто не пожелала меня принять. Наверно, побоялась. Не захотела брать на себя обязательства, вытекающие из такой связи.

Наоми сидела, словно громом пораженная. Так вот почему он вернулся. Не из-за нее, а потому что ему некуда деваться. У нее вдруг стало легко на душе, несмотря на всю горечь такой победы. И впервые за долгие годы в ней шевельнулось смутное, еле уловимое сочувствие. Но она поспешила подавить в себе этот порыв: ведь он вернулся не ради нее. Да, у нее теперь снова есть муж, но только никому, кроме нее, не нужный.

— И что же ты дальше намерен делать? — холодно спросила она.

Он пожал плечами и впервые, казалось, не знал, что ответить.

— Я много передумал по пути сюда,— сказал он,— и решил, что, наверно, у меня недостаточно развито воображение для романиста. До нашего знакомства с тобой я писал биографии исторических деятелей, эссе, и, может, если мне вернуться к этому...

Он говорил небрежным тоном, но она услышала в его голосе страх — страх, рожденный тем, что он прочел ее мысли, а она думала: вот опять одна разбитая иллюзия породила другую — так он и будет идти от иллюзии к иллюзии до самой смерти.

— Я знаю,— продолжал он,— тебе, конечно, надоели все эти проблемы, которые возникают в моей работе и никогда не встают перед тобой. Но это потому, что ты никак не поймешь: есть люди, которых жизнь выбрасывает на берег без всякой видимой причины или логики, и они терпят крушение. Ты избегла этой участи, потому что каким-то чудом постигла один трюк — как выжить. А я его не постиг. Возможно, потому, что рос в другой среде. Вначале мне не нужны были никакие трюки, а потом, когда они мне понадобились, я уже не мог им научиться.

Горечь его возрастала, и речь стала рубленой, словно он выплевывал слова.

— И хотя мне шестьдесят, как ты изволила заявить, подарив мне еще несколько ненужных и нежеланных лет, сердце у меня по-прежнему бьется и кровь по-прежнему бежит в жилах. Что-то очень важное в человеке умерло, но сам он продолжает жить — таков дьявольский закон, который существует в нашем мире. И пока человек жив, он будет пытаться что-то из этой жизни сделать, даже если знает, что все его попытки обречены на провал.

Он умолк, уставясь на низенький табурет, который стоял перед ними. Наоми почувствовала, как в ней снова зашевелилась жалость, и снова постаралась приглушить ее. Она взялась за шитье, которое было отбросила, и усиленно заработала иглой. Молчание длилось долго, очень долго. Наконец она сказала:

— Где же и как ты собираешься осуществлять свои новые замыслы?

— Это будет зависеть от тебя.

Она чувствовала, что он смотрит на нее вопросительно, с надеждой, но не в состоянии была посмотреть на него.

— Если бы ты могла забыть об этой истории. Если бы могла ее вычеркнуть. Ведь я же поставил крест, вот если бы и ты поставила...

Она никак не реагировала — лишь откусила нитку.

Он подождал и, видя, что она молчит, встал и вышел из комнаты. Она услышала его шаги наверху,— вот он открыл ящик письменного стола, хлопнул дверцей шкафа... И вскоре снова стоял перед ней. Он переоделся — надел свежую рубашку, повязал новый клетчатый галстук, который, видимо, сам себе купил, взял другое пальто. Она смотрела на него и вдруг подумала, что он выглядит необычайно рафинированно, когда повязывает английский галстук. А поймав себя на этой мысли, подумала, что смотрит на него, как на чужого человека, который не имеет никакого отношения к ее жизни.

— Так как же?..

Это была последняя мольба. Если она скажет «нет», ему придется уйти из дому — на этот раз навсегда.

В эту минуту раздался телефонный звонок. Наоми сначала будто не слышала его, а когда он дошел до ее сознания, поспешно вскочила, отбросив шитье. Коробка с грохотом упала, иголки, нитки, пуговицы разлетелись по полу. Не обращая на это внимания, она кинулась в холл, мимо Бэкстера; и он услышал ее голос:

— Алло. ...Да ...Да? О, здравствуйте, ректор...

Затем дверь в холл закрылась, и он больше ничего не слышал. Когда Наоми вернулась в гостиную, лицо у нее было белое, как полотно.

— Что случилось? — пробормотал Бэкстер.

Наоми еле выдохнула, сама не очень понимая, что говорит:

— Кристина ушла из колледжа.

— О господи,— чуть ли не с облегчением вырвалось у него.

У Наоми было такое лицо, точно кто-то умер.

— Наверно, она не выдержала экзамены,— раздраженно заметил он.

— Провалилась? — потухшим голосом произнесла Наоми.— Да нет, она сдала на похвальный лист. Ректорша сказала, что она просто не хочет учиться дальше.— Наоми была совершенно подавлена, словно вдруг сбылся некий кошмарный, мучительный сон.— Ничего не понимаю. Она же перешла на другой курс с самыми высокими оценками. И тем не менее хочет уйти из колледжа. Вернее, уже ушла... Сейчас она в Нью-Йорке — по пути домой. Я с ней не разговаривала. Мне дали ее адрес.— Она растерянно смотрела на бумажку, которую держала в руке, точно в наспех нацарапанных словах могла найти объяснение всему непонятному, что произошло.

Теперь и Бэкстер заволновался — он тоже ничего не понимал.

— Какого черта она это сделала? Уйти из колледжа без всякой причины! — Он покачал головой и вдруг распалился гневом: — И почему, скажи мне, бога ради, она не поставила об этом нас в известность? С чего она взяла, что может поступать, как ей заблагорассудится!

Жена его молчала, и он вдруг увидел, что она плачет. Причем плачет по-особенному, не как все. Она не бросилась на диван, не зарылась лицом в подушки, а стояла посреди комнаты, выпрямившись, и молча плакала.

Бэкстер вдруг почувствовал, как внутри у него что-то перевернулось. Можно срубить дерево под корень, но то, что останется в земле, рано или поздно даст ростки. И глядя на плачущую жену, он почувствовал, как глубоко сидящий в нем корень пускает ростки, и они пробивают кору безразличия, которой он себя покрыл, он позавидовал внутренней силе этой женщины, которая не сдавалась, не шла ко дну, как порой не сразу идет ко дну торпедированный корабль. И он инстинктивно шагнул к ней.

— Не надо так,— прошептал он, обнимая ее трясущиеся плечи.

Она взглянула на него сквозь слезы.

— Ну, почему, почему! — спросила она. Она плакала из-за Кристины — он это знал и тем не менее почувствовал, что плачет она и из-за него, из-за того, что он наделал. И вопрос ее был обращен и к нему.

— Не знаю,— пробормотал он.

Она медленно высвободилась из его объятий. Слез больше не было. Но не было и гнева,— она вся как-то обмякла, точно вдруг лишилась сил. Он спросил:

— Так что же нам с ней делать?

Она не ответила, лишь отвернулась от него и принялась собирать пуговицы и катушки, рассыпавшиеся по ковру. Он тотчас сбросил пальто, чтобы ей помочь. Он сделал это машинально, не раздумывая, но она подняла глаза и посмотрела на пальто, валявшееся на кресле. Он ждал. Она отвернулась и продолжала собирать разбросанные вещи.

— Давай просто сложим все в коробку,— дрожащим голосом сказала она.— Хоуп их потом рассортирует...

Глава 29

Взбираясь по крутой лестнице старого дома на Десятой улице, Кристина думала о том, в каком настроении она застанет Уоррена. Вчера, когда они впервые встретились после долгого перерыва, он был необычайно весел, так как наконец получил работу в одной пьесе на Бродвее — маленькую роль, которую раздобыл ему Гарри Хэтчер,— роль ерундовую, всего с одной репликой, но платили вполне прилично. Радовался он и тому, что у него была эта маленькая квартирка в том же доме, где они когда-то все собирались и куда он привез Кристину после спектакля. (Правда, ему пришлось потом проводить ее в «Мэррей-Хилл»,

где она обещала институтскому начальству дождаться отъезда домой.) Но вчера — это не сегодня. А Уоррен, подобно многим артистам, которых Кристина знала в Калифорнии, был существом эмоциональным: с таким человеком никогда не угадаешь, в каком он будет состоянии при следующей встрече — будет ли поезд стоять на той же станции или уедет на многие мили в сторону. Кристина потянула к себе медный молоточек, который Уоррен привинтил к двери, и снова отпустила. За дверью послышались шаги, затем она распахнулась. Перед Кристиной стоял улыбающийся Уоррен.

— Я ждал тебя,— сказал он и, поцеловав ее, потащил за собой.— Я хочу тебе кое-что показать.

Она весело рассмеялась, радуясь тому, что вновь очутилась в этой маленькой светлой комнате, где еще слегка пахло штукатуркой и клеем от обоев. У нее было такое чувство, точно она вернулась домой. Она прошла следом за ним в крохотную кухоньку.

— Ну, что ты на это скажешь?

Она окинула взглядом маленькую нишу с хромированными кранами, встроенный в стену крошечный холодильник, маленький белый шкафчик для посуды.

— Здорово,— сказала она.— Но ведь я все это вчера уже видела.

— Да не то, а вот...

К снежно-белому кафелю была привинчена электрическая машинка.

— Зачем это тебе?

— Сбивать молочный коктейль. Какое будет суждение?

— Ты что, купил это? — Она постаралась задать вопрос как можно небрежнее, чтобы замаскировать тревогу.

Он улыбнулся.

— Конечно. Точно такую, какие стоят в закусочных. Дорогая штука. Ну и черт с ним! Я же не собираюсь копить деньги. Хочешь коктейль?

Она вовсе не хотела коктейль, но сказала «давай» — чтоб доставить ему удовольствие.

— Чем тебе его сдобрить? — Он открыл холодильник.— У меня есть клубничное мороженое и ванильное. Или, может, приготовить тебе «Ухабы»?

Она кивнула и опустилась на кухонный стул, а он достал мороженое, опрокинул темную массу в большой стакан, добавил туда две ложечки солода, влил молока.

— Ты говоришь, что не намерен копить деньги. Что же ты будешь делать, когда пьеса сойдет со сцены? — спросила она.

Он поставил стакан под машинку, включил ее.

— Я даже думать сейчас об этом не хочу.

— Почему же?

Он пожал плечами. Машинка гудела.

— Ты надеешься, что Хэтчер найдет для тебя еще что-нибудь? И что теперь это будет уже настоящая большая роль?

Он рассмеялся, избегая, однако, глядеть на нее.

— А почему бы и нет? Он, по-моему, очень высокого мнения о твоей игре.

— У него есть заботы поважнее,— возразил Уоррен.— Хэтчер оказал мне услугу, и больше моя особа его не интересует. А вообще Бродвей...— Он передернул плечами.— Даже Фил и тот уже перестал надеяться.

— Я знаю,— Кристина кивнула. Элиза говорила ей. Филу обещали работу в Голливуде, в одном «вестерне». Только обещали, но Фил уже упаковал вещички и тут же сел в поезд. По всей вероятности, работу он получит. Он из тех, кто добивается своего.

— Нигде ведь не сказано, что я всю жизнь должен играть... или писать для сцены. Я всегда найду себе какое-нибудь занятие, если останусь без гроша.

Он выключил машинку, и мотор заглох. До сих пор Кристина ни разу не слышала, чтобы он собирался бросить театр. И словно боясь, как бы она не заговорила об этом, он поспешил наполнить ее стакан.

— А ну-ка,— сказал он,— попробуй.

Она неторопливо взяла высокий стакан, отхлебнула.

— Лучше, чем у Уолгрина? — спросил он, опускаясь на стул рядом с ней и вытягивая через всю кухню длинные ноги.

— Гораздо лучше.

— Я слышал, что как раз такие коктейли готовят в Калифорнии. Густые — такими они и должны быть.— Он сделал большой глоток из своего стакана.— Если пьеса продержится несколько месяцев, я хочу купить проигрыватель...

Кристина никак не реагировала.

— Может, ты помогла бы мне выбрать? Ты наверняка понимаешь в таких вещах.

Она кивнула.

— Что с тобой? — спросил он, не глядя на нее.— Почему ты сегодня так весело настроена?

— Нисколько. Я просто думала...

Он еле слышно вздохнул.

— ...что, если ты не станешь покупать проигрыватель или что-нибудь еще, не менее экстравагантное, ты мог бы подкопить денег и написать вторую пьесу.

Он внимательно изучал дно своего стакана.

— Мне б хотелось, чтобы ты перестала волноваться по поводу моей второй пьесы.

— А я вовсе и не волнуюсь...

— Если ты хочешь написать пьесу,— сказал он,— так и пиши на здоровье, но перестань меня донимать. Я лично никаких пьес больше писать не буду.

— Никогда?

— По всей вероятности, нет... Ты видела первую. В ней, конечно, были кое-какие блестки. И был неплохой материал. Но пьесы-то в общем не было. И итог, если его подвести, получится минусовый!

— Неправда,— сказала Кристина.— К тому же глупо сдаваться. Тебе всего двадцать два года, а ты уже сдаешься. По-моему, так нельзя.

Он рассмеялся:

— Ты дурочка.

Она промолчала.

— Настоящая дурочка,— мягко повторил он.

Она помотала головой.

— Нисколько. Просто я хожу по земле. И меня волнует, что думают обо мне люди. А мне надо было бы не обращать на них внимания и делать то, что я считаю нужным, пусть даже это покажется кому-то несуразицей или крайностью.

Она произнесла это так решительно, что он в изумлении поднял на нее глаза.

— О чем ты? Что ты такое решила выкинуть? — спросил он.

Она смотрела вниз, на квадратики его нового линолеума, и молчала...

Через некоторое время они перешли на диван напротив единственного в комнате окна. Оно выходило во двор, и взгляд упирался в кирпичную, почерневшую от сажи стену противоположного здания.

— Не все ли тебе равно, что скажут твои родители? — заметил Уоррен.— Это же твоя жизнь. Раз ты решила бросить колледж, значит, и бросишь, верно?

— Боюсь, все будет не так просто,— возразила она.

— Но почему же? По-моему, ничего тут нет сложного.

Она пожала плечами.

— Я вовсе не уверена в том, что́ меня ждет в Калифорнии.

Он обнял ее за плечи. И весело произнес:

— Тогда не возвращайся ты в эту свою Калифорнию.

— Что значит «не возвращайся»?

— Оставайся здесь,— сказал он.— Со мной.

Она посмотрела на него удивленно, нерешительно.

— Мы могли бы пожениться. Если ты захочешь, чтоб все было по правилам,— пожалуйста. Только мне бы не хотелось, чтобы у тебя были на этот счет иллюзии,— осторожно добавил он.

— Иллюзии?

— Тебе придется самой содержать себя. Придется пойти работать. Я не смогу прокормить нас обоих.

— А я и не хочу, чтобы ты меня кормил.

— Тогда все в порядке,— сказал он.— Никаких проблем. Нам, конечно, не обязательно решать это сейчас. У тебя ведь еще осталось несколько дней до поезда — если ты надумаешь все же поехать к себе,— правда?

Она кивнула.

— Что с тобой? — спросил он.

Она слегка улыбнулась.

— Ты говоришь об этом как-то уж очень несерьезно.

— Зато я серьезно к этому отношусь.

— Я знаю,— сказала она. И вдруг вспомнила того Уоррена, каким он был, когда они впервые встретились, и посмотрела вокруг. Неужели горизонты его мечты сузились до размеров этой маленькой свежеоштукатуренной комнатки, где есть диван-кровать, машинка для сбивания коктейлей, где будет проигрыватель, который он купит, и женщина, на которой он женится. На какую-то секунду ей стало не по себе, но тревога ее была мимолетной и быстро улетучилась от мягкого прикосновения его руки к ее плечу.

— Знаешь, давай не будем сейчас об этом говорить,— сказал он.— Как-нибудь все само утрясется.— И добавил: — Хватит с меня проблем.

Она взглянула на него, когда он это произнес. Лицо у него было замкнутое, непроницаемое, словно занавес вдруг опустился посреди пьесы и прервал действие. И снова она почувствовала тревогу. Но лучи заходящего солнца осветили стену напротив окна, и легкий ветерок, проникший в щель приподнятой рамы, ласково коснулся их лиц. Уоррен привлек ее к себе, поцеловал — сначала нежно, потом с нарастающей страстью, и, отбросив на время все сомнения, она забылась в его объятиях.

Глава 30

Кейзи стоял возле стройной, но далеко не пышной пальмы в кадке и думал о том, что глупо так ждать. Она может вернуться в любую минуту, а может не появиться еще несколько часов. Чего ради он тут околачивается? Но что-то в нем, какое-то смутное желание помочь ей, предостеречь от готовящегося удара приковывало его к месту.

А кроме того — и он отдавал себе в этом отчет — ему просто хотелось ее увидеть. Хотелось перед отъездом получше запечатлеть в памяти ее образ. Он теперь долго ее не увидит: он, наконец, воспользовался

предложением Гиббона и решил поехать корреспондентом на фронт, после того как прочел одну статью о нацистских концентрационных лагерях. Это был тот последний довод, который исключал возможность колебаний. Теперь он был уверен, что должен ехать и внести свою скромную лепту в общее дело. И если за его решением крылись какие-то другие причины, сейчас он не хотел об этом думать.

Входные двери качнулись, и он увидел Кристину. Ничем не выдавая своего присутствия, он стоял и смотрел, как она идет через холл,— идет по-мальчишески, размахивая руками,— и вдруг понял, что не сможет сказать ей того, что должен сказать, ведь это все равно что уничтожить зеленый побег, только что высунувший из-под земли головку. Почему эта девушка всегда напоминает ему о весне и о том, что с весною связано, подумал Кейзи, направляясь к ней.

— Кейзи! — Она удивилась и обрадовалась, увидев его.— Что вы тут делаете?

— Да вот привез сюда кое-кого из ваших родственников,— сказал он, решив не обрушивать на нее все сразу.

Кристина рассмеялась.

— Родственников? У меня нет никаких родственников в Нью-Йорке.

— В данный момент — есть,— сказал Кейзи, не в силах поддерживать дольше этот игривый тон. И когда она, не поняв, посмотрела на него, добавил: — Ваши матушка и батюшка...

Улыбка исчезла с лица Кристины.

— Они здесь? — тихо спросила она.

— Они узнали о том, что вы бросили колледж. И так расстроились, что прилетели сюда.

Он и сам был потрясен, когда увидел их: ведь он считал, что они в Калифорнии и к тому же отнюдь не вместе. Но, видимо, это уже позади, потому что они производили впечатление необычайно монолитной пары. Во всяком случае, оба были вне себя от ярости, и вот об этом-то он и хотел предупредить Кристину.

— Я собиралась все им объяснить,— сказала она. Лицо у нее стало бледным и встревоженным.— Какого черта они сюда явились?

Кейзи внимательно посмотрел на нее.

— Вы в самом деле бросили колледж? — не без любопытства спросил он.

Она кивнула:

— Но у меня есть на то серьезные, веские причины, можете мне поверить.

— Не сомневаюсь,— сказал он. Как не сомневался и в том, что ее родителям эти причины не покажутся ни серьезными, ни вескими.

— Послушайте,— сказал он несколько неуклюже,— если я могу быть вам полезен...

— Спасибо.— Она помолчала.— Но мне, пожалуй, лучше сейчас пойти к ним.

Он почувствовал, что воля восторжествовала в ней над страхом, и подумал, что, как видно, она не из тех, кого надо жалеть.

— Не будьте слишком жестоки с мамой, хорошо? Вы ей сейчас очень нужны.

— Я? Нужна? Для чего?

Он попытался в нескольких словах объяснить ей, что в жизни рано или поздно наступает период, когда уже не дети нуждаются в опоре родителей, а родители — в опоре детей.

— Мне просто хотелось, чтобы вы это знали. Будете помнить, хорошо?

— Да...

Но он видел, что она ничего не поняла, и ему снова стало жаль ее; он проводил ее взглядом до лифта, потом в свою очередь пересек холл, вышел на улицу и направился к зданию «Нью-Йорк таймс». Ему не хотелось думать о том, что происходило сейчас там, наверху, в номере гостиницы.

Глава 31

Длинные заштопанные кружевные занавески вздувались как паруса, взлетая над потертым, но все еще изысканным, винного цвета ковром.

— Если ты полагаешь, что нам было очень приятно сорваться с места и примчаться сюда через весь континент,— заявил Бэкстер Малл, расхаживая по комнате, которую они с Наоми сняли рядом с комнатой дочери,— то ты глубоко ошибаешься.

Он достал пачку сигарет из кармана своей спортивной куртки, висевшей на спинке стула, вытащил сигарету и протянул пачку Кристине.

— Ну, бери же,— резко сказал он.— Я знаю, что ты куришь.

Кристина нарочито небрежным жестом взяла пачку.

Наоми, снимавшая у туалета шляпу, повернулась и застыла, ошеломленно глядя на дочь, которая, достав сигарету, спокойно прикуривала от серебряной зажигалки Бэкстера.

Кристина сделала вид, что не заметила реакции матери, и, присев на край старинной кровати с медными шишками, глубоко затянулась дымом.

— И все-таки я считаю, что вы устроили слишком много шума из ничего. Не понимаю, почему мы не могли поговорить об этом спокойно на будущей неделе в Калифорнии.

— А если бы ты не явилась в Калифорнию? — спросила Наоми подчеркнуто холодным тоном, какого она решила держаться сегодня в разговорах с дочерью.

— Куда же я могла бы деться? Я ведь написала, что выезжаю субботним поездом,— сказала Кристина.

Родители ее молча встретили это заявление. Они лишь посмотрели друг на друга, как два врача за спиной душевнобольного.

Кристина перехватила этот взгляд и все поняла. Они не верили в ее здравомыслие. И считали, что имеют дело с неразумной мятущейся девчонкой. Она попыталась напомнить себе, что уже многие месяцы живет одна, что она во многих отношениях уже не та, какой была прежде. Но родительский авторитет, годами выработанная привычка прислушиваться к их словам, учитывать их настроение, их расположение или нерасположение — все вдруг вернулось, точно она и не уезжала из дому. Уоррен, Сэнди и все, кто последнее время вошел в ее жизнь, мгновенно исчезли, как стая призраков во сне. Реально существовали сейчас лишь ее родители и она сама.

— Давай сядем и поговорим спокойно,— сказала Наоми.— Я хочу знать, что привело тебя к такому решению.

Кристина почувствовала, как к ней возвращается страх, который возникал у нее всегда во время семейных разговоров,— страх, что родители уговорят ее и она смирится. Она опустила взгляд и принялась рассматривать покрывало, чтобы не видеть их вопрошающих глаз.

— Я попытаюсь все вам объяснить...— тихо сказала она.

— Можешь не обращаться с нами, как с детьми,— взорвался Бэкстер.— Мы вполне способны понять все, что доступно пониманию.

— Бэкстер!..— остановила его Наоми.— Дай же ей сказать, дорогой.

— Я не хочу возвращаться в колледж,— снова начала Кристина, искренне стараясь, чтобы в тоне ее не было покровительственных ноток, которые так раздражали ее отца,— потому что я не вижу в этом смысла. Вначале я понимала, зачем я туда поступила, но постепенно запуталась... Я не хочу больше возвращаться в Брин-Мор,— поспешила она добавить,— не из-за самого Брин-Мора, а потому, что я многому за это время научилась и многое поняла. А там мне учиться нечему.

Она услышала, как скрипнул стул, на котором сидел отец. Но за этим ничего не последовало: он сдержался. Видимо, на этот раз родители решили выслушать ее до конца.

— Я говорю сейчас не о фактической стороне знаний,— продолжала она.— За последние недели я набила себе голову таким множеством фактов, что вы можете записать меня на магнитофон и продать какой-нибудь библиотеке. Я имею в виду другое: я не получаю ничего,— как бы это сказать? — что помогло бы мне понять подлинную суть вещей, подлинный смысл того, что происходит...

Она думала при этом о Брэнде, смотревшем на нее растерянным, озабоченным взглядом, когда они сидели в кафе и говорили о его пропавшем без вести сыне. Думала о Кейзи, который никогда не бывает трезвым,— о Кейзи, который написал хорошую книгу, не получившую, однако, признания, и много скверных книг, сделавших его богачом. Думала о Лэнджере, ставшем, по мнению всех, жертвой физической немощи, а на самом деле — жертвой жестокости мира, которому не нужна красота и цельность его натуры. Думала об Уоррене, который никогда ничего не достигнет в жизни, и о Филе, который преуспеет наверняка...

— Я хочу понять, почему в жизни все так противоречиво,— взволнованно сказала она.— В колледже я этого никогда не пойму. Наоборот: ценности, которыми тебя призывают восхищаться, когда ты учишься, никому не нужны в реальном мире. Так зачем же учиться?

— Больше того,— задумчиво продолжала она, с трудом подыскивая нужные слова,— поскольку то, чему тебя учат, никак не объясняет нелепого разрыва между идеалом и реальностью, получается — как всякая полуправда,— что это ложь. И я боюсь, что если я пойду по этому пути до конца, то сама приобщусь к этой лжи и тогда будет уже слишком поздно. Я хочу посвятить свою жизнь настоящим ценностям, если я их найду. Не знаю еще, где их искать и как, но хочу попытаться. И делать это надо сейчас, пока у меня есть решимость и пока я знаю, что ищу.

— Так...— пробормотала Наоми. Сквозь владевший ею страх начало проступать легкое облегчение. Там, в Калифорнии, когда они с Бэкстером часами говорили о Кристине,— это было той нейтральной темой, которая помогла им перестроить и заново начать совместную жизнь,— на ум им приходили самые невероятные предположения. Они рисовали себе различные ситуации, в которые могла попасть молодая неопытная девушка: погубить ее мог мужчина, или другая девушка, или вообще неизвестно что. И, обнаружив сейчас, что все сводится к незрелым юношеским философствованиям, Наоми несколько успокоилась и почувствовала, что обретает почву под ногами.

— Так...— осторожно повторила она.— Но, видимо, что-то все-таки сильно повлияло на тебя, раз ты пришла к такому выводу?

Кристина задумалась. Что же на нее повлияло? Да и было ли это «что-то»? Во всяком случае, ответа на этот вопрос Кристина найти не могла.

— Да нет, ничего,— сказала она наконец.— Просто я пришла к такому выводу. Вот и все.

Наоми выпрямилась в кресле.

— Ну что ж, я считаю, что ты поступила чрезвычайно глупо,— сказала она.— Мы с отцом полагали, что у тебя в самом деле есть какие-то серьезные основания уйти из колледжа. А оказывается, это всего лишь глупый каприз... Когда я говорила по телефону с вашей ректоршей, она была совершенно сражена твоим решением. Она просто ничего не могла понять. Ну, а мне теперь все ясно.

— Ты разговаривала с ректоршей? — спросила Кристина, в изумлении подняв на мать глаза.— Зачем?

— Чтобы узнать насчет тебя, конечно,— ответила Наоми.— Она заверила меня, что если ты в ближайшие дни изменишь решение и захочешь вернуться, она разрешит. Но она, конечно, не станет долго тебя ждать.

Кристина в изумлении воззрилась на мать.

— Но я ведь только что говорила тебе, мама: я не хочу туда возвращаться.

— Она сказала, что позволит тебе вернуться только потому, что ты сдала все предметы с отличием,— продолжала Наоми, словно и не слышала восклицания дочери.

Кристина смотрела на родителей и не хотела верить. В колледже Сэнди говорила ей, что они заставят ее вернуться, но она не верила. А сейчас именно к этому дело и шло. Они прилетели, чтобы заставить ее изменить решение тут же, на месте, чтобы она вернулась в колледж и заявила, что остается на будущий год.

— Должно быть, я недостаточно ясно выразилась,— дрожащим голосом сказала она.— В таком случае объясню еще раз, почему я это сделала.

Бэкстер нетерпеливо вздохнул. Наоми напряглась, как струна, но Кристина решила не обращать на это внимания: ей казалось, если она сейчас уступит, то за оставшиеся три года привыкнет к компромиссу, примет его, впитает в себя и, возможно, уже никогда больше не посмеет восстать.

Глава 32

Зеленая кожаная стена вдруг поехала вбок — в ней приоткрылась дверь, и появилось лицо секретарши.

— Можно вас на минуточку, доктор Фитц?

Коротенький кругленький человечек с золотой цепью на заметно выступающем животике вскочил из-за большого письменного стола.

— Ты меня извинишь, детка? — сказал он. Слова звучали ласково, голос был мягкий, приятный, ровный.

— Конечно,— пробормотала Кристина, и зеленая дверь, закрывшаяся за ним, снова превратилась в стену.

Она обрадовалась тому, что он ушел хотя бы ненадолго. Она вовсе не собиралась идти к психиатру в этот кабинет, обтянутый кожей, с тяжелыми бронзовыми украшениями, застекленными книжными полками и большими окнами, выходящими на зелень Сентрал-Парка. Но после трех часов бесцельных препирательств накануне Наоми условилась с доктором об этой встрече, даже не предупредив Кристину, и Кристине ничего не оставалось, как пойти к нему.

Никто не будет ее обследовать, сказала ей Наоми, просто она хочет, чтобы доктор Фитц поговорил с Кристиной как старый друг их семьи. Но Кристина, беседуя с ним о самых обычных вещах — о своих занятиях

музыкой, своей учебе и жизни в колледже,— все время чувствовала на себе его спокойный оценивающий взгляд.

Он прежде всего сказал ей, что ее отношение к явлениям жизни не удивляет его: молодости свойственна острота восприятия.

— А вообще — ты мечтательница,— добавил он мягко.— И это совсем неплохо. Все мы мечтатели. Только надо иметь в виду, что реальность *никогда* не соответствует нашим мечтам. И если мы это признаем и приемлем, тогда никакое зло в окружающем мире не в силах будет нас огорчить. Тогда мы сможем наслаждаться тем хорошим, что встречаем в жизни, и извлекать максимум из того, что она нам дает. Ты меня понимаешь, детка?

Она кивнула, хотя и не была с ним согласна. Дело ведь не в разочарованиях — просто ей казалось, что все устроено не так, как надо, что все вокруг ложь. Фитц же, рассказывая ей своим тихим голосом о жизни, доказывая, что жизнь состоит из мудрых компромиссов и приспособлений, призывал ее отнюдь не к нормальному восприятию вещей, а к чему-то другому. Он как бы вводил ее в тихую комнату и говорил: «Видишь, какая славная здесь белая кроватка! Как здесь все красиво и удобно! Еду тебе будут приносить, и будут у тебя и книжки и бумага, чтобы писать, и будешь ты здесь жить — в уютном особнячке, окруженная заботливыми слугами, которые будут предупреждать малейшее твое желание. Ну, о чем еще можно мечтать?» А ты тем временем прекрасно понимаешь, что находишься в сумасшедшем доме, что на окнах — решетки, и дверь скоро за тобой защелкнется, и все эти ласковые речи исчезнут, и ты останешься тут навсегда...

В эту минуту дверь в кабинет отворилась — не та, что в стене, а другая, за книжными полками, и доктор Фитц вернулся.

— Видишь ли, Кристина,— сказал он,— боюсь, нам придется прервать нашу приятную беседу: меня ждут.

— Не страшно,— сказала Кристина, поспешно вскакивая.— Я вовсе не хочу вас задерживать.

— Но ты приходи ко мне, когда захочешь. Я всегда буду рад выслушать тебя.

Кристина вежливо поблагодарила его и вышла. Тогда он подошел к книжным полкам и раздвинул их.

— Входите же, входите,— сказал он ласково, словно человека, стоявшего за дверью, надо было успокоить и приободрить.

— Она ушла?— спросила Наоми, осторожно заходя в комнату и озираясь.

— Садитесь,— сказал Фитц, указывая ей на кресло, где только что сидела Кристина.— И чтоб я не видел у вас этого встревоженного лица.

Наоми улыбнулась, несмотря на волнение.

— Ну, что вы думаете о ней? Как она вам показалась?

Фитц неторопливо уселся за свой письменный стол.

— Я считаю, что у вас отличная дочь,— сказал он.— Она страдает всеми грехами юности, и, возможно, у нее больше сомнений и неуверенности, чем у многих молодых людей ее возраста, но мне кажется, повода для беспокойства тут нет.

— Слава богу,— пробормотала Наоми и с облегчением откинулась на спинку кресла, словно вдруг ослабла стальная пружина, державшая ее.— А есть надежда на то, что я сумею заставить ее вернуться в колледж?

— Возможно,— сказал он.

— Как же мне этого добиться?— Она снова вся напряглась.

— Не обращать на нее внимания.

— То есть как?— еле выдавила из себя Наоми.

— А так.— Он смотрел на нее спокойно, мягко.— Видите ли, моя

милая, у вас редкая сила воли, и это само по себе отличное качество, но не такое легкое для окружающих. Не обладая вашим упорством и не в силах ему противостоять, человек может сломаться как личность.

— Так вы считаете, что это я виновата во всем?— спросила Наоми.

— Дело не в том, кто виноват. Но я считаю, вы должны радоваться тому, что Кристина противится вам, а не уступает. Это доказывает, что в ней есть что-то от вас. И если вы дадите ей самой во всем разобраться, очень может быть, что вы будете поражены результатами. Скажите ей, что она может поступать, как хочет. Не давите на нее ни в чем, не заставляйте возвращаться в колледж. Дайте ей свободу выбора.

— Но как же я могу... как же я могу не вмешиваться, не говорить ей то, что думаю? Как могу я допустить, чтобы она губила себя, а она себя губит этими сигаретами, этим разгильдяйством, этими дикими идеями? Господи, ну как я могу это допустить? Ведь она же моя дочь!

— Именно поэтому,— сказал он.— Она ваша дочь, и вы ее любите. И она должна это чувствовать.

Наоми сидела, глубоко задумавшись: решение постепенно зрело в ней.

— Хорошо,— сказала она, наконец, услышав зуммер, извещавший о появлении очередного пациента,— я попытаюсь.

Глава 33

I

На следующий день Наоми достала Бэкстеру билет на соревнования по теннису и, проводив его, с облегчением вздохнула. Затем она взяла Кристину и отправились с ней к Саксу — на Пятую авеню, к Де Пино и к Альтману. Наоми купила дочери костюм, несколько блузок, изящное платье для коктейля, туфли и повела завтракать в «Диван Парижьен». Она уже не смотрела на Кристину с осуждением, когда та излишне часто красила губы или закуривала сигарету,— она делала вид, будто это ее не касается. Зато она всячески старалась разговорить дочь. Она расспрашивала ее о друзьях, о жизни в колледже, о том, как она проводила уик-энды, и хотя получала весьма неполные ответы, которые никак не могли ее удовлетворить, делала вид, что все в порядке.

— Надо признаться, не так уж плохо тебе жилось,— заметила она под конец.

— Отнюдь,— сказала Кристина.— Беда только в том, что все хорошее не имело к колледжу никакого отношения.

— Во всем хорошем и во всем плохом есть своя оборотная сторона,— заметила Наоми.— Ты этого еще не знаешь, детка.

Помня о совете доктора Фитца, она старалась говорить как можно спокойнее и ровнее. Она почувствовала, что это позволит ей больше сказать, а ей хотелось о многом поговорить сегодня с Кристиной.

— Не понимаю,— сказала Кристина, взглянув на мать.

— Ты уходишь из колледжа, потому что не считаешь его идеальным. Но что ты надеешься найти вне его?

Кристина нахмурилась.

— Сама не знаю.

— Ну, так я тебе скажу,— улыбнулась Наоми.— Ты обнаружила, что все в жизни строится на компромиссе: твоя работа, отношения с друзьями, даже брак... Все сводится к тому, что человек уступает в одном, чтобы добиться своего в другом. Но такова жизнь. Другой на этой земле нет.

Кристина досадливо передернула плечами.

— Возможно.

Наоми беспомощно посмотрела на дочь и вспомнила, как несколько недель тому назад она лежала ночью в постели без сна и думала о том, что Квентина и Эллиота могут забрать в армию, если Америка будет втянута в войну. Гитлер должен быть побежден, и ради этого придется умирать солдатам. Но она не хотела, чтобы этими солдатами были ее сыновья. Кто, какая мать могла осудить ее за это? И она лежала без сна до зари, выискивая возможности пустить в ход свое влияние и получить отсрочку для сыновей. Когда время настанет, она эти возможности найдет. Вот так же будет и с Кристиной. То, что Кристина, в общем-то, права, не имело значения. Важно не то, что она права,— важно, чтобы она не страдала.

— Послушай, детка,— сказала она.— Я хочу тебе кое-что рассказать. Я не уверена в том, что я должна тебе это говорить. Но ты уже взрослая. И лучше, пожалуй, тебе все знать.

И словно речь шла о двух незнакомых людях, она рассказала Кристине о том, как Бэкстер бросил ее и как она снова сошлась с ним, когда у него прошел угар, потому что семья есть семья и надо ее беречь, несмотря на все сложности совместной жизни; поступи она иначе, она бы, конечно, восторжествовала в своей правоте, но наградой ей была бы лишь одинокая старость. Ничего хорошего в этом нет, но такова правда вещей — одна из многих правд, которые Кристина должна постичь, если не хочет искалечить себе жизнь.

— Я отнюдь не утверждаю, что это твое решение может искалечить тебе жизнь. Но, принимая его, ты устанавливаешь для себя определенные нормы, и, если ты будешь им следовать, уверяю тебя, это принесет тебе только боль. А я не хочу, чтобы ты причиняла себе боль, потому что я люблю тебя, детка. В самом деле, очень люблю.

Кристина слушала, не веря своим ушам. Известие о поведении отца потрясло ее, но когда шок прошел, возникло изумление от того, что мать так откровенно все ей рассказала. Это было актом огромного доверия.

— Все это просто ужасно,— сказала она, от души сочувствуя матери.— Как ты смогла это вынести?

— Чего только не приходится выносить человеку,— сказал Наоми.— Ничего не поделаешь. И люди как-то приспосабливаются и выживают. Ты очень разумная и серьезная девушка. И я знаю, что могу довериться тебе. И уверена,— продолжала она, помолчав немного,— что ты еще раз подумаешь насчет колледжа и тщательно все взвесишь, прежде чем принять окончательное решение. Хорошо?

Кристина сидела, раздираемая самыми противоречивыми чувствами. Она ведь уже все решила. Она это знала,— знала это и Наоми. И тем не менее что-то побуждало Кристину сказать «да» в ответ на просьбу матери. И не потому, что мать сумела подкупить ее,— это диктовалось чувствами более сильными и глубокими, желанием хоть что-то сделать для глубоко несчастной женщины, которая сидела напротив нее.

■

— Что ты ей сказала?— спросил Уоррен, когда они встретились и Кристина все рассказала ему.— Чем кончился ваш разговор?

— Ничем,— сухо ответила она.— Я ничего ей не обещала.

Она смотрела на сахарницу с названием фирмы — «Недикс» и все вертела ее по полированной поверхности стола. Было поздно. Спектакль давно уже кончился. Уоррену не терпелось поскорее увезти ее к себе. Но она словно потеряла всякое представление о времени — похоже было, что она готова проговорить так всю ночь.

— Мне очень хотелось сказать ей «да», но я просто не могла.

Он потянулся через стол, накрыл ее руку своей ладонью и вздохнул. Она посмотрела на него.

— Ты считаешь, что я была не права?

— Конечно,— сказал он. Лицо у нее было бледное. Он сжал ее руку и тут же выпустил.— И не в отношении твоей матери, а вообще.

— Не понимаю.

Он передернул плечами.

— Все это глупости.

— Что глупости? — не отступалась она.

— Глупости думать, будто ты можешь, подобно Диогену, обнаружить истину при свете лампы или вообще как-то разобраться в этой сумасшедшей жизни.

Кристина медленно сложила салфетку.

— Я все-таки попробую,— сказала она.

— Ну что ж, попробуй,— сказал он и снова передернул плечами.

Внезапно лицо у Кристины исказилось. Слезы, которые она сдерживала при матери, хлынули из глаз.

— Что с тобой? — удивленно спросил он.

Она взяла бумажную салфетку и поспешно вытерла глаза.

— Извини...— сказала она.— Если бы ты в самом деле любил меня...— начала было она и умолкла, подумав о том, как глупо это звучит.

— Да я же хочу жениться на тебе,— сказал он.— Какие тебе еще нужны доказательства? Но ты едва ли можешь требовать, чтобы я смотрел на все твоими глазами, правда?

— Конечно нет,— поспешила согласиться она.— Только я вот все думаю, что ты любишь вовсе не меня. Если бы ты меня любил, то в одном, самом важном, ты думал бы так же, как я. А я не желаю сдаваться и мириться с тем, что прогнило, что несет с собой одни разочарования. Я сделаю все, чтобы то, во что я верю, сбылось, и только если увижу, что ничего не могу добиться, плюну. Я не могу как следует это объяснить, но я знаю, что для меня это самое главное. И если ты смотришь иначе, значит ты любишь совсем не меня.

— О господи! — горестно воскликнул он.— Ты так все осложняешь.

— Знаю, знаю,— сказала она с несчастным видом.

— Ну почему мы не можем просто пожениться? — взмолился он.— А все остальное утрясется со временем.

Она сидела и с тревогой думала: а что, если не утрясется? Не лучше ли сначала все утрясти?

— Ну хорошо,— устало сказал он, словно прочтя ее мысли.— Чего ты от меня хочешь? Я буду думать так, как скажешь ты.

— Не надо,— возразила она.— И ты прекрасно понимаешь, что этого делать не надо. Да я и не хочу этого. Я хочу, чтобы тебе не было все безразлично. Хочу, чтобы мы спорили. Хочу, чтоб мы дрались, если придется. Но мне просто невыносимо твое безразличие.

— Тише! Не кричи так. Я же не глухой.

— Я вовсе не кричу. Я просто говорю тебе...

И они начали ссориться, оскорбляя друг друга, причиняя друг другу боль. Кристине отчаянно хотелось, чтобы Уоррен понял ее, пожалел, согрел своим участием, а он сидел напротив и холодно, резко возражал ей.

— Я готов принять тебя такой, какая ты есть,— сказал он.— Я не требую, чтоб ты была совершенством. Какого же черта ты требуешь этого от меня?

— Совершенства и я от тебя не требую,— сказала она.— Просто хочу, чтобы ты был немножко иным. И притом только в одном вопросе.

— Ну, так я не могу быть иным,— упрямо заявил он.— Не могу, не хочу и не буду. Поэтому давай лучше поставим на этом точку.

Эти слова больно хлестнули Кристину. И она опустила глаза...

Будь им обоим на двадцать лет больше, они бы поспешили перекинуть мост через эту разверзшуюся между ними пропасть. Но перед обоими простиралась еще долгая череда лет. Молчание затягивалось, наконец она сказала:

— Мне кажется, нам лучше... на какое-то время...

II

Уоррен шел по темной улице после того, как они расстались. В поле его зрения то и дело попадали «аборигены», как называл их Фил, сидевшие под фонарями или на скамейках. Мимо прошла собака. Потом мужчина. Потом какая-то женщина. Потом еще мужчина. «Каждый сам по себе,— думал он, глядя на них,— ползают, точно муравьи, без всякой цели, а наверняка думают, что цель у них есть».

— Занятно,— пробормотал он уже вслух, стараясь подавить в себе чувство пустоты, поражения, страха за будущее и вытащить из глубины души непонятное чувство облегчения, которое он ощутил, когда узнал, что брака с Кристиной не будет. На несколько месяцев у него есть работа — а потом? Сумеет ли он прокормить себя? Возможно, в конце концов, как бы он ни старался, ему тоже придется стать таким вот «аборигеном». Но один он все-таки проживет, а если нет, то по крайней мере рядом не будет свидетеля его позора.

И однако тревога не исчезала. До сих пор у него была Кристина — ее тепло, ее любовь. Когда она была с ним, выговаривала ему, на чем-то настаивала, требовала, убеждала,— он чувствовал, что живет. Сейчас все это ушло. Почему он отпустил ее? Почему даже не попытался задержать?..

Он и сам не знал. Возможно, он действительно не любил ее. Возможно, чувство, которое он питал к ней, было непрочно и быстро бы развеялось, подумал он, входя к себе в дом и поднимаясь по крутой лестнице. Где-то когда-то он читал, что все женщины прекрасны и, следовательно, желанны. Значит, раз нет Кристины, будет другая.

Он поднялся к себе на этаж, помедлил немного и двинулся выше. Если Айвена не ушла пораньше домой, она сейчас там, наверху, со всей компанией, которая арендовала бывшую квартиру Фила. Что если сделать ей предложение сейчас же, подумал он, медленно взбираясь по лестнице. Если она скажет «да», тем все и кончится. Однако в глубине души он надеялся, что не застанет ее...

В другой части спящего города, в отеле «Мэррей-Хилл», Кристина лежала в старой осевшей кровати некогда изысканного номера. За дверью, открытой в апартаменты родителей, царили тьма и тишина. Когда, расставшись с Уорреном, Кристина вернулась, она обнаружила, что родители уехали. Исчезли все их вещи и чемоданы — осталось только несколько предметов туалета на полочке в ванной да сумка для ночных принадлежностей.

Неужели они больше не вернутся? — думала она, глядя в потолок. Неужели они оставят ее здесь одну, без единого цента, с просроченным билетом на поезд в кармане? Этому трудно было поверить, и все же, когда она вспоминала, как они расстались днем — какое у матери было сначала подавленное лицо и как она потом взяла себя в руки, вновь обрела свое ледяное спокойствие, жестом подозвала официанта и попросила счет,— она понимала, что такое предположение не исключено.

Так она лежала, мучимая сомнениями, как вдруг скрипнула дверь,— Кристина вздрогнула и села на кровати. Послышались тихие шаги, звук задвигаемой задвижки и голос матери:

— Ты уже спишь, Кристина?

— Нет...

Она ждала, что они сейчас зайдут к ней. Но услышала лишь голос, холодный, отчужденный:

— Мы уезжаем утром. Чемоданы я уже отослала на вокзал. Упакуй свои вещи и будь готова к завтраку.

— Хорошо,— сказала она, ожидая услышать в ответ обычное пожелание спокойной ночи или что-то еще, но услышала лишь, как закрылась между комнатами дверь.

■

— Он предложил тебе выйти за него замуж, и ты отказалась? — Элиза сумела все выведать у нее, хоть они и говорили по телефону, и теперь в ее звонком, жизнерадостном голосе звучало удивление.

— Не совсем так. Мы оба решили, что лучше расстаться.

— Ну, и что же ты собираешься делать?

— Я возвращаюсь в Калифорнию,— сказала Кристина, стремясь побыстрее закончить разговор и уже ругая себя за то, что вообще вздумала звонить своей товарке, чтобы попрощаться.— Собственно, мне уже пора на поезд. Родители ждут меня внизу.

— Если хочешь знать, я считаю, что ты делаешь страшную ошибку,— продолжала Элиза.— Ей-богу, не пойму, что с тобой: вечно ты гонишься за чем-то несуществующим, вечно ищешь в людях то, чего нет...

Слова Элизы все еще звучали в ушах Кристины, когда она спустилась в холл. Родители ее были уже там. Отец расплачивался по счету.

— Надеюсь, я не заставила вас ждать,— сказала Кристина.

Наоми, уже отбросившая советы доктора Фитца, как отбрасывают дешевое патентованное средство, которое сразу не принесло пользы, повернулась к мужу, точно и не слышала слов дочери.

— Нам нужно немедленно такси, Бэкстер. Я не собираюсь опаздывать на поезд.

Бэкстер кивнул и пошел на улицу. Кристина молча последовала за родителями, молча ехала с ними на Пенсильванский вокзал; она знала, что будет молчать так до самой Калифорнии. Неужели это молчание никогда не нарушится? Конечно, нарушится, но лишь когда она сдастся.

Глава 34

Вскоре после того как желтое такси умчалось прочь, увозя на поезд Кристину и ее родителей, возле «Мэррей-Хилл» появился Кейзи. Он остановился на минуту перед лиловато-красным фасадом, словно хотел запечатлеть его в памяти, затем пошел дальше к зданию «Нью-Йорк таймс», где в комнате, наполненной грохотом пишущих машинок, ждал его Гиббон.

Вспоминая сейчас свою встречу с Гиббоном, Кейзи снова почувствовал легкое недоумение, но и только. Когда два дня тому назад он явился к своему австралийскому другу и объявил, что намерен поехать на фронт военным корреспондентом, Гиббон вдруг с раздраженным видом принялся перекладывать бумаги на столе и тянуть время, так что Кейзи заподозрил что-то неладное. Потом ни с того ни с сего принялся рассказывать ему, что такое война,— оказывается, Гиббон был ранен в Европе, правда, не серьезно, но до сих пор никогда об этом не упоминал. Тут уж Кейзи окончательно понял: что-то неладно.

«Что случилось? — спросил он.— Ты разочаровался в целях войны и считаешь, что ради этого не стоит драться?»

«Да нет, стоит-то стоит,— с сосредоточенным видом отвечал Гиббон,— только вот я думаю, понимаешь ли ты, на что ты идешь. Я подозреваю, что ты не во всем отдаешь себе отчет, Тим».

«А именно?»

«Ничего нового я не скажу. Просто на войне часто ни за что гибнут люди,— сказал Гиббон.— И не обязательно видеть, как умирают десятки, достаточно, чтобы на твоих глазах умер один человек. Как правило — твой первый мертвец. Так что воюем-то мы за правое дело, но есть во всем этом скверная оборотная сторона. Смерть — препротивная штука».

«К чему ты все это мне говоришь?» — спросил Кейзи.

«А к тому, что нет надобности швыряться жизнью».

«Кто же ею швыряется?» — спросил Кейзи.

Но Гиббон продолжал, как если бы не слышал его слов:

«Есть люди, которые отдают жизнь мгновенно,— скажем, на поле боя. И знаешь, в каком-то смысле это даже легче, чем мучительно тянуть лямку целую долгую жизнь».

Кейзи думал сейчас об этих словах, шагая к высокому зданию, вырисовывавшемуся впереди в квартале от него: что, собственно, хотел сказать Гиббон? В тот момент он был слишком зол, чтобы расспрашивать. Он чисто по-мальчишески надеялся произвести впечатление на Гиббона своим геройством, и когда Гиббон дал ему понять, что, сидя дома, можно быть не меньшим героем, он вдруг обозлился и сказал Гиббону, чтобы тот перестал перебирать бумаги, точно нервическая старая дева, раскладывающая пасьянс, и не тянул волынку: он пришел подписать что требуется — и точка.

Неужели Гиббона в самом деле волновало то, что он швыряется жизнью? А он ею швыряется? Конечно, нет.

Кейзи остановился у светофора на Сорок четвертой улице. Мимо с грохотом мчались машины...

Светофор мигнул, и Кейзи пошел дальше. Хватит терзаться и давать волю своей ирландской натуре, решил он. Да и слишком поздно что-либо менять. Отступления быть не может. Все бумаги — у Гиббона. Кейзи отказался от квартиры, отдал все свои деньги Эйлин, а она, в свою очередь, отдаст их психиатру, к которому она зачастила. Он роздал даже всю свою одежду. На какой-то миг он подумал о девушке в старом отеле. Но это — для какой-то другой, будущей жизни на иной планете. Нет, ничто не удерживало его. И решение было принято бесповоротно.

Однако Кейзи кое-что упустил из виду.

Он упустил из виду годы, проведенные рядом с пустой бутылкой и полной окурков пепельницей,— годы, складывавшиеся из бесконечных бессонных ночей и бессонных дней. И вот сейчас, когда он поднялся на последнюю ступеньку здания «Нью-Йорк таймс», эти годы вдруг напомнили ему о себе вихрем резкой нарастающей боли. Боль родилась где-то глубоко внутри и пошла вверх,— он почувствовал, как у него закружилась голова и подкосились ноги. Кейзи не понимал, что это за боль, откуда она взялась. Он сознавал лишь, что цемент под ним вдруг стал мягким-мягким, как пуховая постель, в которую он рухнул, теряя сознание.

Глава 35

Сквозь дурман анестезии он услышал голоса:

— Кончается...

И понял, что это правда. Однако тут же на секунду очнулся, увидел, что лежит в белой комнате с высоким потолком, и понял, что, значит, еще не конец, но конец скоро. И снова потерял сознание.

Немного погодя он опять на секунду очнулся и на этот раз почувствовал страшную боль и невероятную тяжесть, точно гора навалилась на него. Потом — что-то отступило, и он слабел, слабел. Судьба, видно, снова вмешалась, подумал он: она не могла допустить, чтобы в жизни его хоть что-то сошло гладко, и каждую минуту он должен выстрадать до конца.

Тихий голос с легким ирландским акцентом спросил его участливо, как спрашивают умирающих:

— Может быть, вам что-нибудь надо?

Внезапно сознание его прояснилось, явственнее стала боль и горло пересохло, точно там образовалась гигантская пустыня.

— Пить...— попытался он произнести.

— Воды?— последовал тихий вопрос.

— Виски,— прошептал он.— Со льдом.

Белая фигура помедлила и исчезла. Немного погодя он почувствовал прикосновение влажной ткани к своим губам и снова увидел белую фигуру.

— Сигарету,— пробормотал он.

— Да неужели вы не понимаете...

И звук исчез, а слова все повторялись, тая, как расходящиеся круги на воде: «Неужели вы не понимаете... не понимаете... не понимаете...»

Ему хотелось сказать: «Неужели *ты* не понимаешь? Ну, какая разница? Еще один час или еще один день?.. Какой смысл тянуть?..»

■

Теперь голоса врачей звучали обычно, а не будто сквозь вату, как на протяжении этой бесконечно долгой недели, пока Кейзи то приходил в себя, то снова терял сознание. Они говорили, как если бы его тут и не было: обсуждали этот тяжелый случай, состояние его двенадцатиперстной кишки, нижняя часть которой оказалась вся изъедена язвами, разбирали, как прошла операция, какие швы были наложены, в каком плохом состоянии печень да и весь организм больного.

Когда они ушли, сиделка подошла к его кровати.

— Молодец, лихо вы справились,— сказала она, обращаясь к неподвижному телу, лежавшему с закрытыми глазами.

Постояла, посмотрела с минуту на Кейзи и покачала головой.

— А уж упрямый — настоящий ирландец,— продолжала она.— Да неужели вы думали, что я в самом деле дам вам виски и сигарету?

Кейзи даже странно было, что кто-то с ним разговаривает. Он открыл глаза и увидел — ясно увидел — стоявшее над ним существо в очках и большом белом чепце.

— Ну так вот: все это для вас больше не существует,— продолжала сиделка.— Ни сигарет, ни вина. И есть вам придется как младенцу, и спать ложиться как младенцу, и так до конца жизни.

— До чего?— переспросил Кейзи, не расслышав.

— До конца жизни,— повторила она.

Внезапно до него дошло. Он прикрыл глаза, и, видимо, на лице его отразилось страдание, потому что сиделка спросила:

— Снова боли?

Он не отвечал. Глаза его теперь были открыты: он лежал и смотрел куда-то мимо нее и думал о том, что отныне у него уже не будет прежних помощников, жизнь выбила из его рук костыли, на которые он опирался, и ему больше не воздвигнуть стены между собой и внешним миром.

ЧАСТЬ IV

Глава 36

I

— Знание древнегреческого абсолютно необходимо для общей культуры,— говорил Ян Брэнд, держа в руке слуховой аппарат, точно это был маленький бакалитовый идол.— Мы, естественно, отделены от древних барьером времени. Но надо, чтобы нас, по крайней мере, не разделял барьер языка...

— Очень интересно, Ян,— по долгу хорошей хозяйки воскликнула Наоми Малл, хотя никакого интереса к этой теме не испытывала.— Невероятно интересно! Продолжайте, пожалуйста.

Брэнд принялся развивать свою мысль, голос у него был мягкий, интеллигентный, но Наоми не слушала его, занявшись изучением гостей, которые собрались в ее внутреннем дворике. Стояли последние дни сентября, и, хотя с побережья дул ветер, было еще тепло, и она поила гостей чаем во дворе. В это воскресенье у нее собрались все завсегдатаи. Кантор, обосновавшийся в самом удобном из плетеных кресел, лениво полеживал, время от времени отправляя в рот кусок белого хлеба с печенкой, в то время как собака Брунгильда с надеждой глядела на него, ожидая, не перепадет ли ей что-нибудь. Немного поодаль сидела Дафна Клор, поэтесса, живая дама с точеным, как у камеи, лицом,— глаза ее блестели, и она делала вид, будто чрезвычайно заинтересована тем, что говорит Брэнд, а на самом деле, решила Наоми, думала лишь о том, как покорить красивого стройного венгра-художника, сидевшего слева от нее. Хаффнер копался в какой-то части приемника, которую он зачем-то принес с собой в кармане, а Ильза Фридлендер с нетерпением ждала того момента, когда Брэнд закончит свои разглагольствования, чтобы подойти к роялю и спеть одну из хаффнеровских атональных Lieder.

Наоми оглядела своих гостей — а тут было еще несколько писателей и художников, которые в этот момент оказались на побережье,— и снова остановила взгляд на Брэнде, который все говорил и говорил, рассеянно рассматривая свой слуховой аппарат.

Два-три месяца тому назад выяснилось, что Саймон лежит в Испании в госпитале, раненый, но живой. Теперь он уже поправился и, хотя ушел из разведки, по-прежнему летал на английских самолетах над северной Францией. Наоми знала, что эти самолеты каждый день сбивают и храбрые молодые парни не возвращаются назад. Такое может случиться и с Саймоном, и тогда Ян потеряет сына. Однако, глядя сейчас на Брэнда, трудно было поверить, что его может интересовать что-либо, кроме Гомера и его образного, звучного стиха.

Наоми не без зависти вздохнула, радуясь этому умению Брэнда отрешаться от своих проблем, и посмотрела в другой конец дворика, где сидело существо в замызганных джинсах и пальцами, желтыми от никотина, листало журнал «Тайм»,— с каким удовольствием она подошла бы сейчас к дочери и по-матерински надрала ей уши.

Три месяца назад она, хоть и ворчала, но с уважением и даже восхищением относилась к Кристине, которая упорно держалась своих порочных, по мнению Наоми, взглядов, но после того, как она провела целое лето в тщетных попытках урезонить дочь, которая к тому же последнее время стала отвечать односложно или вообще молчала, уважение к Кристине сменилось раздражением и злостью.

— Все лето напролет,— продолжала Наоми,— мы с Бэкстером пытались заставить ее внять разуму. Но она точно каменная стена.

Все они — и Бэкстер, и Квентин, и Эллиот — осуждали Наоми: осуждали ее за то, что она всецело отдается работе, становится из-за этого невнимательной, вечно всюду опаздывает, не заботится о фигуре, которая начала заметно расползаться, поскольку она вечно ест наспех и не вовремя,— критиковали даже самую ее работу — легковесный фильм, который едва ли «явится существенным вкладом в современную культуру», как недавно заявил с нескрываемым презрением кто-то из них. Однако, не без горечи подумала она, они не относятся критически к тем деньгам, которые приносит этот «легковесный фильм», добавляя определенные суммы к их личным счетам в банке, не относятся критически и к уютному дому, который благодаря такого рода фильмам они имеют, как и к тому, что у них есть досуг заниматься критикой... Всю свою жизнь она, как ломовая лошадь, тащила кого-нибудь на своей спине,— сначала отца, который считал ниже своего достоинства работать; потом мужа, а теперь вот троих детей, которые не только не сумели оценить того, что она им дала, а наоборот: вечно всем недовольны и стремятся к чему-то, что выше ее понимания.

Ну, чего им еще надо?— недоумевала Наоми, окидывая взглядом роскошный внутренний дворик, широкую лужайку, окаймленную тополями, две сверкающие машины на подъездной аллее. Потом перевела взгляд на дочь, увидела, как та закуривает новую сигарету, вытащив ее из мятой пачки, торчавшей из кармана братниной рубашки, которую она теперь носила, и снова задала себе этот вопрос. Однако во взгляде, сверкнувшем из-под густых ресниц, она не обнаружила ответа,— лишь повод для еще большего раздражения, которое ей придется подавлять в себе, пока не кончится прием.

II

Высокие тополя шуршали под ветерком. Серебристые эвкалипты, окаймлявшие усыпанную гравием аллею, встречались с тополями и убегали прочь, теряясь вдали. Кристина лежала поперек кровати и, глядя в окно на пышную причесанную зелень, терзалась от чувства унижения, которое почти не покидало ее последнее время и довольно быстро перерастало в отчаяние.

О чем, собственно, она спорит с родителями и друзьями своих родителей? Как ни странно, она не могла точно ответить на этот вопрос. Они делают вид, что спор идет о колледже. Но разве это так? Когда она решила уйти из колледжа, ей казалось, что речь идет о чем-то более важном. И теперь она считала, что ее обкрадывают, сужая область спора, но в чем именно, она не могла сказать.

Ее брат Эллиот под влиянием Яна Брэнда увлекся учением йогов, и когда она пыталась воззвать к нему, советовал смотреть на все жизненные проблемы, как бы глубоко они ее ни затрагивали, со стороны, стараться стать «выше времени и желания». Кантора Макдональда, Хаффнера и прочих она лишь забавляла. Что же до Кейзи, то он просто взял и исчез. Поговаривали, что он был болен и даже очень тяжело, но сейчас он выздоровел и вернулся на побережье, хотя и не работал больше для Голливуда. Она надеялась увидеть его — каждое воскресенье думала, что вот он появится,— но он все не появлялся.

Ну, а помимо Кейзи, кто же у нее еще остался? Не было даже Уоррена, который мог бы сказать ей, что все в жизни ерунда, все — иллюзии. Она жаждала услышать хотя бы это — все-таки кое-что. Но Уоррен исчез из ее жизни. Он вступил в армию и находился где-то в Миссури — учился носить ружье и чистить уборные. Элиза написала ей об этом, до-

бавив, что перед самым отъездом он сделал предложение Айвене и получил отказ. Кристина не могла понять ни того, ни другого, да, впрочем, и не пыталась. Однако время от времени она ощущала тупую боль сожаления — не о том, что потеряла его, а о том, что они оба потеряли, неизвестно почему.

Кристина сунула руку в карман и извлекла оттуда смятый чек. Разгладила его, расстелила на кровати и принялась изучать. Проведя всю первую половину лета в поисках какой-нибудь работы, она, наконец, нашла себе применение в маленьком театрике, где занимала публику во время антрактов. Вот уже полтора месяца изображала она «Утенка на прогулке», «Девушку с прямыми волосами» и «Этюд в черном» — большинство зрителей при этом уходило проветриться, лишь несколько старушек продолжало сидеть в зале. Она скомкала чек и сунула его в карман. Нет, это тоже не решение... Но где же оно, в чем? В какой-то момент она потеряла нить и не может ее найти. Да и не знает даже, где искать.

Она почувствовала, что на нее накатывает отчаяние, захлестывает ее подобно тому, как волна во время прилива захлестывает прибрежные скалы. Снизу до нее доносились обрывки музыки. Ильза исполняла арию из последнего опуса Хаффнера, атональную и пронзительную. Кристине стало немножко стыдно: ей следовало сидеть сейчас внизу и переворачивать страницы. Но она не двигалась с места.

III

Когда звуки низкого сопрано, заполнив все уголки гостиной, вырвались на волю и во дворике умолкла беседа, Наоми пересекла лужайку и подошла к только что пришедшему гостю. На нем была голубая спортивная рубашка и светлые брюки; он поднялся было при виде ее, но она легонько толкнула его, усаживая на место, и присела рядом с ним на каменную скамью.

— Ты выглядишь просто великолепно, Кейзи,— быстро зашептала она.— Это же чудо, что ты выкарабкался!

Он выглядел отнюдь не великолепно. Он потерял двадцать фунтов и был все еще бледен, как человек, не вполне оправившийся от тяжелой болезни.

— Как делишки?— спросил он, спокойно оглядывая ее. Они не виделись несколько месяцев.

— Прекрасно,— сказала она.— У меня очень интересная новая работа для «Уорнер бразерс». Ты, наверное, слышал?

Да, он слышал — слышал, что она взялась написать какой-то идиотский сценарий, от которого отказались уже десять человек. Но Наоми доведет его до экрана,— в этом он не сомневался, такой уж у нее дар. И когда критики впоследствии будут разносить все в щепы, она, забыв о том, что было у нее в руках, когда она начинала работу, будет огорчаться, но не сделает из этого никаких выводов — такую уж она избрала себе жизнь. И Кейзи показалось просто непостижимым, что еще совсем недавно такою же была и его жизнь.

— А ты все цветешь, точно все земные огорчения проходят мимо тебя,— сказал он.

— Я крепкий орешек,— улыбнулась Наоми.— Если бы только мои детки могли унаследовать это от меня. Например, Кристина. С ней просто сладу нет.

Кейзи молчал. Он пришел сюда не для того, чтобы говорить о Кристине. Иные темы умирают сами по себе,— может, и эта умрет, и тогда он сможет вежливо откланяться и уйти, оказав внимание Наоми и выполнив то, чего от него теперь требовали его друзья.

И Наоми принялась пересказывать свои беседы с Кристиной. Кейзи слушал и чувствовал, что ему с каждой минутой становится все больше не по себе.

— Обожди,— прервал он ее,— ты зря все это мне рассказываешь.

— Конечно, конечно,— сказала Наоми, неправильно истолковав его слова,— но я уже столько раз ей это говорила, а она и слушать не желает.— И она снова принялась ему жаловаться. Кейзи вынул из кармана платок.— Ты и представить себе не можешь, какие глупости она говорит...— Наоми вдруг оборвала сама себя, только сейчас заметив, как побледнел Кейзи.— Ах, Кейзи, я тебя, наверное, страшно утомила, да?

— Нет,— сказал он, вытирая, однако, внезапно выступивший на лице пот.

— Может быть, принести тебе чаю... или виски? — спросила она с беспокойством, но он только покачал головой, дружески похлопал ее по плечу и поднялся с кресла.

В следующую секунду он уже исчез за углом дома.

■

Кристина услышала хруст шагов по гравию под окном и вдруг увидела знакомую фигуру. Она выскочила на балкон, выходивший в сад:

— Кейзи!

Он остановился и, запрокинув голову, посмотрел вверх. Кристина отметила про себя, что он похудел и что в его манерах появилась какая-то вялость и медлительность, чего она раньше не замечала, и тем не менее перед ней был прежний Кейзи.

— Привет, Крис, я искал вас,— сказал он. И голос его звучал все так же — слегка небрежно и в то же время задушевно.— Мне хочется поговорить с вами...

Она исчезла. А через минуту уже стояла подле него на дорожке. Она только сейчас поняла, как ей хотелось его увидеть.

— Пойдемте отсюда,— сказала она.

Глава 37

Они поехали вверх по каньону Холодных вод и дальше по дороге на Малхолланд, что вьется по гребням холмов. В пустынном месте Кейзи остановил машину; они вышли и побрели наугад, пока не наткнулись на лужайку среди кустов и юкк. Внизу под ними виднелся старый дорожный знак «ОЛЛИВУД», на котором по-прежнему отсутствовала буква «Г». За ним в лучах предзакатного солнца расстилались крыши псевдоитальянских вилл, псевдоиспанских асьенд, псевдонормандских ферм... По дороге сюда Кейзи рассказал Кристине о своем намерении поехать в Европу военным корреспондентом и о том, как болезнь поломала все его планы.

— Через какой ужас вы, должно быть, прошли,— сказала Кристина.

— Теперь все уже в прошлом,— поспешил он перебить ее, машинально растягиваясь на земле, ибо это вошло у него в привычку после того, как он выбрался из больницы, выбрался же он оттуда не потому, что он поправился, а потому, что больше никто ничего не мог для него сделать.— К тому же не все было таким уж сплошным кошмаром,— продолжал он.— Я кое-что вынес из этого испытания.

— Что же именно?

Он помедлил. Она посмотрела на него с таким дружеским участием и вниманием, что он растерялся. Это было что-то новое: так она на него никогда еще не смотрела.

— Как-нибудь потом расскажу,— сказал он, отворачиваясь.

Она не стала настаивать, и это тоже показалось ему необычным. Он уже успел заметить, что ее неловкость исчезла, она лучше владела лицом и стала более женственной. И его внезапно пронзила мысль, что она стала взрослой, а он... все его затаенные мечты разлетелись в прах. Это было обиднее всего. Но он постарался не думать об этом, замкнул на запор все ворота своего внутреннего мира и попытался сосредоточиться на том, ради чего привез ее сюда.

— Что же вы собираетесь теперь делать? — спросила она.— Где собираетесь поселиться?

— Пока в Лос-Анжелесе...— Он скорее почувствовал, чем увидел, как она обрадовалась, но постарался не заострять на этом внимания.— Но это вовсе не значит, что я собираюсь работать в кино или заниматься тем, чем я занимался последние двадцать лет...— Он немного помедлил и добавил: — Я снова хочу стать писателем.

Он посмотрел на нее и увидел все то же участие и внимание.

— И правильно сделаете,— сказала она.

Он передернул плечами.

— Безусловно правильно... Только не меняйте своего решения, слышите?

Он отломил стебелек дикого горчичного дерева.

— Забавно слышать это от вас,— сказал он.

— Почему?

Он продолжал крутить зеленый стебелек, стараясь не обращать внимания на пульсацию в висках, говоря себе, что вот она, возможность, которой он так ждал.

— В больнице,— произнес он, наконец,— на меня не раз нападало желание подвести черту. И всякий раз как это со мной случалось, я слышал знакомый упрямый голос, который раздраженно и неотступно твердил мне, что я не прав. И знаете, это спасло мою шкуру.

— Значит, вы думали обо мне? — медленно спросила она.

— Тогда мне казалось, что да,— сказал он,— но сейчас я в этом уже не уверен. Почему вы все-таки сдались?

Она в удивлении подняла на него глаза.

— Сдалась?

— Ну да, почему вы даже не защищались?

— Наверно, потому, что знаю, как все вы к этому отнеслись бы.

— Это не должно иметь для вас значения, если вы верите в себя. Никакого значения, ни малейшего.

— И все-таки я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что я сдалась,— сказала она.— Что, по-вашему, я должна делать?

— Сначала расскажите мне, что вы намерены делать.

Он был суров с нею, суровее, чем когда-либо. Но ей не хотелось ссориться с Кейзи. В какую-то минуту она вдруг почувствовала, что ее больше не трогают все эти принципы, которые она отстаивала на протяжении последних недель, и если бы могла, с удовольствием отреклась бы от них. Но по его лицу она поняла, что так легко ей не отделаться.

— Мне трудно это объяснить,— нерешительно начала она.— Я знаю только, что мне не хочется сдаваться и принимать мир, как он есть. «Такова жизнь, и тут уж ничего не поделаешь»,— говорят мне вокруг, но я этого не считаю «Смотрите, сколько неудавшихся жизней, испорченных браков, загубленных карьер». Да, в моей среде, возможно, это и так, но моя среда — это еще не весь мир.

— В других местах я видела другую жизнь,— продолжала она. (Она не была уверена, кого она имела в виду — Кору, Мириам, Лэнджера, каким он был когда-то, да это и не имело значения.) — У моих родителей мои слова вызывают только смех. И вообще, о чем бы я им ни рассказывала, они все уже видели и забраковали. Тогда как я считаю, что в мире есть и добро, и бескорыстие. Я считаю, что существует и такое слово «любовь», причем вовсе не обязательно тут же ее квалифицировать. А они все ограничивают, раскладывают по полочкам: любовь — это только секс или только влечение. А почему «только», Кейзи? Почему это не может быть чем-то всеобъемлющим?

Он молчал.

— О, я знаю, что вы сейчас думаете,— сказала она.— Вы думаете, как и все, что это лишь юношеские романтические мечтания.

— Да, я так думаю.

Кристина была потрясена: она никак не ожидала, что он и в самом деле думает, как все. И снова на нее нахлынуло старое, мучительное чувство одиночества.

— Но что же в этом плохого? — заметил он.— Вся беда только в том, что человек, взрослея, расстается с юношескими мечтаниями. И довольствуется обычно чем-то куда менее стоящим.

Он что, подтрунивает над ней? Но нет, он был серьезен.

— О чем же мы тогда говорим? — медленно спросила она.

— О повзрослении...— спокойно ответил он.— Я и сам прошел через это. Я ведь тоже взрослел. Когда я смирился с этим грязным миром, я понял, что наконец стал взрослым. А теперь в сорок три года решил было начать все сначала...

Кристина в изумлении смотрела на него. Он был все тот же и не тот. Болезнь сожгла в нем все поверхностное, наносное, обнажив пламя, которое неколебимо горело внутри и делало его моложе, несмотря на неестественную бледность и легкую дрожь пальцев. Пройти мимо такого невозможно, и Кристине вдруг захотелось взять эти прозрачные руки в свои, поцеловать это напряженное нервное лицо... Но что-то в спокойном, почти холодном взгляде, каким он посмотрел на нее, удержало ее от этого порыва. Она опустила глаза.

— Кейзи,— сказала она.— Я не хочу сдаваться. Что же мне делать?

— Держаться своих романтических представлений и следовать им до конца. Середины быть не может.

— Знаю, знаю...— пробормотала она.

— Это будет не легко. Люди будут смеяться над вами, называть вас младенцем, даже когда волосы ваши станут седыми. И уж конечно, вы никогда не добьетесь успеха — в их понимании.

— Мне это безразлично. Я просто хочу жить так, чтобы это имело смысл. А вот смысла-то в жизни я и не могу найти.

— Вы будете очень одинокой,— заметил он,— в чем бы вы ни нашли смысл жизни.

— Я и сейчас одинока,— сказала она, подняв на него глаза.— Никто еще ни разу не согласился со мной, если не считать вас.

Она смотрела на него теперь в упор,— ему было бы легче, если бы глаза у нее были не такие синие.

— Вы будете, конечно, удивлены,— сказал он,— но есть и другие мятежные души помимо нас с вами.— И отвернулся, чтобы не видеть ее взгляда.

— Где же они? — тихо спросила она.— Я знаю только вас одного.

В ее тоне прозвучали такие нотки, что это испугало его. Он добился того, чего хотел, вернул ей уверенность в себе, но в то же время высвободил что-то другое, с чем не предполагал столкнуться. О, господи, что же он наделал?

— Но и этого достаточно,— тем временем говорила она.— Важно, чтобы хоть один человек понимал тебя. Когда ты нашел такое, дальше можно уже не искать, правда?

Он почувствовал, как земля запульсировала под ним, отвечая на удары его сердца, взволнованного словами этой девушки, предлагавшей ему себя, хотя, быть может, она и сама этого не сознавала. Но удары сердца тотчас болезненно отозвались в легких, в печени, в больных кишках. И он понял, что уже слишком поздно и было бы жестоко с его стороны принять эту жертву.

— Вы просто спасли мне жизнь,— сказала она, и рука ее свободно, естественно, словно она имела на это право, завладела его рукой.— Вот я сейчас с вами, и мне кажется все возможным — впервые в жизни...

— Вы ведете себя как дитя,— оборвал он ее и, рывком приподнявшись, сел, так что рука ее упала.

— Почему? — пробормотала она.

— Вы отворачиваетесь от своих родителей только потому, что они до сих пор направляли вашу жизнь, и считаете, что я заменю их вам, потому что я лучше вас разбираюсь во всем и потому что на данный момент вам больше нравятся мои взгляды. Но, бога ради, не путайте одно чувство с другим,— добавил он.— Если вам кажется, что вы любите меня, то вы жестоко ошибаетесь.

— Я этого не говорила!

— Уже хорошо,— сказал он.— Потому что вы несомненно допустили бы ошибку, если бы сказали.— Он сознавал, что причиняет ей боль, и тем не менее решительно всадил глубже острие.— Цепляясь за кого-то, человек думает, что может опереться на весь опыт этого человека, не переживая сам того, что тот пережил... Уроки, почерпнутые из моей жизни, ничего вам не дадут...

— Я вовсе не собираюсь за вас цепляться,— сказала она, тщетно пытаясь найти прибежище в своей гордости.— И не собираюсь просить, чтоб вы давали мне уроки. Я просто думала, что мы могли бы встречаться время от времени, чтобы говорить о жизни. Вот и все. Я и не думала признаваться вам в любви.

— Прекрасно,— сказал он.

На какое-то время между ними воцарилось горестное молчание. Когда она снова заговорила, голос ее звучал ровно и так же холодно, как и его.

— Я полагаю, что вы тоже ничего ко мне не чувствуете, Кейзи. Я права?

Он пожал плечами.

— Хотя мне казалось, что чувствовали,— не отступалась она, и в тоне ее прозвучала обида.

— Что ж, теперь вам должно быть все ясно.

Выше по склону, прямо над ними, промчалась машина и исчезла вдали. По дорожке у их ног прошли двое гуляющих — муж и жена, отчаянно споря, как лучше отделать дом, какие выбрать обои. Жужжали пчелы над юкками, и солнце припекало все сильнее. В воздухе стояла духота. Кейзи сидел не двигаясь.

Ну что ж, вот он и покончил с ней. Он сделал это неуклюже, но по крайней мере сделал — так оно будет лучше. Он даже поздравил себя с успехом, с тем, что сумел избавиться от опасности, и поднял глаза на Кристину в надежде укрепиться в своем решении. Но увидел взгляд, исполненный такой решимости, такой глубины чувств, что испугался и понял, что зашел слишком далеко.

В эту минуту она прильнула к нему со всем пылом юности, и он почувствовал у себя на щеке влажный след ее слез.

— Крис, Крис...— хрипло пробормотал он.

Дрожащей рукою он гладил ее по голове, хотя успокаивать надо было его. Сердце его билось так сильно, что, казалось, сейчас разорвется грудная клетка. А она целовала его, целовала, и все казалось ей удивительно простым и возможным. Но он вдруг разжал объятия.

— Что с вами? — ласково спросила она.

Невидимые стальные пальцы сдавили его виски. Нервы были напряжены до предела, но он пытался не думать о своем состоянии.

— Я подумал о вашем будущем... и о том, что рано или поздно вы выйдете замуж. Я не знаю, кто будет вашим избранником, да вы и сами этого еще не знаете, но я уже ревную к нему. Ужасно ревную.

— А не бежите ли вы сейчас сами от жизни, Кейзи? Не делаете ли вы как раз то, против чего предостерегали меня?

— Я ни от чего не бегу,— сказал он, вспоминая тихие голоса врачей, бесконечные облучения, лишний раз подтверждавшие, что он себя не обманывает.— Я просто хочу, чтобы вы забыли обо мне, вот и все.

— Но почему?

— Потому что я старая развалина — вот почему!

Она улыбнулась и погладила его по щеке. Но Кейзи не улыбнулся ей в ответ.

— Мне уже сорок три...

Она лишь пожала плечами.

Он посмотрел на нее. Лицо ее было совсем близко.

— Не нужно быть жестокой со мной, любовь моя,— сказал он.— Я пытаюсь вырваться из этого состояния, неужели вы не понимаете? Пытаюсь высвободиться сам и не ломать вашу жизнь. Сейчас вам кажется все просто. Но потом не покажется. Не может показаться.

Однако если она и видела мольбу в его глазах, она отказывалась на нее откликаться.

— Я не отпущу вас,— сказал она,— не могу.

— Вы сами не знаете, на что вы идете,— сказал он, пытаясь ее запугать.— Вам трудно будет: придется многое глотать, многое выслушивать, а люди будут говорить о нас. Будут говорить, потому что откладывать я не могу — из-за этого...— добавил он, указывая на сердце.

Он был взволнован и очень бледен. На виске билась жилка, выдавая его волнение.

— А для этого нужно, чтобы ты любила меня... очень любила,— пробормотал он, неожиданно для самого себя переходя на «ты».

— Я и люблю тебя,— сказала она, и спокойный тон, каким она это произнесла, показывал, что перед ним вполне зрелый человек. Он внимательно смотрел на нее — на ее глаза, спутанные волосы, свежее лицо, и разум подсказывал ему, что он поступает неправильно, глубоко неправильно.

— Послушай,— предпринимая последнюю попытку, пробормотал он,— не надо на меня давить. Я еще и сам не знаю...

— Я подожду.

Он поднялся на ноги и помог ей подняться.

— На будущей неделе я еду в Сан-Франциско повидать одного старого друга,— продолжал он уже совсем другим, не дрожащим голосом.— Я знакомил вас как-то в Нью-Йорке. Это Гиббон. Возможно, ты не помнишь его. Словом, мне надо повидать его и кое-что ему объяснить. Я позвоню тебе, когда вернусь.

— Хорошо,— спокойно сказала она.

Он снова поцеловал ее Потом взял под руку, и они пошли вверх по откосу к машине. Лучи заходящего солнца ударили им в лицо. Кейзи выглядел бледным, осунувшимся. Но когда они достигли вершины холма, силы вдруг вернулись к нему. Он тут же забыл о минутной слабости — не потому, что так уж уверился в своих силах, а потому что

хотел, отчаянно хотел поверить, что они у него есть. Внезапно он остановился и повернулся к Кристине.

— Послушай...— тихо сказал он, словно клещами сжимая ее руку.— Я хочу, чтобы ты знала, если вдруг у нас все получится: я прекрасно сознаю, что́ я получаю. И в ответ я дам тебе все, что смогу. Ты поняла меня? Все, что я всегда давал, и все, чего не давал еще никому на свете...

Глава 38

Кристина ждала звонка Кейзи, а тем временем строила планы на будущее, и каждый представлялся ей отличным решением проблем, которые раньше казались непреодолимыми: теперь она поняла, что важны не отдельные поступки, дерзания,— куда важнее выбрать нелегкий путь в жизни вроде, например, того, который наметили они с Кейзи и по которому они безусловно пойдут, так как она не сомневалась, что он не покинет ее.

Но Кейзи все не звонил, и однажды, спустившись к завтраку, она увидела, что мать сидит бледная, потрясенная, зажав в руке «Голливуд рипортер». Кейзи не поехал в Сан-Франциско. В воскресенье, расставшись с ней, он вернулся домой, два дня провел в постели, а на третьи сутки вечером выбрался из нее и протащился по ковру до двери, но открыть ее не сумел,— за этой дверью его и нашла старуха негритянка где-то во второй половине следующего дня. Он был уже почти сутки мертв.

Когда боль понесенной утраты немного улеглась, Наоми осушила слезы и с головой погрузилась в работу, но Кристина удивляла и тревожила ее. Девочка не спала и не ела и то надолго отправлялась одна в горы, то сидела, запершись, у себя в комнате. Иногда она выходила из своего заточения, спускалась в гостиную, принималась что-то играть на рояле, потом обрывала на середине пьесу, выбегала на улицу и возвращалась уже после наступления темноты, часа через два после ужина. И при этом была такая тихая, так извинялась за опоздание, что даже у тетушки Хоуп не хватало сил ее бранить. Не сдерживался только Бэкстер.

— Эта идиотская юношеская дурь! — жаловался он жене.— Что с ней? Она ведь едва была с ним знакома! Надо бы тебе с ней поговорить...

Но Наоми помнила, какие чувства она сама испытывала когда-то к Кейзи, и, ни слова не говоря Бэкстеру, не донимала дочь.

На кремацию пришло много народу, тут и там мелькали знаменитости. Они стояли с приличествующим случаю унылым видом и красными глазами; играл орган, известная актриса читала отрывки из произведений Кейзи, а несколько его коллег выступили с краткими и трогательными речами в его память. Каждый пришел сюда не только потому, что пришли другие, но и стремясь утишить страх, который вызвало известие о смерти Кейзи. Ведь он был одним из них, и теперь им необходим был этот мучительный обряд — он приносил облегчение и успокаивал душу. Им хотелось самим увидеть, как Кейзи проследует в мир иной,— тогда все войдет в свое русло, и они смогут вернуться к своим повседневным делам. Но сначала они должны убедиться в том, что все было сделано так, как надо.

Вот урну вставили в нишу, могильщики пристроили цветы, и мраморная стена вновь обрела свою первоначальную ледяную гладкость. Никто не обращал внимания на небольшую группу, продолжавшую стоять у ниши, разговаривая вполголоса, и на девушку в габардиновом плаще, которая сидела на каменной скамье и с отсутствующим видом

тупо смотрела на только что вмонтированную в стену дощечку,— так посетитель смотрит на выставленный в музее экспонат. Кристина не читала, что написано на дощечке, и не думала об этом. Ей просто страшно было уйти отсюда. Те, кто ушел, бежали от смерти и напоминаний о ней. Она же страшилась не столько смерти, сколько жизни, лежавшей за воротами крематория. Мужество, пробужденное в ней Кейзи, казалось, умерло вместе с ним. Наконец она поднялась,— где-то вдали электрическая косилка зажужжала, кося траву.

Она подошла к дощечке и прочла ее. На ней стояли имя, фамилия и даты жизни, а в углу — крошечный номер, как и на всех других дощечках, и цифра была многозначная. Кристина все смотрела на выгравированные буквы и цифры, не чувствуя, что рядом стоит кто-то еще.

— Этакий был бунтарь!

Кристина вздрогнула при звуке этого голоса, такого жизнерадостного, так не вязавшегося с царившей в крематории тишиной. Она пугливо оглянулась. Чуть позади нее стоял человек в плаще и тоже смотрел на дощечку, но только с улыбкой — причем иронической. Он был широкоплечий, светловолосый, с неправильными чертами,— где-то она его уже видела.

Еще раз хмыкнув, он повернулся к ней.

— Вы, видимо, хорошо знали Тима.

Теперь она вспомнила, кто он. Журналист Гиббон, с которым однажды вечером она познакомилась в Нью-Йорке «У Сарди».

Она молча кивнула, боясь, что голос может выдать ее. Ее коробила эта неуместно небрежная, слегка флиртующая манера разговора.

Светлые голубые глаза Гиббона на секунду задержались на ней, затем он спросил, посмотрев вокруг:

— Вы не знаете, как отсюда выбраться побыстрее?

У могил уже никого не было, и они вдвоем пошли по дорожке, ведущей через кладбище. Гиббон широко шагал, и его грубые башмаки с хрустом давили гравий этого хорошо организованного города мертвых.

— Мерзко все это было, правда? — спросил он вдруг.

Она пробормотала что-то в знак согласия.

— Хорошо хоть, что он ничего не слышал. Его бы стошнило.

Она удивилась.

— Почему?

Он повернулся к ней с неожиданной враждебностью.

— Да разве все эти нелепые, невероятные вещи, которые про него говорили,— правда? Если вы тоже так думаете, значит, вы плохо его знали.

— А вы и вовсе его не знали,— парировала она, чувствуя враждебность своего тона, но не желая его смягчать.

Он снова посмотрел на нее, словно прозрев,— дорожка сделала поворот, и они уже шли теперь по склону орнаментального парка.

— Кейзи был моим лучшим и самым давним другом,— сказал он.— Эти люди сегодня утром, сознательно или бессознательно, пытались заставить меня забыть, каким он был, а я не хочу. Я не желаю, чтобы они уничтожили правду о нем, перечеркнув то, что не укладывается в рамки подобного рода церемоний.

— Не понимаю, о чем вы? — пробормотала Кристина.

— Все, что говорили здесь о Тиме, правда, но кроме того, что здесь говорили, ведь это был человек слабовольный, мягкотелый, чертовски нерешительный, ни в чем не уверенный. Он слишком много пил, слишком много думал, слишком много болтал и слишком мало делал. И если мы зачеркнем все это и превратим его в некое совершенство без всяких пятен и изъянов, все, что он пытался или хотел сделать, покажется бессмысленным.

Они дошли до ворот. Кристина внимательно смотрела на Гиббона. Он был очень расстроен. И усмешка его была вовсе не иронической — она объяснялась злостью. Он оставался верен Кейзи, более верен, чем она, потому что во время этих славословий она, как и все прочие, поддалась обаянию вымысла.

— Вы правы...— сказала она и почувствовала, как отчаяние начинает постепенно отступать и она делает первый шаг к возвращению в жизнь.

Они вышли из распахнутых ворот. По улице мимо прогрохотал трамвай. Был час ленча, и на раскаленных тротуарах толкалась густая масса пешеходов.

— Ну что ж, прощайте,— пробормотал вдруг Гиббон.

— Куда вы сейчас? — спросила она.

— Обратно к себе в Сан-Франциско, а потом месяца на два — на три уеду в Северную Африку. Если доведется заскочить еще в эти края, я позвоню вам, и мы помянем Тима бокалом вина, хорошо?

Она снова кивнула. Он протянул ей свою широкую руку. Ее рука сразу исчезла в его ладони.

— Желаю вам счастья,— сказала она.

Он поблагодарил ее; ей тоже хотелось сказать ему спасибо за то, что он увел ее с этого кладбища, но он уже повернулся и пошел прочь. Ее автобус останавливался через улицу. Но она не сразу перешла на ту сторону, а постояла еще немного, глядя вслед Гиббону: ей припомнились слова Кейзи о том, что в мире куда больше мятущихся душ, чем он и она. Интересно все-таки, много ли, подумала она, и уже в самой этой мысли почувствовала какую-то общность со всеми этими людьми, которые спешили мимо. Во всяком случае один такой есть, сказала она себе, глядя вслед сухопарому австралийцу в мятом плаще, который мелькнул в последний раз и исчез, слившись с толпой; теперь он уже ничем не выделялся из нее, он был как все, и все были как он,— а может, и в самом деле были как он, только еще не успели проявить своей внутренней сущности...

ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ

Морские рассказы

Перевод с испанского
ИРИНЫ ВИННИЧЕНКО

В открытом море

Море уже начало волноваться, когда мы шли мимо Бутачаукес, большого острова, расположенного вблизи побережья, который как бы прикрывает собой от нависшей над морем кордильеры Анд целую группу островов помельче.

Шхуна «Пумалин», водоизмещением тонн в тридцать, низко оседала в воде под тяжестью мешков с устрицами и другими моллюсками — альмехас, чольгас и чоритос,— добытыми ловцами ракушек на бесчисленных морских отмелях в районе островов Чаукес. Ни на одной из географических карт не обозначено точное число разбросанных здесь островков: в прилив их не больше шести-семи, но во время отлива можно насчитать до десяти, а то и до двенадцати, в зависимости от времени года. В этой части побережья Тихий океан забавляется, словно шаловливый ребенок, запуская могучие пальцы прилива с одной стороны в узкую бухту Корковадо, а с другой — в канал Чакао и перемешивая по своей прихоти без того путаный лабиринт островов.

— Ветер нам сейчас даже на руку, товар немного подмокнет и свеженьким дойдет до Пуэрто Монтт, а оттуда и до Сантьяго,— заметил владелец шхуны Хосе Эрнандес-и-Эрнандес; столь пышно он зачастую величал себя, щеголяя почти что испанским произношением.

Хосе Эрнандес, родом с острова Чилоэ, долгое время плавал на каботажных катерах по Магелланову проливу, где, видимо, и подучился говорить чуть ли не с чистейшим кастильским акцентом, а фамилию свою он называл дважды лишь потому, что на Чилоэ человек с одной фамилией — все равно что незаконнорожденный.

Повидав на своем веку людей разных и отовсюду, Хосе Эрнандес обладал к тому же столь редким для жителя Чилоэ талантом, как красноречие, и даже открыто посмеивался над кое-какими предрассудками земляков.

Проскользнув между островами Тауколон и Бутачаукес, наша шхуна вышла в залив Анкуд. И только-только поравнялись мы с островом Каукауэ, как волны стали перехлестывать через левый бакборт. На мешки с ракушками валились хлопья морской пены.

«Пумалин» — прекрасная шхуна, с кипарисовыми каркасом и шпангоутами, и хотя дул встречный ветер и вспомогательные паруса были спущены, мотор позволял ей развивать скорость до восьми миль в час.

На эту шхуну я, направляясь в Пуэрто Монтт, сел в качестве пассажира в Мечуке, самом большом портовом поселке островов Чаукес.

Начинало смеркаться, когда мы оставили позади маяк на мысе Лобос, который с высоты семидесяти метров посылает прощальные вспышки судам, выходящим из залива Анкуд в открытое море. Среди местных жителей известна пословица: «Север ясный, с юга тучи — значит, ливень неминучий», однако на этот раз как с севера, так и с юга надвигалась сплошная завеса туч. И все же мы с Эрнандесом, стоя в штурвальной рубке, не могли не полюбоваться тем, как уверенно, не снижая скорости, шхуна несла нас навстречу ночной мгле и морскому простору. Когда вот такое небольшое суденышко выходит в открытое море, бесстрашно постукивая мотором в ночной тьме, у вас невольно возникает чувство гордости. Гордости от сознания, что человек бросает вызов непокорной морской стихии.

Быть может, оттого и развязался язык у стоявшего за штурвалом Хосе Эрнандеса, невысокого сухопарого человека лет пятидесяти, с живыми черными глазами.

— Капитан у себя на судне — почитай что бог,— бросил он в мою сторону и добавил: — Вот все забились в кубрик, жуют преспокойненько, а ты знай тут — крути штурвал.

— Так-то оно так,— согласился я.— Пожалуй, и мне пора подсесть к тем, кто в кубрике.

Команда «Пумалина», состоявшая всего из трех человек, получила в подарок от приятеля-водолаза полмешка крупных чорос — съедобных ракушек, прозванных за свою величину «башмаками»; добыча чорос запрещена по всему побережью, мало осталось, почти все выловили. Матросы пекли редкое яство на чугунной печурке и наслаждались необыкновенно нежным мясом ракушек.

— Господь бог торчит наверху вовсе один, и ведь никто не принесет ему чорос,— пробормотал хозяин себе под нос.

— Как же один,— возразил я,— если при нем дух святой!

Хосе Эрнандес разразился таким взрывом хохота, что его раскаты как будто отозвались эхом в волнах, взрезанных носом «Пумалина».

— Да вы, похоже, еретик,— заметил он.

— Не более, чем вы, раз себя сравниваете с богом,— отвечал я.

— Хотите знать, так и на самом деле я однажды был чуть не богом, когда наш охотничий кутерок по пути в Магелланов пролив захватило штормом у самого мыса Томар. Охота на «попи», как зовут у нас морских котиков-подростков, вконец измотала людей. Все спали точно сурки, а я, как нынче, стоял у штурвала. Один на один с бушевавшим морем. Правда, люки были задраены намертво и вода не проникала во внутренние отсеки, однако море так расходилось, что, того гляди, кутер пойдет ко дну. Раз накрыло такой волной, что думал, уж и не вынырнем, а эти прохвосты дрыхнут себе и знать ничего не хотят. Хоть бы один сукин сын показался на палубе! Я со зла хотел было открыть люк и повытаскивать всех за шиворот, как котят, но тут же подумал: к чему? Спасательную шлюпку давно сорвало и унесло в море. Да и что толку в шлюпке, когда море вокруг ходуном ходит. И знаете? Посмеялся я тогда над собой. Понял, что это сам я струхнул, а не они,— ведь хотел разбудить их, чтобы кто-то стоял рядом. А коли я замечаю в себе, что слабоват, то меня тут же в ярость бросает. Швыряло нас в ту ночь черт знает как, да только я твердо решил: ежели идти ко дну, так оно даже спокойнее, когда спишь. Что толку будить? Все равно никому не спастись... так всю ночь и простоял я один у штурвала, потом стало светать, море утихло. Тогда-то я и пошел их будить, чтоб сменил меня кто-нибудь. Зато на другой день мне казалось, будто всю эту братию я воскресил.

Хозяин умолк, искоса взглянул на меня, однако не затем, чтобы убедиться, поверил ли я в правдивость его рассказа.

— Идите в кубрик, не то, неровен час, упадете с голодухи,— сказал он, добродушно посмеиваясь, и добавил: — Передайте там Чуэ, пусть сменит меня — я перекушу вместе с вами.

Чуэ, молодой, крепко сложенный матрос, пошел к штурвалу, а хозяин присоединился к компании, собравшейся вокруг чугунной печурки, на которой пеклись чорос.

— В море да в шторм пить не положено, однако ради гостя глотку можно промочить,— сказал Эрнандес, открывая ключом шкафчик и доставая оттуда бутыль с вином.

— А ну, Гусеничка, давай куэку,— обратился один из матросов к товарищу, когда с вином и чорос было покончено.

Тот обернулся в сторону хозяина, как бы спрашивая его разрешения.

— Пой, коли просят, и гостю будет повеселее,— согласился Эрнандес.

— А почему его зовут Гусеничкой? — поинтересовался я.

— В порту Чончи есть кабачок старого Кункуны, сам хозяин кабачка поет и играет на аккордеоне, а в наших местах аккордеон зовут попросту «кункуна», то есть гусеница. Парень этот знает на память все песни старика Кункуны, вот за это и прозвали его Гусеничкой.

Певец взял в руки самодельную гитару — деку у нее заменяла обычная доска,— начал перебирать проволочные струны, а его товарищ отбивал такт по ящику из-под свеч, на котором сидел. Под аккомпанемент этого импровизированного оркестра и под шум воды, стекавшей вдоль планширов, зазвучал густой, приятного тембра голос матроса:

Девушки в Кукао
Веселятся с нами,
Ходят перед пасхой
За цветами.

За цветами
Собралися снова,
А мне одна шепнула:
— Мне б от тебя сынка.

Сынка с тобой, дружочек,
Иметь не худо,
Чтоб голосистым был,
Точь-в-точь Кункуна.

Точь-в-точь Кункуна?
Ай-ай-ай-ай!
Раз ухватила парня —
Не выпускай!

Улыбками, одобрительным смехом присутствующих было встречено выступление певца.

Шхуна на полной скорости шла навстречу северному ветру, и волны со все возрастающей силой били о борт. С полуночного черного неба обрушился ливень, по палубе и палубным надстройкам гулко забарабанили капли дождя и срывавшиеся с волн крупные брызги. Море и небо как бы сомкнулись в один грозный вал, гудели каким-то гигантским колоколом, нависшим над судном; в этой кромешной тьме лишь смутно белели, растекаясь по палубе, клочья морской пены.

Вдруг матрос Каркамо крикнул, что видит светящуюся точку на марсе.

— Огни Сан-Тельмо,— мрачно проговорил Ульоа, самый старший по годам из всей команды.

— Не трепись, это каукилес! — оборвал его Хосе Эрнандес, напомнив о маленьких морских светлячках, которых полным-полно в здешних водах.

— Вы, верно, знаете,— обратился ко мне хозяин шхуны,— что если на марсе зажглись огни Сан-Тельмо, то значит — быть беде? Святой заступник предупреждает о кораблекрушении, чтоб моряки заблаговременно готовились препоручить души господу. Только я не верю во всякие россказни о святых да о ведьмаках, которые со светильниками будто бы летают над морем, над островами. Я так думаю, это просто каукилес прилипли к перепонкам лап морских птиц...

Но все же хозяин поднялся и пошел к штурвалу. Мы с Чуэ стояли рядом. Два матроса, оставшиеся в кубрике, с тревогой посматривали в иллюминатор на расходившееся море. Шторм принимал явно угрожающий характер. Мы примолкли, глядя на ревущее море.

— Подтянуть крепления на шлюпке, надеть спасательные пояса, проверить сигнальные фонари! — Едва успел хозяин отдать приказания, как среди бушующего моря возникла какая-то тень.

Штыри штурвала с головокружительной быстротой замелькали в руках Эрнандеса, шхуна круто свернула влево, чуть было не наскочив на странную тень, метавшуюся на волнах.

Я никогда не принимал всерьез слухи о корабле «Калеуче», равно и другие выдумки моряков, но как только из ночного мрака возникло что-то загадочное, пепельно-серое, у меня невольно мелькнула мысль о таинственном корабле-призраке, про который упоминают легенды островитян.

После неожиданного виража шхуну стало было швырять с борта на борт, но Эрнандесу удалось выровнять судно, и оно снова уверенно резало волны.

— Слышен голос,— доложил, заглянув в рубку, Ульоа, выполнявший обязанности моториста.

— Что будем делать? — раздумчиво произнес хозяин.

— По-моему, надо вернуться,— тотчас же подал совет Чуэ.

— Рискованно подставлять шторму хвост...

И все же Эрнандес — бледный от напряжения, а может, это мне показалось в темноте — до отказа вывернул штурвал. «Пумалин» бросало теперь с такой силой, что нам пришлось уцепиться за поручни, однако хозяин, упрямо наклонив голову, казалось, прирос к штурвалу, напоминая в этот момент буревестника в грозовом небе. Судно резко накренилось под напором волны, перекатившей через штурвальную рубку,— и я уже решил, что мы тонем.

Страх на море это совсем не то, что на суше. Когда земля сотрясается от мощных подземных толчков, рушатся здания и город превращается на ваших глазах в руины, вас мгновенно парализует какой-то животный страх; в море же человек борется до последнего, до тех пор, пока не мелькнул в меркнущем сознании огни Сан-Тельмо. Был случай, когда я тонул, и помню, в тот момент передо мной ослепительным ударом молнии пронеслась вся моя жизнь. Как ни странно, но сейчас я подумал совсем о другом — об огромной груде ракушек на палубе... Я отчетливо представил себе, как, опустившись на дно, они трепетно раскрывают свои створки навстречу жизни!

Кипарис лесов Гуаитекас, из которого был сделан каркас «Пумалина», и на этот раз выдержал испытание — судно выпрямилось и двигалось прямо на тень.

— Это «Мария-Анхелика»! — крикнул моторист, осветив фонарем мелькавший среди гребней пены свинцово-серый борт шхуны — она бы-

ла меньше нашей, и волны ее швыряли, будто сорвавшийся с причала плот. Вскоре из штурвальной рубки судна появился человеческий силуэт, до нас донесся еле различимый в реве бури голос:

— Да-а-а-йте конe-е-ец!

— Никак не подойти!...

Еще и еще раз раздалась просьба над ревущими волнами, пока Эрнандес не приказал бросить на шхуну канат. Невидимый человек на палубе поймал конец и стал крепить его на баке. Затем вытравил буксирный канат. Все это он проделал один. На шхуне, кроме него, очевидно, никого больше не было.

Наше судно резко сбавило скорость — на «Пумалин» ложилась теперь двойная нагрузка: в носовую часть били волны и шквальный ветер, а с кормы тянул буксирный канат.

— Вот и поди угадай, что тебя ждет в пути. Не бросать же человека в беде, он и так, похоже, остался без команды,— сказал Эрнандес, как только я вернулся на палубу.

Всю ночь напролет длилась борьба со штормом. Капитан «Пумалина» заботился уже не о скорости, а лишь о том, как бы судно не перевернулось. На наше счастье, к утру шторм затих — так же неожиданно, как он обычно налетает в этих широтах. С восходом солнца мы оказались у острова Лагартиха. Небо прояснилось, исчезавшие тучи открыли сверкающий заснеженной шапкой конус вулкана Осорно. Когда мы миновали остров Тенгло, море уже сияло безмятежной синевой, как сияют глаза озорника мальчишки, только что таскавшего за хвост кошку.

На баке «Марии-Анхелики» появился высокий мужчина с седой головой — точно снежный комок, запущенный далеким вулканом, попал ему на макушку. Сложив ладони рук, он поднял их над головой в знак благодарности.

Когда, наконец, «Пумалин» и следовавшее за нами на буксире судно бросили якорь в бухте Анхельмо, хозяин послал шлюпку за человеком на шхуне. Прежде всего незнакомца напоили черным кофе с агуардьенте *. Все мы промокли до нитки, а на нем, как ни странно, одежда была почти сухой. Молчаливый и спокойный человек этот как-то загадочно улыбался.

— Я должен передать вас морскому управлению Пуэрто Монтт,— сказал ему Эрнандес.

— Я понимаю.

— Что там у вас случилось?

— Оборвались штуртросы **, руль отказал.

— А команда?

— Сошла в спасательную шлюпку.

— А вы?

— Я... Что я?

— А вы, значит, пожелали тонуть вместе с судном, как пишут в книгах...

— Нет...—Человек рассмеялся, но тут же умолк и после паузы, улыбнувшись своей прежней загадочной улыбкой, закончил: — Учуяв беду, они струсили, решили удрать.

— Чертовы дети, бросить судно и своего капитана!

— Они не бросали меня... Мне было противно на них смотреть, я велел им сесть в шлюпку и не беспокоиться обо мне. Они, правда, уговаривали меня, однако я ответил, что на судне мне спокойнее.

— Что у вас в трюме?

— Сухой лес.

---

* Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

** Цепи или тросы, идущие от штурвала к рулю.

— А... Лес. Не потонет! А вы откуда сами?
— Из Кемчи.
— И команда тоже?
— Ну что вы... Где там отыскать подобных храбрецов?

Он снова рассмеялся, и смех его был похож на глухой рокот подземной реки.

Спустя несколько дней шедший с юга катер наткнулся у берегов острова Уар на трупы матросов с «Марии-Анхелики». А шлюпка так и пропала — пустая шлюпка в море всегда найдет себе владельца.

Чокнутая с Ролечи

— А ... это чокнутая с Ролечи,— сказал мне Эрменехильдо Барриа, который у нас на судне был и за боцмана и кока, и за палубного, поскольку понимал толк в любом деле, тогда как сам хозяин барки «Сирена», некий Андраде, торговец из Пуэрто Монтт, выходил в море, мало что смысля в мореплавании. Барриа — рослый и крепкий мужчина, с жесткими, топорщившимися, как щетка, усами, в которых порой, после обеда, застревала лапша, не то какие-либо иные остатки пищи,— хоть и был уже в возрасте, однако, если случалось запутаться в реях парусу, немедля взбирался наверх, ловко перехватывая руками и ногами мачту. Качало его разве только на суше, когда чересчур нагрузится яблочной чичи*. Я служил тогда на консервной фабрике в Кальбуко, арендовавшей барку «Сирена» для транспортировки съедобных моллюсков, которых собирали и очищали от раковин обитатели Чилоэ и соседних островов.

Уже светало, когда мы подошли к Ролече, самому крупному из островов — подводных отрогов Анд, поднимающихся со дна океана у входа в залив Анкуд. Каменистый, усыпанный галькой берег острова здесь образует удобную бухту. Мы бросали якорь и как раз в этот момент заметили на берегу женщину, которая делала нам какие-то непонятные знаки рукой — она то ли звала нас, то ли хотела отогнать прочь, подальше от этого места.

— Чокнутая? — переспросил я.

— Вообще-то она в самом деле больная. Не из тех, что прихихикивают да заманивают к себе прохожих,— вмешался в разговор Андраде.

— Вообще-то она тихая, только изредка на нее находит... больше в полнолуние, говорят,— вернулся к прерванному разговору Барриа, когда мы с ним уже сидели в шлюпке и боцман греб к острову, где я должен был забрать для консервной фабрики очищенное мясо ракушек.

По мере того как мы приближались к берегу, фигура женщины вырисовывалась все отчетливей, хотя в своем вылинявшем на штормовых ветрах черном платье она казалась прибрежным камнем, откатившимся к самой кромке воды. Сидя на корточках, женщина собирала рукой в подоле платья что-то вроде белой гальки и как-то неловко, по-детски бросала ее в воду, отчего издали и казалось, что она не то кого-то зовет, не то с кем-то прощается. Скорее ее можно было принять за хозяйку, рассыпавшую корм цыплятам.

— Море, вишь, кормит...— проронил Барриа.

— Как? Разве это не галька?

— Нет, хлеб у нее накрошен, каждое утро она выходит на берег кормить мужа.

* Алкогольный напиток.

Я посчитал, что Барриа либо шутник, либо немного поэт, либо попросту не в своем уме...

— Состоит, значит, с морем в законном браке...— ответил я, подхватывая его шутку.

В темных плутоватых глазах Барриа заплясали лукавые огоньки, и он стал похож на ведьмака, как описывают их островитяне, но вот огоньки потухли, и голос боцмана прозвучал серьезно:

— Нет, друг, эта женщина потеряла рассудок после того, как ее муж погиб под водой. Он был водолазом, они вместе ходили в море и сынишку двенадцати лет брали с собой. В тот раз их шлюпка стояла у острова Нао, что посреди залива,— налетел шторм, и лодку чуть было не перевернуло. Парнишка в это время тащил из-за борта сетку с отцовским уловом, не удержался и угодил в воду. Мать бросила насос и кинулась спасать мальчонку, а муж и задохся на дне.

— А мальчик спасся?

— Нет, он тоже утонул. Не иначе как покарал ее господь за то, что нарушила закон водолазов. Она-то ведь его хорошо знала. Сама, бывало, спускалась на дно, а муж подавал ей воздух. Кроме нее я не встречал больше женщин-водолазов. Нарушила закон...

— Какой закон?

— Закон на море таков: «Помни о том, кто на дне». Об этом нельзя забывать, если водолаз под водой. Никогда, ни при каких обстоятельствах насос бросать нельзя.

Боцман Барриа обернулся, подыскивая удобное место для причала, и вместо обычной улыбки я увидел сурово сжатые губы и щетину усов — он греб теперь сильными, короткими рывками, будто весла, опускаясь в воду, опирались на что-то твердое.

Шлюпка пристала к берегу. Я пошел к женщине, чтобы разузнать у нее, где забрать улов,— а по правде говоря, слова старого матроса пробудили во мне любопытство, да и женщина вблизи казалась совсем другой. Мне очень захотелось познакомиться с нею.

Едва я приблизился, незнакомка быстро поднялась и деловито отряхнула подол. Это была женщина лет тридцати, высокая и стройная. Темные глаза ее влажно поблескивали на смуглом и худощавом лице.

— Эулалия Архель, к вашим услугам,— сказала она, протягивая мне руку.

— Роберто Кордова, ваш покорный слуга,— ответил я, добавив:— Вы не скажете, где я могу забрать очищенные ракушки?

— Да, конечно,— ответила женщина вполне рассудительно.— Только мы не успели очистить все. Не думали, что барка придет так скоро. Я сейчас оповещу соседей, чтоб разводили огонь. Передохните пока у меня.

Я последовал за нею, а Барриа, с силой налегая на весла, уже греб в сторону «Сирены».

Мы вошли в небольшой дом, крытый сосновой дранкой, почерневшей от непогоды и всяческих штормов, что пронеслись над этим жилищем, наложив мрачный отпечаток беды на весь облик его хозяйки, начиная от одежды и кончая отсутствующим взглядом черных глаз.

— А нельзя ли у вас здесь купить барашка и яблочной чичи? Сколько дней уже не было во рту мяса — одни ракушки...— обратился я к женщине.

— Это надо спросить у священника, он живет по ту сторону мыса— мы сходим к нему попозже. Отдохните пока, а я соберу людей.

Я остался один, подумав, что женщина вовсе не придурковата. В конце концов, бросать в море хлеб — это все равно что носить цветы на могилу любимого; ведь никто не находит странным, если приезжий бросает чайкам кусочки хлеба, чтобы полюбоваться, как птицы подхваты-

вают их на лету, и никто не удивляется, когда, скажем, турист кидает в море монету, чтобы увидеть, как ныряют за ней мальчишки-негритята.

Однако в жизни все оказывается подчас гораздо сложнее, чем мы думаем.

В окно были видны ровные грядки с капустой, репой и морковью, кусты смородины и две-три усыпанные цветами яблони. Стоял ноябрь, на островах — разгар весны. Я обошел весь дом, разделенный тесовыми перегородками на четыре части: здесь была кухня, одновременно служившая и столовой, две спаленки и небольшая гостиная. Я заглянул в комнату, где раньше, по-видимому, спал ребенок, и вздрогнул от неожиданности: рядом с аккуратно прибранной кроваткой под белым покрывалом, расшитым малиновыми, зелеными и желтыми нитками, стояла тумбочка, а на ней — две горящие свечи и череп на деревянной подставочке. На стене, прямо над черепом, висела литография на религиозный сюжет, которая придавала уголку вид алтаря. Со стены смотрел на меня бог, с пышной, как белое облако, седой бородой и огромным светящимся глазом на месте сердца. Многокрасочные рисунки изображали путь человеческой жизни от рождения до смерти.

Сборщики ракушек начали сходиться на небольшой лужайке, между берегом и зарослями кактусов. Две супружеские пары и с ними трое детей суетились над выложенной камнем ямой, разводя огонь. Пока разжигали костер и калили камни, чтобы печь ракушки, мы с Эулалией отправились к дому священника — купить, если удастся, чичу и барашка, которого можно было бы тут и зажарить. По дороге мы почти не говорили. Когда подошли к изгороди, моя спутница, ухватившись рукой за кол, легко перемахнула через слеги. Я последовал за нею, неуклюже перевалив через изгородь, будто впервые оседлавший коня седок.

— Я как ветер,— сказала она с гордой улыбкой.

Такой была Эулалия Архель, чокнутая с Ролечи. Поныне, будто порывами морского ветра, проносятся в памяти воспоминания о трагической истории этой женщины, обо всем том, что она рассказала мне на обратном пути, когда я спросил у нее о черепе...

— Это моего мальчика,— ответила она и, поведя рукой в сторону моря, добавила: — Течением прибило к берегу. Утром вышла на море и вижу, что-то кругленькое белеет прямо против дома. Розовые ракушки облепили его кругом, точь-в-точь лепестки яблони... Принесла домой, помыла и поставила на тумбочку, чтоб нам больше не расставаться... В штормовые ночи не спится, я лежу и слышу, как Лучито ходит по своей комнате, выходит на берег и опять домой возвращается... Сразу отлегло у меня от сердца, как только нашла я головку своего мальчика и свечи зажгла, чтобы душеньке его было покойно... А старик мой, Рамон, так и не вернулся — вот и ношу я ему по утрам завтрак... Посмотрите, как остров Нао похож на корабль и аррайан* цветет посреди него, белым парусом полощется. Туда выносит кости утопленников, а еще мертвых китов и дельфинов — вот и разросся на их косточках аррайан, так бывает с картофелем, ежели подсыпаешь в землю золы... Только нет на том острове косточек моего старика... Остались они глубоко на дне моря, в скафандре, крепко держат свинцовые башмаки водолаза в том самом месте, над которым я бросила насос, чтоб спасти моего Лучито... Покрылись кости ракушками и стоят, будто деревце в цвету, колышутся под водой, как на ветру... Цветет аррайан на острове Нао, растет на косточках утонувших. Может, и мой старик стоит на дне, ровно деревце, весь обряженный в кораллы и ракушки?.. Говорят, будто я рехнулась, что хлеб кидаю в море, да только откуда людям знать про нашу с Рамоном жизнь. Мы ведь оба были водолазами. Я сколько раз спускалась

* Дерево из семейства миртовых.

на дно в том самом месте и собирала чорос, крупные — с башмак. Им не понять, что такое закон водолаза: «Помни о том, кто на дне»... А я преступила этот закон, чтоб спасти Лучито... Еще знаете? Я ведь в море бросаю не хлеб, а картофельные милькао — лепешки с салом, они тут у нас вместо хлеба. Бедняжка Рамон их очень любил... Пусть волна отнесет их Рамону, как она Лучито мне принесла... Рамон всегда говорил, когда лов был удачный: «Вот нам и хлеб...» — При этих словах Эулалия громко и как-то странно рассмеялась.

Многие жители Ролечи уже расселись вокруг раскаленной от огня каменной ямы. В нее, точно в огнедышащую пасть преисподней, ссыпали из мешков ракушки и, прикрыв их широкими листьями болотницы и папоротника, положили поверх листьев картофельные лепешки милькао, разделанную тушку барашка и несколько рыбин, после чего прикрыли все это нарезанным неподалеку дерном.

Не только барашка, но еще две бутыли крепкой яблочной чичи раздобыли — и, не дожидаясь, пока будет готова еда, мы пустили вино по кругу. Сидя вокруг холмика, обложенного дерном, внутри которого запекались ракушки, баранина, картофельные лепешки и рыба, и глядя на струйки пара, вырывавшиеся из этого дышавшего жаром вулканчика, люди постепенно разговорились. Эулалия наравне со всеми участвовала в беседе. Один поведал, будто видел летящих по воздуху ведьмаков в жилетках из женской кожи. Другой божился, что на его глазах с острова на остров перескакивали морские кони, и у каждого на спине сидело по семь колдунов, и будто кому-то удалось привязать к плетню такого коня, а вместо копыт у него были ласты, как у моржа. Один из присутствующих побывал в свое время в Антарктиде и сказал: «Нет ничего удивительного, что есть морские кони, раз существуют на свете и морские львы, и морские слоны, и морские волки».

Подошел еще народ, и все оживленно захлопотали вокруг остывавшего очага. Мужчины снимали пласты распаренного дерна, женщины разбирали листья болотницы и папоротника, в которые были завернуты рыба и баранина. На самом дне ямы осталась груда раскрывших створки ракушек — их предстояло очистить и сдать на консервную фабрику.

После плотного ужина один из мужчин вытащил завернутый в мешок из-под муки небольшой аккордеон, и полились звуки незатейливых вальсов и матросской куэки. Когда музыкант заиграл вальс «Душа поет», я не выдержал и пошел танцевать с Эулалией. Она плавно двигалась рядом со мной, опустив лицо, не отрывая глаз от земли, точно силилась разглядеть что-то в ее таинственной глубине. И ни разу не обернулась в сторону моря...

— Вчера вы совсем было голову потеряли,— сказал мне наутро боцман Барриа, когда наша барка проходила мимо острова Нао, и добавил, лукаво усмехнувшись: — Нипочем не хотели возвращаться на судно, пока я не пригрозил, что, мол, если добром не пойдете, так возьму весло, оглушу, привяжу к корме шлюпки и волоком доставлю на борт «Сирены», как норовистую лошадь, когда она шарахается от воды.

Усы боцмана поползли вверх, и он улыбнулся, словно удивляясь чему-то,— так, должно быть, выглядел бы морской лев, удивленно разинувший усатую пасть при виде морского коня.

После этой поездки на острова я бросил службу на консервной фабрике и уехал на север. Прошло несколько лет, прежде чем я вернулся обратно. Как-то, остановившись проездом на Ролече, я спросил местных жителей о чокнутой Эулалии и узнал, что уже давно ее так никто не называет. Она вышла замуж — не за водолаза на этот раз, а за крестьянина с того же острова. Муж уговорил ее отнести череп на кладбище; а кроме того, сказали мне люди, у нее уже трое малышей.

АНТАЛ ГИДАШ

ВСЕ СНОВА ВИДИТСЯ...

Перевод с венгерского
Л. МАРТЫНОВА

В конце двадцатых и начале тридцатых годов Московская ассоциация пролетарских писателей была не фигурально, а буквально маленьким литературным интернационалом. Вокруг нее группировались секции революционных эмигрантов — писателей немецких, венгерских, латышских, эстонских, литовских, польских. В ее рядах состояли одиночки-писатели: итальянцы, болгары, румыны... Все они группировались вокруг тех или иных изданий, выходивших в Москве на языках народов их стран. И все они были участниками тех литературных боев, которые происходили тогда в Москве.

В те годы я был секретарем МАППа и, по характеру своей работы, был органически связан со всем нашим мапповским «интернационалом».

Венгерская секция МАППа была одной из активнейших. В нее входили такие писатели, как Мате Залка, Бела Иллеш, Лайош Киш, Шандор Гергей, Андор Габор, Эмиль Мадарас, Антал Гидаш... Все это были люди с богатейшей жизненной и революционной биографией — или прикосновенные к борьбе за советскую власть в Венгрии, или бойцы и командиры интернациональных формирований Красной Армии, участники гражданской войны. Они были в полной мере «своими людьми» среди пролетарских писателей-москвичей, активными участниками всех литературных баталий тех дней, они же составляли и активнейшую часть организаторов зародившегося в те годы Международного объединения революционных писателей.

Вот тогда-то я и познакомился с Анталом Гидашем, моим ровесником, которому на исходе нынешнего 1969 года исполняется семьдесят лет.

Не помню точно где — то ли на каком-то дискуссионном собрании, то ли на собрании венгерской секции, Мате Залка подвел меня к широкоплечему, ладно скроенному и крепко сшитому человеку с львиной гривой черных вьющихся волос, с пламенным взглядом черных глаз, обличающих неудержимо темпераментного южанина.

— Вот, познакомься, Алеша, это наш Петефи в изгнании — Антал Гидаш... Хороший парень и боевой поэт... Я думаю, вы с ним поладите... Он тоже человек хорошего красноармейского темперамента, хотя в здешней гражданской войне и не участвовал, а был в Венгрии, когда она хотела стать советской республикой...

Так состоялось мое первое знакомство с человеком, взлеты и превратности судьбы которого могли бы составить содержание большого, многотомного романа о сыне нашего беспокойного двадцатого века.

Наше знакомство быстро перешло в дружбу соратников и единомышленников. Мы вместе участвовали во всех литературных и политических боях двадцатых и тридцатых годов. Вместе рьяно и увлеченно отстаивали партийные позиции в литературных делах. И вместе ошибались...

С Гидашем было легко дружить потому, что даже в самые трудные полосы своей судьбы он никогда не переставал — ни на минуту, ни на секунду — быть революционером, коммунистом, поэтом, темпераментная песня которого всегда была тесно спаяна с его делами и помыслами революционного бойца.

В 1930 году вышла первая книжка переводов стихов Гидаша на русский язык «Венгрия ликует». Она сразу же нашла заинтересованного читателя среди русских любителей стиха.

В предисловии к этой книге А. В. Луначарский, отметив, что автор «является одним из крупнейших и темпераментнейших поэтов современной Венгрии», особо подчеркивал, что «это поэт венгерской революции, широко популярный среди сдерживающих свое революционное негодование рабочих и крестьян его родины».

Напомнив, что «многие его стихотворения рабочие и крестьяне знают наизусть, многие стали популярными песнями», автор предисловия называл Гидаша «прямым потомком Петефи».

И это была справедливая оценка, целиком подкрепляемая содержанием книги, где наряду с горечью воспоминаний об утопленной в крови венгерской коммуне 1919 года:

Отчизна! Венгрия моя!
Как скорбен лик твой на закате!
Нас душит белое проклятье,
Пора нам петлю с шеи снять
Навеки,—

постоянно, разгораясь от стихотворения к стихотворению, от песни к песне, звучит гордая, пламенная вера в будущую победу рабочих Венгрии, рабочих всего мира, ибо:

На небе огненной дугой
Дыбятся облачные горы,
И бурно дышащие хоры
Ночную гонят тень.
И на ступень
Десятилетия второго
Ложится, как цветок, приветственное
слово
Коминтерн.

Читая стихи этой книги и сборников, вышедших вслед за ней («Колонии кричат!», «Эва» и другие сборники и циклы), понимаешь, насколько прав был Луначарский, когда писал:

«Вы чувствуете за строфами поэта дрожь его нервов, биение его сердца, скрип его зубов. Это действительно настоящие песенные крики наболевшего сердца».

Революционер-интернационалист, Гидаш, будучи певцом гнева и боли своей растоптанной фашистским сапогом родины — Венгрии, чуял боль, обиду и волю к борьбе всех рабочих мира, всех угнетенных тружеников порабощенных империалистами народов колоний. И, будучи принят как свой среди своих в советской стране, в которой он видел надежду всех угнетенных мира, в годы великих экономических и социальных преобразований, происходивших у нас, писал стихи, посвященные трудовому героизму советских людей. Его «Марш ударных бригад», в котором звучали зовущие на трудовой подвиг строки:

Гудит, ломая скалы,
Ударный труд!
Прорвался песней алой
Ударный труд!
В труде нам слава и почет,
Для нас кирка породу бьет,
Для нас и трактор по полю
Идет, гудет,—

был подхвачен миллионами строителей социализма, которые, проходя по Красной площади, пели эту песню, как клятву, произнося энергичные, зовущие, как набат, строки припева:

Бей с плеча!
Бей с плеча!
Даешь программу Ильича!
Даешь!
Даешь!
Даешь!

Но не только революционным набатом звучали строки Гидаша. Они в стихах, подобных циклу «Эва», наполнялись теплом задушевной лирики, и чем больше трудностей приходилось ему преодолевать на жизненном пути, тем внутренне сосредоточеннее становилось лирическое начало в его стихах. В них, этих лирических стихах, в которых слышны отзвуки горечи, отзвуки боли недавно перенесенных страданий и испытаний, невеселое чувство тяжести возраста, как солнечный луч сквозь тучи, непременно, всегда пробивается жизнелюбие борца-революционера, гуманиста, уверенного в единственной правоте дела, которому отданы лучшие годы, вера в людей и их счастливое будущее.

Каким светлым, чистым чувством радости и доверия к жизни звучат заключительные строки стихотворения «Легенда и действительность», посвященного волнующей теме возвращения поэта после тридцатилетних скитаний на родину, на «улицу Жасмина», улицу его детства и юности:

Здравствуй,
улица Жасмина —
хребтовина из металла!
До чего ж ты мощной стала,
до чего ж ты стала статной!

Так вот и живи всегда
и ни шагу на попятный!
Радость мирного труда
разливай в своей великой
всеобъемлющей любви.

Года три тому назад, во время одной из моих поездок в Будапешт мы ходили с Гидашем по городу, по улицам, где прошло его детство, его юность, где были истоки

тех песен, которые, став безымянными, пелись на этих улицах рабочих кварталов во времена режима Хорти и не забыты людьми и по сие время.

На улице Жасмина, выходящей к железнодорожным путям, слушая перекличку паровозных гудков и перестук колес, мы вспоминали годы нашего знакомства и дружбы, не омраченные ни единым разномыслием или отступничеством, вспоминали о том, как поэт Гидаш превращался в прозаика, автора цепи романов о «господине Фицеке», эпически повествующих о развитии рабочего революционного движения в Венгрии. Вспоминали наши дороги в жизни и поэзии, дороги, на которых у моего собеседника было больше ухабов и рытвин, чем у меня.

И тогда, как и сейчас, когда я пишу эти заметки к семидесятилетию моего друга, человека нестареющего сердца и таланта, в моей памяти возникли написанные им в недавние времена строки:

Спрашивал закаты,
спрашивал рассветы —
нужно было, надо
затевать все это?
У души, у разума
и у шрамов спрашивал,
что ношу на теле:
нужно ль в самом деле?
Сорок лет как вихри
мчат меня по свету.

Если б можно было,
вновь бы начал это.

АЛ. СУРКОВ

▪ ▪ ▪

Зажмурился уголек,
как будто бы он спать залег,
но только дунь, но только тронь —
и снова выбьется желанье,
как будто кровь после укуса,
пылающая, как огонь.

▪ ▪ ▪

О, это лето молодое,
когда несется заревое
ликующее «ха-ла-ли!»,
чтоб въявь отозвались вдали
«ла-ла, ла-ли!» —
радары леса — соловьи,
готовы возвратить мне вновь
своим признанием обратным
твой луч сияющий, любовь!

И вот тогда,
уже седой,
с опущенною головой
сижу и вспоминаю я,
что жизнь потрачена не зря.

Солнце, Земля, Луна

Любила.
Но оторвалась ведь все же,
в отдельную умчалась вышину
и, осознав: возврата быть не может,—
сронила желтую слезу —
Луну.

Смотрела.
Лоб взморщинила горами,
густой листвы надела чешую,
прикрыла грудь безмолвными морями,
тоску по Солнцу скрыла в глубь свою.

И постепенно
будто все забылось,
но через лунно-слезные лучи
все снова видится...
И лава страсти
кипит, сияет, корчится в ночи.

▪ ▪ ▪

Девушка-Луна, вся обнажена,
над горою Геллерт воссияла,
алчною ватагой звезд окружена,
и — ни облачка на ней, ни покрывала.

Через 36 лет

Был день осенний...
— Хорошо бы,—
подумал я,—
домой теперь.

Я постучался...

Непонятно:
Мне мама не открыла дверь.

Маяковскому

Тащу в себе колосса.
Тяжело!
Но он настолько нежен,
что сам мне помогает в себе тащить его.

▪ ▪ ▪

Иду дорогой, слушая
молчание гнетущее
всех четырех
стихий.

Пора такая выдалась,
что обретает видимость
потусторонний
мир.

Светает ли, смеркается,
но что-то надвигается,
в чем тонет
голос мой.

И снова явь когтистая
клюет меня. Один стою!
Стемнело.
Где же ты?

▪ ▪ ▪

Листки-подростки
за листом листок
на веточках ерошит новая весна,
а я от смерти так уже далек,
как будто бы вчера пришла она.

▪ ▪ ▪

Когда однажды рухнет мост,
то никакой уж Гидаш новый
по-старому не возведет
его громадные основы.

Другой воздвигнется пролет,
другие перейдут народы
на берег незнакомый тот
под безучастным небосводом.

■ ■ ■

Есть смысл? Нет смысла? — полон дум,
взывает изнуренный ум.
Блестит звезда.
Вселенная молчит.

Стареешь? А спросить кого:
к чему все это? Для чего?
Блестит звезда.
Вселенная молчит.

Где все они, с кем вырос я,
и в чем же сущность бытия?
Блестит звезда.
Вселенная молчит.

Вот так гадаю, сам не свой,
жилец секунды световой.
Блестит звезда.
Вселенная молчит.

Не лучше ль сразу эту нить
прервать? К чему все это длить?
Блестит звезда.
Вселенная молчит.

■ ■ ■

Солнечный
осенний луч,
глянь, пробившись между туч,
мне в лицо, еще живое.
Это время буревое
ухватил бы я, могуч,
за бодливый рог рукою!
— За бодливый рог рукой?
Прок какой ловить мгновенье?
Ну, так, значит, успокой смертное мое смятенье
и бессмертья мощью мнимой — иль не мнимой —
озари мой
бунтовской, неукротимый
облик, что живуч средь туч,
как и ты,
осенний луч.

Р. САМАРИН

ВОЕНИЗАЦИЯ ЧТИВА

Милитаристский роман в США

Как бы ни были сложны и разнообразны сегодня пути развития литературы и искусства в капиталистических странах, как бы ни отличались они друг от друга, есть между ними и черты сходства, некоторые, так сказать, родовые признаки. К их числу относится и милитаристская тенденция, присутствующая в любой из этих литератур и выражающая страх буржуазного мира перед ходом развития истории — а идеологи буржуазии не могут представить себе его без новых и новых «локальных» и «глобальных» войн, в конечном итоге носящих антикоммунистический характер. Эта тенденция связана и с неоколониализмом, и с общим направлением политики крупных монополий, и с потаенной или явной мечтой о «сильной власти», которая могла бы железом и кровью спаять некую пан-Европу или навязать народам мира некое «мировое правительство» из числа наиболее энергичных и предприимчивых боссов современного буржуазного общества.

Однако на общем фоне литературы такого рода, выражающей интересы империалистической реакции различных стран, особенно выделяется продукция американских и западногерманских издательств. Что касается последних, то издаваемые ими книги реваншистского и неонацистского содержания основываются на немалом опыте в изготовлении литературы такого рода, обретенном накануне и во время второй мировой войны еще в годы гитлеризма. У американских издательств практика такого свойства была еще четверть века тому назад не столь обширной. Но сейчас, вместе с неонацистскими пропагандистами раздувая огонь войны на Ближнем Востоке, вместе с ними способствуя подъему реваншистских настроений и служа НАТО, а особенно — оправдывая и восхваляя грязную войну во Вьетнаме, барды американского империализма ни в чем не отстают от своих коллег из Западной Германии.

■

Книги о войне, беллетристические или публицистические по форме, а по содержанию на разные лады восхваляющие империалистический разбой, появились в литературе США уже на исходе прошлого века. Испано-американская война и связанная с нею аннексия Филиппин вызвали к жизни волну специфических изданий такого рода — пожалуй, первую в литературе США, если не считать, скажем, романов писателя-южанина Симмса, воспевшего истребление индейцев (роман «Иемасси»), или корреспондента-южанина Дж. Кука, выдвинувшегося в годы гражданской войны и положившего в своих книгах начало идеализации американской военщины («Сэрри из «Орлиного гнезда», 1866; «Последние дни Ли и его паладинов», 1869). От Кука пошел жанр военной биографии в литературе США, в дальнейшем представленный многими парадными «житиями» американских полководцев XIX—XX веков.

Незадолго до нападения США на испанские колонии в Западном полушарии появилось четырехтомное сочинение будущего президента США Т. Рузвельта «Завоевание Запада» (1889—1891), поднимавшее кулачное право на уровень национальной традиции, конечно, «демократической» в понимании Рузвельта. В статьях об испано-американской войне и об аннексии Филиппин Т. Рузвельт еще более определенно заявил о своих империалистических идеалах. Он славословил американскую экспансию (статья «Экспансия и мир»), гонку во-

оружений (статья «Готовность и неподготовленность к войне»). Нет тех насмешливых и отрицательных эпитетов, которых не вспомнил бы Т. Рузвельт, говоря о мире. В экспансии он видел «здоровье нации», состояние мира для него было «позорным», «бесславным», «жалким», «недостойным». Р. Дэвис, автор развязных и кровожадных корреспонденций с места военных действий, был предвестником американских военных корреспондентов более позднего времени, поставлявших и поставляющих сегодня реакционное чтиво для периодики США. Империалистическая активность США неуклонно возрастала с каждым годом XX века. Армия США становилась инструментом реакции, послушно действовавшим как при подавлении революций и восстаний за пределами США, так и при кровавых расправах с американскими рабочими и фермерами. Продолжалось порабощение государств Латинской Америки, начатое еще мексиканской войной 1848 года.

Первая мировая война укрепила позиции литературы империалистической реакции в США. Уже в те годы США претендуют на некую особую международную миссию, якобы осуществляемую ими в Европе и во всем мире. Когда США выступили вместе с державами Антанты против молодой Советской России, то к этой претензии прибавилось стремление американских политиков играть ведущую роль в первых антикоммунистических крестовых походах, о чем немало писалось в прессе тех лет. Правда, с книгой, в которой без прикрас изображены американские оккупанты на севере России, выступил Э. Синклер («Джимми Хиггинс»); были и другие честные американские писатели и публицисты, смело поднявшиеся на защиту молодой Советской республики и обличавшие американский империализм. Но не в их руках была большая пресса, не устававшая клеветать на большевиков и призывать к расправе с ними. Между двумя войнами антисоветский империалистический потенциал литературы США заметно усилился. Стоит упомянуть хотя бы роман американского журналиста Флойда Гиббонса «Красный Наполеон» (1929), вышедший тремя тиражами в течение одного года. Это повествование рисовало войну между «красным Востоком», во главе которого стоит СССР, и «белым Западом». Победоносный потомок Чингисхана, советский полководец Карахан, подчинив себе советизированную Европу, переносит войну на территорию США. Только там, при содействии некой шпионки из английского королевского дома, удается нанести окончательное поражение «желто-красной агрессии». Двойной пропагандистский расчет автора книги — и расистский, и классовый — совершенно очевиден, как очевидна и литературная беспомощность Ф. Гиббонса.

Однако при всех своих жалких литературных качествах эта книга наметила линию, которая продолжает развиваться и сейчас. Нехитрый, но сильно действующий на обывателя арсенал ее политических идей в обоих его аспектах в полной мере усвоен нынешними поставщиками империалистического чтива в США. В годы второй мировой войны и в первые послевоенные годы честные писатели и журналисты — некоторые из них были участниками великой антифашистской войны — выступали с произведениями, разоблачавшими империализм, но было немало книг, отстаивавших особое положение США в этой войне, культивировавших милитаристские и расистские настроения, подготавливавших новую концепцию роли США как гегемона послевоенного мира, «мирового жандарма». Достаточно вспомнить «Турне по обязанности» (1946) Дос Пассоса, служившего военным корреспондентом. Это дневник корреспондента, высадившегося в Европе, когда военные действия почти заканчивались. Эта книга носила откровенный антикоммунистический и антисоветский характер. Еще в 1944 году, в разгар войны, некто Э. Л. Лесснер в романе «Призрачная победа» рисовал такую картину будущего: державы-победительницы сами терпят поражение от побежденной Германии; США и Великобритания вынуждены капитулировать перед сохранившим свои силы фашизмом. Они заключают договор с новым фюрером — неким Фридолином, возглавляющим подпольный «Потсдамский союз», который состоит из бывших офицеров немецкой армии. В дальнейшем Фридолин, поощряемый Англией и США, под предлогом «спасения цивилизации» восстанавливает военный потенциал Германии и вновь ввергает человечество в истребительную мировую войну.

Странно читать эту книгу сейчас, когда многое из пророчеств Лесснера сбывается самым поразительным образом. А в те годы некоторые американские критики подсмеивались над Лесснером!

Очень двусмысленное впечатление оставляла по себе книга американского военного корреспондента Дж. Херси «Хиросима» (1946), написанная по заданию еженедельника «Нью-Йоркер» и переведенная на многие языки.

С одной стороны, Дж. Херси, опираясь на показания очевидцев, восстанавливает страшную картину гибели японского города в море огня. С другой — Херси не просто повествует об этом страшном преступлении американских империалистов, и тем более не осуждает их, а запугивает читателя сценами массовых смертей и страданий. Его книга — своеобразная дубинка, средство психологической войны, подействовавшее безотказно. Авторы «атомных романов», появившихся вслед за «Хиросимой», в основном шли за Дж. Херси, пользовались его сильной книгой как справочником о том, как именно погибают люди при взрыве атомной бомбы.

Путь Дж. Херси — путь сложный; во время войны он выпустил ряд книг о боевых эпизодах на тихоокеанском театре военных

действий. Но эти книги лишены связи с антифашистскими идеями. Затем он выступил с романом о второй мировой войне — «Колокол для Адано» (1944), где изображал поведение американских армий в Италии именно в духе концепции «особой миссии» США в Европе.

Позже Херси написал роман «Возлюбивший войну» (1959), посвященный событиям второй мировой войны и являющийся своеобразным литературно-психологическим этюдом, анализирующим сознание современного военного летчика, находящего удовольствие в своем разрушительном и смертоносном занятии. Антиимпериалистическая направленность этого романа, как мне кажется, часто преувеличивается. Преувеличивается и критическая тенденция фантастического романа Херси «Покупатель детей» (1961), содержащего в себе элементы сатиры на американскую систему воспитания — не больше. Но как бы ни оценивать путь писателя после 1959 года, очевидно, что его книги, написанные во время войны или вскоре после нее, отнюдь не служили гуманистическим и передовым идеям нашего времени.

На рубеже сороковых и пятидесятых годов в литературе США — как, впрочем, и многих других литературах мира — обостряется идейный спор вокруг наследия второй мировой войны. Появляется ряд заметных произведений на эту тему.

С одной стороны, Э. Синклер в своей серии романов о приключениях Ланни Бадда, американского политического агента в мире, охваченном второй мировой войной, проделал эволюцию от резкой критики нацизма до защиты политики США, Англии и Франции, направленной на «сдерживание» сил социализма, до антикоммунистической стряпни. Из массы фактов, фигурирующих в этой серии романов Э. Синклера, постепенно все определеннее складывалась тенденция возвеличения американского империализма, великодержавная американская концепция, славившая стремление американской военщины и поддерживавших ее монополий к созданию мировой американской державы.

С другой стороны, в романе Ст. Гейма «Крестоносцы» (1950), немецкого эмигранта, участвовавшего в войне в рядах армии США, а затем переселившегося в ГДР (Ст. Гейм писал по-английски), была сказана горькая правда о реакционных настроениях среди американских военных.

Тема сближения, а затем и срастания американской военщины с недобитыми нацистами в Западной Германии, поставленная Стефаном Геймом, была характерна и для многих других романов. Эта тенденция вызвала различную реакцию — одними писателями она одобрялась, как это видно из книги Дж. Дос Пассоса «Турне по обязанности», другим давала повод для двусмысленной иронии, как в романе западногерманского писателя Г.-В. Рихтера «Линус Флекк, или Утрата достоинства» (1959). Даже в романе Э. Хемингуэя «За рекой в тени деревьев» (1950), в котором ясно чувствуются антифашистские настроения писателя, его ощущение острого противоречия между победителями, не только не снятого победой над нацизмом, но, пожалуй,— с точки зрения героя книги, американского полковника Контуэлла, и самого писателя — еще более обострившегося в начале 50-х годов.

К произведениям, пытавшимся относительно объективно разобраться как в опыте только что законченной войны, так и в том, что представляет собою огромная военная машина американского империализма, поднявшаяся до такой степени политической мощи, какая раньше казалась недостижимой для нее, принадлежит сильный роман Н. Мейлера «Нагие и мертвые» (1948), о котором немало писала критика.

Сегодня, может быть, сильнее, чем раньше, видна антифашистская тенденция, присутствующая в этом первом — и лучшем — романе Н. Мейлера. По существу, Мейлер рассказывает о том, как воспитывают в простом американце квалифицированного убийцу нацистского типа. Генерал Каммингс, отлично вылепленный тип американского военачальника XX века, откровенно говорит о своей симпатии к нацистам. Наряду с Каммингсом выведены солдат Галлахер, сержант Крофт; это готовый материал для восприятия тех военных концепций нацизма, которые проповедует Каммингс. Американской армии грозит опасность фашизации, утверждает Мейлер. Устами своих персонажей он высказывает мысль о том, что победа во второй мировой войне выведет США на новую политическую орбиту, где американским политическим деятелям уже не надо будет скрывать свои истинные агрессивные планы и намерения. Того, что не удалось Германии — завоевание мировой гегемонии,— удастся добиться Штатам, так рассуждает генерал Каммингс.

Из книги напрашивается вывод, что сопротивление фашизации армии, противодействие Каммингсам и их хозяевам — безнадежно. Конечно, есть в армии честные и думающие люди вроде солдата Уилсона или офицера Хирна. Им претит политика Каммингса и его подчиненных. Но они терпят моральное поражение, кульминация которого — сложный конфликт рефлектирующего, слабого духом Хирна и самого Каммингса, упоенного своей властью и силой.

Слабость позиции Мейлера — очевидна. И все же его книга была, пожалуй, первым тревожным сигналом, заставляющим думать о том, кого и как готовят в лагерях США для будущих битв за мировое господство. Книга носила пессимистический характер. Солдаты и офицеры Мейлера, пытающиеся бороться против фашистских тенденций, терпят поражение. Уже в этой книге Н. Мейлера ощущаются те экзистенциалистские веяния, которые затем стали важной стороной философии Мейлера и помешали ему в работе над его талантливой книгой-памфлетом «Почему мы во Вьетнаме» (1968).

Близок к позиции Н. Мейлера был и та-

лантливый романист Дж. Джонс, обративший на себя внимание романом «Отсюда — в вечность» (1951). И здесь перед нами, как и в «Нагих и мертвых», «история взвода», в жизни которого отражаются противоречия американского общества. «Массовик» — обыватель в военной форме — испытывает беспощадное давление начальства, и все же от него, «массовика», зависит бесконечно многое в жизни общества, как это было показано некогда в романе Синклера об американском рабочем, которого так и не смогли превратить в наемника империалистической реакции. Но, в отличие от «Джимми Хиггинса», герои Дж. Джонса слабы, разобщены, одиноки; они могут быть способны только на истерические выходки, им не найти дороги к тем силам, которые помогли бы им в их борьбе.

Хотя действие романа разыгрывается накануне второй мировой войны, за считанные дни до нападения на Пирл-Харбор, целью романа было, безусловно, не только показать армию в начале войны, но и попытаться представить себе будущее вооруженных сил США. Это будущее безрадостно: Джонс видит, что вооруженные силы США превращаются в инструмент реакции, в армию, подчиненную империалистическим кругам и их интересам. Несмотря на то что в позиции авторов этих двух романов есть уязвимые стороны, при всех их недостатках они помогают осмыслению американской действительности, способствуют критике тех сил, которые насаждают в армии США фашистскую военную доктрину. Если учесть, что книга Джонса была опубликована в 1951 году, ее нельзя не поставить в ряд с теми явлениями в культурной жизни США, которые были порождены событиями корейской войны — этой новой авантюры американского империализма.

В 1962 году вышел еще один роман Дж. Джонса — «Шеренга»,— который в пацифистских тонах, свойственных художнику уже в его первом романе, изображает бои на полуострове Батаан (тихоокеанский театр войны). В отличие от боевых репортажей Херси, посвященных как раз тем же эпизодам, перед нами — трагическое восприятие событий, полное скорби о людях, гибнущих в горниле войны.

И для Н. Мейлера, и для Дж. Джонса характерна очевидная натуралистическая тенденция. В описании боев она предпочтительнее лихого стиля иных авторов военных романов. Но сама по себе она губительно отражается на всем складе их произведений. Если это не гнетущие сцены, в которых профашистски настроенные вояки торжествуют над своими слабодушными противниками, то это не менее угнетающе действующие сцены боевой страды среди джунглей, где смерть грозит всюду — не от пули или ножа, так от ядовитого гада или неизвестной болезни. Описания страданий, болезненных состояний, депрессии, душевной потерянности человека, сделанные рукой опытных и талантливых художников, сливаются в некую стихию страха.

■

Хотя корейская война породила большую публицистическую литературу (преимущественно корреспонденции и обзоры, статьи в журналах и т. д.), в литературу художественную эта тема не прорвалась с такой силой, чтобы о ней был смысл упоминать в нашей статье. Правда, резко изменился самый характер публицистики, открыто занявшей позицию восхваления вооруженных сил США и ООН, принимавших участие в этом очередном походе США против коммунизма. Авангардная роль американского империализма в этой кампании была как бы признана и подтверждена в том потоке газетных и журнальных материалов, которые восхваляли поведение американской военщины в Корее.

Но империалистический потенциал наращивался в литературе США за счет своеобразной военизации обывательского чтива, и начало этого процесса относится как раз к годам корейской войны.

Перелом в отношении издательств к «военной» литературе происходит в 1948 году. За этот год было издано 270 американских «военных» романов.

После второй мировой войны, как известно, наметился заметный спад интереса широкого читателя к литературе и кинофильмам о войне. И к выпуску «Нагих и мертвых» (начало 1948 года) издатели отнеслись скептически. Даже после сенсационного успеха книги ситуация почти не изменилась. И только повторная сенсация конца 1948 года («Молодые львы» Ирвина Шоу) положила начало буму «военной» литературы (1951—1956).

Переиздается вся литература о первой мировой войне — Хемингуэй, Фолкнер, Дос Пассос, У. Марч («Рота «Кей»),— а также ранее не имевшие успеха романы Айры Вулферта, Фр. Уэйкмена, Джона Х. Бёрнса и др.

Эталоном в то время провозглашаются «Отсюда — в вечность» Джонса, «Мятеж на «Кепне» Вука, «Боевой клич» Леона Уриса, «Шестое июня» Лайонела Шапиро, «Шлюпки — от борта!» Кеннета Додсона. Последние четыре и намечают боевую схему милитаристски-пропагандистского романа-чтива. Обращает на себя внимание обилие во время корейской войны литературы, изображающей в духе пацифизма 20—30-х годов жестокость, бессмысленность, противоестественность войны вообще («Враг» Уирта Уильямса), подчеркивающей «традиционный пацифизм американца» (тезис Джона Маккормика): «Галерея» Дж. Х. Бёрнса, «День, когда кончилось столетие» Фрэнсиса И. Гуолтни.) Эта же тенденция отчетливо проступает и в нескольких первых романах о войне в Корее. Типичен с этой точки зрения роман Уота Шелдона «Дрогнувшая звезда». Бесстрашный пилот, пощадивший в бою противника, объявлен трусом и разжа-

---

Р. САМАРИН

ВОЕНИЗАЦИЯ ЧТИВА

лован. Трус, атаковавший с воздуха в истерическом припадке неприятельский танк, объявлен героем. Их командир, полковник, увидев на земле, что он со своими «ребятами» натворил, пустив в действие напалм, близок к помешательству, уходит из армии и ищет спасения в религии.

Эта ситуация может показаться идущей вразрез с пропагандой войны в Корее, раздувавшей милитаристский психоз. Но так дело обстоит лишь на первый взгляд.

Чтобы разобраться в этом положении, необходимо учитывать следующее. Это период, когда вся американская военная доктрина переживает так называемый «термоядерный самогипноз». Тон всей военной пропаганде задает командование ВВС, подчинявшее себе («доктрина Спаатса — Серверского» и «проект Виста») всю военную и военно-пропагандистскую машину США. Стремясь сосредоточить все руководство военным аппаратом и стратегией в руках командования стратегической авиацией (как наносящей атомный удар), командование ВВС ведет в конце сороковых и начале 50-х годов яростную кампанию по дискредитации «традиционных» форм войны — ставка сделана на то, чтобы внушить «среднему американцу» мысли о «чистой войне», избавляющей его от тягот фронта. Исследователь американского романа Альберт Ван Ностренд очень тонко подметил, что дискредитируется в первых романах о Корее *только* позиционная война.

Эта коллизия достигает кульминации в провозглашении Даллесом (12 января 1954 года) курса «массированного ядерного возмездия». Крах и отмена этого «курса» (1957) нашли свое военное определение в формуле генерала Дж. Гейвина — «вернуть войну на поле боя».

Смещение центра тяжести в массовой военно-пропагандистской литературе в сторону безудержной героизации американского солдата-захватчика, «непобедимого убийцы» происходит в самом широком масштабе во второй половине 50-х годов. Это время монополизации издания военно-пропагандистской литературы несколькими издательствами, среди которых первое место занимает издательство «Беллентайн букс». Оно создает, в частности, усердно рекламируемые «Клуб военной книги» и серию «Библиотека военнослужащего». Оно широко привлекает военных (генерал Туайнинг, генерал Скотт и др.) и создает кадры мастеров литературной обработки сырого документального материала в духе увлекательного чтива (Эдв. Х. Симс, Гордон Т. Олред, Мартин Кейдин и др.). Выпущенные этим издательством романы о корейской войне, например, «За пределами доблести» К. Блера, «Спустите тигров» полковника Уота Лесли,— это уже чисто милитаристские боевики. В том же духе выдержаны и бесчисленные книги «документального» или «военно-исторического» жанра («Американские асы», «Удар грома», «Боинг-707»), образцом для формирования которого на американском материале послужили ландскнехтские исповеди гитлеровских асов Адольфа Галланда и Ганса Руделя и самурайские откровения Сабуро Сакаи и Ясуо Кувахары.

Внедрение милитаристской тематики шло по разным линиям: она сказалась и в обширной литературе комиксов; она, эта тематика, заняла основное место в разветвленном «шпионском романе» и «шпионском комиксе»; антикоммунистическая нацеленность изданий такого рода становилась все более яростной. Она отравила и американскую научную фантастику, перекочевав из земных пространств в космос, где, по воле американских писак, развернулось отчаянное военное соперничество между коммунистами и «свободным миром». Важным аспектом литературы, подготавливающей сознание обывателя к войне, стала литература «атомного психоза», увлекавшая подчас и таких рафинированных мастеров, как Хаксли, который своим романом «Обезьяна и вечность» доказал, что самые изысканные мотивы декадентской литературы могут быть связаны с самыми низменными и отталкивающими идеями.

Советский исследователь М. И. Мендельсон в интересной работе «Сильный человек» в литературе США» показал, как фашистские тенденции прокрадываются в художественную литературу, как они отравляют все новые и новые поколения американских писателей. Рассматривая «литературу конформизма», служащую империалистической реакции, М. И. Мендельсон отмечает роман Р. Пауэлла «Солдат» (1950) как попытку создания идеального образа американского военного. Это некто Ковальский. «Он прирожденный убийца,— восхищается Пауэлл.— Он убивал умело, холодно и как можно чаще — не потому, что это доставляло ему удовольствие, а потому, что такова его натура».

Запомним эту формулу: ей предстоит будущее в романах о войне, появившихся в США в шестидесятых годах.

И тут же Пауэлл решается блеснуть эрудицией: оказывается, убийцу Ковальского роднит с его начальником генералом Фэррелоном то, что они выросли «из зубов дракона», «в их жилах течет драконья кровь». Пожалуй, до таких комплиментов не доходили даже западногерманские восхвалители вермахта, считавшие более выгодным изображать героев своих книг эдакими гуманистами в стальных шлемах.

Посев «драконьих зубов», которым занимались в течение пятидесятых и шестидесятых годов американские политические деятели, американское кино, официальная историческая наука и телевидение, дал полновесный урожай. К началу войны во Вьетнаме империалистическая реакция в США обладала и кадрами, и традицией в области литературы, воспитывающей в американце «человека с драконьей кровью в жилах».

Характеризуя политику США в годы первой мировой войны и после нее, В. И. Ленин писал: «Идеализированная демократическая республика Вильсона *оказалась* на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения

слабых и малых народов»*. Эти слова Ленина в полной мере относятся и к современности. При этом надо учесть, что за прошедшие полвека агрессивный потенциал США увеличился во много раз, что позорная история империализма США стала еще кровавее и омерзительнее — достаточно вспомнить об атомных бомбах в Хиросиме и Нагасаки,— что аппетиты США выросли непомерно и что они стали мировым жандармом, оплотом и лидером антикоммунистического фронта.

В октябрьском номере журнала «Нейшн» за прошлый год некий преподаватель одного из колледжей в США спрашивает себя: что он должен будет ответить, если к нему подойдет кто-нибудь из его учеников и спросит: можно ли взять темой для курсовой работы американскую литературу о войне во Вьетнаме? Нельзя не поддержать эту инициативу, считает педагог, такие романы есть. И почему бы о них не написать молодому человеку

Дальше, не дождавшись просьбы от своих воспитанников, он сам пытается представить себе, что же можно рекомендовать юному критику. И делает беглый обзор нескольких романов о Вьетнаме: «Бригада Элбиджей» В. Уилсона, «Инцидент в Мак-Ва» Д. Форда, «Э-18» Т. Тейлора, «Эм» Дж. Сэка и «Узники Куэ-Дуонга» Виктора Колпакоффа.

Эти романы не удовлетворили педагога. Одни из них слишком фактографичны — ничего, кроме описаний,— другие коробят своим грубым кровавым профессионализмом, третьи слишком пессимистичны... Перелистав их страницы, педагог убеждается, что на основании этих произведений современной литературы США ничего путного написать о войне во Вьетнаме нельзя.

Нельзя не согласиться с почтенным наставником молодежи — книги эти не составляют существенного достижения американской литературы и скорее свидетельствуют о том, что среди авторов боевых романов, публикующихся в американских изданиях, очень многие далеки даже просто от профессионального владения пером. Но, вероятно, даже эти романы могли бы дать пищу для размышления молодому американцу — и тут мы не можем согласиться с педагогом, начисто отбросившим эти романы за пределы каких-либо научных интересов. Среди книг, упомянутых в обзоре, есть и «хроника одного взвода», проникнутая отнюдь не духом Барбюса и даже не духом Мейлера или Джонса — ведь и они писали о «людях одного взвода». На сей раз автор «хроники взвода», Джон Сэк, любовно проследил историю формирования и обучения взвода, а затем боевое крещение его во Вьетнаме. Дж. Сэк с увлечением повествует о приключениях «Джи Ай», как зовут в США американских солдат; он не скрывает, что американцы беспощадны: вот его ребята останавливаются над трупом вьетнамской семилетней девочки — жертвы борьбы США против угрозы коммунизма— и даже говорят что-то приличествующее случаю. Но эта сентиментальная сценка, за описанием которой слышатся лицемерные заявления американской пропаганды о якобы дружеской миссии вооруженных сил во Вьетнаме, только подчеркивает основную идею Сэка: «солдат есть солдат», «жертвы на войне всегда бывают», девочку жалко, но уничтожать «вьетконговцев», как называют американцы героических партизан Вьетнама, нужно, а иначе они уничтожат американцев. Действительно, что почерпнет из этой философии студент, желающий написать о том, как американский роман изображает войну во Вьетнаме? Зато о том, как стремятся оправдать злодеяния США во Вьетнаме, он кое-что узнает.

Еще яснее выражается в своей книге «Э-18» Т. Тейлор — боевой офицер, командир роты парашютистов, обладающий опытом войны во Вьетнаме. Он прямо так и говорит, одобряя своих подчиненных: он и его солдаты убивают и разрушают для того, чтобы «защитить свободу во Вьетнаме». Тейлора не собьешь, его даже не расшевелишь «мертвой девочкой», о труп которой споткнулся все-таки Сэк.

Близок к нему и герой романа «Бригада Элбиджей», некий Стивен, который, напоминая «солдата» из романа Пауэлла, уверенно твердит: «Это мое ремесло, и я должен выполнять свою задачу как можно лучше». Вот она, желанная кровь дракона в жилах американского мещанина!

На фоне описаний «выполняемого честно долга» — пылающих деревень, дорог, убитых женщин и детей — выделяется книга Виктора Колпакоффа «Узники Куэ-Дуонга»: это экзистенциалистский роман, герои которого — то добрые, то жестокие, то сентиментальные американские солдаты и офицеры, допрашивающие пленного вьетнамского партизана (сцены пыток воспроизведены в духе жесточайшего натурализма),— оказываются на поверку все «жертвами американизма», изуродовавшего их души. В жертвы занесены и самые изощренные палачи, вроде сержанта Мак-Грудера, и семнадцатилетний вьетнамец. «Жертва» — и интеллигентный американский офицер Крюгер, который присутствует при допросе в качестве переводчика. Ему претит его собственная подлая роль. Он не без уважения взирает на юношу, подвергающегося гнуснейшим истязаниям. Но он доводит «свое дело» до конца: это его ремесло, хотя, в отличие от Стивена, он и не гордится им. Роман В. Колпакоффа отличается от «фактографических» прославлений подвигов американской армии во Вьетнаме, хотя тем не менее внутреннее сопротивление не перерастает у Крюгера в желание занять позицию, которая действительно отличила бы его от палачей, истязающих вьетнамца.

Множество печатных изданий подготавливают умы миллионов американских гра-

Р. САМАРИН

* В. И. Ленин. Соч., изд. IV, т. 28, стр. 169.

ждан и к новым авантюрам, стоящим на повестке дня у Пентагона. Антикоммунистический роман с ясно выраженной военной тематикой в шестидесятых годах стал характерной особенностью американской литературы. Появились специалисты в этой области, отравители-профессионалы. Они тоже делают «свое дело», свой бизнес на военной истерии и международных конфликтах. Таков, например, Леон Урис, набивший себе руку на романах, изображающих международные конфликты послевоенного мира в духе американской империалистической идеологии. Его книги могут служить своеобразным образцом современной милитаризованной бульварщины.

В 1963 году Л. Урис выпустил роман «Армагеддон», посвященный событиям конца второй мировой войны и особенно «холодной войне» 1946—1950 годов. В центре внимания Л. Уриса — приключения американского офицера Шина О'Салливана, тесно связанного с английской и другими западными разведками. Попав в Берлин, О'Салливан делается участником соревнования между разведками, выступая на стороне «атлантического мира». Роман написан неискусно, загружен сложнейшими перипетиями приключенческого характера, Урис постоянно сбивается на стиль плохого детектива, характеристики его персонажей безнадежно бледны и беспомощны. Призывая к человечному обращению с недавними нацистами и к сотрудничеству с теми немцами, которые хотят бороться против «советской оккупации», Л. Урис не скрывает своей поистине зоологической ненависти к СССР, и в частности — к русским. Это книжка откровенно антикоммунистического и к тому же расистского характера. Для Л. Уриса СССР — воплощение азиатского духа, демонического, разрушительного. В своей ненависти к Советскому Союзу Л. Урис доходит до того, что цитирует нацистские издания, повторяет самые гнусные сплетни о советских людях и советском строе. Изображая «борьбу за Берлин», которая развертывается после 1945 года, Урис патетически восклицает, что создает повесть о том, как «тонкая линия американских и британских солдат на европейском континенте задержала могучий красный потоп».

«Борьба за Берлин», по Л. Урису,— это предвестье новой битвы за будущее мира, это вызов, брошенный Западом коммунистам. Это вместе с тем прославление НАТО как содружества западных держав против натиска коммунистического мира. Вспоминая в 1963 году о событиях десятилетней давности, Урис постарался изложить их как можно более приближенно к пониманию и интересам обывателя шестидесятых годов, которого Л. Урис хочет напугать перспективой советской агрессии. Герои Л. Уриса— космополитический подпольный мирок шпионов и провокаторов, которых он изображает в самом героическом плане как защитников цивилизации и людей, обладающих высокими моральными качествами. Особенно цечит Урис ренегатов, перебежавших из «коммунистического лагеря». По материалу и настроениям этот роман Уриса продолжает линию, намеченную еще Дос Пассосом в его первых послевоенных репортажах о Германии и Австрии. Вместе с тем плохой стиль и полная беспомощность в развитии действия, нагромождение событий, неоправданная разорванность повествования, амбициозные и безграмотные справки исторического характера (одна из самых чудовищно невежественных справок посвящена очерку истории СССР с 1939 по 1945 год) низводят писания Уриса до уровня самой низкопробной литературы.

В романе «Топаз» (1967) Л. Урис обратился к закулисной стороне современной политики и попробовал создать книгу о борьбе за власть в мире между США и другими империалистическими державами. В этом жанре своеобразного политического детектива Л. Урису повезло еще меньше, так как в «Топазе» нет даже тех немногих любопытных фактов из истории работы союзнических разведок в Германии после 1945 года, которые есть в «Армагеддоне».

И об этом ремесленнике, черпающем «тайны» современного мира из болтовни и сплетен, некая весьма солидная американская газета писала, что «Урис для нас то же, что Диккенс был для прошлого века!»

Наряду с писаниями Уриса, которые значатся как бестселлеры шестидесятых годов, к числу книг столь же злопыхательских и злобных относятся и сочинения Робина Мура. Вокруг одной из его книг — до сих пор широко читаемой в США,— «Зеленые береты», развернулся интересный спор, связанный с экранизацией этого произведения, что само говорит о его популярности. «Иностранная литература» уже писала о реакционном характере этой книги *. Но стоит еще раз вернуться к ней с точки зрения того, как трактует Р. Мур специфически военные вопросы. Рецензии на фильм, снятый по книге Мура, единогласно заявляют, что фильм «Зеленые береты» — отъявленно пропагандистская картина, изображающая зверства и жестокости американских войск в Юго-Восточной Азии как подвиги, исполненные благородства.

Книга Мура, человека, аккредитованного в американской военной среде, является таким гимном в честь специальных войск американской армии, которого не удостаивалась ни одна современная армия капиталистического мира. Для создания книги Мур, невзирая на свой немолодой возраст, прошел курс обучения спецвойск США, весьма утомительный и опасный для здоровья, а затем принял участие в боевых действиях подразделений этих спецвойск во Вьетнаме. Он с гордостью рассказывает, как его принимают высокие военные начальники. Он упоен своей известностью прежде всего в этой среде. Около двух лет отдал Мур тому, чтобы увековечить, как он полагает, деятельность «зеленых бере-

* См. статью Я. Засурского в «Иностранной литературе» № 8, 1969 г.

тов» — формирования, которые он называет «щитом против коммунистической экспансии». В честь этого «щита» и сложены девять рассказов, из которых состоит книга «Зеленые береты». Она начинается справкой о том, кто такие «зеленые береты», откуда они взялись и чем занимаются. Это не только справка, но и реклама, рассчитанная на то, что иные молодые люди захотят стать членами ордена избранных, готовых выполнить любое распоряжение своего начальства.

Послушать Р. Мура — «зеленые береты» должны стать господами положения в сегодняшнем мире, вездесущими представителями США. Часть специального назначения, состоящая из подрывников, диверсантов, провокаторов, отравителей и просто убийц всех мастей, буквально продавших душу желтому дьяволу, свалка, на которой оказались отщепенцы различных национальностей, натаскиваемые на страшную «мокрую» работу, выглядит у Мура как дружная боевая семья неких суперменов. «Зеленый берет» — эмблема этого соединения. Муру нравится «нордический облик» большинства солдат части. Когда среди этих викингообразных солдат он встречает некоего Рамиреса с неисправимо средиземноморской внешностью, он сомневается: а выдюжит ли бедный Рамирес среди чудо-богатырей в зеленых беретах? Но один из друзей Мура успокаивает его: здесь все сойдет, а Рамирес — «настоящий дьявол разрушения» и потому достоин находиться среди «зеленых беретов». Упиваясь военным сленгом — жаргоном войск США — и загромождая чудовищными военными аббревиатурами текст своей книги, Мур знакомит нас и с «зелеными беретами», как формированием в целом, и с его отдельными представителями: вот рядовой герой сержант Хенкс, вот майор Фриц Шарне, в прошлом — член гитлерюгенда, «который переехал с отцом в Америку в 1939 году до начала войны»... «ему было просто от солдатского духа немецкой молодежи перейти к боевому духу молодежи американской». Вот капитан Де Порта, а вот чудак, обаятельный человек, пилот вертолета, друг «зеленых беретов», хотя и армеец, Помфрет, обожаемый всеми «зелеными беретами», такой скромница, такой работяга.

Приключения у них бывают тоже разные — кто просто истребляет вьетнамцев, жжет их деревни, кто воюет в Лаосе, кто спасает от коммунистической опасности дикие горные племена; кое-кто при этом и умирает смертью храбрых — но каковы бы ни были личные качества героев Мура, они все как один убеждены в том, что «зеленые береты» служат делу свободы во всем мире. В отличие от бездарной и напыщенной болтовни Л. Уриса Р. Мур обладает профессиональным стилем, умением создавать образ, запечатлеть ситуацию. Он славит американский антикоммунистический иностранный легион, рожденный под названием «Зеленые береты», с искренним увлечением. Стремясь изобразить жизнь этого легиона как некую «высокоромантическую» возможность, открывающуюся перед молодым человеком, Р. Мур сам верит во все то, о чем он пишет, он сам увлечен этой игрой, которая на деле обращается лавиной военных преступлений, совершенных «зелеными беретами». Для Мура это — рыцари «Атлантического человечества», вездесущие борцы против вездесущего коммунизма.

Ободренный успехом «Зеленых беретов», Р. Мур написал толстенный роман «Совет уполномоченных» (1967). Дело происходит в вымышленной стране Митьюан («где-то в Юго-Восточной Азии»), в «одной из неразвитых стран». Здесь свил себе гнездо авантюрист и делец американец Майк Форрестер, решивший нажить состояние на местном сырье. Он женат на очаровательной митьюанке, богат, счастлив. Но ему приходится ввязаться в борьбу с местным движением Сопротивления, с местными коммунистами. Защищая свою жизнь и свое имущество, Форрестер отчаянно борется за принципы неоколониализма, дорогие и для Р. Мура,— и тут к нему приходит помощь от вездесущих «специальных сил» США. Оказывается, в каждой стране, которая как-то связана с США, есть тайные ячейки «секретных сил», призванные разлагать и подавлять антиколониалистское движение. При помощи такого «совета уполномоченных», тайно контролирующего жизнь Митьюана, Форрестер вначале надеется победить своих противников, которые, конечно, подняты на борьбу против империалистов происками коммунистических сил.

«Совет уполномоченных» — термин, почерпнутый из административного жаргона: 5 человек, во главе с американским послом, составляют как бы теневой кабинет в любой слаборазвитой стране, получающей американскую экономическую и военную помощь.

Майк Форрестер убеждается, что «Совет» не только бессилен ему помочь, но и «губит» положение в стране, так как сама эта форма, по Муру, устарела: руководить должен не дипломат, связанный «условностями» международного права, и не генералы, ничего не смыслящие в «гверилье» и «антигверилье», а ЦРУ, понимающее стратегию «войны по законам джунглей» и делающее ставку на «береты». Вся книга Мура и посвящена доказательству этого тезиса. В этом ее смысл как политического, неоколониального романа.

Мир, управляемый американскими шпионами и террористами,— вот общественный идеал, к которому приходит Р. Мур. Невольно вспоминается государственная концепция Угрюм-Бурчеева: за шпионом следит другой шпион, а за этим — еще один шпион, а за всеми шпионами — самый глав-

---

Р. САМАРИН
ВОЕНИЗАЦИЯ ЧТИВА

ный шпион. Такая шпионократия и представляется Р. Муру залогом процветания и прогресса во всем мире. А осуществляют ее ребята в «зеленых беретах». И знаете ли вы, уважаемый читатель, что начальник «зеленых беретов» в час похорон Дж. Кеннеди возложил свой зеленый берет на могилу президента?

Увлеченные легендой о мировой гегемонии США, которым мешают во всем мире только «коммунисты» — а именно против них борются герои Р. Мура, Л. Уриса и многих других им подобных писателей,— некоторые авторы начинают рассматривать недавнее историческое прошлое в свете этой легенды, нимало не стесняясь исторической правды.

Некто Рик Хардмен в романе «Пятнадцать флагов» (1968) вернулся к тем далеким дням, когда США попытались вмешаться в гражданскую войну, кипевшую в СССР. Известно, что для обоих экспедиционных корпусов США — и для того, который высадился во Владивостоке, и для того, который действовал в районе Архангельска,— эта попытка кончилась достаточно позорной эвакуацией, которой предшествовали неоднократные поражения, понесенные карателями от партизан и регулярных частей Красной Армии. Об этом довольно точно писал в свое время генерал Грейвз, начальник американских вооруженных сил, высаженных во Владивостоке, и авторы других мемуаров. Рик Хардмен старательно использовал эти материалы. Впрочем, Россия для Хардмена — только декорация некой слаборазвитой варварской страны, в которой образованные и культурные американцы пришли навести порядок и установить спокойствие. Особенно страстно хочет этого некий Айра Леверетт, американский лейтенант, исполненный сознания своей миссии в России. Сочувственно цитирует Р. Хардмен некоего американского князя церкви, который назвал интервенцию в Сибири «печальной и тяжкой обязанностью, продиктованной приказом любви». Р. Хардмену нельзя отказать в известной объективности. Он изобразил в достаточно отрицательных тонах колчаковский тыл и самого верховного правителя, кондотьеров-атаманов вроде Семенова и Калмыкова, продавших себя интервентам, бесчеловечную политику белого правительства, вызвавшую народную партизанскую борьбу. Но через весь материал романа, заполненный любовными приключениями некой Татьяны Ножиной, военными похождениями старого американского офицера Карлайля (по происхождению индейца, чувствующего особую «родственную» тягу к сибирским народам), проходит противопоставление гуманных, благородных американцев — русским варварам. Сожалея о том, что интервенция 1919 года не привела к дружбе американского и русского народов, Р. Хардмен, очевидно, даже и не понимает, какие чувства руководили народами России в их борьбе против белых правительств и их зарубежных помощников и покровителей. Очередной вариант легенды о культуртрегерах-американцах и неблагодарных русских, которые так и не поняли высоких мотивов американского командования, рушится так же, как рушились ее более ранние варианты.

■

Милитаристское чтиво в современной литературе США угрожающе растет от года к году, увеличивается в тиражах, все чаще становится бестселлером, приобретает различные жанровые формы от «документальной повести», подделкой под которую являются многие романы о Вьетнаме, до исторического жанра. Мы не ошибемся, если предположим, что эта злокачественная опухоль, закономерно возникшая в литературе США, в ближайшие годы будет только набирать силу, ползти дальше, внедряться еще энергичнее в кино- и телепостановки.

Обращает на себя внимание и другой тревожный факт. Хотя романы, написанные в духе империалистической реакции, найдутся и в английской и во французской литературах, только еще одна литература в мире поражает быстрым зловещим ростом сходных литературных явлений: это литература ФРГ, где обработка мозгов в антисоветском духе идет, пожалуй, еще интенсивнее и хитроумнее, чем в США. Если учесть, что империалистической реакции в США всегда импонировал нацизм и что в литературе США высказывались стремления оправдать его преступления, а в Бонне преклоняются перед силой заокеанского партнера по НАТО, то сходство идеологий двух основных участников НАТО выглядит зловещим. Недаром «Армагеддон» Л. Уриса напоминает роман ренегата Т. Пливье «Берлин», многие эпизоды из двусмысленной книги Р. Хардмена — того самого нацистского писателя Э. Двингера, который написал когда-то роман «Между белыми и красными», кстати, видимо, известный Р. Хардмену. А ведь именно об Э. Двингере некий печатный орган возрождающегося нацизма не так давно писал: «С Двингером хорошо стреляется». Якобы «бесхитростные» воспоминания битых нацистов об их «приключениях» на восточном фронте, производимые и публикуемые в ФРГ в огромном количестве, поражают сходством с многочисленными аналогичными изданиями, изготовляемыми в США с той же целью. Для поднятия престижа этой низкопробной литературы и в США, и в ФРГ охотно говорят о преимуществах «литературы факта», о «документальной» прозе, выдавая за таковую эти и подобные им книжонки в кричаще ярких обложках, на которых изображены американские и нацистские вояки, поражающие своих противников — вьетконговских солдат и звероподобных «иванов». Характерно и то, что название, выдуманное для советских бойцов немецкими борзописцами — «иваны»,— уже приобрело все права гражданства в американской литературе определенного сорта.

Кажется, в обиход американского читателя ввел ее еще в 1946 году Дос Пассос в уже упомянутой книге «Турне по обязанности».

Разумеется, и в литературе США, и в литературе ФРГ есть силы, противостоящие натиску империалистической реакции, в том числе и империалистическому военному роману. Советский читатель знает, например, сильный роман Дж. Килленза «И тогда мы услышали гром» *, в котором с большой силой поднят и вопрос о положении негров в армии США, и все тот же вопрос об опасности фашизации армии. Представляет интерес роман Д. Халберстэма «Один очень жаркий день»**, дающий в несколько беглом стиле зарисовку одной из многих карательных экспедиций, совершаемых войсками южновьетнамского правительства под командой американских офицеров. Есть повесть У. Стайрона («Долгий марш» ***), знакомящая нас с жестокой муштрой и бесчеловечной атмосферой, господствующими в армии США. Мы уже упоминали о книге Н. Мейлера «Почему мы во Вьетнаме». Но, во-первых, в литературе США эти силы пока что мало и слабо проявляют себя, и, во-вторых, общая ситуация политического развития США на текущем этапе всеобщего кризиса капитализма способствует дальнейшему усилению и разрастанию литературы империалистической реакции, планирующей новые и новые очаги «локальных войн» и международных конфликтов.

Вместе с тем как не вспомнить, заканчивая эту статью, о невиданном в истории США народном движении против грязной войны во Вьетнаме, об отказах служить в армии, о побегах из армии тех мужественных молодых американцев, которые не считают, что их долг — убивать женщин и детей, жечь деревни и рисовые поля во имя борьбы против коммунизма. Ни одна война не была так непопулярна в США, как война во Вьетнаме. К тому же движение против этой войны ширится, оно уже приобрело характер международной акции людей доброй воли, нередко придерживающихся совершенно различных политических воззрений, но объединенных стремлением помочь вьетнамскому народу, прекратить безудержную эскалацию человекоубийства. Не может быть, чтобы это движение не стало импульсом и для тех американских писателей и поэтов, которым дорога честь и доброе имя национальной литературы США и ее лучшие традиции.

* См. «Иностранную литературу» №№ 4—6, 1965 г.

** См. «Иностранную литературу» № 6, 1969 г.

*** См. «Иностранную литературу» № 7, 1967 г.

Л. ЭЙДЛИН

КОГДА ПОЭТ ПЕРЕВОДИТ...

Восток Анны Ахматовой

Перевод поэзии. Сколько до сих пор не решенных вопросов связано с ним, а особенно с отношением его к собственному творчеству переводчика чужой поэзии. Но, кажется, нет спора, что поэзия подлинника воссоздается тогда, когда перевод не вторгается чужеродным телом, а является в гармоническом сочетании с поэзией самого переводчика, когда переводчик сам избирает все близкое ему по духу. Только так и может переводить настоящий поэт.

Издательство «Художественная литература» выпустило книгу переводов Анны Ахматовой из классической поэзии Востока. В ней собраны далеко не все переводы поэта, иной читатель, может быть, и посетует, не найдя здесь того, что ему казалось бы необходимым. Однако же неполный этот сборник снова возвращает нас к одной из сторон поэтического творчества Ахматовой и заставляет задуматься над тем, что нашла она в поэзии Востока и чем одарила нас, прикоснувшись к ней.

Сколь заманчиво было бы тут отметить «восточное» происхождение Ахматовой, не забывшей «бабушки-татарки» и когда-то поведавшей нам о том, кто «сразу вспомнит, как поклялся он беречь свою восточную подругу». Скажем сразу, что Восток «рождения», Восток мусульманский остался в стороне от ее поэтической судьбы. «Восток есть Восток», расхожая эта сентенция Киплинга, как это обычно делается, взятая сама по себе, неверна потому же, почему неверно и то, что «Запад есть Запад». Страны и поэзии стран Востока так же похожи и непохожи одна на другую, как и страны и поэзии Запада. Нам не приходится гадать — какие же из разных поэзий Востока привлекли Ахматову: известны ее переводы из древнеегипетской, индийской, китайской и корейской поэзии. Может быть, выбор именно этого Востока случаен и зависел не от поэта, а от стечения обстоятельств? Но если и так, то случайность эта закономерна и удачна.

Позволю себе вспомнить, как Ахматова однажды сказала мне, что трудиться начала только тогда, когда стала переводить. «А собственные стихи?» — «Что вы,— улыбнулась она,— это не работа, а удовольствие». Впрочем, она и безотносительно к нашему разговору писала об этом: «Подумаешь, тоже работа,— Беспечное это житье: Подслушать у музыки что-то И выдать шутя за свое». Как будто догадываясь о будущих словах поэта, Б. Эйхенбаум опровергает их в 1923 году, задолго до появления их на свет: «Мы чувствуем в ее стихах ту уверенность и законченность, которая опирается на опыт целого поколения и скрывает за собой его упорный и длительный труд».

И к восточным переводам Ахматова пришла, тоже имея за плечами «опыт целого поколения». Петроградский университет и Азиатский музей с расцветом в них русского востоковедения. Увлечение древним Востоком. Вышедшая в 1916 году и привлекшая внимание художественной интеллигенции замечательная книга блестящего молодого ученого, друга Лозинского и других известных поэтов, В. М. Алексеева «Китайская поэма о поэте». Повсеместное усиление интереса к пробуждающемуся Востоку после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Начало двадцатых годов и горьковская «Всемирная

литература» с журналом «Восток». Со сборниками «Литература Востока», с сиянием в них имен Ольденбурга, Крачковского, Алексеева, Владимирцова, Тураева. Как радостное открытие — издание «Всемирной литературой» китайской лирики в переводах Шуцкого с поэтическими вступлениями Алексеева, а затем и алексеевских переводов «рассказов о чудесах» китайского писателя XVII века Пу Сун-лина. Так кончилось время, когда «Восток еще лежал непознанным пространством». За тридцать лет до того, как рука Ахматовой написала начальную строку первого ее восточного перевода — поэмы «Лисао» поэта китайской древности Цюй Юаня — «Покойный мой отец Бо-юном звался», за тридцать даже с лишним лет до этого рука ее несомненно листала страницы сборника «Литература Востока», где было: «Начинаем с древних элегий современника Чжуан-цзы — Цюй Юаня, поражающих нас не только своею крайне причудливою ритмикой, которая так и осталась вне достижения многочисленных подражателей, но и не менее загадочными образами, а также сочною, полножизненною, могучею поэзией с сильным чувством и гениальным словом».

Ахматова переводила восточные стихи не в том порядке, в каком они расположены в сборнике. Последним было то, с познания чего начинала она и чем открывается книга — древнеегипетская поэзия. Не в 1944 году, когда была написана «Луна в зените», но десятью годами позже с наиболее полным правом могла бы она воскликнуть: «Так вот ты какой, Восток!» И говоря: «Я не была здесь лет семьсот» — она еще не знала, что первый из тех китайцев, с которыми она встанет рядом, ждет ее больше двух тысячелетий.

«Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень. Воскресенье. Тихо в комнате просторной, А за окнами мороз...»; «И в тайную дружбу с высоким, Как юный орел темноглазым, Я, словно в цветник предосенний, Походкою легкой вошла»; «А в книгах я последнюю страницу Всегда любила больше всех других,— Когда уже совсем неинтересны Герой и героиня, и прошло Так много лет, что никого не жалко...»; «Пятым действием драмы Веет воздух осенний, Каждая клумба в парке Кажется свежей могилой»; «Когда человек умирает, Изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы Улыбаются другой улыбкой»... Пристрастие Ахматовой к белому стиху (эти произвольные примеры ритмического разнообразия ее белого стиха легко продолжить) никогда не покидало ее — к белому стиху, спокойному и не заявляющему о себе, белому стиху, но без боязни случайного ассонанса, без стараний уклониться от набежавшей рифмы. (Вспомним, что белым стихом написано стихотворение Блока «Анне Ахматовой».) Ахматова любила свободу белого стиха и широко и совершенно пользовалась ею. Не возможность ли применения желанной этой свободы в том числе привлекла ее к переводу поэзии Востока, прежде всего возникшей перед нею стихами Цюй Юаня?

Но это свобода обусловленная. Обусловленная желанной же необходимостью не утратить весомого слова из жалобы оклеветанного поэта, из повести его о несчастной своей судьбе, о поисках правды на земле и на небе.

Я прошлое и будущее вижу,
Все чаянья людские предо мной.
О, можно ль родине служить без чести
И этим уваженье заслужить?

И если смерть сама грозить мне станет,
Я не раскаюсь в помыслах моих.
За прямоту свою и справедливость
Платили жизнью древле мудрецы.

С этого начинала Ахматова перевод восточной поэзии. Не надо быть знатоком китайской литературы, чтобы заметить достоверность, лежащую в основе работы поэта. Как часто приходится встречать в нашей печати весьма даже тонкие наблюдения по поводу поэтического перевода, в которых воздается хвала поэту, с успехом ушедшему от текста оригинала для того, чтобы с тем большим успехом воссоздать дух его. Нам придется отвлечься от подобных суждений: они, по-видимому, пригодны при размышлении о поэзии расплывчатой, трудноуловимой. Ахматова же разглядела «вещность» классической восточной поэзии, тяжесть и определенность слова, несущего в себе мысль, и захотела передать это слово. Так появился ее Цюй Юань, так вслед за ним появились шесть ее переводов из танского поэта Ли Бо. Кроме великого Ли Бо она переводила и других китайцев, но эти, первые ее переводы из Цюй Юаня и Ли Бо, в которых она сознательно отвергла присущую оригиналу рифму, бережно лелея чуть не каждое слово поэтов, кажутся мне лучшими. Давнее тяготение Ахматовой к белому стиху затем выразилось в переводе поэзии корейцев, индийцев, древних египтян. Но белый стих лишь одна из тех частностей важных и менее важных (да не покажется она формальной), которые в совокупности своей составляют и сущность Ахматовой и причины влечения ее к Востоку. Поговорим о частностях и не обязательно в хронологической их последовательности, потому что и прошлое поэта не исчезает, а остается в душе поэта. Вернемся к китайцам Ахматовой, к тому же Ли Бо.

Не прерываясь, тянется дорога
До города столичного Чанъань.
Садясь, тускнеет солнце над дворцами,
Плывут по небу стаи облаков.
И вот сейчас, когда прощаюсь с другом,
Разлуки место ранит душу мне.
И голос друга, «Иволгу» поющий,
Мне слушать нестерпимо тяжело.

Так волнующе-свежо написано это, как будто все происходило вчера, а не по крайней мере тысячу двести лет тому назад, так, как будто написано это самой Ахматовой. Оно и не мудрено: не столь уж долгий срок эти тысяча двести лет, чтобы изменить человеческие чувства и не позволить поэту вновь услышать знакомую ему иволгу и

вновь пережить старую свою печаль: «Я слышу иволги всегда печальный голос И лета пышного приветствую ущерб...» Передо мною сохранившаяся корректура неправленного варианта перевода Ахматовой, а в нем:

И голос иволги, поющей грустно,
Мне слушать нестерпимо тяжело.

Милая сердцу поэта ошибка подстрочника, исправление которой ничего существенно не изменило, но наличие которой позволило нам вдруг увидеть, может быть, самим поэтом неосознанную близость к далекому китайцу. Ту близость, которая могла жить в Ахматовой и, если бы не переводы, не быть раскрытой ею до конца, близость в ощущении жизни.

«В то время я гостила на земле...» или более позднее «Все мы немного у жизни в гостях...» Так мог бы сказать и говорил китайский поэт, видевший мир огромной гостиницей, а себя постояльцем в ней. Родная земля. «Но ложимся в нее и становимся ею, Оттого и зовем так свободно — своею». Это откровенное, оголенно-естественное отношение к смерти как к смешению с землей не поразит тех, кто знает слова китайского поэта, для которого умереть значит отдать тело, «чтоб оно смешалось с горой». «А застывший навек хоровод Надмогильных твоих кипарисов»! Надмогильные кипарисы и сосны китайской поэзии вставали перед русским поэтом как давно и близко знакомое. И не возвращает ли нас к прошедшим тысячелетиям написанное Ахматовой до перевода египетской поэзии с ее частою возлюбленной — «сестрой» (о «сестре», как о возлюбленной, сказано еще Б. А. Тураевым в его очерке египетской литературы): «...Слышу шепот: «Прощай! Пора! Я оставлю тебя живою, Но ты будешь моей вдовою, Ты — Голубка, солнце, сестра!»? А те ассоциации, которые приходят к поэту, когда нужно оттенить роковую необычность женской красоты? «От таких и погибали люди, За такой Чингиз послал посла, И такая на кровавом блюде Голову Крестителя несла». Невольно захочется придать хоть какое-то значение тому, что недописанную поэтом страницу допишет не просто рука Музы, а «Музы смуглая рука».

Поэзия Ахматовой автобиографична. Она — исповедь единой жизни. Так изо дня в день повествуют о себе китайские поэты, выбирая главное, отмеченное печатью запомнившегося чувства. И это главное не обязательно должно быть внешне выдающимся. Важно, чтобы оно оставило след в душе поэта.

День кончился, печаль в душе моей,
На Гуюань я еду меж ветвей...
Вечерняя заря прекрасна,
Но сумрак все становится черней,

Так написал танский Ли Шан-инь, так перевела Ахматова. В подобной поэзии лирика неизбежно окружается сюжетом. Не то же ли самое мы скажем о стихах Ахматовой, наполненных событиями каждодневной жизни?

Стихи-обращения, стихи-ответы обычны для «дневниковой» поэзии китайцев.

Спросила ты меня о том,
Когда вернусь к любимой в дом.
Не знаю сам. Пруды в горах
Ночным наполнились дождем...
Когда же вместе мы зажжем
Светильник на окне твоем,
О черной ночи говоря
И горном крае под дождем?

Все тот же Ли Шан-инь и зримая картина природы, мрачно гармонирующей с настроением поэта. Нет необходимости приводить стихи самой Ахматовой в подтверждение ее приверженности к подобной поэзии по форме и по существу.

Автобиографичность Ахматовой не однопланова. Она в перевоплощении поэта, но и в душевной неизменности «лирического героя», каким бы именем ни был назван он: «Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на костер опять». Было бы наивным думать, что сюжетность китайского поэта не так же точно привязана к его личности, или, вернее, не так же точно свободна от событий собственной его жизни, несмотря на то, что он в отличие от русского поэта не называет себя чужим именем.

Даже обратившись только к цитируемым мною стихотворениям Ли Шан-иня, мы можем разглядеть особенность, общую для скупой на слово классической китайской поэзии,— отсутствие плавного перехода от одной мысли к другой, продолжающей первую и логически исходящей из нее. Ахматова, у которой «Как щелочка, чернеет переулок. Садятся воробьи на провода. У наизусть затверженных прогулок Соленый привкус — тоже не беда», Ахматова, которая способна сказать: «И сухими пальцами мяла Пеструю скатерть стола... Я тогда уже понимала, Как эта земля мала»,— конечно же не могла не отметить и не принять этого.

И еще должно было ее восхитить безупречное зрение китайского поэта, который все видит, что вокруг, и ни о чем не забывает сказать.

Неужто вы не видите, друзья,
Как воды знаменитой Хуанхэ,
С небесной низвергаясь высоты,
Стремятся бурно в море,
Чтоб не вернуться больше?
Неужто вы не видите, друзья,
Как в царственных покоях зеркала
Скорбят о волосах,— они вчера
Чернее шелка были,
А ныне стали снегом?

Должно было восхитить ее, как радует нас обнаружение еще одного родственного знака в чем-то близком нам по духу, потому что сама она тоже такая, всевидящая: «И мальчик, что играет на волынке, И девочка, что свой плетет венок, И две в лесу скрестившихся тропинки, И в дальнем поле дальний огонек,— Я вижу все, Я все запоминаю...»

Как же получилось, что в заинтересованности Востоком Ахматова прошла мимо пленительной в своем непосредственном улавливании движений окружающего мира ста-

рой японской поэзии? Не стоило бы задаваться этим вопросом, если бы после китайских стихов Ахматова не перешла к корейским, может быть, оказавшимся для нее наиболее притягательными не только в любовной лирике, о чем речь пойдет ниже, но и благодаря историческим связям их с китайскими. Ахматова могла бы восхититься и, наверное, восхищалась волнующими в своей неповторимости обыкновенными мгновениями жизни, навеки остановленными для нас поэтическим гением японских поэтов. Но ей (об этом достаточно говорит собственное ее творчество) нужен был в поэзии такой ум, который дополняет зрение и видит намного дальше и больше увиденного глазом и почувствованного сердцем. В этом уме содержится и досадная помеха простой радости приобщения к таинствам природы, но ее восполняет другая радость—непрестанного размышления над человеческой жизнью, двойная радость познания и учительства. Пожалуй, что поэзии самой Ахматовой больше отвечала лаконичная китайская поэзия мысли, чем даже умный импрессионизм старой поэзии японцев.

Принято говорить о спокойной мудрости восточной поэзии. Эта мудрость и в желании не приукрашивать мир, а видеть его таким, каков он есть, и идти навстречу самой неизбежной из всех неизбежностей — смерти. У самой Ахматовой: «Наше священное ремесло Существует тысячи лет... С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, Что мудрости нет, и старости нет, А может, и смерти нет». Мудрость Ахматовой в неизменной силе духа, в постоянной готовности к любым испытаниям, но скрашенным воспоминаниями: их надо «С собою взять, чтоб в старости, в болезни, Быть может, в нищете — припоминать Закат неистовый, и полноту Душевных сил, и прелесть милой жизни». Сколько надо той же спокойной мудрости, чтобы золотым показалось «клеймо неудачи», мудрости доброжелательства, выстраданного собственными бедами: «О своем я уже не заплачу, Но не видеть бы мне на земле Золотое клеймо неудачи На еще безмятежном челе».

Мы обращаемся к стихам Ахматовой для того, чтобы понять, что родпило ее с переведенной ею поэзией Востока, что и почему выбрано ею в поэзии Востока, содержащей ведь не только то, что дороже всего нашему поэту. Задумываясь над этим, мы непременно приходим и к мысли о верности. Верности человеческому достоинству, верности родной земле, верности в любви. «Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам...» Это верность глубокая, отметающая от себя любой соблазн временной обиды, такая, как верность Данте родной «Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной...», на которую он, «уходя, не оглянулся», но «и в раю не мог ее забыть». Вот почему у Ахматовой не могла не оглянуться Лотова жена: мы знали только развратный Содом, богом обреченный на уничтожение, но был он, оказывается, еще и родным ей Содомом с незабываемыми воспоминаниями, тем Содомом, за единственный взгляд на который отдала она жизнь. Когда юная Ахматова впервые выступила в печати, она сказала о верности, и голос ее показался негромким: не сразу удалось увидеть, что «Я люблю тебя, как сорок Ласковых сестер» есть не перефразировка Шекспира, а неизменная на всю жизнь верность большого сердца. В ранних стихах Ахматовой скромная и преданная любовь, и такою («Ты плачешь — я не стою Одной слезы твоей») пронесла она ее через годы. Ее стихи о любви, а точнее, стихи о верности в любви, как и пушкинские, настолько чисты, что и в старости поэта не могли бы вызвать невольного чувства неловкости. И она возвращалась к ним: недаром же «Сказка о черном кольце» помечена 1917—1936, а «Мелхола» («А солнца лучи... а звезды в ночи... А эта холодная дрожь...») — та даже 1922—1961 годами. И мы знаем, мы твердо знаем, что когда Ахматова в 1913 году (мы ведь читали написанное ею до этого) говорит: «И ты подругу помнишь дорогую В тобою созданном для глаз ее раю, А я товаром редкостным торгую — Твою любовь и нежность продаю»,— мы знаем, что говорит она лишь кажущееся ей правдой, а правда Ахматовой в другом, написанном сорок лет спустя в переводе с корейского:

Любовь, разлука не товар, чтоб ими торговать.
И если полюбил — навек; расстался — навсегда.

И снова мы в молодости поэта. Не сама ли Ахматова это пишет:

С тобой, чей голос был подобен грому,
Свиданье первое блестит зарницей,

А наши встречи были словно ливень,
Но все рассеялось, как в небе тучи.

Вздохнула я, и был мой вздох как буря,
Горячий вздох на землю пал туманом.

Но подозрение наше напрасно, хотя оно и высшая похвала поэту, бережность которого, талант и близость духу другого, отделенного от нас четырьмястами годами стихотворца сделали старые корейские стихи современными нам русскими.

Проснулась, взглянула и вижу:
От милого это письмо.

Сто раз я его прочитала,
Потом положила на грудь.

Оно не казалось тяжелым,
Что ж на сердце так тяжело?

Так знакомое нам смятение и неясная грусть юности... Мы доходим до последних строк, и нам кажется, что корейская девушка, пожалуй, простодушнее героини стихов молодой Ахматовой. Но и произошло ведь это волнующее нас и посейчас событие половину тысячелетия тому назад.

Чужая метафора, чужое название реки или селения, чужие приметы давно ушедшей жизни — что значат они по сравнению с

Л ЭЙДЛИН
КОГДА ПОЭТ ПЕРЕВОДИТ...

выраженной ими общей для всех сущностью человеческих переживаний, радостей и трагедий любви, отчаяний разлуки. Но как надо в это проникнуть, чтобы претворить в русскую и, более того, дорогую по живым воспоминаниям поэзию:

Оттого ли, что в миг расставанья
Из очей моих кровь проливалась,

Амноккана глубокие воды
Голубеть навсегда перестали?

И промолвил гребец седовласый:
«Видел все, но такое — впервые!»

Растворение Ахматовой в корейской поэзии может показаться естественным и даже само собой разумеющимся — с такой легкостью перевела она корейские стихи в русло собственного творчества. Но этому предшествовал труд освоения китайской поэзии.

В национальной корейской поэзии тянется нить традиции и от китайской истории, от китайских легенд и мифов, наконец, от сюжетов старинной китайской лирики. Это не должно нас удивлять, а, наоборот, должно обратить нашу мысль к поэзии Байрона, например, с обилием библейских мотивов в ней или ко многим стихам Пушкина, полное понимание которых требует знакомства с Грецией и Римом.

В корейских стихах со всем их национальным своеобразием (скажем, в резко отличающихся от китайских «уставных» классических стихотворений безрифменных трехстишиях сиджо) отметим некоторые проявления этой традиции, чаще всего не прямой и не всегда сразу распознаваемой. Нам достаточно примеров из переводов Ахматовой. Светильник, который хочет зажечь корейский поэт, «чтоб прогулять остаток жизни», был бы непонятен, если не знать, что в одном из безымянных древних китайских стихотворений есть жалоба на долготу ночи и желание зажечь свечу и погулять с ней. Путь древних людей перед взором корейского поэта. «Как по нему не идти?» Но не об этом ли пути говорил в своих стихотворениях в IV—V веках Тао Юань-мин, не он ли сходил с него на время, что повторяет в XVI столетии Ли Хван? Тао Юань-мин — высокий пример для китайских поэтов ряда веков, он образец и для корейской поэзии, не обязательно упоминающей его имя, но воссоздающей его поэтическое настроение. И когда один корейский поэт с мотыгой на плече «весь озарен луной» домой идет, а другой — выходит за калитку с той же мотыгой и не досадует на росу, из-за которой он «насквозь промок», то ведь так же точно за тысячу лет до них при свете месяца спешил домой и не печалился о промокшей насквозь одежде великий китаец.

Но и этого мало. Продолжали жить в корейских стихах и более поздние — танские поэты. Дует ветер, низвергает наземь крепкие стволы сосен.

Так что ж сказать мне о цветах,
Которым не цвести?

А другой поэт удивляется тому, что лепестки лотоса не увлажнены дождем.

Хочу, чтобы душа
Была чиста, как лотос.

И о цветах, покрывших землю после ночной бури, и о лотосе, при взгляде на чистоту которого можно понять, «как сердце не грязнится», когда-то писал Мэн Хао-жань. Вспомним же об этом, как не забывала этого корейская поэзия. Но никакие знаменитые китайские имена не могут да и не захотят затмить самобытность «заимствователей». Все корейское мы вправе читать и как первозданное, потому что развитию старой поэзии на корейском языке сопутствовали корейские стихи, написанные на ханмуне (по-китайски), и поэт, «повторяющий» Мэн Хао-жаня, с полной правотой воспринимает переданное ему его предшественниками наследие китайца как свое национальное богатство. Да оно так и есть: ничто китайское в корейскую поэзию не перешло в неподвижном виде, хотя начитанность любителя китайских стихов при чтении корейской классики непременно призывает его к истокам. Вот переданное нам Ахматовой прекрасное стихотворение, поражающее мощью и свободой в обращении поэта со стихиями:

Ком железа в десять тысяч цзюней
В проволоку вытянуть хочу.

Проволокой этой обвяжу я
Солнце в бесконечных небесах.

Сделаю я так, чтоб не старели
Батюшка и матушка мои.

Да ведь это Ли Бо. Это он искал канат, чтобы притянуть солнце к земле и так остановить его. Но у Ли Бо не было утилитарной обыденности позднейшего корейского поэта, деловитой приспосабливаемости сверхъестественного могущества для земного конфуцианского потребления, для похвальных сыновних радостей. Неожиданная и трогательная будничность последних строк с глубиною чувства, хранящеюся в них, становится здесь главным и придает стихотворению оригинальность новизны.

Странной и искусственной выглядела бы попытка (если бы она была возможна) в русской поэзии возродить поэтические нормы и настроения стихов Кантемира или Сумарокова. Однако же нет анахронизма в том, что традиция многих прошедших веков, и притом традиция инонациональная, видоизменяясь, но в общем сохраняя основные сюжеты и настроения, продолжала жить в классической корейской поэзии. Не находим ли мы здесь косвенное свидетельство плавности и безвзрывности развития питательной для Дальнего Востока классической китайской литературы?

Но как соотносятся все эти рассуждения о связях китайской и корейской поэзии с переводами Ахматовой? Очень прямым образом. Ахматова сама, не будучи исследователем литератур Востока, для себя обнаружила эти связи — исторические, бытовые и, наконец, поэтические, о чем и возглашают ее переводы. И когда Ахматова за корейца говорит о реке:

Она струится неустанно,
И ей не обратиться вспять.

И человек реке подобен —
Уйдет и не вернется вновь,—

то неужели же не помнит она о переведенном ею стихотворении Ли Бо, в котором воды Хуанхэ, низвергаясь с небесной высоты, стремятся в море, чтобы назад не вернуться, и в котором сравнивается необратимость вод с течением человеческой жизни!

Но привлечем иную, всегда дорогую сердцу нашего поэта тему прославления родины:

Мы взнесли над Чанбэксаном знамя,
Туманган переходили вброд.

Эй вы, горе-мудрецы, скажите,
Трусами считаете ли нас?

А кого изобразит художник
Для покоев славных в Линяньгэ? —

и мы и здесь без затруднений обнаружим, что кореец XV века Ким Чон Со — не чуждый Ахматовой незнакомец, что к беседе с ним подготовил ее китаец VIII века Ли Бо, и, приступая к переводу Ким Чон Со, Ахматова знала от Ли Бо о ликах прославленных героев на стенах башни.

Сила гражданственности, особенно твердо и резко проявленная Ахматовой в стихах времени Великой Отечественной войны, привнесла в переводы ее личное пристрастие, личную заинтересованность, сметающую пространства и века, и когда устами Ахматовой восклицает в тревоге о теснимой родине старый кореец: «Листочек древесный — Корея моя!» — то и наши сердца откликаются любовью и болью.

Все-таки перевод есть волшебство осовременивания, усовершенствованная по сравнению с придуманной Уэллсом «машина времени», переносящая к нам то, что в родной оригинальному тексту стране хотя и любимо и почитаемо, но неизбежно уже содержит в себе нечто от «многоуважаемого шкапа», и красивого, и крепкого, и нужного, однако же в чем-то и сослужившего свою службу и слегка отодвинутого, чтобы дать место другому, может быть не столь долговечному, но более открыто соответствующему духу настоящей минуты. А перевод приходит к нам как новость. Какая бы ни была в нем старина, но для нас он современен, потому что он создан поэтом сегодня и на языке наших дней.

То, что вчера я почитал достойным,
Сегодня недостойным я считаю.
В одежде отрешенного от мира
К родным садам я ныне возвращаюсь...

Какие прекрасные стихи. Их прочитала Ахматова у корейца XVI века Ли Хвана, который по-новому переживает настроение некогда, в начале V века вернувшегося «к родным садам» китайца Тао Юань-мина, и так осовременивает его для Кореи. И это сплетение столетий благодаря Ахматовой приходит в наш век и становится навсегда нашим и вносит свою долю в наше достояние — русскую поэзию. Весьма примечательно в свете этого название, данное С. Липкиным вступительной статье к сборнику восточных переводов Ахматовой: «Восточные строки Анны Ахматовой»!

Да, строки Анны Ахматовой. Иначе и не скажешь. Мною была написана эта статья, когда в шестой книжке журнала «Юность» за нынешний год среди опубликованных к восьмидесятилетию поэта неизданных стихотворений я прочитал относящееся к десятым годам — «Когда моя настанет смерть, Душа кукушкой обернется. В густой листве цветущих груш Я полночью глухою спрячусь И так во мраке запою, Что милый голос мой узнает»,— стихотворение Ахматовой, увиденное мною впервые и однако же почему-то мне известное, я тут же вспомнил откуда. Вот оно:

О, как бы я хотела умереть,
Чтоб бабочкой потом вспорхнуть веселой!
Слетать бы на душистые цветы,
Влагоуханье сладкое впивая,
И опуститься на его плечо,
А он своей любимой не узнал бы.

С каким же сложным чувством узнавания и радости повторения должна была Ахматова через сорок лет вторгнуться в стихию верной и вечной любви на этот раз корейской женщины XVI века, переводя маленькую поэму Чон Чхоля, шесть последних строк которой и написаны-то, кажется, для того, чтобы «повторить» (вот как может прошлое «повторять» независимо от него возникшее будущее) молодую Ахматову и даже чуть поспорить с ней («узнает» и «не узнал бы»).

Так корейская любовная лирика, несравненно более активная, чем ограниченная строгими рамками исторического времени любовная лирика в старой китайской поэзии, так эта лирика сделала нас непосредственными современниками Ахматовой ранних ее сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая».

В индийской поэзии Ахматова преимущественно переводила Рабиндраната Тагора, поэта и близкого и далекого ей. Близкого по благородному тону, по конкретности и точности видения мира в сюжетных стихах, и далекого там, где он бывает умозрителен и многословен. Ахматова перевела немного таких стихотворений — это «Беспокойная», «Новый год», «Юность»,— но и в них она придала ясность кажущимся нам туманными и слишком обильными рассуждениям Тагора. Стихи же Тагора о святом Раманондо в переводе Ахматовой превосходны. В них полное согласие ее с Тагором. Вместе с Раманондо внимает она давно знакомым ей словам божества о том, что «все на свете — гости», вместе с Тагором ведет она Раманондо к пониманию существа, а не голой буквы ритуала. Это, наверное, очень смелые для Индии времени Тагора стихи, и мы в переводе Ахматовой проникаем в их мужество. «Но ведь нужно сохранять обычай». Раманондо понял, что обычай в том, чтобы похоронить мертвую душу, и в том, чтобы одеть нагую душу. А для этого он идет против внешних проявлений обычая, и обнимает презренного могильщика, и садится рядом с нечистым ткачом-мусульманином.

Тут ученики догнали гуру
И сказали: «Что вы натворили?»
Он в ответ им: «Отыскал я бога
В месте, где он мною был потерян».
На небо уже всходило солнце
И лицо святого озаряло.

В «Золоте любви» Раманондо обнимает мельщика, и пример святого заражает царственную Джхали, которая на упрек дворцового жреца отвечает так:

О святой отец! — сказала рани,—
Тысячи узлов обыкновенья
День и ночь ты только вяжешь крепко,—
А как золото любви возникло,
Ты его и не заметил вовсе.

Удивительны по безошибочности определения «узлы обыкновенья», найденные Тагором, но и нашим поэтом. Узлы обыкновенья, противостоящие возникшему (и в увлеченности вязанием их не замеченному) золоту любви! Эти строки запоминаются надолго.

Раманондо, сохраняя обычай, завершил омовение так, как не делал этого никогда. К возмущению ученика и даже к ужасу отверженного сапожника («Что вы совершили, повелитель?») он общается с людьми селенья, в чем и видит совершение ритуала. «В храм ходить уже не нужно больше». Так словами Раманондо кончаются стихи о нем. Свободой мысли, любовью к униженному человеку труда, невысказанной прямо светлой верой в будущее дышат стихи о Раманондо. Можно представить себе ту внутреннюю убежденность, с какою писала их Ахматова, с какою писала она и другие, переведенные ею стихотворения Тагора — «Сын человеческий», «Паломничество»,— все на ту же тему борьбы за нравственное величие человека. И как всегда у Ахматовой величие человека неотделимо и в то же время независимо от жизненной его малости, и тревога за человека — в единении с тревогой за весь мир, за землю и небо. Ни один из переводов Ахматовой не создан беспричинно. Наш поэт находит себя и в верности и в любви Тагора:

Когда тебя во сне моем не вижу,
Мне чудится, что шепчет заклинанья
Земля, чтобы исчезнуть под ногами.
И за пустое небо уцепиться,
Поднявши руки, в ужасе хочу я.
В испуге просыпаюсь я и вижу,
Как шерсть прядешь ты, низко
наклонившись,
Со мною рядом неподвижно сидя,
Собой являя весь покой творенья.

Четвертый Восток Ахматовой — древнеегипетская поэзия, самая древняя из известных нам, появившаяся на свет в стародавние времена, когда небо лежало «на четырех своих столбах». Не будем удивляться тому, что и за тридцать пять веков до нас все теми же или подобными были тесно связанные с человеческим существованием чувства любви, верности, ожидания смерти, не будем удивляться и способности древних заставить нас сочувствовать их скорбям и радостям. Пора бы уже привыкнуть ко всему этому, рассказанному нам археологами и историками. Но никогда не привыкнуть к внезапности чужого поэтического слова, произнесенного на родном нам языке.

Никто не знает, в каком строе надо произнести это египетское слово, малоизвестны правила египетского стихосложения — есть строки и слова. Ахматова перевела все свободным стихом и лишь одно стихотворение «Тоску по Мемфису» — правильным анапестом без рифмы («Видишь, сердце мое убежало тайком...»). Я видел подготовленный ученым-египтологом И. С. Кацнельсоном подстрочник, по которому работала Ахматова. Близость стихов Ахматовой к словам подстрочника поражает. Но подстрочник о б н а р у ж и в а е т египетскую поэзию, стихи же Ахматовой д а р я т ее нам. Неожидан переход подстрочника в русскую поэзию, как неуловимо превращение рассветного сумрака в солнечное утро. И в тысячный раз задаешь себе вопрос — что есть поэзия? И знаешь только одно — она в словах, высказанных поэтом, и если они нуждаются в переводе, то, значит, сбереженных переводчиком. А как — это уж дело знаний его и таланта. И ничто не уверит нас в обратном, даже поэтические шедевры, когда они славны лишь «передачей духа оригинала», но пренебрегают его словом. Так, по крайней мере, представляется автору настоящей статьи.

Если предположить, что «Восток есть Восток», не вдаваясь в дальнейшие подробности и уточнения, то придется обратить внимание на преемственность переводившихся ранее Ахматовой восточных поэтов по отношению к безымянной египетской поэзии (как, кстати, и на преемственность по отношению к ней западных поэтов). Как и более поздняя китайская поэзия, египетская поэзия, по-видимому, начала не с эпических, а с лирических произведений. Б. А. Тураев утверждает, что эпос в ней отсутствовал. Ее сюжеты и темы не могли не перейти к потомкам, а может быть и независимо от нее снова возникнуть у потомков. Но трудно сдержать удивление при каждом узнавании известного тебе по другим, позднейшим источникам. И если, например, за полтора тысячелетия до нашей эры влюбленный египетский юноша (в отличном переводе В. Потаповой) говорит:

Быть бы мне черной рабыней,
Мойщицей ног!
Мог бы я вволю
Кожей твоей любоваться.
. . . . . .
Быть бы мне перстнем с печатью
на пальце твоем!
Ты бы меня берегла,
Как безделушку,
Из тех, что жизнь услаждают,—

то повторение или открытие подобное желание превратиться во все, что связано с любимой, в хорошо известных нам любовных монологах у более поздних восточных и западных поэтов?

Хочешь думать, конечно, что и без египтянина, по логике развития человеческих чувств и опоэтизирования их, мог обитатель другой страны земли через одно, и два, и три тысячелетия почувствовать и сказать приблизительно то же (ну, немного сложнее), но даже если и так, то стоит ли проходить мимо встречающихся нам совпадений, и не заявляют ли они, во всяком слу-

чае, об общности человеческой поэзии, идущей за общностью человеческой природы?

Все это к тому, что незаурядная образованность Ахматовой в истории и литературах Востока (о чем упоминалось вначале), а также уже совершенные ею переводы из восточной поэзии позволили ей и в переводе древних египетских стихов сохранить достигнутые ею высоты. Читая египтян Ахматовой, мы задумываемся над ними, но мы думаем и о нашем поэте, и, главное — в чем всегда притягательная сила настоящей поэзии,— мы думаем о себе, о нашей правде и о нашей нравственности.

Мы будем с тобою вместе,
И бог разлучить нас не сможет.
Клянусь, что с тобой не расстанусь
До тех пор, пока не наскучу тебе...

Это о вечной любви. А вот о смерти. Может быть, тогда была не самой неоспоримой мысль о том, что «причитания никого не спасают от могилы», и понадобились для уверений свидетельства простые и веские:

А потому празднуй прекрасный день
И не изнуряй себя.
Видишь, никто не взял с собой своего
достоянья.
Видишь, никто из ушедших не вернулся
обратно.

Но и смерти бояться не надо: она бессильна перед доброй памятью. Для поэта нет дороже созданного им при жизни. Прославлены писцы:

Они ушли,
Имена их исчезли вместе с ними,
Но писания заставляют
Вспомнить их.

Почему и сейчас дрогнет сердце, когда прочитаешь начертанное писцом:

Приходит ветер — и слетает к сикомору,
Приходишь ты — спешишь ко мне...

Только подлинный поэт мог сказать «Небо опускается на воздух, воздуху не удержать его...», или «И гибнут люди целыми народами...», или «Бег его таится подобно мраку...». Так поняла для нас и объяснила нам Ахматова древних египетских поэтов.

Панегирик Ахматовой? Так ли уж все безупречно? Автор статьи не всесторонен, но вправе поручиться за поэтическое соответствие той части стихов, которую он в состоянии прочитать в подлиннике. Кроме того, автор заметил одно интересное свойство поэтического перевода. Достоверность его обычно не нуждается в доказательствах: вы ее чувствуете при чтении и уверяетесь в ней.

Автор статьи ограничил себя вопросом соотнесения восточных переводов Ахматовой с собственным ее творчеством, желая помочь этим выяснению места, какое Ахматова занимает в нашем русском поэтическом переводе.

Переводы Ахматовой так же принадлежат ей, как и собственные стихи. В них древность оживлена ответными мыслью и чувством нашего современника. В них Восток, не лишенный национальной пряности, предстает своею общечеловеческой сущностью. В Петрограде молодости Ахматовой почти полстолетия тому назад в уже цитированном мною очерке китайской литературы В. М. Алексеев выражал надежду, что когда-нибудь «русский переводчик найдет в себе силы и знания, чтобы посмотреть великому поэту Китая прямо в глаза с тем мастерством, с которым он иногда умел смотреть в глаза Байрону и Гёте». Согласился ли бы автор очерка с тем, что написано в этой статье?

Не должен быть очень несчастным
И главное скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

Эти строки Анны Ахматовой относятся и к восточным переводам, которые составляют весьма важную часть в ее самораскрытии и без понимания которых теперь уже не может быть нарисован портрет поэта.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ЭХО ГДАНЬСКОГО СЪЕЗДА

Чаще всего региональные (в отличие от общепольских) встречи и совещания литераторов нескольких соседних воеводств имеют, так сказать, местное значение. Недавний XII съезд писателей Западных и Северных польских земель, состоявшийся в Гданьске в первых числах сентября, вышел, однако, за рамки «межвоеводского мероприятия»: работа его находилась в центре общественного внимания.

Писатель Казимеж Козневский, поместивший большую статью о съезде в еженедельнике «Политика», указал на одну из причин этого:

«Сколько раз на съездах писателей Западных земель ни пытались касаться чисто литературных проблем, столько же раз они превращались в бесполезную и скучную затею. Писатель — фигура политическая; и те съезды, положительной стороной которых были основополагающие вопросы, важные для каждого гражданина нашего государства, эти съезды доказывали свою необходимость, и голос их слышался на всю страну, перекатывался за ее границы, особенно громким эхом отдаваясь — так и должно! — в Германии, в ФРГ».

Громким оказалось и эхо нынешнего гданьского съезда, который состоялся как бы на перекрестке двух дат, напоминающих о двух значительных событиях в польской истории новейшего времени. Эти две даты — недавно исполнившееся 25-летие ПНР и 30-летие второй мировой войны, первые залпы которой прогремели именно здесь, в Гданьске ранним сентябрьским утром 1939 года. Тем самым съезд носил в известной мере итоговый характер. И то, что за четверть века существования социалистической Польши сформировался, как подчеркнул на съезде секретарь ЦК ПОРП Зенон Клишко, новый тип писателя, глубоко чуждого «безыдейному эстетству», писателя, являющегося приверженцем «общественной миссии литературы», весьма способствовало тому, что сами съездовские выступления получили характер широкого разговора о литературе, о месте художника в современном обществе.

Еженедельник «Культура», посвятивший один из своих сентябрьских номеров гданьскому съезду, опубликовал целый ряд писательских выступлений под общим заголовком «Писатели и война». Еще с большим основанием этот отчет мог быть озаглавлен «Писатели против войны», так как красной нитью через все выступления проходила именно эта мысль.

В ходе съездовской дискуссии с достаточной четкостью выявилась позиция, занимаемая польскими литераторами в этом вопросе: не просто пацифистское осуждение войны как неизбежного и необоримого зла, но активная и последовательная борьба с ним.

«Мы,— заявил открывавший съезд писатель Тадеуш Голуй, бывший узник Освенцима,— решительно отвергаем тезис о мнимом бессилии человека перед лицом абстрактных сил, от которых зависит дело войны и мира. Отвергаем и тезис, согласно которому писатель якобы бессилен повлиять на изменение политической обстановки. Все это не более как жалкий, хотя и удобный, способ самооправдания... Сотни писателей продолжают борьбу, нередко жестокую и кровавую, всюду, где только ни идет сражение, за новый образ жизни, за свободу человека, за мир — писатели становятся защитниками этих идей».

Военный историк и литератор Збигнев Залуский говорил о том, что само понятие «антивоенная литература» нуждается в известных уточнениях:

«Мы должны протестовать, учить, готовить читателя к тому, чтобы он ненавидел войну, что вовсе не означает, однако, чтобы он не брался за оружие, если придет пора защищаться».

Именно поэтому, по мнению Залуского, речь идет в первую очередь о литературе, которая

«указывала бы будущее, мобилизовала читателя к борьбе с агрессором, о литературе, которая не парализовала бы волю человека перед угрозой войны».

Тревогой за судьбы культуры было проникнуто выступление прозаика Станиславы Флешаровой-Мускат, руководителя гданьской писательской организации, взволнованно говорившей о том, насколько важно вовремя суметь предотвратить опасную вспышку, чтобы помешать новой войне, и насколько велика при этом роль писателя в нынешнем обществе.

«Писатели,— заключила она,— всегда были теми, кто пробуждал совесть мира, и хотя они никогда не обладали решительностью политиков, именно им суждено судить о всех делах человеческих».

О моральной ответственности писателей перед обществом, но уже в ином плане, говорили с трибуны съезда и те выступавшие, которые обращались к произведениям западногерманских писателей, посвященных минувшей войне.

Шленский прозаик Вильгельм Шевчик, он же автор ряда фундаментальных трудов по современной немецкой литературе, не скрывал своего беспокойства по поводу того, что далеко не все писатели ФРГ вынесли моральное осуждение той войне, которую развязал фашизм. Более того, широкое распространение получает, по словам Шевчика, низкопробная литература, проникнутая явно милитаристским духом:

«Я имею в виду «ланцерхефты» — книжные выпуски для солдат, издаваемые миллионными тиражами. Итак, если речь идет о западногерманской литературе, то нам не следует лишь восхищаться произведениями тех выдающихся мастеров, в книгах которых можно обнаружить критическое отношение к последней войне и нынешней политике Бонна, надо говорить именно об этом массовом чтиве, попадающем в руки молодежи».

Продолжая разговор, начатый Шевчиком, литературовед Александр Рогальский (Познань) остановился на произведениях тех западногерманских писателей, которые, в отличие от авторов, упомянутых предыдущим оратором, далеки от воспевания и романтизации подвигов немецких вояк в период фашистской оккупации стран Европы. Они осуждают войну. Но осуждают ее с абстрактно пацифистских позиций, как своего рода извечное, метафизическое зло. На конкретном анализе книг Ледига, Ганса Пумпа и других Рогальский показал несостоятельность и непоследовательность подобной внесоциальной, внеполитической позиции. Все это, заметил он,

«не только уводит от понимания сути войны, развязанной гитлеровцами, как зла, порожденного фашизмом, но невольно придает самой войне характер чего-то сверхъестественного и космического, что подчиняет своей недоброй воле всех и что сделало, к примеру, абсолютно бессмысленным проведение всякого рода различий между теми, кто убивает, и теми, кого убивают, между палачами и жертвами, между войной захватнической и освободительной».

На гданьском съезде не раз назывались советские книги о Великой Отечественной войне. Они приводились как пример, как образец той антивоенной литературы, которая, изображая подлинный масштаб военных потрясений, вместе с тем показывала стойкость и мужество советских людей, оборонявших страну от фашистского нашествия.

Интересным и убедительным оказался в этой связи анализ некоторых произведений советских авторов, проведенный критиком Збигневом Жакевичем (Гданьск). Он остановился на романе Константина Симонова «Живые и мертвые», показав на нем, в качестве одного из примеров, как литература наша в горниле военных испытаний накапливала и углубляла свой нелегкий опыт, приняв вместе со всем народом весь груз войны на свои плечи. Такова, по словам Жакевича, оказалась трагическая необходимость,— советские писатели понимали: войну можно убить только войной и только ценою человеческой крови возможно отстоять мир, ибо мир мог наступить лишь в результате победы.

В заключение участники съезда приняли обращение к писателям всего мира. В нем говорится:

«Мы, польские писатели, собравшиеся в Гданьске, городе, где вспыхнула вторая мировая война, тридцать лет спустя, писатели того народа, который ради защиты своей свободы понес особенно тяжелые жертвы. Мы, бывшие солдаты и бывшие военнопленные, люди, испытавшие фашистское рабство, былые узники гитлеровских концлагерей и гестаповских застенков, мы, уцелевшие от печей Майданека, Дахау, Маутхаузена и Освенцима. Мы призываем писателей мира всем сердцем своим, всей силой своего таланта включиться с нами вместе в борьбу против войны, ради защиты мира, культуры, цивилизации».

В обращении указывается на опасность возрождения фашизма в ФРГ:

«Снова в стране, которая в XX веке развязала две мировые войны, создается мощная армия реванша, формируются неофашистские отряды».

Далее в обращении сказано:

«Космические полеты сделали для нас всех очевидной одну глубокую истину: мы, великая человеческая семья, существуем только здесь — на Земле. Именно здесь родилось, здесь исполнено значения могучее и прекрасное слово: ГУМАНИЗМ... Мы обращаем к вам свой призыв из города, который был стерт с лица земли войною, но воскрешен и возвращен к жизни руками нашего народа, обреченного на полное уничтожение фашистскими палачами... Пусть же никогда ни один город на свете не разделит печальной славы Гданьска».

Говоря об итогах XII съезда писателей Западных и Северных земель, первый секретарь Гданьского воеводства, член Политбюро ЦК ПОРП Станислав Котёлэк подчеркнул на страницах газеты «Трибуна люду»:

«Обращение к писателям всего мира приобретает силу политического документа. Оно верно и точно в своих оценках. Называя империализм источником непрекращающейся тревоги, агрессий и войн, оно убеждает своей искренностью и силой протеста против их первопричин, исполнено веры в то, что мир на земле может быть сохранен. Тот факт, что призыв к людям творческого труда посвятить свой талант благородному делу прогресса и мира исходит от польских писателей, имеет особенное значение, учитывая их судьбы в годы войны. Многие наши литераторы пали с оружием в руках, были расстреляны или замучены в фашистских концлагерях и застенках гестапо».

Призыв польских писателей не останется без ответа.

С. Л.

«ЗАВЕРБОВАННЫЕ И РАЗГНЕВАННЫЕ»

Существует ли еще «завербованная» литература? — спрашивает известный английский критик Филип Тойнби в статье «Писатели, служившие Делу», которая появилась в «Обзёрвер» в августе этого года.

«На протяжении многих лет,— пишет Тойнби,— я стремился, когда предоставлялась возможность, развенчать доктрину завербованности, но за последнее десятилетие такие возможности выпадали нечасто. Почему? Может быть, обязанность непосредственно демонстрировать в романах, стихах и пьесах свою политическую ориентацию теперь настолько общепризнана, что никто уже не считает нужным это подчеркивать? Или от этой доктрины отказались и решили молчаливо предать ее забвению? Скорее всего, ни то и ни другое; по-прежнему существуют писатели завербованные и писатели незавербованные, просто первые, наконец-то, решили оставить вторых в покое».

Подчеркивая (не без скрытого самолюбования), что он никогда не принимал идеи «завербованности» искусства, Тойнби не погрешил против истины. О том, что эта идея ему совершенно чужда, свидетельствует хотя бы производимая Тойнби — причем довольно грубо — подмена одного понятия другим. Как-то неловко разъяснять столь искушенному литературоведу, как Тойнби, что «завербованность» предполагает отнюдь не то, что художник обязан «непосредственно демонстрировать» в произведений «свою политическую ориентацию». Впрочем, и сам термин «завербованность» требует пояснений, поскольку скорее запутывает, чем проясняет суть дела. В том ее понимании, которое имел в виду Тойнби, доктрина «завербованности» (или «ангажированности») художника восходит к Сартру. В книге «Что такое литература?», вышедшей в 1948 году, Сартр подверг резкой критике тех литераторов, которые и после потрясений второй мировой войны не избавились от иллюзий на тот счет, что в современном мире еще возможно «чистое», замкнутое в рамках самого себя и старательно изолирующееся от социальных и политических проблем эпохи искусство.

Согласно Сартру, литература во все времена была и должна остаться в современных условиях «социальной функцией» в том смысле, что ее ценности имеют не абстрактно-гуманистический, а непосредственно социальный и политический характер. «Завербованность», таким образом понятая, означает, что художник не может уклониться от существенных проблем современности, от тех «проклятых вопросов», которыми живет эпоха. Правда, сегодня Сартр во многом по-иному рассматривает те же проблемы, но об этом речь впереди.

За двадцать лет, прошедших со дня выхода книги «Что такое литература?», положения, которые высказал в этой работе Сартр, для большинства западных критиков приобрели характер аксиомы. В этом смысле эстетская позиция Тойнби даже для

Запада — давно пройденный этап. Впрочем, его многолетняя война против «завербованности» — дело принципа. Тойнби принадлежит к той редко теперь встречающейся разновидности критиков, которые, едва в романах, стихах и пьесах обнаруживалась серьезная социальная проблематика, пускали в ход излюбленное словечко «пропаганда», решительно и бесповоротно отказывая таким книгам в праве именоваться художественными. Для него — в этом Тойнби, пожалуй, уникален — даже такое выдающееся произведение «завербованной» литературы, как «По ком звонит колокол», по сей день остается «чудовищно плохим романом», ибо

> «непосредственную и страстную заинтересованность в событии, в Деле — сколь бы благородным и значительным оно ни было — лучше выражать открыто, а не в форме художественного повествования».

Канули в прошлое те времена, когда «высоколобая» эстетская критика еще могла найти какой-то отклик у читателя, и, сознавая это, Тойнби не решается прямо утверждать, что любое произведение «с политической подоплекой» обречено быть художественно несостоятельным. Это, однако, ие мешает Тойнби тут же со всей решительностью объявить, что писатели, прошедшие через опыт гражданской войны в Испании, когда

> «в последний раз (?) многие из них нашли **естественный** материал в большом, полном драматизма общественном событии»,

ие сумели создать на этом материале ни одного значительного произведения. Мало того, если верить Тойнби, писатели, исповедовавшие доктрину «завербованности», не только ничем не обогатили литературу, но и тормозили ее развитие, «яростно набрасываясь» на тех литераторов, которые не желали «ввязываться в драку», кто в искусстве тяготел к изображению

> «человеческих взаимоотношений (как будто можно изобразить их изолированно от тех вопросов, которыми живет эпоха.— *А. З.*), к мифу, проникновению во внутренний мир человека, чистому описанию, стремился запечатлеть неповторимо индивидуальные переживания и создать характеры (все это, как явствует из рассуждений Тойнби, «завербованной» литературе недоступно.— *А. З.*) и т. д.».

Обвинения в антихудожественности, когда речь идет о таких произведениях, как «По ком звонит колокол», разумеется, смехотворны. Да и вообще выпады Тойнби против художников, глубоко сознававших свой гражданский долг, любопытны разве лишь как свидетельство крайнего консерватизма «высоколобых», которых ничему не научили ни Испания, ни Вьетнам.

Существует, однако, немало критиков, настроенных не менее враждебно, чем Тойнби, по отношению к литераторам, которые не отделяли художественного творчества от задач общественной борьбы, но пользующихся в своих атаках против таких писателей гораздо более тонким оружием. При этом неточность термина «завербованная» литература выступает особенно наглядно.

В самом деле, ни снискавший себе нелестную славу ренегата английский поэт Стивен Спендер, который опубликовал не так давно в американском журнале «Партизан ревью» статью «Писатели и политика», ни французский литературовед Франсуа Бонди, автор статьи «Завербованные и разгневанные», появившейся летом этого года в журнале «Прёв», не отрицают, что литература является — в сартровском смысле — «завербованной». Они согласны с тем, что крупный художник не может замыкаться в кругу образов «чистого искусства», что он обязан откликаться в своем творчестве на важнейшие события современности.

Однако было бы дико ставить апологета британского колониализма Киплинга или ярого приверженца Муссолини Габриэля Д'Аннунцио на одну доску, например, с Хемингуэем или Брехтом только потому, что ни те, ни другие не принимали «чистого искусства». «Завербованность» может находить самые разные, подчас прямо противоположные проявления; говоря о «завербованности», точнее сказать, отстаивая принцип ответственности художника, марксистская критика всегда имела в виду стремление писателя познать и выразить общественно-историческую правду, его причастность к передовым идеям и движениям эпохи. Именно такая завербованность и стала объектом нападок со стороны некоторых литераторов, на первый взгляд, даже полемизировавших с Тойнби, а на деле стремившихся к той же цели — скомпрометировать подлинно передовую литературу XX века.

Как и другие сочинения Спендера послевоенных лет, его статья в «Партизан ревью» представляет собой слезную исповедь извиняющегося за «грехи молодости» экс-радикала. Спендер недвусмысленно объявил, что литераторы-антифашисты 30-х годов, бойцы англо-ирландского батальона Интернациональной бригады, люди, понимавшие свою «завербованность» как обязанность бороться с фашизмом с оружием в руках, потерпели якобы идейное банкротство, и произошло это, оказывается, потому, что вечные ценности «чистого» искусства они променяли на «преходящие» ценности социального радикализма своего времени. Спендер готов милостиво «простить» этим писателям (среди них были погибшие в Испании Ральф Фокс и Кристофер Кодуэлл) их само-

пожертвование в той борьбе, которая, «как они себе внушали (!), являлась борьбой за цивилизацию», но их «ослепление» социальными конфликтами современной им эпохи, по Спендеру, непростительно.

«Либералы, поборники прогресса, антифашисты,— утверждает Спендер,— думая о будущем, не могли, отталкиваясь от современной им цивилизации, увидеть в этом будущем ценности столь же высокие, как ценности прошлого, которые отстаивали реакционеры (Спендер говорит о Паунде, Элиоте, Йитсе и Лоуренсе.— *А. З.*)... Реакционеры страстно защищали эти ценности прошлого. Тоска по ним побуждала их относиться с симпатией к любому армейскому капралу, к любому демагогу, объявлявшему себя защитником порядка. История Эзры Паунда показала, что подчас это вело к трагическим последствиям. Но реакционеры не ставили политику перед литературой. Они не предавали забвению и не откладывали на будущее стоявших перед ними вопросов собственно художественного характера, как это делали писатели-антифашисты».

В статье «Писатели и коммунизм», появившейся в еженедельнике «Нью-Йорк ревью оф букс» в сентябре нынешнего года, Спендер договорнлся до того, что объявил антнфашистские выступления передовых писателей 30-х годов не более чем проявлением их идейной незрелости. Впрочем, чнтателя не должно удивлять, что из-под пера этого литератора выходит одно клеветнническое измышление за другим.

История самого Спендера, пришедшего от «завербованности» 30-х годов к завербованностн совсем иного рода (в 1967 году его имя долго не сходило с газетных полос в связи с разоблачением руководнмого им в 50-е годы журнала «Энкаунтер», который под маской объективного и беспристрастного обсуждения «вопросов собственно художественного характера» занимался пропагандой по заданию ЦРУ и получал от этой организации денежные субсидии),— эта история красноречиво свидетельствует об идейном банкротстве самого Спендера, пытающегося теперь оправдаться любыми средствами, не брезгующего и прямой фальсификацией истины.

«Крайностн» Спендера, очевидно, шокировали Франсуа Бонди; во всяком случае, статью в «Партизан ревью» он назвал — с полным основанием — «мазохистской критикой его собственного поколения». Бонди открыто декларирует свое неприятие доктрины «чистого искусства»; с ним трудно не согласиться, когда он, подразумевая «высоколобых», пишет:

«Не раз историки литературы высказывались в том смысле, что им (писателям, которых имел в виду Спендер.— *А. З.*) следовало бы быть более сдержанными. Но такие пожелания основаны на представлении о том, что писатель есть прежде всего писатель, а уж затем человек, что он способен или должен быть способен проходить мимо всего, что отвлекает его от работы, что мешает его творческим усилиям или имеет слишком очевидные продолжения в области, лежащей за пределами литературы. Но от Данте до Хохгута еще не было писателя, которого сумели бы уговорить не посылать в преисподнюю тех наместников *, которые ему не по душе».

Но и Бонди — человек гораздо более осторожный в своих выводах, чем Спендер,— недалеко ушел от бывшего попечителя «Энкаунтера» в своей неприязни к эстетнческому кредо передовой литературы 30-х годов н современности. Понять это помогает одна любопытная особенность статей Спендера и Бонди.

Имя Эзры Паунда далеко не случайно возникло на страницах статьи Спендера, а затем и в статье Бонди. Паунд — почти хрестоматийный образец художника-эстета, поднявшего бунт против «цивилизации ростовщичества», которая оскорбляла его своим грубым прозаизмом, вульгарностью и враждебностью культуре. Хорошо известно, к чему привел Паунда его анархистский мятеж — к сотрудничеству с Муссолини, в котором, как ни парадоксально, он увидел человека, способного взорвать систему буржуазного миропорядка. За свои выступления по римскому радио в 1941—1942 гг. Паунд после окончания войны был предан в США суду по обвинению в государственной измене, и от виселицы его спасло только психическое расстройство.

Дело здесь, однако, не в личной судьбе Паунда и даже не в том, как понимали и он сам и стоявшие близко к нему литераторы свою ответственность перед обществом. Работы ряда критиков, писавших о Паунде и других литераторах, пришедших от индивидуалистического протеста против буржуазного общества к открытой поддержке фашизма, таких как Луи Фердинан Селин и Анри Монтерлан, обнаруживают стремление скомпрометировать идею ответственности художника путем спекуляции на том, что эти писатели тоже не замыкались в пресловутой башне из слоновой кости.

Так, Спендер прямо пишет о Паунде как о литераторе, еще более обеспокоенном судьбами культуры и цивилизации, и в этом смысле еще более «завербованном», чем занимавшие прямо противоположные позиции, находившиеся в самом буквальном смысле слова по иную сторону баррикад Кодуэлл или Фокс. Обвиняя «завербованных» левых писателей в том, что они поступались искусством ради политики, Спендер

* Намек на пьесу западногерманского писателя Рольфа Хохгута «Наместник», в которой раскрыта неприглядная роль Ватикана в годы войны.

противопоставляет им «бунтаря» Паунда, в чьем творчестве «завербованность», на взгляд Спендера, нашла свое высшее проявление. Не уклоняясь от современных ему общественных вопросов, Паунд тем не менее всегда оставался художником и благодаря этому выразил дух своего времени глубоко и достоверно. Такова логика рассуждений Спендера.

«Бунт» Паунда, как и «ярость» Селина,— свидетельства крайних последствий, к каким способен привести индивидуалистический мятеж, и Спендеру можно было бы многое возразить, когда он пытается поставить этих писателей над антифашистской литературой 30-х годов. Бонди, например, не может не признать, что после войны «оказалось не так-то просто судить о Паунде, исходя из категорий чисто эстетического характера».

Дело, однако, не сводится к тому, как интерпретируют casus Эзры Паунда Спендер и Бонди. Пример с Паундом понадобился Бонди для того, чтобы декларировать свой основной тезис: осуждая Паунда, он тем не менее настойчиво проводит мысль о том, что именно «разгневанность» становится в современных условиях — хотим мы этого или нет — основным проявлением «социальной сознательности» художника. «Пафос завербованности», пишет Бонди, подразумевая служение художника «задачам социальной революции», не находит более опоры в современном мире. «Проблематичные и напряженные отношения между истиной и властью» — вот, если верить Бонди, вопрос, волнующий современное общество несравненно больше, чем идеи, которыми жила передовая литература 30-х годов. Эти «отношения», по мнению Бонди, достигли теперь такой степени напряженности, что внимание современных художников полностью поглощено ими; «бунт» в таких условиях, считает Бонди,— гораздо более естественная и закономерная реакция, чем поиски общественно-исторической истины. Под пером же Спендера «бунт» вообще выступает как высшая форма «завербованности», как высшее проявление ответственности художника перед обществом.

О том, что подобные рассуждения имеют целью дискредитировать идейное наследие 30-х годов и творчество тех современных художников, которые остались ему верны, не приходится говорить. В статье Бонди, например, в роли «отставших от эпохи» оказываются, разумеется, все без исключения писатели социалистических стран. Но, отвлекаясь от очевидных передержек Бонди и Спендера и от их малопочтенного стремления бросить тень на писателей, которые и сегодня глубже всех «бунтарей» сознают свою ответственность перед временем, нельзя все-таки не отметить, что «бунт» — действительно проблема № 1 на Западе последних лет. «Бунт» битников, «бунт» английских «сердитых молодых людей», «бунт» Энценсбергера, «бунт» Нормана Мейлера — кажется, в литературе, да и в духовной жизни Запада последние десять-пятнадцать лет представляют собой сплошную цепь подобных мятежей: против духа филистерства, против любой регламентации, против буржуазной культуры, против тирании самого существования человеческого.

Сегодня многим на Западе кажется пророческой мысль Камю, высказанная в книге «Восставший человек» (1952):

> «...Для человеческого духа возможны только две вселенные — вселенная священного (или, пользуясь термином христианства, вселенная благодати) и вселенная бунта. Исчезновение одной из этих вселенных тождественно выдвижению на передний план второй из них, хотя это возможно в формах, способных повергнуть в замешательство. Актуальность проблемы бунта объясняется исключительно тем, что целые общества сегодня добровольно отделились от вселенной священного... Современная история... заставляет нас признать бунт одним из существенных измерений человека. Бунт есть наша историческая реальность».

Разумеется, как и всякое общественное явление, принявшее массовый характер, «бунт» — будь это стихийный, во многом анархический мятеж современной молодежи против ее отчуждения и превращения в объект эксплуатации или яростный, но на удивление непоследовательный протест американского писателя Нормана Мейлера против тотальной стандартизации человеческого существования у него на родине, будь это «бунт» в литературе или в самой действительности,— «бунт» требует к себе дифференцированного подхода. Этому учит история некоторых мятежей, которые еще у всех на памяти. Вызывающие манифестации битников сменились социальной апатией и нескончаемыми поисками нирваны. Англичане шутят, что «сердитые молодые люди» становились все добрее, по мере того как их банковские счета делались все внушительнее. Кингсли Эмис, едва ли не самый «сердитый» из всех «сердитых», проделал путь от язвительного «Счастливчика Джима» через пошловатую книжку «Выбирайте милую себе под стать» к откровенно рыночной поделке «Полковник Сан», где восхваляются добродетели Джеймса Бонда.

Почему это происходит? Почему «разгневанные» так часто заканчивают свой путь пленниками самых реакционных общественных и философских течений? Только ли их враждебность к «систематизации и анализу» тому виной? Только ли тем, что у Селина доминировали «чувство и инстинкт», а не разум, можно объяснить идейный и творческий крах этого незаурядного писателя, в чьих книгах и высказываниях к концу 30-х

противопоставляет им «бунтаря» Паунда, в чьем творчестве «завербованность», на взгляд Спендера, нашла свое высшее проявление. Не уклоняясь от современных ему общественных вопросов, Паунд тем не менее всегда оставался художником и благодаря этому выразил дух своего времени глубоко и достоверно — такова логика рассуждений Спендера.

«Бунт» Паунда, как и «ярость» Селина,— свидетельства крайних последствий, к каким способен привести индивидуалистический мятеж, и Спендеру можно было бы многое возразить, когда он пытается поставить этих писателей над антифашистской литературой 30-х годов. Бонди, например, не может не признать, что после войны «оказалось не так-то просто судить о Паунде, исходя из категорий чисто эстетического характера».

Дело, однако, не сводится к тому, как интерпретируют casus Эзры Паунда Спендер и Бонди. Пример с Паундом понадобился Бонди для того, чтобы декларировать свой основной тезис: осуждая Паунда, он тем не менее настойчиво проводит мысль о том, что именно «разгневанность» становится в современных условиях — хотим мы этого или нет — основным проявлением «социальной сознательности» художника. «Пафос завербованности», пишет Бонди, подразумевая служение художника «задачам социальной революции», не находит более опоры в современном мире. «Проблематичные и напряженные отношения между истиной и властью» — вот, если верить Бонди, вопрос, волнующий современное общество несравненно больше, чем идеи, которыми жила передовая литература 30-х годов. Эти «отношения», по мнению Бонди, достигли теперь такой степени напряженности, что внимание современных художников полностью поглощено ими; «бунт» в таких условиях, считает Бонди,— гораздо более естественная и закономерная реакция, чем поиски общественно-исторической истины. Под пером же Спендера «бунт» вообще выступает как высшая форма «завербованности», как высшее проявление ответственности художника перед обществом.

О том, что подобные рассуждения имеют целью дискредитировать идейное наследие 30-х годов и творчество тех современных художников, которые остались ему верны, не приходится говорить. В статье Бонди, например, в роли «отставших от эпохи» оказываются, разумеется, все без исключения писатели социалистических стран. Но, отвлекаясь от очевидных передержек Бонди и Спендера и от их малопочтенного стремления бросить тень на писателей, которые и сегодня глубже всех «бунтарей» сознают свою ответственность перед временем, нельзя все-таки не отметить, что «бунт» — действительно проблема № 1 на Западе последних лет. «Бунт» битников, «бунт» английских «сердитых молодых людей», «бунт» Энценсбергера, «бунт» Нормана Мейлера — кажется, в литературе, да и в духовной жизни Запада последние десять-пятнадцать лет представляют собой сплошную цепь подобных мятежей: против духа филистерства, против любой регламентации, против буржуазной культуры, против тирании самого существования человеческого.

Сегодня многим на Западе кажется пророческой мысль Камю, высказанная в книге «Восставший человек» (1952):

> «...Для человеческого духа возможны только две вселенные — вселенная священного (или, пользуясь термином христианства, вселенная благодати) и вселенная бунта. Исчезновение одной из этих вселенных тождественно выдвижению на передний план второй из них, хотя это возможно в формах, способных повергнуть в замешательство. Актуальность проблемы бунта объясняется исключительно тем, что целые общества сегодня добровольно отделились от вселенной священного... Современная история... заставляет нас признать бунт одним из существенных измерений человека. Бунт есть наша историческая реальность».

Разумеется, как и всякое общественное явление, принявшее массовый характер, «бунт» — будь это стихийный, во многом анархический мятеж современной молодежи против ее отчуждения и превращения в объект эксплуатации или яростный, но на удивление непоследовательный протест американского писателя Нормана Мейлера против тотальной стандартизации человеческого существования у него на родине, будь это «бунт» в литературе или в самой действительности,— «бунт» требует к себе дифференцированного подхода. Этому учит история некоторых мятежей, которые еще у всех на памяти. Вызывающие манифестации битников сменились социальной апатией и нескончаемыми поисками нирваны. Англичане шутят, что «сердитые молодые люди» становились все добрее, по мере того как их банковские счета делались все внушительнее. Кингсли Эмис, едва ли не самый «сердитый» из всех «сердитых», проделал путь от язвительного «Счастливчика Джима» через пошловатую книжку «Выбирайте милую себе под стать» к откровенно рыночной поделке «Полковник Сан», где восхваляются добродетели Джеймса Бонда.

Почему это происходит? Почему «разгневанные» так часто заканчивают свой путь пленниками самых реакционных общественных и философских течений? Только ли их враждебность к «систематизации и анализу» тому виной? Только ли тем, что у Селина доминировали «чувство и инстинкт», а не разум, можно объяснить идейный и творческий крах этого незаурядного писателя, в чьих книгах и высказываниях к концу 30-х

годов стала все явственнее проявляться общность с идейками, которые протаскивали добровольно завербовавшиеся на службу ведомству Геббельса Эрнст Юнгер и прочие «певцы» третьего рейха? И если, как считает Бонди, и «завербованные» и «разгневанные» принадлежат и в литературе и в общественной жизни к «активистам», если «ни те, ни другие не удовлетворяются простым фактом существования их произведений», но, откликаясь на призыв «юного гения ярости» Артюра Рембо, стремятся изменить жизнь, где та грань, что отделяет первых от вторых?

«Разгневанный писатель,— пишет Бонди,— это тот, который страдает от пороков мира и не может сдержать возмущения, когда сталкивается с ними. Он громогласно возвещает о своем страдании и о своем гневе; чувство ненависти к существующим в мире порядку или хаосу у него развито куда сильнее, чем чувство любви к жертвам этого порядка или хаоса... трезвому размышлению он предпочитает магическое заклятие. Он не допускает, чтобы между ним как личностью и произведениями, которые выходят из-под его пера, существовала какая-то дистанция, будь то сознание, что у него как личности есть и свои индивидуальные проблемы, или чувство юмора... Завербованный писатель пытается убедить, апеллируя к разуму; разгневанный писатель уповает — и нередко с успехом — на непосредственный отклик, который вызовет его яростный протест, ибо к этому протесту могут присоединиться другие».

Но отмеченные Бонди различия еще далеко не исчерпывают сути дела. О том, к каким нелепым последствиям приводит подчас исступленная (пусть и праведная) ярость, хорошо известно; даже в тех случаях, когда иной «разгневанный» писатель изрекает истины как будто абсолютно бесспорные, эти истины звучат в его устах настолько патетично и в конечном итоге приобретают столь комический оттенок, что невольно вспоминаются слова гоголевского персонажа: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

В уже цитировавшейся статье Тойнби возлагает всю вину за распространение идеи «завербованности» на Сартра и даже приписывает ему требование, чтобы «писатели примкнули к пролетариату», хотя такого требования Сартр никогда не выдвигал.

Суждения Тойнби о Сартре голословны, как и все его выпады в адрес противников «чистого искусства». Но эволюция Сартра в последние годы не может не привлечь внимания.

Истоки этой эволюции — в неудовлетворенности Сартра той самой доктриной «завербованности», которую он когда-то выдвинул. Для такой неудовлетворенности были причины.

«Что бы ни случалось в послевоенном мире,— пишет, например, американский социолог Герберт Люти,— им (французским интеллигентам и писателям, приверженцам Сартра.— А. З.) важно было избежать угрызений совести и поддержать интеллектуальное равновесие путем тщательно дозированных протестов против тирании... дискриминации... репрессий. В итоге все, что происходило в мире, они начали рассматривать со специфической точки зрения — точно их позиция являлась воплощением Разума, а высшей целью было сохранение Разумности. И наконец единственной темой «завербованной литературы» стала она сама. Понятие «завербованность» превратилось в солипсизм».

Хотя желание скомпрометировать принцип «завербованности», как таковой, весьма ощутимое в выступлении Люти, не делает ему чести, известная созерцательность и эгоцентричность и Сартра и литературы, равнявшейся на Сартра, были им уловлены верно.

Недостаточность такой «завербованности» ощущал и сам Сартр, и поэтому его «бунт» именно против носителей принципа «Разумности» — «бунт», которым отмечены многие выступления и самого Сартра и его сторонников в последнее время,— по-своему закономерен. Оброненное однажды Сартром признание, что он до своего смертного часа будет ненавидеть буржуазию, продуктом которой является он сам, помогает понять идейную подоплеку этого «бунта».

«Завербованность», трактуемая некогда им самим как проявление «разумной позиции» в любой общественной ситуации, сегодня уже не устраивает Сартра; не устраивает его и сам принцип «Разумности» — достояние буржуа и «болота», иными словами, непоправимо обуржуазившегося, по мнению Сартра, французского пролетариата. Выдвигая требование радикального общественного переворота, Сартр прямо говорит, что осуществить его уже не способен разменявший идеи революции на ничтожные практические выгоды рабочий класс. И нет ничего удивительного в том, что все надежды на это радикальное изменение Сартр связывает теперь с абсолютно некритически воспринимаемым им студенческим движением, что конечный результат этого изменения обозначается им как «культурная революция», а ее единственной альтернативой оказывается фашизм (статья Сартра «Молодежь в ловушке», «Нувель обсерватёр», 17 марта 1969 г.).

Пример с Сартром — а он, увы, не единичен — подтверждает не столько обоснованность проводимых Бонди различий между «завербованными» и «разгневанными», сколько справедливость другого положения его статьи — о том, что между

«завербованностью» и «бунтом» не существует «строгой демаркационной линии». Эта граница действительно подвижна, но путь каждого художника от «бунта» к «завербованности» или в обратном направлении имеет не только индивидуальные, но и общественные причины. Вот почему разделение писателей на «завербованных» и «разгневанных» — во многом произвольное и недостаточное, как и всякое иное разделение,— помогает тем не менее уловить некоторые характерные особенности развития культуры. От «бунта» к ответственности — таков путь Маяковского, Брехта, Элюара. От «завербованности» к «бунту», от «Нагих и мертвых» к «Американской мечте» прошел среди других Норман Мейлер, и эта эволюция показательна для многих современных писателей США, глубоко чувствующих опустошенность американской жизни, но не способных противопоставить ей что-нибудь, кроме экстремизма «разгневанного» искусства, в котором видится им, по словам Бонди, «последняя защита от постыдных условий существования».

«...Не страсть, не любовь, не преданность идее, не радость успеха, не заинтересованность, не то или иное настроение, состояние души, даже не мир материальных ценностей, но раздражение лежит в основе современной жизни,— писал Мейлер в книге «Каннибалы и христиане» (1966).—...Все более и более обыденным состоянием для всех людей становится чувство незавершенности и раздражение... Дети, явившиеся в мир после второй мировой войны, выросли... на этом чувстве незавершенности, и поэтому искусство середины века есть искусство абсурда, оно имеет дело с категориями незаконченности в их восходящей последовательности, его стиль — это стиль разлома... Люди, отупев от недоконченности, сходят с ума».

В этом всепроникающем «раздражении», которое постоянно испытывает в наши дни человек Запада, одна из главных причин того, что «беспредметная ярость», о которой как о наиболее характерной черте людей его поколения говорил тридцать лет назад в «Сицилийских беседах» Элио Витторини, сегодня стала еще более типичной приметой времени.

«Беспредметная ярость» передается современной литературе Запада, порождая в ней один «бунт» за другим. Характер таких «бунтов» в каждом случае индивидуален, но в них есть и нечто общее: «бунтарь» — это человек, который не хочет и не может довольствоваться теми сомнительными ценностями, которые предлагает ему западное общество.

Но за этой исходной точкой пути «бунтарей» расходятся. Разочарование в ценностях, предлагаемых обществом, ведет одних «бунтарей» к разочарованию в обществе, как таковом, к ощущению космической несправедливости условий, в которых должен существовать человек, а вслед за этим — и к признанию радикального несовершенства самого человека, принимающего эти условия. «Бунт» оказывается не протестом против диктата буржуазного общества над человеком, а мятежом против самих «условий человеческого существования». Такой мятеж утрачивает свою социальную действенность, он ведет «бунтарей» к тому, что они ограничиваются вызывающим, но лишенным непременной действенности «жестом неприятия», а в конечном счете — к компромиссу с тем самым буржуазным обществом, прогив которого они когда-то восставали.

Другие «бунтари» приходят к пониманию того, что «условия человеческого существования» не метафизичны, что причины их несовершенства лежат в природе общества. Этот путь открыт и для молодых «бунтарей», которых так много сегодня и в западном обществе и в западной литературе.

Что более подобает современному писателю: сознание ответственности перед обществом или чувство ненависти по отношению к обществу?

Вопрос, который поставил в своей статье Бонди, сформулирован весьма прямолинейно, но для Запада наших дней он чрезвычайно актуален. Что ж, ответ на этот вопрос дает анализ пути, которым прошли лучшие художники XX века. Писатель, руководствующийся принципами гражданской ответственности, осознающий, что течение жизни индивидуума определяется ходом истории, неизбежно придет к той «завербованности», которая требует от художника служения передовым идеалам времени.

Ибо не устарела истина, которую лаконично выразил еще Чехов: «Литератор... человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью».

А. ЗВЕРЕВ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

(По страницам болгарской литературной печати)

Московское Международное совещание коммунистических и рабочих партий получило широкий отклик на страницах болгарской литературной печати. Наряду со многими принципиальными политическими и теоретическими итогами Московского совещания особое внимание привлекают те его выводы, которые позволяют заново выверить позиции творческой интеллигенции в современной идеологической борьбе, наметить первоочередные задачи в области литературы и искусства.

Хотя в Москве не говорилось прямо о литературе и искусстве, отмечает в редакционной статье литературно-художественный ежемесячник «Пламк», но там были обозначены решающие, узловые моменты идеологической борьбы, в которой непременно участвует и перо писателя.

«Неоднократно подчеркивалось, что сегодня особенно острые классовые схватки происходят в сфере идеологии. И что именно здесь оказываются наиболее действенными вражеские болезнетворные бациллы. Категоричной и единой была точка зрения по этому вопросу: в области идеологии не может быть мирного сосуществования, мы должны всегда стоять на своем посту и бороться за утверждение марксистско-ленинского мировоззрения. Отсюда особая ответственность писателя как солдата этого самого боевого участка классового фронта. Отсюда необходимость высокого сознания писателя в выполнении своей задачи».

Болгарские писатели должны создать такие произведения, которые позволят увидеть, как строится социализм в специфических условиях страны, в неразрывной связи с мировым революционным процессом, подчеркивается далее в статье.

«Не подражание, не повторение общеизвестных истин, а новаторство, вторжение в сложную проблематику современности — вот что требуется от нашей литературы. Не абстрактные, вне времени и пространства, а живые, связанные с требованиями нашей жизни и нашей борьбы, соответствующие принципам социалистического реализма произведения должен дать болгарский писатель своему народу и всему прогрессивному человечеству.

Перед этой ясной перспективной программой, исходящей из духа Совещания и его документов, всякое отклонение от намеченного пути будет означать отступление от основных позиций. Мы не должны допускать эклектической путаницы, которая помешала бы нам отделить существенное от несущественного, ибо мы всегда можем прибегнуть к лакмусу партийного критерия, он не позволит впасть в заблуждение по отношению к главному — целям и задачам борьбы».

Совещание побуждает в новых условиях осмыслить роль литераторов как передового отряда в идеологическом сражении за человека, за его права, за освобождение его души от наслоений прошлого во имя будущего, отмечает «Литературен фронт», подчеркивая особое значение, отведенное этому кругу проблем в недавней речи Тодора Живкова.

«За всеми выступлениями на Совещании незримо встает величественная фигура, главный герой эпоса нашего времени: солдат, сражающийся за свободу родины в джунглях Вьетнама, забастовщик на капиталистических фабриках, строитель нового общества — коммунист. Свет его ума освещает будущее планеты, судьба мира в его руках. Он существует в жизни, он должен зажить и в наших книгах — настоящий, цельный, многогранный, устремленный вперед. Это он настойчиво напоминает, чтобы мы не забывали о классово-партийном критерии, не забывали, для кого пишем и зачем пишем. Он требует, чтобы мы не поддавались идейным шатаниям, модам и «измам», рисовали его так же ясно и пламенно, как ясен и пламенен он сам. Сейчас у писателей

нет более благородной задачи, чем эта. Только таким образом можно исполнить свой долг художника и человека, внести свой вклад в эпохальную борьбу против бесчеловечности, во имя будущего».

Болгарская литературная печать публикует статьи и выступления, развивающие идеи Международного совещания коммунистических и рабочих партий. С двумя из этих статей мы знакомим читателей (печатаются с сокращениями).

ГЕОРГИЙ НАЙДЕНОВ

Московское совещание и культура

Размышляя о нашем времени, о современном мире, я все чаще спрашиваю себя: не впадаем ли мы в привычную ошибку, когда за множеством мелочей и забот напряженной жизни не замечаем чего-то очень важного? Настолько важного, что я не решаюсь дать ему определение вот так, сразу — в самом начале статьи...

Передо мной проект основного документа Московского совещания коммунистических и рабочих партий. Не стану его пересказывать и цитировать, но он заставил меня задуматься над прожитым историческим циклом.

Первая мировая война завершилась Октябрьской революцией. Вторая — распространением социализма на запад и восток далеко за пределы Советского Союза. Третья... третьей не будет, если нам удастся напрячь все силы и разум, чтобы предотвратить ее.

Но и в условиях мирного времени поединок между двумя мирами, между прогрессом и реакцией полон напряженности: против нашего мира направлены лживые идеи и теории — продукция мозговых конвейеров специальных отделений Колумбийского, Принстонского, Гарвардского, Массачусетского, Калифорнийского университетов... Правда, судьбу их предвидел еще один из первых президентов этой страны, сказав, что можно обмануть на какое-то время всех людей, можно обманывать все время какую-то часть людей, но нельзя все время обманывать всех людей.

И в сегодняшней мировой схватке есть горячие фронты. Самый горячий — Вьетнам, столкновение высокого героизма и низкой подлости. Мирные и военные фронты... Последствия былых битв — длительные последствия — редко умещались в рамки фронтовой стратегии. Октябрь 1917 года не был предусмотрен планами ни одного европейского штаба. Еще труднее предвидеть, что произойдет в ближайшем будущем, например, в Англии, почти полностью потерявшей все свои владения и золото; или в переполненной недовольной молодежью и бунтующими неграми американской «супердержаве», когда рано или поздно разбитая во Вьетнаме армия станет возвращаться по домам... или во Франции, где разворачиваются всенародные забастовки и пять миллионов человек голосуют за коммуниста — кандидата в президенты.

Третьей мировой войны не будет, верим мы, ведь ее поджигателям пришлось бы начать с собственного дома. Однако невозможно предотвратить исторические последствия грядущих классовых битв. Последствия масштаба Октября и образования мировой социалистической системы.

Это, вероятно, произойдет не совсем так, как мы представляем, и не так, как мечтали наши отцы. Колумб, отправившийся на поиски пути в Индию, совершил гораздо более крупное открытие. Но совершил его не вслепую, не наугад — он пользовался компасом. Компас марксизма ведет нас от революций к мирному строительству и к новым расширенным границам революций. Но указывая верное направление, он не освобождает нас от долга и чести быть храбрыми и дальновидными капитанами.

Знаю, меня могут назвать фантазером и указать на некоторые осложнения, некоторые разногласия в международном коммунистическом движении. Да, враги коммунистического движения и иные забывшие уроки истории или слабонервные друзья считают эти разногласия едва ли не катастрофическими.

Действительно, трудности не всегда возможно предусмотреть заранее. Но катастрофическими их назвать никак нельзя. Ибо коммунистический идеал сегодня еще более насущная и всеобщая необходимость, чем в прошлые времена... До сих пор в истории побеждало трезвое понимание реальной действительности, то есть понимание возможностей, интересов, побуждений и нужд множества обыкновенных людей. А это множество не желает умирать, и уж если оно готово жертвовать жизнью, то только ради правды и родины, а не ради какой-нибудь чековой книжки Рокфеллера...

Еще несколько слов об общем направлении истории сегодня. Погибли сотни тысяч, может быть, даже миллионы коммунистов в Индонезии, в Китае. Двадцать пять лет

назад война унесла десятки миллионов цветущих жизней между Сталинградом и Шпрее. И все же направление истории определялось не гитлеровцами, достигшими в какой-то момент Волги и Кавказского хребта, а тем, что четверть века назад социализм навсегда утвердился на восточном берегу Эльбы. Если бы заглянуть в будущее, то нетрудно было бы увидеть, что сегодняшний день США — это завтра Западной Европы. А Вьетнам доказал, что даже «суперсила» всех западных сил не просто потерпела поражение в одной внешней авантюре, но утратила внутреннее равновесие и стабильность. Западные «суперсилы» все менее способны помешать глубоким социальным переменам не только в «третьем мире», но и в собственных своих границах... Ведь есть еще такой фактор, как духовное превосходство, в конечном счете именно он и оказывается решающим: техника действует механически, человек обладает мыслью, душой, волей. Честный человек, трудящийся — даже в капиталистическом мире — наш действительный или потенциальный союзник. Думаю, это главное, о чем говорилось в Москве.

Идейная борьба — борьба за сознание людей, за их сплочение вокруг коммунистических идеалов. Ни Ленин, ни Димитров не допускали и намека на отступление от принципов марксизма, оставив при этом образцы тактичного и гибкого подхода к этим проблемам, актуальным сейчас не только для развития культуры... Борьба за души людей — одна из сложнейших сторон мирового революционного процесса. Ни в коем случае и ни на каком этапе мы не можем допускать упрощений в этой сфере. Особенно сейчас, когда Московское совещание поставило в центр революционной стратегии вопрос о политическом союзе всех мировых демократических сил.

Нам отнюдь не безразлично, в каком направлении развивается соревнование эстетических течений. Партия заинтересована в том, чтобы использовать уже испытанное и ковать новое оружие идейного и эстетического воспитания строителей социализма и коммунизма. Поддерживая творческий поиск, мы выступаем против бесцельного растрачивания талантов и сил на самоцельное экспериментирование, уводящее от жизни, от воздействия на эту жизнь. Это означало бы эстетическое разоружение в самом напряженном поединке всех времен. Вот почему партийная печать в последнее время выступает против навязывания массовому зрителю и читателю всякого рода зауми, творений, рожденных в душных лабораториях эстетов.

Партия прибегает к внимательному разъяснению и убеждению, конкретному дружескому анализу. Партийная позиция в вопросах стиля подразумевает расцвет истинного искусства. Единственное ограничение, если вообще можно говорить об ограничении, направлено против вольного или невольного отрыва творческой личности от жизненных интересов ее настоящей аудитории — народа, против незаметных порой отклонений в сторону «искусства для искусства». В современном насыщенном политикой мире творцы не могут закрыть глаза на тот факт, что безыдейный абстракционизм, надолго захлестнувший большую часть западного и американского изобразительного искусства, позволил богатым меценатам отвлечь тысячи художников от животрепещущей социальной проблематики. И сегодня фонды Рокфеллера и Форда не жалеют средств для распространения абстрактного искусства, «поп-арта» и «оп-арта» среди латиноамериканской художественной молодежи, чтобы оборвать традиции Сикейроса и других действительных революционеров в искусстве, создавших новаторские монументальные фрески и расширивших наше представление о социальной роли искусства.

Наша творческая интеллигенция уже четверть века верно и непоколебимо следует за Болгарской коммунистической партией в осуществлении всенародной мечты о строительстве социализма на нашей социалистической родине. Именно из этой кровной связи партии и интеллигенции рождаются лучшие завоевания нашей новой культуры, те поэмы, романы, картины и мелодии, которые останутся в веках, чтобы свидетельствовать о делах и днях нашего героического поколения.

«Литературен фронт» № 24, 1969.

ВЕНКО ХРИСТОВ

От Фрейда и Шпенглера... к Маркузе

Заметки об идейном кризисе Запада

Когда мы говорим о «цивилизации», то прежде всего сталкиваемся с многозначностью этого слова. Этимология отсылает нас к понятиям города и государства, общественного устройства. Другими словами, понятие «цивилизация» характеризует определенную ступень в развитии общества. Но в это понятие включается и совокупный итог прошлого, наследие: быт, склад мышления, техника, культура... Каждая новая общественно-экономическая формация принимает это наследие от своих предшественников, освобождаясь от тех компонентов, которые противоречат ее сущности (производственных, социальных отношений, морали), чтобы построить свои,

специфические, для нужд господствующего класса и развить другие (производительные силы, наука, техника, искусство). И завещает их последующим поколениям. Другими словами, понятие «цивилизация» имеет двоякий смысл — собственно классовый и общезначимый. Во втором смысле оно означает период, последовавший за варварством, который характеризует организованное общество со всеми его институтами,— период, сыгравший решающую роль в формировании личности современного человека.

Закат Запада

Иного мнения придерживается Освальд Шпенглер, один из крупнейших теоретиков западной культуры первой половины нашего века. Он отрицает преемственность общественного развития, для него все движется по замкнутому кругу, рождается, развивается и умирает без связи с предыдущим и последующим. Его капитальный труд «Закат Европы» — подлинный синтез пессимизма. Современное капиталистическое общество не имеет перспектив, оно обречено, его ждет смерть.

На первый взгляд как будто нет особого отличия от нашего подхода к этому вопросу. Но — только на первый взгляд. Ибо Шпенглер считает, что со смертью определенного общества погибает все, рожденное и достигнутое им. Оно возникает из ничего и кончается ничем. Всякое общество герметически замкнуто в себе самом, рождается и умирает «только для себя». Эволюция человечества — один миг.

Исходя из этой схемы, Шпенглер видит и современное западное общество в его закате. Средневековье—детство этого общества. Возрождение — стадия расцвета культуры, а теперь наступило «неорганичное» время— цивилизация, творческая импотентность старости, за которой наступает смерть. А «post mortem — nihil»*.

Несмотря на апокалипсическую обреченность в итоге и основе, теория Шпенглера нашла широкий отклик среди философов и мыслителей Запада. Морально оправдывая старое изречение «после меня хоть потоп», она мотивирует защиту этого обреченного общественного строя, борьбу за его существование. Ведь вместе с ним погибнет все то прекрасное, что создано им. Ведь после нас остается только «ничто», потому что у людей, которые построят свое новое общество, не будет ничего общего с нами.

Бросается в глаза, что Шпенглер дает характеристики общества по вторичным признакам — культура, искусство, духовная жизнь — и пренебрегает классовой структурой, общественными отношениями. И, естественно, он остается чужд законам диалектики, которые раскрывают рождение нового в гибели старого, не может проникнуть в классовый характер надстроечных явлений, увидеть два потока культуры, которые образуются в каждом классовом обществе. Отсюда бесперспективность философии Шпенглера, отсюда метафизическая замкнутость, которая противостоит идее развития и преемственности культурных ценностей.

На Западе Шпенглер известен не только своей теорией, но и рядом философских категорий, которые он осмыслил в новом свете и которые стали исходным пунктом для многих современных философов — противопоставление культуры и цивилизации, отрыв духовной жизни от материальной базы...

Правда, многие из этих категорий не оригинальны: назовем в этой связи хотя бы имя немецкого философа Фридриха Ницше.

Цивилизация и «органичный» человек

Шпенглер, хотя и спонтанно, невольно, уловил часть закономерностей развития надстройки каждого классового общества. Он открыл, что культура господствующего класса проходит сложный и противоречивый путь от восхождения к упадку, хотя не мог этого обосновать, а пошел по пути идеалистического объяснения явлений. Мы могли бы добавить, что путь развития культуры находится в функциональной зависимости от развития, становления и упадка самой общественно-экономической формации. И если буржуазия на заре своего развития породила Бэкона и Декарта, свободомыслие французских энциклопедистов и достигла вершин в немецкой классической философии от Канта до Фейербаха и Гегеля, то углубляющийся социальный кризис, разрастание классовых противоречий на антагонистической основе привели параллельно с рождением класса осознающего себя пролетариата к кризису и отчаянию в философских концепциях достигшего апогея своего развития капитализма. Достаточно вспомнить три основных имени, характерных для этого явления середины и конца прошлого века,— Шопенгауэр, Кьеркегор и Ницше. Их учения предначертали в значительной степени современный путь буржуазной культуры, с безысходностью и тупиком в итоге ее развития.

Особенно велика в этом отношении роль Ницше. Может быть, это объясняется тем, что примиренному отчаянию Кьеркегора он противопоставляет все-таки некую «позитивную» программу... Мы ограничимся тем, что бегло остановимся на тех моментах его философии, которые легли в основу теорий Шпенглера и Фрейда, а оттуда проникли в некоторые новые западные школы.

Согласно Ницше, человек идет по неправильному пути развития. То, что он представляет собой сегодня — жалкое подобие того, что он представлял как данное бытия. «Органичный» человек, естественный человек подавлен обществом и цивилизацией и выродился в жалкое ничтожество, плебея, часть толпы. Христианская мораль, превратившаяся в сущности в казенную мораль общества, лишила индивида свободы проявления.

---

* После смерти — ничто (*лат.*).

Во всем этом проглядывает недвусмысленная критика цивилизованного общества. Но не будем впадать в заблуждение. Для Ницше это цивилизованное общество вообще. В своем известном труде «Рождение трагедии из духа музыки» он противопоставляет философию примитивизму, Сократа — Бахусу, чтобы определенно встать на сторону Дионисиева начала, первичного стимула. Зло начинается от Сократа (взятого и индивидуально и в качестве символа), потому что он положил начало тем этическим принципам, которые сковывают человека. С этого момента человек движется в неправильном направлении. Выход — возвращение к свободному проявлению индивидуальности, к силе первичного, к порывам Бахуса. Тогда презревший толпу и вставший над ней индивид перерастет в «сверхчеловека», отбросившего моральные категории христианства — его представления о добре и зле,— в человека аморального в соответствии с существующими этическими принципами, но подчиненного своим новым нравственным началам — силе сверхчеловека. Нет классов, нет классовой борьбы; и буржуа, и пролетарии — парии, презренные существа. Развитие не имеет социальной подкладки — оно продукт самого индивида.

Бог умер — провозглашает Ницше, ставя знак равенства между христианством и цивилизацией всех обществ. Но — странный парадокс — само христианство точно так же ополчается против возвышения духа, против плодов культуры и цивилизации: «Блаженны нищие духом».

Вообще цивилизация оказалась виновной — и у Ницше, и у Шпенглера. Она разрушила «органичность» человека. В сущности еще гораздо раньше Жан-Жак Руссо тоже проповедовал возвращение к «естественному», но в системе этого «естественного» он видел и «договор» между индивидами с целью создания общества. Другими словами: у Руссо противоречие «личность — общество» не носило того неразрешимого, антагонистического характера, как у Ницше и его последователей.

Автор «Общественного договора» и «Новой Элоизы» жил и творил в эпоху классового восхождения буржуазии, Ницше появляется в пору ее упадка, Шпенглер тоже — лишнее доказательство того, как философия рождается из нужд класса и оптимизм и пессимизм, которыми она проникнута — продукты исторической перспективы класса.

Либидо и революция

Когда Ницше противопоставлял скорби и слабости, которые несет рабам христианское учение, жизненность, красоту и силу Бахуса, «первичного», он все же шел по пути содержательных духовных исканий и мотивированного собственными нуждами бунта. Профессор Зигмунд Фрейд создает свою теорию, исходя из личного опыта психиатра. Он не считает себя философом и опирается исключительно на позитивную науку.

Общее между ними — бунт против казенной филистерской морали буржуазии, против принятых в их обществе предрассудков христианской религии, ориентация на освобожденного от цепей нравственных норм и условностей «естественного» человека. В своем труде «Третья мораль» Джеральд Хант так определил значение венского психиатра: «Ньютон изгнал бога из природы, Дарвин—из жизни, а Фрейд— из последней его крепости — человеческой души».

Но отрицая односторонний подход, когда рассматривается только духовная сущность человека, Фрейд впадает в другую односторонность и создает новую схему. Он недооценил человека, как качественно новое явление живой материи, предопределенное его социальной сущностью, и пренебрег его сознательной деятельностью. Даже в сфере самой психиатрии эта односторонность может привести к поискам неудовлетворенных инстинктов там, где отклонения вызваны чисто социальными причинами. Тем более отдаляется от научной истины фрейдизм тогда, когда с его помощью начинают объяснять социальные явления. Поднятый на уровень философии (и притом универсальной философии), фрейдизм перерос в странную смесь вульгарного материализма и субъективного идеализма с характерным для него агностицизмом.

Фрейд нашел готовую формулу, с помощью которой взялся истолковывать все социальные явления, а его последователи довели эти теории до полного абсурда. Прежде всего оказалось, что основное и неразрешимое противоречие кроется в самой личности. Это противоречие между индивидуалистическим и антисоциальным характером инстинкта, либидо, и социальной обусловленностью сознания. (Как это ни парадоксально, но подобную постановку вопроса мы встречаем сегодня у тех, кто от антагонистического противопоставления личности и общества приходит к отрицанию личности за счет коллектива.) Исходя из этого основного противоречия, фрейдизм ищет первоисточники социальных движений именно здесь — в заторможенных инстинктах, в комплексах, почти пренебрегая классовыми стимулами и противоречиями.

Односторонность метода приводит к тупику.

Некоторые эстетические перевоплощения философии

«Культура — это победа искусства над жизнью». Это утверждение Ницше стало краеугольным камнем теории искусства для искусства. И было принято как творческое оправдание декадентских школ и школок с конца прошлого века и до наших дней. Полное противопоставление искусства реальности, полный разрыв социальных связей — вот альфа и омега отрицания реализма. Но было бы несправедливо видеть влияние Ницше на литературу только в этой плоскости. Его идеи и утверждения получили отклик и в значительных реалистических произведениях, стимулировали появление новой проблематики у крупных писателей.

Разрушение абсолютных категорий «доб-

ра» и «зла» христианской этики, бунт против филистерства легли в основу творчества Ибсена, Гамсуна, Вассермана, Томаса Манна... В США (хотя и в вульгаризированном виде) влияние Ницше встречаем у Джека Лондона и Томаса Вулфа, во Франции — у Андре Жида, отчасти у Мальро...

Совершенно пародийным перевоплощением ницшеанства является «супермен», герой приключенческих и детективных сюжетов, фильмов, комиксов, бульварной литературы. А наиболее популярная карикатура на ницшеанского сверхчеловека — известный герой Флеминга Джеймс Бонд.

Разумеется, эти примеры отнюдь не претендуют на полную характеристику взаимосвязей творчества западных писателей с эстетикой Ницше. Но они намечают направление воздействия его идей на культурную жизнь современного капиталистического мира.

Роль идей Шпенглера ограничивается преимущественно сферой теории. Прежде всего новым истолкованием понятий «форма» и «содержание». Шпенглер утверждает, что творения старых, исчезнувших обществ и культур недоступны нам. Мы созерцаем их, слушаем или читаем, но вкладываем в них наше, новое содержание, дух их нам недоступен. Другими словами, для Шпенглера форма — это объективно существующее, материализованное, непреходящее. Тогда как содержание, идея произведения — понятия чисто субъективные, которые каждый от себя вкладывает в соответствующую форму. Это положение стало теоретическим оправданием формалистических школ в искусстве и литературе и привело к полиому разрыву диалектического единства между формой и содержанием. Достаточно обратиться к эссе «неороманиста» Алена Роб-Грийе «Путь романа будущего» или к концепциям Алена Боске, чтобы увидеть воплощение взглядов Шпенглера на искусство.

Но самое сильное влияние на современное западное искусство и литературу бесспорно оказал Фрейд. В его учении — корень большинства «авангардистских» течений: дадаизма, сюрреализма и пр. В своих манифестах, обосновывающих принципы сюрреализма, в других теоретических работах Андре Бретон неоднократно ссылается на Фрейда, считая его своим учителем. Но влияние Фрейда далеко не ограничивается определенными школами и течениями. Его следует искать не только у Джойса, Т. С. Элиота или Сен-Джон Перса. Влияние фрейдизма чувствуется почти во всех современных произведениях Запада, включая и крупные реалистические произведения. Революционизированный сельский пролетариат в «Гроздьях гнева» Стейнбека руководствуется как социальными предпосылками, так и требованиями либидо. Эдипов комплекс — существенный двигатель в «Затворниках Альтоны» Жан-Поля Сартра. «Собачья жизнь» Гюнтера Грасса, как и произведения Альберто Моравиа, проникнута фрейдистскими мотивами. Список велик. Результат отрицателен. Часто фрейдистская мотивировка заглушает социально значимое, подрывает революционный корень, который потенциально кроется в художественных фактах, затуманивает ясную историческую перспективу. Запутавшись в лабиринте неразрешимых при капитализме общественных задач, многие творцы предпочитают бегство в сферу подсознательного и иррационального.

Индустриальное общество

Этот термин в его современном смысле появился еще до второй мировой войны. Он содержит характеристику современного мира, основанную на формальных признаках и показателях — развитие научно-технического прогресса, революционные темпы индустриализации и последующие изменения в быту. Другими словами, не классовые, производственные отношения и противоречия, не классовая борьба, а рост производительных сил предопределяет эту характеристику. И таким образом подводит под общий знаменатель социализм и капитализм.

Но посмотрим, как определяют «индустриальное общество» современные западные философы. Научно-техническая революция коренным образом изменила быт и мышление людей. Концентрация производства ведет к образованию городов-гигантов, к полной урбанизации. С другой стороны, техника все больше лишает рабочего творческого начала и превращает его в придаток машины. Материальный уровень возрастает ежечасно, и индивид ограничивается своей потребительской сущностью. Это уже не «органичный» человек, потому что он порвал с естественным образом жизни. Это относится ко всем — и эксплуататорам и эксплуатируемым. В сущности, эксплуатируемых в полном смысле слова нет. Общество едино, оно идет к самоуничтожению. Машина, робот станут хозяевами человека. К тому же человек располагает страшными средствами самоуничтожения. Тут экзистенциалисты, неотомисты и фрейдисты находят общий язык. Общее заключение—цивилизация погубит человека.

Единственная позитивная созидательная и перспективная философия — марксизм-ленинизм. Поэтому понятен все возрастающий интерес к революционному учению пролетариата. Но чтобы прийти к этому учению, надо преодолеть классовую ограниченность буржуазного мышления. А это нелегко. Поэтому многие буржуазные философы и мыслители Запада принялись соединять марксизм с собственными противоречивыми теориями и теорийками. Наряду с противопоставлением «молодого» и «старого» Маркса, Маркса и Ленина, наряду со спекуляциями по поводу допущенных в период культа личности ошибок особенно модной стала формула: марксизм справедлив как учение о природе и обществе. Но недостаточно занимается человеком. И «пустоту» принялись заполнять.

ВЕНКО ХРИСТОВ
ОТ ФРЕЙДА И ШПЕНГЛЕРА... К МАРКУЗЕ

Неофрейдисты «обогащают» Маркса

Эрих Фромм в сущности психоаналитик. Но в своих трудах «Психоанализ и религия», «Искусство любви», «Здоровое общество», в предисловии к сборнику «Социалистический гуманизм» и др. он вторгается в сферу чистой философии и социологии.

Фромм «совершенствует» Фрейда по нескольким направлениям, часть из них прямо связана с социальными и общественными проблемами. Прежде всего он отрицает противоречие между порожденным либидо индивидуализмом и обществом (обществом вообще). По его мнению, сублимация либидо может привести к своей противоположности — любви к ближнему, даже готовности к самопожертвованию в интересах общества. В этом он видит трансформацию инстинкта самосохранения: гуманизм всегда реакция на какую-то общественную опасность... Фромм говорит о мнимости классовых противоречий, о безосновательности классовой ненависти. По его мнению, противоречия вообще носят чисто субъективный характер, они существуют только в сознании индивида, а не в реальности, которая подчинена гармонии.

У Фрейда то же самое — истинно только биологическое начало, и оно в полной гармонии с миром.

У Эриха Фромма концепции еще более усложнились, ибо он пытается сочетать свою теорию с элементами марксизма. Но, лишив марксизм диалектики общественных отношений, отрицая в сущности классовую борьбу как единственный и возможный выход, Фромм приближается к утопическому социализму Сен-Симона и Фурье и принимается разрешать социальные противоречия не в обществе, а внутри индивида. Вместо научной теории социалистической революции остается голая христианская проповедь с добрыми пожеланиями.

Я далек от того, чтобы целиком отрицать Фромма и его исследования. У него есть существенные заслуги в критике современного капиталистического общества, анализе отчуждения и его психологического эффекта. Положительной стороной является его утверждение гуманизма и отрицание бесчеловечных общественных экономических и политических методов монополистической верхушки. Имеют значение и его попытки раскритиковать схематизм и односторонность Фрейда... Но объективно он мало чем обогатил современную философию, и его попытки соединения несовместимых учений оказались бесплодными.

Одномерный философ

В 1934 году в США приехал политический эмигрант из гитлеровской Германии проф Герберт Маркузе. Он уже пользовался известностью как философ-социолог, знаток и интерпретатор Гегеля, Маркса, Фрейда. В этом нет ничего странного. Странно то, что Маркузе, занимающий место на кафедре социологии Колумбийского университета, называет себя одновременно гегельянцем, марксистом и фрейдистом. Посмотрим, что вкладывает Маркузе в эти свои автоквалификации.

Рассматривая политическую теорию Гегеля, Маркузе пытается защитить его от обвинения в том, что он вместе с Ницше является духовным вдохновителем нацизма. Но в желании обосновать собственный (правильный) тезис о том, что «либерализм надо понимать как идеологию капитализма в его ранней стадии, с переходом же в монополистическую стадию идеология изменяется; и фашизм есть не что иное, как либерализм, приспособленный к нуждам новой экономической ситуации» («Разум и революция»), он приписывает Гегелю утверждение, будто «либеральное общество в своем развитии порождает авторитарное как высшую стадию». В действительности Гегель имел в виду как образец прусскую монархию, но с тенденцией к конституционности и правовому порядку. Сам Маркузе полагает, что правовой порядок должен быть разрушен революцией (ничего не говоря о создании нового), и не скрывает, что в этом вопросе он находится под влиянием Бакунина. Во всяком случае, он весьма произвольно толкует Гегеля. Подобные спекулятивные утверждения можно заметить и в его последнем труде «Культура и общество», где он использует гегелевский идеализм, чтобы обосновать противопоставление и отсутствие взаимозависимости между духовной культурой и цивилизацией. (Вспомните Шпенглера!)

О том, какой Маркузе марксист, мы можем судить по тому, что он отрицает революционную сущность рабочего класса в развитых капиталистических странах, сводит к общему знаменателю индустриальное общество Запада и социалистический лагерь, говорит об обуржуазивании советского общества («Советский марксизм. Критический анализ») и видит в интеллигенции гегемона революции («Одномерный человек» и «В защиту Гракха Бабефа»).

Не менее примечательно его понимание фрейдизма В отличие от неофрейдистов Эриха Фромма и Карен Хорни, которые стремятся дополнить Фрейда социологическими и историческими положениями, Маркузе пытается найти эти положения в самой теории Фрейда. Он обвиняет неофрейдистов в том, что они трансформируют фрейдизм в моральную проповедь — конформистскую философию для всех времен («Эрос и цивилизация»). Странно, что Маркузе использует против Фромма все те аргументы, которые мы обращаем против Фрейда: метафизичность, субъективный идеализм, односторонность и т. д. Но, касаясь проблем культуры и революции, он поддерживает положение Фромма о «подавлении», механистически перенося биологические и психические нормы на общество.

В сущности, трудно перечислить все противоречия в теории Маркузе. Они объясняются не только смешением различных, абсолютно несовместимых учений, но и собственной непоследовательностью Маркузе.

Возьмем, например, его отношение к социальной борьбе. Исходя из презумпции о единстве «индустриального общества», где рабочие получили сравнительно удовлетворительный стандарт, стали рабами вещей и по образу мыслей не отличаются от капиталистов, он утверждает, что движущей силой революции может быть только студенчество, угнетенные расовые меньшинства и отсталые страны. С другой стороны, он не видит реальных возможностей победы революции, возглавляемой этими силами. И приходит к полному пессимизму. Не случайно его труд «Одномерный человек» был назван в американской прессе «Одномерный пессимизм». Но тут на помощь приходит Фрейд. В чем выразится «освобождение» человека от рабства машин, вещей, от отчуждения? В превращении труда «из обязанности в забаву, в игру». Тогда либидо, инстинкт удовольствия найдет удовлетворение. Но этот труд-игра не должен быть администрирован (смутные реминисценции из Фурье).

Не случайно назвали «революцию», которую проповедует Маркузе, «деидеологизированной революцией». Согласно Маркузе, она должна начаться, а уж потом выяснятся ее конструктивные цели. Революция — это разрушение. Задача ее не только разрушить социальные и политические оковы или ограничения, но и ограничения для проявления либидо. Тогда «освобожденный» человек найдет формы «сублимации либидо», которые позволит ему «самоосуществление». Но и революция как самоцель— средство для «самоосуществления». Каждый носит в себе волю к революции, к борьбе против угнетения («Однонаправленный человек»). Маркузе принимает силу и террор в революции, но он боится ее идеологической «тоталитарности», которая тоже является угнетением. Он противопоставляет свои взгляды этическому абстрактному гуманизму Фромма, но его собственная модель гуманизма целиком одета в формы «могло бы», «было бы хорошо», «вероятно, нужно было бы» и т. д. Так что «конкретность» его гуманистических взглядов, которые «найдут свое точное выражение в процессе революции», по существу сводится к полной неопределенности.

К этому можно добавить, что «программа» с девизом — «что-то делать» — существовала и в нацистском движении Гитлера. Все эти аргументы достаточно красноречиво говорят об антиреволюционном, антигуманистическом и антипрогрессивном характере подобной «революционной теории», которая отвлекает прогрессивные силы от конкретных задач классовой борьбы и бросает их в темные дебри иррациональных инстинктов. Не случайно этот «архиреволюционер» является одним из ведущих современных философов США.

Культура и цивилизация

И снова мы сталкиваемся с понятиями, выдвинутыми еще Шпенглером. Необходимо уточнить тот смысл, который им придает Маркузе. Для него культура — «комплекс этических, эстетических и интеллектуальных ценностей», который объединяет не занятое в производстве время и мысль, то есть праздник, чисто эстетическое удовлетворение («Культура и общество»). Цивилизация — антипод культуры, трудовой процесс, занятая в нем мысль — подавленная свобода, то есть общественная необходимость, которая мешает осуществлению либидо — первичного. При такой постановке вопроса Маркузе «за» культуру и «против» цивилизации. Отсюда и его эстетические взгляды: он разделяет определение Ницше (культура — господство искусства над жизнью). Маркузе идет дальше, допуская, что искусство может однажды абстрагироваться и от красоты и стать совсем «свободным». Вообще он согласен со Шпенглером, что кошмар современности — это зависимость искусства от цивилизации. А так как цивилизация — противоестественное явление, то и искусство, обусловленное ею, опорочено... Искусство — протест против реальности, отрицание реальности (разумеется, отрицание всякой реальности, а не только реальности капиталистического мира), согласно «марксисту» Маркузе. Его социальная функция почти сведена к нулю. И за обоснованием этих путаных концепций Маркузе обращается к... Гегелю.

Явно, что все это не имеет ничего общего с Гегелем, еще меньше — с марксизмом. Надстройка и материальная база общества взаимно обусловлены, и всякая попытка искать «абсолютную свободу» творчества, абстрагировать искусство от социальных отношений и степени развития производительных сил является антидиалектическим волюнтаризмом. Но когда социальная этиология искусства заменяется сублимацией либидо, а его социальная функция — трансцендентальностью, явно, что утеряны основные координаты научного марксизма, а «законченная теория» представляет собой конгломерат путаных и противоречивых понятий. Дело в том, что подобные теории весьма полезны современным апологетам буржуазной идеологии, так как они подкрепляют самые реакционные положения: искусство для искусства, искусство вне времени и пространства, искусство, свободное от социальной и классовой основы.

Если оценивать теоретическую деятельность Маркузе в целом, нельзя не сказать и о его достижениях. Его критический анализ современного общества является существенным вкладом в дифференциацию проявлений социальных болезней, сопровождающих загнивающее общество монополистического капитализма. Маркузе же мы обязаны серьезной и обоснованной критикой экзистенциализма и неофрейдизма. Но этим ограничиваются положительные стороны. Он не находит выхода из лабиринта, предопределенного его классовой ограниченностью; эклектически смешивает суще-

---

ВЕНКО ХРИСТОВ
ОТ ФРЕЙДА И ШПЕНГЛЕРА... К МАРКУЗЕ

ственное и несущественное, причину и следствие: ставит знак равенства между развитием науки и производительных сил, с одной стороны, и духовным упадком — с другой; объединяет на основе формального признака (развитое индустриальное общество) качественно противоположные социальные системы — капитализм и социализм; ищет стимулы прогресса в бедности и отсталости, а революционное начало — вне рядов рабочего класса.

Цивилизация мешает счастью человека. Мысль не новая. Мы встречаем ее и у Ницше, и Шпенглера. Встречали ее в теориях мелкобуржуазного коммунизма, а еще раньше — в христианских общинах II—III веков нашей эры, встречаем порой сегодня в учениях иных «марксистов». Становится ясным, как объединяются несовместимые имена в платформе «ультралевых революционеров» Запада.

Идеологическая опасность

Последний год бесспорно доказал, что за видимым спокойствием и благополучием в лагере капитала обостряются противоречия и создается реальная революционная ситуация. В таких условиях едва ли не самая выгодная позиция для апологетов Запада — разъединять революционные силы, лишать социальные движения цели и направления. А наиболее верный способ — утопить классовое сознание в «ультрареволюционности» мелкобуржуазной стихии.

Вольно или невольно Герберт Маркузе сыграл существенную роль в усилении идеологического хаоса среди прогрессивных сил Запада. Верно, что «последователи» его учения понимают его так же, как тупые бюргеры вокруг Гитлера понимали своего идеолога и предтечу — Ницше. Недаром Маркузе неоднократно отрекался от своих «учеников». Но объективно он способствовал искажению учения Маркса, Ленина, начиная с концепции культуры и искусства, которую он лишил социального смысла, кончая отрицанием революционной сущности современного рабочего класса и социалистического лагеря. Не удивительно, что «марксиста» Маркузе так популяризируют идеологические силы реакции.

Журнал «Септември» № 8, 1969.

Перевод с болгарского Т. ЕЛИСЕЕВОЙ

КАРЛОС БЕЙКЕР

ЖИЗНЬ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

Главы из книги*

Перевод с английского
М. ЛОРИЕ

В конце июня Антонио возобновил выступления, и Эрнест опять стал ездить за ним следом — день в Сарагосе, на следующий день в Аликанте, потом Барселона, потом Бургос. Он хвастливо уверял — и, видимо, сам в это верил,— что для Антонио его присутствие очень важно — важно, чтобы перед каждой корридой Эрнест желал ему удачи, а после корриды обсуждал ее, и пил с ним вино, и обедал, когда компания коренастых черноволосых испанцев, высыпав из «мерседеса», горделиво направлялась в какой-нибудь придорожный ресторан. Для всякого другого человека в шестьдесят лет такая программа была бы скучна и попросту непосильна. А Эрнест, посмотревший к 6 июля уже двадцать коррид, еще далеко не насытился.

Памплона, писал он позднее, «как всегда, бурлила». Целую неделю они «спали меньше четырех часов в сутки, да и то под дробь барабанов...» Был там и Антонио, но на арене не выступал. Из Сан-Себастиана приехал Хуанито Кинтана, из Малаги — Мэри и Энни Дэвис. Арон Хотчнер 28 июня нагнал Эрнеста в Аликанте. Доктор Сэвирс с женой прилетели из Кетчума — Эрнест пригласил их в гости. В качестве журналистки в их компанию попала девятнадцатилетняя девушка по имени Валери Дэнби-Смит. Как-то вечером после веселой пирушки Эрнест и Антонио, в сопровождении Хотчнера, «захватили в плен» двух хорошеньких американок, которые и на следующий день послушно приняли «плен» за столиком Эрнеста в баре Чоко.

В середине фиесты они взяли в привычку выезжать на пикники с купаньем к реке Ирати за Айосом, в те волшебные места, которые Эрнест открыл еще в 1924 году. Он боялся, что там все «вырублено и погублено», как в стольких других местах, которые он любил. Но оказалось, что «последний большой лес средневековья» уцелел, там все те же огромные буки и «вековой ковер из мха». Эрнест сидел, прислонясь к стволу, потягивая вино и закусывая бутербродами, «и никогда еще не был так счастлив». Его, казалось, не очень тревожило, что Мэри, сломавшая палец на ноге на скользком каменистом дне Ирати, едва ковыляла, опираясь на палку. И вообще его поведение в Памплоне и в последующие недели отличалось нарочитым, мальчишеским легкомыслием. Решив, по-видимому, как в свое время в отношении Адрианы, что общение с девятнадцатилетней девушкой чудодейственно возвращает человеку молодость, он сделал Валери Смит своей секретаршей и желал, чтобы она была рядом с ним за столом, на корридах и в машине...

В тот день, когда ему исполнилось шестьдесят лет, Кармен Ордоньес исполнилось тридцать. Мэри больше месяца готовилась к двойному торжеству в «Консуле». «Гостей было много и самых разнообразных,— писала она впоследствии,— от Дэвида Брюса, Мигеля Примо де Риверы и Бака Ланхема до хорошеньких американочек и англичанина, некоего Милле — чемпиона по игре на гитаре... и испанцев всевозможных званий». Среди не названных ею были Джанфранко с женой Кристиной, прибывшие на новенькой «ланчии» Эрнеста, Кармен с Антонио, магараджа Куч-Бихара со своей рыжей супругой, доктор Сэвирс с женой, Питер Бакли с женой, Валери Дэнби-

* Печатаются в сокращении. Окончание. Начало в №№ 5, 6, 11.

Смит и Арон Хотчнер. На широкой галерее второго этажа был сервирован роскошный обед с праздничным пирогом и подарками. Не смолкали тосты, играл оркестр, танцевали испанские танцы. В парке был построен небольшой тир, вечером пускали фейерверк. Праздник длился всю ночь, а последние гости отбыли на следующий день после завтрака.

Но нельзя сказать, чтобы этот праздник прошел совсем безоблачно. После Памплоны у Эрнеста снова было что-то неладно с почками. И вел он себя последние дни как-то странно. Бак Ланхем прилетел к нему из Мадрида 18 июля. В тот вечер за обедом он преподнес Эрнесту историю 22-го пехотного полка — гектографированную книжку почти в двести страниц. Прочтя надпись, которую сделал на ней Ланхем, Эрнест расплакался, вышел из комнаты и, только успокоившись, вернулся к столу. А два дня спустя он председательствовал на банкете в отеле «Мирамар». Среди гостей был посол Брюс с супругой, Дэвисы, Валери и Хотчнер. Поздно вечером, потанцевав с миссис Брюс, Ланхем возвращался на свое место за столом, и, когда проходил позади Эрнеста, дружески положил руку ему на плечо и заметил, что до 21 июля, а значит, до дня его рождения осталось всего двадцать минут. Отходя, он другой рукой нечаянно задел Эрнеста по затылку. Тот вздрогнул, как от ожога, и громким, ясным голосом сказал, что дотрагиваться до его головы никому не разрешается. Ланхем побледнел от ярости и вышел вон. Вскоре Эрнест догнал его и со слезами просил прощенья. Он объяснил, что зачесывает свои белые вьющиеся волосы с затылка на макушку, чтобы скрыть лысину. Если Ланхем простит его, он завтра же пойдет к парикмахеру и пусть ему состригут эти «проклятые волосы» совсем коротко, как у Ланхема. Ланхем велел ему не говорить глупостей, но в сердцах добавил, что не уезжает сегодня же только потому, что из Малаги нет ночных воздушных рейсов. Это была их единственная ссора.

Ланхем с болью отметил и нездоровую тоску Эрнеста по ушедшей молодости, и его невоздержанность в выборе выражений. С Мэри, которая столько потрудилась, чтобы устроить ему веселый день рождения, и вообще неустанно пеклась о его благополучии, он бывал просто жесток. Он жаловался, что она истратила на этот праздник все его деньги, тогда как она покрыла почти все расходы из гонорара, который получила за статью для «Спортс иллюстрейтед». Передразнивал ее хромоту и даже добивался от доктора Сэвирса заключения, что палец у нее вовсе не сломан. Ланхем не мог стерпеть такого безобразия и не смолчал. Но Эрнест, казалось, и не слышал его уговоров.

До того как возвратиться в Вашингтон, Ланхем поехал с Эрнестом и его компанией на ферию в Валенсию. Эрнеста не покидало тягостное чувство грядущей гибели. На первой же корриде небо затянули тучи и поднялся ветер. И Антонио и Луис Мигель ждали беды. «Эрнесто,— сказал Антонио,— ветер ужасный». А ветер все не стихал. Было темно, и последнего быка Домингина выпустили уже при свете электричества. На девятом пассе ветер отнес мулету в сторону, и бык швырнул Домингина на песок. Прежде чем Антонио успел вмешаться, бык боднул Домингина в пах. Через три дня оба матадора оказались в мадридской больнице Рубера. Удача изменила Антонио — в Пальма-де-Мальорка бык ранил его в бедро.

Для Эрнеста состязание между Антонио и Мигелем было хлебом насущным. Он обещал журналу «Лайф» статью о бое быков и все время вел записи. Своего апогея поединок достиг в Малаге в середине августа, когда оба матадора, пренебрегая недавними ранениями, показали чудеса мастерства и храбрости. А потом снова пошли неудачи. Через неделю в Бильбао Домингин был ранен быком так серьезно, что на весь сезон выбыл из строя. Он уже снова лежал в больнице Рубера, когда Антонио, выступавший в Даксе, по ту сторону французской границы, был сильно ранен в ногу и попал в больницу в Сан-Себастьяне.

Эрнест оставался при нем, пока ему не стало получше, а тогда нежно с ним распростился и поехал в Мадрид в своей новой «ланчии». Рядом с ним ехала Валери, вел машину Дэвис. К югу от Бургоса, на выезде из Аранда-де-Дуэро, лопнула правая передняя шина и «ланчия» вышибла пять каменных плит из окаймлявшей дорогу стенки. Никто не пострадал, но весь перед машины был разбит. Пришлось оставить ее в Мадриде и вернуться в Малагу самолетом. На следующий день Эрнест с грустью признал, что хватит с него жизни болельщика; он слишком близко принимал к сердцу удачи и неудачи Антонио: для нервов это так же пагубно, как «брак с алкоголичкой». Мэри радовалась, что муж снова с нею. «Papa sportif» — это, может быть, забавно, но ей больше по душе, когда он «спокойный, задумчивый и мой друг».

Итак, праздник кончился. Антонио, в результате стычки с администрацией, было на месяц запрещено появляться на арене. Арон Хотчнер написал, что договорился с Бюиком и с компанией «Колумбия» о нескольких 90-минутных телепередачах по рассказам Эрнеста. Гонорар снова делился поровну между автором и сценаристом. Мэри рвалась домой, на Кубу. За это лето она натерпелась всего — от простуд до унижений. Но Эрнест и слышать не хотел о том, чтобы покинуть «Консулу» раньше второй половины октября. Он вбил себе в голову, что должен хотя бы начать свою статью о бое быков на месте действия, в Испании. К работе он приступил только 10 октября. За все лето он не написал ничего, если не считать коротенького предисловия к рассказам

и нескольких писем, продиктованных им Валери. В первый день он написал 541 слово, во второй — 845. К 15 октября он написал 5 000 слов, и это было только начало.

Антонио и Кармен обещали приехать в Кетчум к концу охотничьего сезона пострелять уток, и Эрнест говорил: «Хочу подвигаться, хочу снова быть в форме».

Вниз и вниз

Эрнест недаром говорил, что ему нужно войти в форму. Лето 1959 года поистине оказалось для него опасным. В Париже, где он ненадолго остановился, его продуло на сквозняке, и на борту «Либерте» он все еще глотал пилюли. Для Мэри, уехавшей из Европы раньше его, он купил бриллиантовую булавку в частичное возмещение всех летних обид, однако же сам был как-то по-детски на нее обижен за то, что она осуждала его поведение. Он перечислял эпитеты, которые она, по его словам, к нему применяла,— бессердечный, невнимательный, эгоист, неумный, избалованный, жертва себялюбия и саморекламы. Большую часть этих упреков он так или иначе заслужил, но признаваться в этом не имел желания.

В Нью-Йорке его встретил Хотчнер и увез на снятую для него квартиру. Хотчнер вспоминает, что Эрнест в тот день капризничал и был очень озабочен тем, понравится ли Мэри бриллиантовая булавка. Это она просила друзей подыскать приличную квартиру, где Эрнеста никто не тревожил бы во время наездов в Нью-Йорк. Квартира была на четвертом этаже дома № 1 по Восточной 62-й улице, напротив клуба «Никербокер», из окна был виден кусочек Центрального парка. Эрнест очень одобрил квартиру, сказал, что это «безопасное место». Но идея принадлежала Мэри. А ему хотелось побывать в своем старом доме на Кубе, а потом показать Антонио свой новый дом в Кетчуме. 3 ноября он сдал рукопись парижских очерков Чарльзу Скрибнеру с указанием прислать ее в Кетчум для доработки. А потом, забрав с собой Антонио и Кармен Ордоньес, полетел на Кубу, к жене.

В гаванском аэропорту его встречала толпа с красными флагами. Репортеры спросили, что он думает о растущем охлаждении Соединенных Штатов к Кастро. Он ответил, что глубоко об этом сожалеет и сам после двадцати лет, прожитых на Кубе, считает себя кубинцем, в доказательство чего поцеловал край кубинского флага. Фотографы, не успевшие запечатлеть этот жест, просили повторить его. «Я сказал, что я кубинец, а не актер»,— отвечал он с улыбкой. Ласковый прием Мэри явно подбодрил его. Она закончила ремонт дома и готова была приводить в порядок дом в Кетчуме к приезду Антонио и Кармен.

Поездка на Запад началась хорошо, но кончилась разочарованием. Эрнест с упоением показывал Кармен и Антонио американские пейзажи. Было холодно и снежно, но, по словам Эрнеста, поездка была «неимоверно прекрасна». В последний день они проехали 800 миль — от южного конца Грэнд-Кэньона на запад до Лас-Вегас и на север через Хэйли по знакомому шоссе 93. Мэри ждала их, все было готово. Разочарование наступило тут же. Сестра Антонио, жившая в Мексике, не находила себе места в связи с каким-то семейным кризисом, и он счел своим долгом поспешить к ней на помощь. Когда Антонио с Кармен уехали, Хемингуэи впервые с апреля остались одни.

Но счастье их длилось недолго. 27 ноября они пошли на охоту с доктором Сэвирсом. Мэри метким выстрелом сбила утку, но, потеряв равновесие, упала на замерзшую землю и разбила левый локоть. Сэвирс два часа ее оперировал и положил руку в гипс. Эрнест был в отчаянии, он жаловался, что полетели к черту все его планы, как раз когда ему так хотелось войти в форму и работать над статьей для «Лайф» и над парижской книгой. Теперь по утрам пришлось бегать по поручениям и навещать Мэри в больнице. Кровяное давление у него поднялось, он плохо спал. Но погода стояла по его вкусу. «Три дня шел снег, и сегодня здесь очень красиво,— писал он Биллу Дэвису 13 января,— воздух резкий, холодный, высокое, ясное горное небо, и снег скрипит под ногами. В окно большой спальни видно, как две дикие утки едят водяной кресс из прудика чуть пониже дома».

Он недавно прочел автобиографию Гарольда Лёба * «Как это было» и говорил, что это «очень трогательная и печальная книга», потому что в ней Лёб пишет о том, «как он хотел бы, чтобы все сложилось в прошлом». Эрнест и сам много думал о том, как все могло бы сложиться в его собственной «автобиографии» — в парижской книге, особенно в последней главе о зиме 1925—1926 годов в Шрунсе, когда Полина, супруги Мерфи и «рыба-лоцман» Дос Пассос вторглись в его маленький австрийский Эдем и разорили его. Но вслух он не проводил аналогий между книгой Лёба и своей. Узнав, что Лёб болен грудной жабой, той же болезнью, от которой мучился отец Эрнеста вплоть до своего самоубийства в 1928 году, он сказал, что желает Лёбу «счастливой смерти». Он вообще был настроен элегически и в грустном контрасте между юношескими мечтами Лёба и его нынешними страданиями усматривал

* Гарольд Лёб — литератор, прототип Роберта Кона в романе Хемингуэя «И восходит солнце».

лишнее подтверждение тех взглядов, которые еще очень давно высказал отцу: «Насколько же лучше умереть в счастливую пору юношеских иллюзий, вспыхнуть и погаснуть, чем ждать, пока тело износится, а иллюзии пойдут прахом».

В середине января они поездом вернулись в Майами. Мэри почти всю дорогу лежала, подложив под больную руку подушки. Финка, продутая северным ветром, выстыла, как холодильник, но Эрнесту нетерпелось возобновить работу над статьей о бое быков, к которой он не прикасался с отъезда из Испании. Чтобы сберечь ему время, Мэри согласилась выписать Валери на роль секретарши.

К началу апреля Эрнест, «работая как паровоз», довел статью о бое быков до 63 000 слов. «Устал я сдирать шкуру с этих дохлых лошадей,— заявил он,— ну их совсем, и с боем быков вместе». Он жаловался, что договор с «Лайф» вконец его вымотал, но как будто и не помнил, что журнал просил у него всего 10 000 слов. Он сам захотел написать больше. 28 мая он объявил, что работа закончена. В рукописи было 120 000 слов. Работая непрерывно с конца января до конца мая, он переутомил глаза, а еще больше — голову. Хуанито Кинтане он написал по-испански, что этот каторжный труд (trabajando forzado) замутил ему мозги, а может, и того хуже. Таким образом, к 1 июня 1960 года относится первый намек на то, что он теряет рассудок.

Три недели спустя он призвал на помощь Хотчнера — надо было сокращать рукопись. Жара стояла страшная, к вечеру выпадали ливни. С величайшим трудом они изъяли из текста около 50 000 слов, и Хотчнер увез сокращенный вариант в Нью-Йорк. Даже этот вариант был вдвое длиннее, чем требовалось, но Эд Томпсон, главный редактор журнала, согласился взять из него выдержки за 90 000 долларов и еще 10 000 прибавить за право перепечатки его на испанском языке. Теперь вещь называлась «Опасное лето» в память матадорских состязаний 1959 года. Хотя она была как будто закончена, Эрнест убедил себя, что должен вернуться в Испанию, кое-что уточнить и застать хотя бы самый конец программы Антонио. «Антонио нужно, чтобы я все время был около него,— говорил он.— Мы с ним — выигрышная комбинация». Он ругал себя за то, что в октябре покинул своего героя, и хотел снова с ним «посотрудничать».

Итак, он решил ехать. В конце июля Хемингуэи и Валери прибыли в Ки-Уэст и остановились в мотеле Санта-Мария, где Отто Брюс забронировал для них номера. Почти все рукописи Эрнеста они привезли с собой, и Брюс отправил их в Кетчум. Эрнест отчаянно волновался из-за иностранного подданства Валери — она приехала на Кубу в апреле по временной американской визе и не позаботилась о том, чтобы ее продлить. Он обивал пороги Иммиграционного управления в Ки-Уэсте, доказывая, что она — всего только гостья. Потом улетел в Нью-Йорк, а женщины последовали за ним поездом.

В отличие от шестидесятого дня его рождения шестьдесят первый промелькнул, как тень. Он почти не выходил из квартиры, поставил в углу гостиной карточный стол, который и служил ему кабинетом. Сюда к нему приходил для деловых разговоров Чарльз Скрибнер. Среди его редких выездов был визит к окулисту и завтрак у Тутса Шора с несколькими друзьями. Хотчнер вел переговоры с «Твентис сенчури фокс» о фильме «Мир Ника Адамса», основанном на телепеределках рассказов Эрнеста, сцепленных в псевдобиографический цикл. Первое предложение — 100 000 долларов — Эрнеста не устроило, он настаивал, чтобы Хотчнер требовал 900 000. Если эта цифра свидетельствовала о мании величия, то и стадия депрессии была не за горами. 31 июля он писал сыну Бэмби, что его сильно беспокоят глаза и он жалеет, что надо ехать в Испанию.

Ехать было не надо, и поехал он зря. Но он упорно твердил, что нужен Антонио. После нескольких отсрочек он улетел реактивным самолетом TWA * через Лиссабон в Мадрид. Место рядом с ним занимал чикагский адвокат Луис Катнер. Катнер был до крайности поражен тем, как непохож этот тихий, неуверенный в себе человек на «крепкого, мужественного, задиристого» героя легенды. Перелет очень утомил Эрнеста, и он не сразу разобрался во внезапном скачке из одного временно́го пояса в другой. В Мадриде он наскоро поговорил с Биллом Ленгом, парижским корреспондентом «Лайф», а потом Билл Дэвис увез его на два дня в «Консулу» — отдыхать.

Дэвисы видали его во всяких настроениях, но в таком — никогда. У него были все симптомы глубокой нервной депрессии: страх, тоска, подозрительность, бессонница, чувство вины, раскаяние, провалы памяти. Уже через десять дней после приезда он в письмах жаловался жене на судороги и кошмары. Через две недели он прямо сказал, что опасается «полного физического и нервного истощения от смертельной усталости». Всю жизнь он по утрам просыпался бодрым. Теперь каждый день тянулся как кошмар длиной в семьдесят два часа. «Сегодня я плохо проснулся»,— сказал он 19 августа. Он говорил, что ему скучно, однако новые люди его нервировали. Бой быков и все с ним связанное казалось «продажным» и «незначительным». Он даже подозревал Домингина в тайном сговоре против Антонио. И вместе с тем терзался, считая, что в статье для «Лайф» был несправедлив к Домингину. Когда в начале сентября ему прислали авиапочтой первый номер журнала с «Опасным летом», он в ужа-

* Trans-World Air Lines — американская компания воздушных сообщений.

се отшатнулся от улыбающейся физиономии на обложке, сказав, что это «отвратительное лицо». Ему было «стыдно и больно», что он сочинил «такую гадость». Мэри он писал часто, называл ее «бедная киска», говорил, что теперь понял, почему летом 1959 года ей было так плохо в Испании. Он жалел, что ее с ним нет, она не дала бы ему «свихнуться».

По его настоятельной просьбе, скрепленной приглашением от Энни Дэвис, Мэри прислала к нему Валери — помогать разбираться в корреспонденции. Она приехала спокойная, бодрая — полная противоположность ему. Антонио получил контузию, когда очередной бык в Бильбао швырнул его на песок. У Кармен случился выкидыш. Эрнест говорил, что все это ему до смерти надоело. Он терпит только потому, что раньше после таких скверных периодов ему особенно хорошо писалось. Он и сейчас надеялся на это и не мог заставить себя признать, что так скверно ему еще никогда не бывало.

Валери и Дэвисы не знали, что и делать. Когда в начале октября Арон Хотчнер встретился с ними в Мадриде, настроение в номере отеля «Суэсия» было похоронное. У Эрнеста появилась мания преследования. Он объяснил Хотчнеру, что в 1959 году Билл Дэвис пытался его убить, нарочно повредив «ланчию», и теперь опять что-то замышляет. У него болели почки, или ему так казалось. Раздражителен он был безмерно. Однажды он наорал на официантов в ресторане «Кальехон» и разгневанный ушел, не доев завтрака. Вернувшись в отель, он на четыре дня слег, под всякими предлогами откладывая день отлета домой. Наконец друзья кое-как усадили его в ночной самолет. Им казалось, что они прощаются с незнакомым человеком.

Когда Мэри увидела его, ее худшие опасения подтвердились. Как и в июле, он не выходил из нью-йоркской квартиры. Все вызывало его тревогу — Валери в Испании, Хотчнер в Лондоне, его дома на Кубе и в Айдахо, подоходный налог и состояние его почек. Неделю Мэри ждала, а потом, пустив в ход всю силу своего убеждения, усадила его в поезд и увезла в Айдахо. 22 октября они прибыли в Шошони, откуда доктор Сэвирс привез их на машине домой. Даже на лоне своего кетчумского семейства Эрнест не мог заставить себя приободриться. Однажды, выезжая задним ходом со стоянки в Кетчуме, он слегка задел другую машину. Это его страшно расстроило, он боялся, что шериф его арестует, записал номер поврежденной машины и связался с ее владельцами. Те заверили его, что поломка пустяковая, но он продолжал нервничать. Он говорил Мэри, что дом в Кетчуме придется продать — ему не справиться с налогами. Чтобы унять его страхи, она позвонила в его банк в Нью-Йорке, и там подтвердили, что сумма на его счете лежит весьма значительная. Но и это его не утешило.

Его неотвязно преследовала мысль, что за ним следит ФБР в связи с неузаконенным пребыванием Валери в США. А она теперь приехала в Нью-Йорк поступать в Американскую академию драматического искусства. Через посредство Хотчнера он послал ей чек на весь курс обучения. В середине ноября он вызвал Хотчнера в Айдахо и поехал встречать его к поезду. Всю дорогу домой он был уверен, что за ним следуют агенты ФБР. В Кетчумском банке допоздна засиделись двое служащих. Эрнест был убежден, что они, по поручению правительства, проверяют его счет со специальной целью вывести его из равновесия.

Стало ясно, что его необходимо поместить в больницу. Но в какую и насколько это срочно? Выбор был между клиниками братьев Меннинджер и братьев Мэйо. Доктор Сэвирс заметил, что, когда Эрнесту хорошо работалось, кровяное давление у него было нормальное, а при всяком волнении угрожающе подскакивало. Однако главной проблемой была психика. С разрешения Мэри Хотчнер описал поведение Эрнеста одному видному нью-йоркскому психиатру. «Мало зная больного,— вспоминает этот врач,— я мог только поставить предположительный диагноз и предписать лечение, включающее лекарственные средства, а затем психотерапевтический курс, исходя из тех причин, которые могли способствовать заболеванию». Поставить диагноз на расстоянии было трудно, но этот врач очень помог с устройством Эрнеста в клинику Мэйо в Рочестере, штат Миннесота. 30 ноября летчик Ларри Джонсон тайно доставил Эрнеста в сопровождении доктора Сэвирса в Рочестер на самолете «Пайпер Команче». Перелет совершился в хорошую погоду, с одной посадкой для заправки в Рэпид-Сити, Южная Дакота. Эрнест был в отличном настроении и увлеченно рассуждал об истории американского Запада. В Рочестере он поступил в больницу святой Марии под именем Джорджа Сэвирса. Мэри, приехавшая следом по железной дороге, зарегистрировалась в гостинице как миссис Сэвирс...

Врачи полагали, что симптомы депрессии частично вызваны приемом большого количества противогипертонических лекарств, и рекомендовали отказаться от них, оставив только на случай «крайней необходимости». Но депрессия не прекращалась, и доктор Роум предписал курс лечения электрошоком — по два раза в неделю, на весь декабрь и начало января. Если не считать головной боли и обычной временной потери речи, Эрнест как будто реагировал на лечение хорошо. Он подружился с врачами и сестрами, выписывал им наборы книг от Скрибнера и часто бывал в гостях у доктора Батта, говоря, что «устает от больницы и с удовольствием бывает в доме, где много книг».

Однажды в начале декабря он пришел туда в шляпе и, осторожно сняв ее, заче-

сал волосы вперед, чтобы скрыть лысину. Он держался до крайности робко и, только выпив, немного разговорился. Довольно живо рассказал об африканских авариях, но чуть не расплакался от досады, когда не мог вспомнить название заповедника — Кимансное болото. От маний своих он не избавился — он вполне серьезно сообщил, что кто-то хочет его ограбить, хотя у него нет денег. На рождественском обеде у Баттов он был очень весел, пел с Мэри народные песни по-испански, по-французски, по-немецки. С Баттом и его сыном он ходил в тир, устроенный в старой каменоломне близ владений Мэйо — расстрелял подряд 27 глиняных голубей и со 110 футов без промаха попадал из пистолета в бутылки.

Его пребывание в Рочестере оставалось тайной шесть недель — до 11 января. Когда стало известно, где он, потоком хлынули письма от доброжелателей, знакомых и незнакомых. Письма друзей как бы отмечали все этапы его жизни: Томпсоны и Ки-Уэст, Том Шелвин и дни на Бимини, Милтон Вулф и Гражданская война в Испании, и Эллис Бриггс, которому он ответил веселым письмом, вспоминая холостяцкие встречи в Гаване в пору борьбы со шпионажем и с подлодками после Пирл-Харбора. Были теплые письма от Бака Ланхема и Джима Лаккета, с которыми его связывала фронтовая дружба, и письмо от Филипа Персиваля, сообщившего, что в день своего семидесятишестилетия он убил двух львов-мародеров. Ответы Эрнеста, которые он диктовал медицинской сестре Патриции Мак-Куорри, показывали, что память его, во всяком случае на давние события, почти восстановилась, а в тоне писем проскальзывало прежнее озорство.

Он не скрыл своей радости, когда 12 января получил телеграмму от только что избранного президента Джона Кеннеди, приглашавшего Хемингуэев на торжество по случаю его вступления в должность. Эрнест ответил на следующий день: «Для меня и для миссис Хемингуэй это большая честь... Мы желаем правительству всяческих успехов в их мероприятиях в области культуры и во всех других областях. К сожалению, после отъезда отсюда по окончании лечения от гипертонии мне предписано ограничить свои передвижения, поэтому мы не сможем присутствовать на торжествах, но мы очень благодарны президенту и миссис Кеннеди и шлем им горячие поздравления».

Его выписали из больницы 22 января. Это был 53-й день его пребывания там и ровно семь лет с тех пор, как он вылетел с Роем Маршем из Найроби в злополучную Уганду. Теперь все прошло гладко. Ларри Джонсон вел самолет прямо на запад, они пересекли горы Уинд-Ривер и заповедник Лунные Кратеры и благополучно приземлились в Хэйли через восемь часов после вылета.

«Работаю вовсю,— сообщал Эрнест три дня спустя.— С гипертонией сладил». Некоторое время казалось, что так оно и есть, хотя работа состояла главным образом в попытках как можно лучше скомпоновать парижские очерки. Он регулярно вставал в семь часов, в половине девятого начинал работать, а к часу кончал, «смертельно усталый». Позавтракав и вздремнув, он ходил для моциона по заснеженным дорогам — иногда один, исхудавший, в клетчатой кепке и тяжелых башмаках, останавливаясь, чтобы помахать рукой детям, возвращающимся из школы. Мэри придумала и другие прогулки — они выезжали на север по шоссе 93 и, оставив машину на дороге, бродили каждый раз в новых местах. Эрнест старательно следовал советам врачей — избегать крепких напитков, пить только легкое вино и только за обедом или завтраком. «Пытаюсь не думать дальше завтрашнего дня,— писал он в начале февраля,— и так же работать, но мне пришлось нелегко, да и сейчас все сложно». Он скучал по своей кубинской библиотеке и просил Скрибнера выслать ему Библию и «Оксфордскую антологию английской поэзии», в которой надеялся найти заглавие для парижской книги.

Чарльз Скрибнер, пытаясь его подбодрить, напомнил ему его же давнишнее правило: «Il faut (d'abord) durer»*. Эрнест был тронут и написал в ответ, что очень старается. По утрам он часами простаивал у своей конторки у окна, перекладывая с места на место какие-то бумаги, но, как писала Мэри, «почти не поднимая глаз» на великолепную горную панораму, открывавшуюся из окна маленькой спальни. К концу февраля он стал настоящим отшельником. Он уже не приглашал друзей смотреть по пятницам телевизор. Перестал появляться в Кетчуме и Сан-Вэлли. Спустившись из своей комнаты в гостиную, он сидел там молча. Глаза его смотрели как будто очень издалека. Иногда он стоял, устремив взгляд в широкое окно в сторону кетчумского кладбища. Если он что и видел, то редко об этом говорил.

Не писал он ничего, кроме очень редких писем. В феврале к нему обратились с просьбой сделать надпись на книге в подарок президенту Кеннеди. Мэри принесла бумагу, нарезала ее на квадраты, и он принялся за работу в гостиной у конторки. Он трудился весь день с перерывом только на завтрак и ничего не мог сочинить. Весь дом замер. Мэри терпела сколько могла, потом вышла прогуляться. Вернувшись, она застала его на том же месте. Одним из немногих людей, которых он хотел видеть, был доктор Сэвирс. Он приходил почти ежедневно, мерил Эрнесту кровяное давление, изменениям которого была, казалось, подчинена вся его жизнь. Обычно они усаживались рядом на диване под окном в северном конце гостиной. Эрнест сидел с рукой, обмотанной серым бинтом, и жалобно повторял, что не может писать — «совсем перестало получаться». По щекам у него катились слезы.

---

* Прежде всего нужно держаться *(франц.)*.

Весь март напряжение нарастало. Эрнест тревожился из-за своего веса, кровяного давления, диеты. Чака Аткинсона только что излечили от рака кожи лица. Когда он зашел навестить Эрнеста, тот сказал, что и его похудание, наверно, вызвано раком. Волновала его и возможность судебных исков в связи с парижской книгой. Как-то он позвонил своей первой жене Хэдли, которая проводила с мужем зиму на ранчо в Аризоне. Ее поразил его голос, тусклый и неживой. Он, оказывается, забыл, как звали мужчину и женщину, которые в Париже в 1925 году эксплуатировали молодых писателей. Хэдли назвала Эрнеста Уолша и Эдит Мурхед, но подробностей припомнить не могла. На его вопрос, кто может это помнить, она назвала Сильвию Бич, Билла Бэрда и Эзру Паунда. Эрнест сказал, что Сильвия человек неточный, Паунд может и не ответить, а с Биллом Бэрдом он в плохих отношениях. Он упомянул, что недавно к нему приезжал Бэмби с семьей. На этом разговор кончился. Но Хэдли никак не могла забыть его голос.

Мэри видела, какая огромная печаль его заливает, но помочь не могла. Бэд Парди, вернувшись из охотничьей экспедиции в Африку, привез ему снимки Патрика, Хэнни и их приемной дочки. Эрнест в ответном письме одобрил прибавление семейства и тут же перешел на жалобы. «Здесь дела плохие, и насчет Финка плохо, и чувствую себя скверно, но вот написал тебе, может быть, станет легче». В начале апреля Мэри ночью свалилась с лестницы — от непомерного нервного напряжения она стала лунатиком,— разбила голову и растянула связки на ноге. Ковыляя по дому с палкой, она все еще пыталась сохранить бодрость. Наступала весна, полынь начала зеленеть, мимо окон мелькали зяблики и жаворонки, с горных склонов сошел снег. Но Эрнест, запертый в клетке своего отчаяния, ничего этого не видел.

Однажды ясным апрельским утром, часов в одиннадцать, Мэри кое-как сошла вниз. Эрнест стоял в углу гостиной возле стойки с ружьями. На нем был красный итальянский халат, который назывался у них «императорской мантией». В руках он держал ружье, на подоконнике лежали два патрона. Мэри спокойно с ним заговорила. В полдень должен был прийти доктор Сэвирс измерять кровяное давление, и у нее оставалась одна надежда — дотянуть до его прихода. Она уговаривала Эрнеста не сдаваться. Ведь ему еще много нужно сделать. Она хвалила его за мужество, просила подумать о сыновьях. Он успел оставить записку, но не ей. Мэри показалось, что листок весь исписан цифрами. Эрнест сунул его в карман халата, и больше Мэри его не видела. Минуты шли. Она все говорила вполголоса. Он угрюмо молчал, глядя пустыми глазами в южное окно, либо садился на стул, не выпуская ружье из рук. После пятидесяти минут, показавшихся вечностью, послышался шум приближающейся машины. Объехав дом, она остановилась у заднего крыльца. Через кухню протопали шаги, и появился Джордж Сэвирс. Он заговорил с Эрнестом очень спокойно, тихим голосом и уговорил-таки его отдать ружье. А потом увез его в больницу в Сан-Вэлли и накачал успокаивающими средствами.

Ничего не оставалось, как снова проситься в клинику Мэйо. Ларри Джонсона предупредили, чтобы он со своим четырехместным самолетом был наготове. Дон Андерсон и Джоуни Хиггонс, сестра из больницы в Сан-Вэлли, привезли Эрнеста домой забрать кое-что из одежды. У заднего крыльца все вышли из машины. Эрнест с какой-то странной хитрой улыбкой сказал своим провожатым, что они могут не трудиться входить в дом. Он знает, где лежит все, что ему нужно, и не задержится. Дон спокойно возразил, что им не велено оставлять его одного. Тогда Эрнест бегом пересек кухню, где работала уборщица, и бросился в гостиную, прямо к стойке с ружьями. Хотя Дон отстал от него всего на каких-нибудь два шага, он успел схватить охотничье ружье, вложить два патрона, захлопнуть затвор и приставить дуло к горлу. «Нет, Папа!» — сказал Дон, стараясь отнять у Эрнеста ружье. Дон был рослый и сильный, но Эрнест не разжал пальцев. Джоуни потом говорила, что лицо у него было свирепое. Не переставая бороться с Эрнестом, Дон сумел открыть затвор и велел Джоуни вынуть патроны, а потом силой усадил Эрнеста на диван. Он сидел и угрюмо молчал даже тогда, когда сверху спустилась Мэри и, как в прошлый раз, стала тихо его увещевать. Джоуни вызвала Джорджа Сэвирса, тот мигом примчался, с помощью Дона опять отвез Эрнеста в больницу и уложил в постель.

Через два дня, 5 апреля, Сэвирс и Андерсон отвезли его в Хэйли. Перед тем как сесть в самолет, он непременно пожелал написать Мэри записку. Писал он чуть ли не пятнадцать минут, огрызком карандаша, положив листок на крыло самолета. Записку он отдал жене Ларри Джонсона для передачи Мэри. Только после этого он уселся рядом с Доном на заднее место, а Джордж сел впереди, рядом с Ларри. Самолет поднялся, набрал высоту и полетел через горы. Погода была прекрасная. Под крылом лежали черные потоки лавы, к востоку расстилалась широкая бурая равнина, но Эрнест ничего не видел. Он сидел мрачный, устремив взгляд прямо вперед. Дон заговорил было о новых местах для охоты на уток, но Эрнест в ответ только фыркнул. Он все возился со своим поясом. Он так похудел, что пояс был ему свободен. Дон пробовал пошутить по этому поводу — не спадут же с него штаны, если он будет сидеть смирно. Но Эрнест все ерзал на месте, и Дон предложил ему свой пояс. Снять его на тесном сиденье оказалось нелегко. Получив пояс, Эрнест быстро выхватил длинный складной нож и отрезал лишний конец. Продеть пояс в брюки тоже

было нелегким делом, но наконец он успокоился. Самолет, ровно гудя, шел на восток в ясном утреннем воздухе. Эрнест бормотал, что его похитили.

На полпути, пролетев 550 миль, они сели заправиться в Рэпид-Сити. Нужно было сменить магнето, и они подрулили к ремонтному ангару. Эрнест вышел, сказав, что хочет размяться. Дон не отставал от него, пока он торопливо обследовал всю ремонтную часть аэропорта. Он искал оружие — рылся в столах и ящиках с инструментами, бормоча, что в таких местах часто держат револьверы. Даже заглянул в мешки для перчаток в нескольких машинах на стоянке. Когда все было готово к отлету, он увидел, что в их сторону рулит другой самолет, и пошел прямо на его крутящиеся пропеллеры. До них оставалось не больше тридцати футов, когда пилот выключил моторы, и Эрнест сразу сник.

В Рочестер они прибыли в три часа дня. Их встречал доктор Батт с санитаром. Эрнест обрадовался, увидев Батта, но его как будто удивило, что друзья его сейчас же улетают. Он робко обратился к Андерсону: «Малыш, ты же не сразу уедешь, а?» Когда Дон ответил, что не может остаться, Эрнест умолк и пошел с доктором Баттом к ожидавшему их лимузину.

Как и в первый раз, он покорно принял больничный режим и новый курс лечения электрошоком. Пришло коротенькое письмо от Дос Пассоса из Балтиморы: «Хем, надеюсь, это не войдет в привычку. Ты там полегче. Желаю удачи. Дос». Гарри Купер и его жена прислали телеграмму: «Что сказать кроме как мы вас любим». Он почти не реагировал на неудавшееся вторжение в заливе Кочинос на Кубе и на первомайскую речь Фиделя Кастро, провозгласившего образование социалистического государства. Доктор Роум взял с него честное слово, что он не будет пытаться покончить с собой. Он, правда, сказал, что всегда может воспользоваться электрическим шнуром или плечиками для одежды, но никаких попыток не предпринимал.

Мэри посоветовали остаться в Кетчуме. Она заперла все ружья в подвальной кладовой, но теперь, после двух попыток к самоубийству, больше чем когда-либо сомневалась, что в Рочестере Эрнеста лечат как надо. В середине мая она писала Брюсам, что так измучена постоянной тревогой, что хотела бы месяц пролежать в холодильнике. Но об отдыхе не могло быть и речи. В конце мая она поехала в Нью-Йорк посоветоваться с тем видным психиатром, который в декабре устроил Эрнеста в клинику Мэйо. Через несколько дней ее по просьбе Эрнеста вызвали в Рочестер. Но приезд ее не помог делу. Она заготовила список вопросов для доктора Роума. Ответы ее не удовлетворили. Эрнест показывал врачам одно свое лицо, а ей — совершенно другое. Она пришла в ужас, услышав, что доктор Роум считает возможным выписать Эрнеста из клиники. Вернувшись в Нью-Йорк, она пыталась добиться его перевода в психиатрический институт в Хартфорде, штат Коннектикут. Клиника Мэйо была против этого шага. 31 мая газета «Канзас сити стар», в которой когда-то работал Эрнест, поместила заметку о том, что состояние его улучшается. Мэри знала, что это не так, но была бессильна. Наступил июнь, а дело все не сдвигалось с мертвой точки.

Его еще можно было расшевелить. Некий Герберт Веллингтон написал справочник по рыбной ловле в Йеллоустоне. Чарли Скрибнер прислал Эрнесту эту книгу. Он прочел ее с жадностью и просил Скрибнера послать экземпляр Бэмби в Сан-Франциско. Книга пробудила у него воспоминания о давних днях на ранчо Норткуист на берегу притока Йеллоустона — Кларк-Форк. Скрибнер сообщил также, что все книги Эрнеста хорошо расходятся. Эрнест написал ему, что это известие «очень его согрело». В работе вся его жизнь. Он надеется скоро вернуться в Кетчум и снова писать.

Девятилетнего сына доктора Сэвирса, Фрица, поместили в больницу в Денвере. У мальчика был аллергический миокардит с плохим прогнозом. По мнению Сэвирса, письмо от Эрнеста очень бы его подбодрило. «Дорогой Фриц,— написал Эрнест.— Сегодня утром получил от твоего папы письмо и с большим сожалением узнал, что тебе придется еще несколько дней пролежать в Денвере. Хочу тебе сказать, что уверен в твоем скором выздоровлении. Здесь в Рочестере было очень жарко и душно, но в последние два дня стало прохладнее, ночи свежие, и спится чудесно. Места здесь очень красивые, и еще мне удалось повидать замечательные места на Миссисипи, где в прежнее время сплавляли лес, и тропы, по которым пионеры пробирались на север. Видел я и как прыгали в реке крупные окуни. Я никогда раньше не бывал в верхнем течении Миссисипи, здесь удивительно красиво, а осенью много фазанов и уток. Но не так много, как в Айдахо, и я надеюсь, что мы оба скоро туда вернемся и тогда расскажем друг другу, как было в больнице, и посмеемся вволю. Всего тебе лучшего, старина. Твой друг, который очень по тебе соскучился (мистер Папа)».

Планы возвращения в Айдахо были вполне реальны. Эрнест убедил врачей, что его можно выписать. Когда Мэри приехала в Рочестер, она поняла, что это страшная ошибка. Но Эрнест торопился с отъездом, и она чувствовала, что возражать нельзя. Вызванный ею по телефону из Нью-Йорка Джордж Браун взялся отвезти их в Кетчум на машине. Мэри наняла «бьюик», и утром 26 июня они тронулись в путь. Эрнест сидел рядом с Джорджем и смотрел на дорогу. В первый день все шло хорошо. Они проехали 300 миль и заночевали в мотеле в Митчеле, штат Южная Дакота. Но уже 27-го мании Эрнеста дали о себе знать. Мэри купила немного вина, чтобы позавтракать, не заезжая в ресторан, и Эрнест стал уверять, что теперь их арестуют за провоз алко-

гольных напитков. Еще до полудня он стал тревожиться о ночлеге, чего с ним раньше никогда не бывало. Пусть Мэри позвонит, чтобы им оставили комнаты. И дальше он каждый день этого требовал, так что несколько раз она просто опускала в автомат монеты и только делала вид, что разговаривает. Уже в два или три часа дня он отказывался ехать дальше. Чтобы покрыть 1700 миль, им потребовалось пять дней.

В Кетчум они приехали в пятницу 30 июня. Мэри поселилась в большой спальне, Эрнест — в маленькой. Джордж устроился в домике для гостей около заднего крыльца. На следующее утро они съездили в больницу повидаться с доктором Сэвирсом. Он сказал, что Фриц очень обрадовался письму Эрнеста. Мальчик провел несколько дней дома, но в тот вечер отец снова должен был везти его в Денвер. Эрнест хотел навестить Дона Андерсона на работе, но не застал его, и они поехали домой. Во второй половине дня зашел Чак Аткинсон, и часок они разговаривали с Эрнестом, стоя на веранде. Клара Спигель приглашала их обедать. Эрнест отказался и сам пригласил ее к обеду в воскресенье. Обедать Хемингуэи повели Джорджа Брауна в ресторан «Христиания» возле мотеля. Эрнест сел в углу, лицом к залу. Говорил он мало, но не казался угрюмым. Была суббота, в ресторан валил народ. Они ушли рано и вернулись домой. Эрнест почти сейчас же стал собираться спать. Он чистил зубы в ванной, примыкавшей к его спальне, когда Мэри вдруг вспомнилась веселая итальянская песенка «Tutti mi chiamano blonda» («Все меня называют блондинкой»). Она пропела ее Эрнесту, и он подхватил последнюю строку. Потом надел свою голубую пижаму и зажег лампу в изголовье. Мэри ушла к себе.

Воскресное утро было ясное, безоблачное. Эрнест, как всегда, проснулся рано. Он надел красную «императорскую мантию» и неслышно спустился по устланной ковром лестнице. На полу гостиной лежали солнечные блики. Он уже заметил, что ружья заперты в подвальной кладовой, но знал и то, что ключи лежат на полке над кухонной раковиной. Тихо прокравшись в подвал, он отпер кладовую. Там пахло сыростью, как в могиле. Он выбрал двустволку Босса, из которой много лет стрелял голубей. Захватив из ящика несколько патронов, он закрыл и запер дверь и поднялся в гостиную. Если он и заметил, какой за окном сияет день, это его не остановило. Через гостиную он прошел в прихожую, небольшую комнатку, пять на семь футов, обшитую дубом, с линолеумом на полу. Годами он держался своего правила Il faut (d'abord) durer. Теперь им руководило другое: Il faut (après tout) mourir *. Эта мысль, пусть и не выраженная словами, залила все его сознание. Он вложил два патрона, аккуратно опустил ружье прикладом на пол, наклонился вперед, приставил стволы ко лбу над бровями и нажал оба спуска.

О книге Карлоса Бейкера

Книга Карлоса Бейкера «Жизнь Эрнеста Хемингуэя» имеет определенную ценность. В ней находишь обильную и разнообразную сводку упорядоченного в виде жизненной хроники и в основном выверенного биографического материала. На фоне случайных или односторонних по своему подходу и характеру публикаций и заведомой макулатуры, появившихся в свет после смерти Хемингуэя, работа Бейкера может считаться «академической». К ней наверняка еще долгое время будет обращаться и исследователь и широкий читатель в поисках тех или иных фактов из жизни писателя. И она, надо думать, послужит известным подспорьем для новой, лучшей биографии Хемингуэя, пока еще не написанной.

И тем не менее эту книгу в семьсот страниц закрываешь со странным чувством, что в ней упущено главное.

Молодой Хемингуэй и старый. Веселый и хмурый. Привлекательный и неприятный. Но цельного Хемингуэя нет.

Что же столь явно отсутствует в книге? Творческая личность писателя, те черты его облика и внутренней жизни, которые рисуют и объясняют Хемингуэя как автора произведений, неотъемлемо вошедших в эстетическое и моральное сознание современного Запада.

Книги Хемингуэя, конечно, не раз упомянуты в ходе рассказа о его жизни. Говорится об обстоятельствах их написания (где написаны, как долго писались), иногда о прототипах героев, об обстоятельствах выхода в свет, об отзывах критики и друзей, о гонорарах и т. п. Эти подробности любопытны, имеют свой интерес.

Но нет содержания книг. Нет ни анализа, ни оценки творчества Хемингуэя. Изъята из рассмотрения взаимосвязь творчества и жизни писателя.

Сам автор, профессор Принстонского университета, Карлос Бейкер объясняет характер написанной им биографии «практическими» соображениями. Издательство

* В конце концов нужно умереть *(франц.)*.

Скрибнера заказало ему историю жизни Хемингуэя. Поскольку его же — Бейкера — более ранняя книга о творчестве Хемингуэя, несколько раз переизданная, доступна желающим («имеется в продаже»), он решил ограничиться в новой книге одними лишь фактами жизни писателя.

Подобные объяснения мало чему помогают. И дело даже не в том, что читатель вряд ли положит на стол обе книги Карлоса Бейкера и будет листать их по очереди, дополняя биографическую главу из одной книги о Хемингуэе анализом творчества из другой.

Изъян — в самом подходе биографа.

Суть в том, что любой человек, даже самый великий, лишенный главного, одушевляющего содержания своей жизни, своего «гения», как бы ни был он интересен иными сторонами и качествами, предстает неизбежно в трагически обедненном, я бы даже сказал, искаженном виде.

И рассказ о нем лишается того обаяния, того воспитательного в широком смысле значения, который он должен иметь для читателя.

И, с другой стороны, биограф получает моральное право на «вторжение» в личную жизнь человека, которого мы признаем замечательным и жизнь которого мы изучаем, на рассмотрение тех или иных его промахов и несчастливых сторон характера только в том случае, если рисует его во всей его сложности, в полный рост, в надлежащем масштабе..

Так что, когда тот оступается на многотрудном своем пути, то его срывы для нас поучительны и помогают нам глубже понять его жизнь.

Надо ли говорить, что жизнь писателя в огромной мере содержится в его книгах? И в тех образах и характерах, которые их создатель тесно связывает с собой, и в других, которые он им противополагает, и в тех сражениях чувств и идей, которые разыгрываются на страницах его сочинений.

И если это верно вообще, то дважды и трижды верно в отношении Хемингуэя, который не только долгие годы был в своих книгах усердным автобиографом, но в силу особенностей своего характера и творческой личности реже открывал себя в собственной жизни, чем в жизни своих героев.

Ни юный Ник Адамс из ранних рассказов, ни Фредерик Генри в «Прощай, оружие!», ни Роберт Джордан в романе «По ком звонит колокол» не являются у Хемингуэя в собственном смысле «автобиографическими героями». Но без глубокого проникновения в их «душу», в их внутренний мир нельзя будет понять до конца и «душу» писателя, даже если представить на суд все до единого факты его жизни.

Подобные мысли не раз приходят в голову, когда читаешь эту биографию Хемингуэя.

Вообще надо заметить, что сложная и противоречивая индивидуальность Хемингуэя плохо дается его профессиональным биографам. Глубже в нее иногда проникают писатели, близко знавшие Хемингуэя.

Среди них выделяется Скотт Фицджеральд, который дружил с Хемингуэем в 20-х годах и в дальнейшем, хотя их пути разошлись, продолжал глубоко интересоваться своим бывшим другом, не только его творчеством, но и личностью в целом. Он считал характер Хемингуэя знаменательным для понимания некоторых важных, ключевых черт западного интеллектуала его поколения. Задумав роман, в котором главный герой — Филип — должен был быть написан с Хемингуэя (этот замысел не был осуществлен), Фицджеральд помечает в своих блокнотах: «Портрет байронической личности — важнейшее в «Красном и черном»; не смогу ли и я, воплотив в Филипе Эрнеста, создать портрет подлинно современного человека?»

Разбросанные в письмах и дневниках разных лет краткие записи Фицджеральда, посвященные Хемингуэю, иногда восхищенные, иногда горькие и критические, стоят по своей проницательности многих и многих страниц этой «Жизни Хемингуэя».

Напечатанные в извлечениях в «Иностранной литературе» 7-я и 8-я главы книги Бейкера об участии Хемингуэя в Гражданской войне в Испании (в 5-м и 6-м номерах журнала) и заключительная 11-я глава о последних годах жизни писателя, публикуемая в 11—12-м номерах, принадлежат к наиболее интересным у Бейкера.

Интересны они по-разному.

Испанские главы в книге Бейкера признать удачными никак нельзя. Во-первых, автор недостаточно компетентен, чтобы судить о событиях Гражданской войны в Испании. Во-вторых, он политически слишком консервативен, чтобы дать объективную оценку участию Хемингуэя в испанских событиях и значению их в его творчестве.

Но столь важное место занимают эти события в жизни Хемингуэя, и так волнует до сего дня миллионы читательских душ этот первый — с тяжким исходом — бой с европейским фашизмом, что каждую крупицу нового, каждый добавочный верный факт мы принимаем с жадностью.

Нельзя не отметить сведения Бейкера, почерпнутые в архиве писателя, о вариантах окончания романа «По ком звонит колокол». В первой из двух небольших главок, первоначально завершавших роман, Карков и генерал Гольц возвращаются с фронта в Мадрид и размышляют о судьбе Джордана: после взрыва моста он бесследно пропал, и они ничего о нем больше не знают. Во второй — Андрес, партизан из отряда Пилар, которого Джордан в самый канун боя отослал с донесением к Гольцу, возвращается

к брошенной базе отряда в горах и смотрит оттуда в ущелье, где видны остатки взорванного моста.

Готовя роман к печати, Хемингуэй убрал обе главки, счел их излишними. Когда будут публиковаться материалы из архива писателя, мы сумеем, видимо, их прочитать.

Одиннадцатая глава книги Бейкера «Речь идет о жизни и смерти» охватывает семь последних лет жизни Хемингуэя, с 1953 по 1960 год, и включает вторую поездку писателя в Африку и последнее путешествие его по Испании, присуждение Хемингуэю Нобелевской премии по литературе, болезнь и гибель. Невзирая на мучительные ранения (последствия авиационной катастрофы в Африке) и надвигавшуюся болезнь, это был продуктивный период в жизни Хемингуэя — годы, в которые были написаны «Старик и море» «Опасное лето» и «Праздник, который всегда с тобой».

Биографический материал, вошедший в эту главу, сравнительно мало известен нашим читателям. Общий тон повествования по сравнению с другими главами более спокоен, и Хемингуэй реже предстает под пером биографа в роли задиры, бахвала и драчуна. По-видимому, более значительна в этой главе (в особенности в заключительных эпизодах) и роль Мэри Хемингуэй, вдовы писателя, как свидетельницы последних лет и последних дней его жизни.

Однако и к этой главе в полной мере относится то, что уже было сказано раньше о книге в целом. Чтобы понять до конца и последние годы и последние дни жизни Хемингуэя, нужно не только учесть историю его болезни и впечатления его родных и знакомых, но также внимательно перечитать «За рекой в тени деревьев» и «Старик и море».

А. СТАРЦЕВ

НАШИ ГОСТИ

«Я СТАРАЛСЯ ШАГАТЬ С ТОБОЙ В НОГУ»

Он был приглашен на Конференцию писателей стран Азии и Африки в Ташкент, но английские колониальные власти запретили ему выезд с Кипра. Некоторое время спустя из Советского Союза пришло второе приглашение — на III Всесоюзный съезд писателей. И тогда он написал своему другу в Москву: «Я прошу тебя незамедлительно объяснить компетентным лицам, с какой радостью я воспринял оказанную мне честь и с каким удовольствием я откликнулся бы на это предложение, если бы мог. Все же я стараюсь, стараюсь. И, может быть, кто знает, в один прекрасный день откроются ворота». На этот раз ворота удалось открыть, и поэт Ахиллеас Пилиотис выступил в Москве, на III съезде советских писателей, представляя литературу маленького острова Кипр, мужественно боровшегося за самоопределение и независимость.

Пилиотис — значит уроженец Пилы. В этой бедной деревне прошли детские годы поэта. Потом, осмысливая запавшие в память впечатления тех лет, Пилиотис скажет, что именно они пробудили в нем чувство долга перед униженными и подавленными людьми. Он решил служить этому долгу как поэт и как гражданин и, словно подчеркивая свою близость к людям тяжелого труда и трудной судьбы, избрал скромный псевдоним — Пилиотис.

Свои первые стихи он написал в 1946 году на полях старой газеты в английском концлагере, куда были брошены кипрские солдаты, отказавшиеся служить в колониальных войсках. В годы второй мировой войны многие из них, как и Ахиллеас Иоанну (Пилиотис), пошли на фронт добровольцами, но после победы над фашизмом они потребовали немедленной демобилизации: служить орудием колониального насилия они не хотели. Некоторые стихи, написанные Пилиотисом в этом первом его концлагере, вошли в сборник «Прислушайтесь!», увидевший свет в 1955 году.

В этом же году Пилиотис вновь оказался в концлагере за то, что для колонизаторов у него «не нашлось других слов, кроме слова «Сопротивление!». Здесь, в концлагере, он напишет*:

Если развяжут нам руки,
мы снова возьмем винтовку —
так сложилась наша судьба.

Своей поэзии он отводит такую же роль — роль борца:

Гонорар мой — шепот солдата,
прочитавшего строчку мою
в окопах...

Обращаясь к родине, поэт говорит:

Я старался шагать с тобой в ногу,
чтобы ритм моих стихов
совпадал с биением сердца,
твоего печального сердца...

Ритм его стихов всегда совпадает с биением сердца Кипра — и в радостях, и в горе, и в борьбе, которая продолжается по сей день. Название второй книги Пилиотиса «Голос нашей земли» (1959) может служить эпиграфом ко всему его творчеству.

В 1961 году с творчеством Пилиотиса познакомились и советские читатели. В Москве вышел сборник «Кипрская рапсодия»,

* Стихи А. Пилиотиса даются в переводе А. Янова.

в котором поэзию Кипра представляли два поэта старшего поколения — Тевкрос Антиас и Феодосис Пиеридис, а также молодой поэт Ахиллеас Пилиотис. В 1965 году журнал «Иностранная литература» (№ 8) опубликовал стихотворение Пилиотиса «Смерть певца».

Сейчас Ахиллеас Пилиотис — известный и признанный на Кипре поэт, редактор журнала «Неа эпохи», секретарь общества «Кипр — СССР». Он несколько раз приезжал в Советский Союз и во время своего последнего визита в Москву посетил редакцию журнала «Иностранная литература».

Наш первый вопрос к Пилиотису — о положении на Кипре. Вот уже почти десять лет, как Кипр стал независимой республикой, однако «кипрский вопрос» все еще не решен.

— Нерешенность так называемого «кипрского вопроса» и определяет обстановку на нашем острове,— говорит Пилиотис.— Все эти годы периоды относительно спокойные сменялись периодами критическими, когда обострения доходили до вооруженных столкновений между кипрскими греками и турками. Период сравнительно спокойный мы пережили недавно: ход внутрикипрских переговоров между руководством греческой и турецкой общин внушал нам тогда надежды на то, что кипрская проблема будет успешно решена самими киприотами. Мы полагали, что кипрские греки и турки сумеют договориться о том, чтобы жить вместе в едином, независимом, демократическом государстве. В государстве с единой системой управления, но и с определенными формами самоуправления для турецкой общины в вопросах религии, просвещения, культуры. Именно к такому решению стремятся демократические круги Кипра и значительная часть трезво мыслящей кипрской буржуазии. Однако в последнее время ход переговоров не вселяет былых надежд, для оптимизма все меньше и меньше оснований. Все чаще раздаются провокационные призывы к «энозису» с Грецией. А поскольку Турция никогда не согласилась бы на присоединение всего Кипра к Греции, по сути дела навязывается противоестественное расчленение острова — двусторонний «энозис», раздел Кипра между Грецией и Турцией. Такое решение, означающее ликвидацию государственной самостоятельности Кипра, превратило бы наш остров в атомную базу НАТО. Именно НАТО и в первую очередь США пытаются провести это решение в жизнь. В последнее время на Кипре были созданы тайные террористические организации. Их деятельность — взрывы бомб, покушения на жизнь демократически настроенных государственных деятелей, угрозы, распространение провокационных листовок — призвана посеять страх и проложить путь пронатовскому решению кипрской проблемы.

— Связано ли создание этих террористических организаций с установлением диктаторского режима в Греции?

— Безусловно. Фашистская диктатура в Греции вдохновляет деятельность террористических организаций, но за спиной диктаторов стоит еще более активная и могучая сила — США.

Наш следующий вопрос естественно вытекает из предыдущих: влияет ли напряженная обстановка на Кипре на положение в литературе?

Пилиотис отвечает утвердительно: напряженность порождает постоянное ощущение неустойчивости, тревогу. Однако, если говорить об отклике в литературе, то в первую очередь ему хотелось бы отметить другое:

— Никто из кипрских литераторов не остался равнодушным к борьбе нашего народа за свободу и независимость. Для многих поэтов и прозаиков эта тема стала ведущей, и можно сказать, что вся кипрская литература в целом пронизана идеалом Свободы. Пережитые испытания научили нас также с сочувствием и пониманием относиться ко всем народам, которые страдают от угнетения и борются за свою независимость. Этот дух интернационализма стал одной из характерных для нашей литературы черт.

Примечательно,— продолжает А. Пилиотис,— что такого рода традиции старшего и среднего поколений перенимает и молодая смена. Творчество наших молодых поэтов — я выделяю поэтов, потому что большинство кипрских литераторов работает именно в области поэзии — явление очень пестрое и многообразное. Многие молодые авторы испытали заметное влияние западного модернизма. Их стих нередко бывает герметичным, туманным, перенасыщенным символикой. Сложны и настроения, питающие их творчество. Иногда, справедливо негодуя по тому или иному жизненному поводу, поэты поддаются отчаянию, скептицизму, нигилизму, иногда ими овладевает безудержная жажда разрушения. Однако эти настроения возникают как реакция на крушение тех или иных надежд, как протест против попрания идеалов. А идеалы у наших молодых поэтов есть, и это, несомненно,— главное. В их творчестве неизменно присутствует образ Свободы, ему они верны постоянно, именно он составляет твердую основу их поэтики. Бывает, что в непосредственном соседстве со стихотворениями, где поэт всецело поглощен своим внутренним миром и кажется совершенно отрешенным от жизни, мы вдруг читаем стихотворение, посвященное Хиросиме или Вьетнаму. Такое соседство не случайно. Оно свидетельствует о достаточно крепких узах, которые связывают нашу молодую поэзию с жизнью и борьбой.

Итак, большинство кипрских литераторов работает в области поэзии. А популярна ли поэзия в среде читателей? Оказывается, традиционной популярностью пользуется поэзия на народном кипрском диалекте. Она звучит на всех народных праздниках, и нередко застольная беседа выливается в импровизированный поэтический конкурс. Что же касается современной поэзии, культивирующей свободный стих, то о ней Пи-

лиотис говорит следующее: не так уж много поклонников, зато масса поэтов.

Разговор заходит о таких формах литературной жизни, как поэтические вечера, диспуты. Устраиваются ли они на Кипре? Как выясняется, мы затронули наболевший, но пока еще не разрешенный вопрос, связанный с деятельностью писательских организаций. Обе существующие на Кипре писательские организации практически бездействуют, хотя могли бы, подчеркивает наш гость, и должны были бы стать инициаторами литературных вечеров. Интерес к таким вечерам — а они изредка все-таки проводятся — бывает очень велик. Примером могут служить сравнительно недавние вечера, посвященные памяти видных кипрских поэтов Феодосиса Пиеридиса и Тевкроса Антиаса, а также литературные дискуссии, которые организует редакция журнала «Киприака хроника». Сам журнал закрылся примерно два года назад из-за финансовых трудностей, но помещение редакции продолжает служить своего рода литературным клубом. Итак, духовная жажда налицо, есть и публика, проявляющая интерес к литературе, но разобщенность литературных сил мешает реализовать хорошие предпосылки.

Мы просим А. Пилиотиса сказать несколько слов о журнале «Неа эпохи», редактором которого он является.

— Это журнал широкого профиля,— рассказывает Пилиотис.— Одна из его целей — отвлечь читателей от некоторых дешевых, низкопробных греческих изданий. Поэтому, хотя его ведущая тема — культура, в журнале есть также спортивная страничка, странички для женщин и для детей. Журнал призван удовлетворить вкусы многих, но, как я уже говорил, основная тема — культура: обозрение культурной жизни Кипра, литературная критика, корреспонденции из-за рубежа и — главное — поэзия, особенно,— с улыбкой замечает Пилиотис,— с того времени, как редактором журнала стал поэт.

Заключительный традиционный вопрос редакции к гостю — о его творческих планах. Однако на этот вопрос А. Пилиотис отвечает несколько уклончиво:

— В последнее время я редко публиковал свои стихи. Можно было бы оправдаться большой загруженностью: работа в обществе «Кипр—СССР», редактирование журнала «Неа эпохи» — учтите, что всю работу по подготовке каждого номера журнала выполняю я один. Но дело не только в загруженности. Нужно было некоторое время помолчать, подумать, поискать. Мне кажется, что я на подступах к новому циклу.

С. ИЛЬИНСКАЯ

Наша почта

Обзор писем

Читательские мнения о наших публикациях, пожалуй, более единодушны в нынешнем году, чем в прошлом, хотя, оговоримся сразу, многие письма, полученные редакцией, касаются произведений поэзии и прозы, напечатанных нами в 1968 году. Основные же отклики на публикации журнала за этот год придут, как всегда, в начале будущего года.

Итак, о чем же пишут наши читатели? Если сказать коротко, то обо всем, что их волнует и интересует в литературной и культурной жизни за рубежом.

Наша постоянная читательница О. А. Медведева (Москва) требует: «Фолкнера, Фолкнера и еще раз Фолкнера!» А. М. Собна из Кургана, выражая удовлетворение тем, как журнал освещает зарубежную литературу, проявляет особый интерес к немецкой прозе. Автор этого письма—преподавательница немецкого языка. А преподавательницу английского языка С. А. Гольдину из Тюмени особенно привлекла повесть Бел Кауфман «Вверх по ведущей вниз лестнице», привлекла и с читательской, и с профессиональной точки зрения, поэтому она хочет глубже познакомиться с творчеством американской писательницы.

На восьми страницах изложил свои размышления о жизни, молодежи, о семье и любви Б. В. Устинцев (Ташкент), прочитав, как он подчеркивает, «замечательный роман польского писателя Юлиана Кавальца «Танцующий ястреб». Многие читатели шлют длинные списки писателей и поэтов, произведения которых они хотели бы увидеть на страницах «Иностранной литературы», а Армен Шмавонян из Еревана откровенно признается, что почти незнаком с современной зарубежной литературой и просит совета, с чего начать.

О разном пишут читатели, но желание, в общем, одно: как можно шире ознакомиться с наиболее значительными произведениями современной литературы разных стран.

Некоторые читатели (т. Кузин из Владимира, т. Шляпников из Перми и др.) упрекают нас за то, что мы не всегда выполняем свои обещания опубликовать то или иное произведение. Признавая справедливость этого упрека, мы не можем не сказать и о трудностях, с которыми редакция порой сталкивается: не всегда поэтические произведения поддаются переводу, некоторые романы и повести, анонсированные нами, как выясняется позже, не отвечают художественным требованиям или же по своему объему не подходят для журнала.

Наш постоянный подписчик из Риги Н. А. Северный предлагает увеличить объем журнала «по крайней мере вдвое» и начиная с 1970 года издавать литературные приложения. Это мнение разделяет и группа читателей из Эстонии — Л. Салинин, М. Петров, И. Нельман и другие. К сожалению, редакция пока лишена возможности удовлетворить эти пожелания.

В прошлогоднем обзоре писем наша редакция выразила свое несогласие с предложением читателя Б. В. Шляпникова ликвидировать отдел публицистики с тем, чтобы расширить раздел художественной литературы. К нашему мнению присоединяется читательница А. М. Собна, которая считает журнал «Иностранная литература» полезным и интересным именно потому, что он разнообразен по содержанию. «От своего имени и, думаю, от имени многих других читателей я могу только приветствовать позицию журнала»,— пишет она.

Читатель майор Ушаков из Хабаровска отмечает, что «перевести и издать все, что выходит за рубежом, невозможно, но то, что издаете вы, если не полностью, то в некоторой мере, дает нам возможность понять, как живут люди за рубежом». Н. А. Северный, выписывающий «Иностранную литературу» уже семь лет, излагает в письме свое личное мнение и мнение других знакомых ему читателей нашего журнала. Он подчеркивает: «Я всегда с большим интересом читаю на страницах журнала о культурной и идейной жизни за границей. К сожалению, очень мало об этом пишете».

Лучшими произведениями, опубликованными за прошлый год, читатели «Иностранной литературы», приславшие в редакцию свои отклики, считают романы «Во власти ночи» Питера Абрахамса, «Вашингтон, округ Колумбия» Гора Видала, «Шпиль» Уильяма Голдинга, «Вторник, среда, четверг» Имре Добози, «Актовый зал» Германа Канта, «Победители без лавров» Джона Квирка, «Сын земли чужой» Джеймса Олдриджа, повесть Нгуен Динь Тхи «Линия фронта прочерчивает небо», публицистическую книгу Альберта Риса Вильямса «Новая Россия глазами американцев».

Многие читатели (журналист Н. Федоров из Ленинграда, рабочий Ю. Чухнин из Зарайска, химик Л. Г. Зайцева из Могилева, преподаватель литературы Э. А. Паккер из Москвы и другие) высказывают свое мнение о статье Вл. Меженкова, опубликованной в первом номере журнала «Октябрь», по поводу романа Жоржа Сименона «Тюрьма» (напечатан в восьмом номере «Иностранной литературы» за прошлый год).

Наша редакция не сочла нужным отвечать тогда на эту статью, тем более что в очерке профессора Д. Затонского, опубликованном в «Литературной газете», была дана достаточно объективная, на наш взгляд, характеристика творчества Ж. Сименона. Разумеется, можно спорить об идейно-художественных достоинствах романа «Тюрьма», и Вл. Меженков был вправе высказать свою точку зрения. Однако мы согласны с авторами писем в том, что нельзя подменять серьезную критику художественного произведения грубыми наскоками на всеми уважаемого писателя и на редакцию, которая будто бы потакает дурным вкусам определенной категории читателей.

Подписчик нашего журнала, подполковник в отставке Н. Г. Лесохин из Ленинграда, член КПСС с 1927 года, заключает свое письмо так: «Рецензент мог написать все, что ему вздумается (не будем вешать на него соответствующие ярлыки!). Но как редакция «Октября», солидного столичного журнала, могла напечатать подобное, вот это уму непостижимо!» Авторы всех без исключения писем, полученных нашей редакцией в связи с публикацией статьи Вл. Меженкова, высказываются в том же духе.

■

Мы полагаем, что общественный интерес представляют некоторые письма, полученные от зарубежных авторов в связи с публикациями журнала «Иностранная литература». Таким, в частности, является письмо итальянской писательницы Марины Жарр.

Марина Жарр благодарит автора нашего журнала Ц. Кин за статью о ее романе «Памятник параллели», опубликованную в № 6 «Иностранной литературы» в этом году. О себе и своих размышлениях, связанных с некоторыми аспектами молодежного движения в Италии, Марина Жарр пишет:

«Большую часть жизни я провожу среди юношества, у меня четверо детей, сама я преподаватель. По правде сказать, мне нравится быть с молодежью, интересно общаться с нею, и я не так уж пессимистично смотрю на молодых людей, с которыми мне приходится иметь дело. Но порою студенческое движение «контестационе» вызывает у меня недоверие, так как, буржуазное в своей основе, оно отличается несколько легковесной анархической риторикой, в то время как методы действий его участников напоминают методы мафии, столь распространенные в нашем обществе, которое надо было бы перестроить до самого основания. Кроме того, поставленные ими цели отнюдь не всегда значительны и справедливы, иногда даже опасны, ибо мы столь близки к Греции.* Из-за всего этого я часто яростно спорю с ними, однако по большому счету мои симпатии на стороне молодежи и мои надежды связаны с нею».

Писательница объясняет, почему в своем романе «Памятник параллели» только один юный Карлин стремится выполнить свой моральный долг — разоблачить скрывающегося под чужим именем нацистского преступника, но терпит поражение. Это объясняется, пишет она, «по всей вероятности, моим неверием в общество, в котором я живу, и в частности, в класс, к которому принадлежат мои протогонисты. Точнее, я не верю, что борьба возможна вне активного сотрудничества с другими силами, которые сейчас неохотно включаются в политическую жизнь или же еще не сумели выступить организованно».

Так перед писательницей встает проблема причастности каждого человека к общественной жизни и борьбе. Сейчас Марина Жарр работает над повестью, героиней которой будет молодая девушка, признающая гражданский долг, хотя, как подчеркивает автор, «у нее свои представления о нравственной ответственности». Нечего говорить, пишет Марина Жарр, «какой радостью было бы для меня появление книги на русском языке».

В заключение обзора редакционной почты мы благодарим всех наших читателей и авторов. Желаем вам хорошего и доброго Нового года!

---

* Имеется в виду опасность реакционного переворота.

Е. ЗАВАДСКАЯ

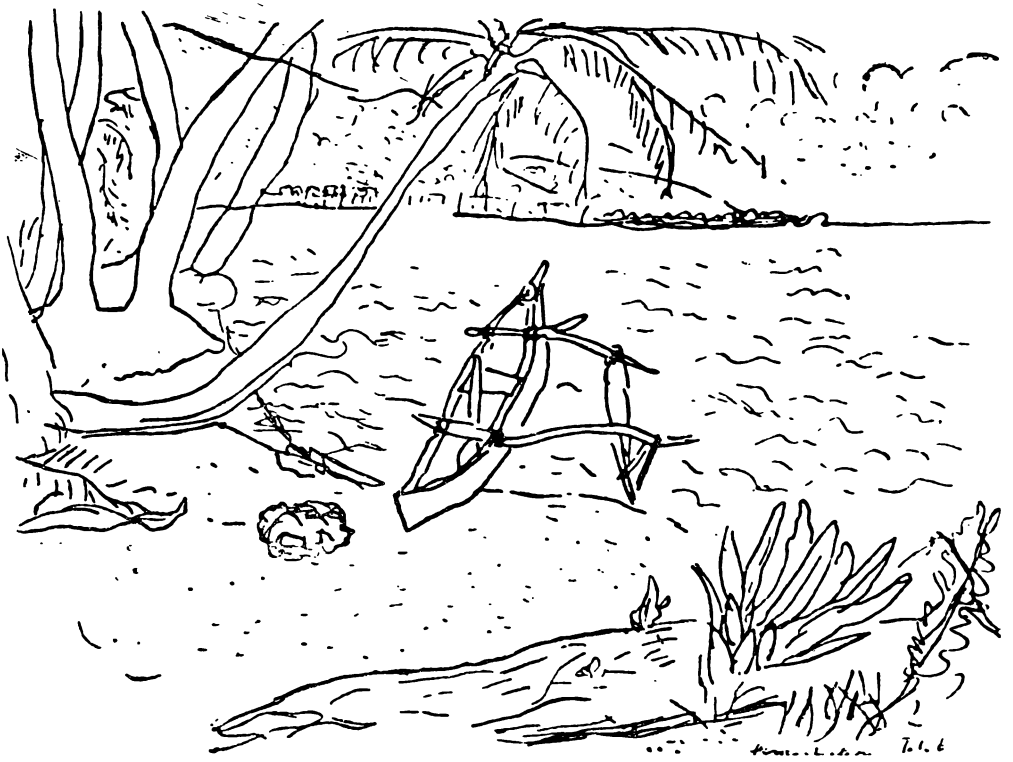
ЖИВОПИСНЫЙ ЯЗЫК АНРИ МАТИССА

Крупнейшему французскому художнику XX века Анри Матиссу, столетие со дня рождения которого исполняется в этом году, принадлежит почетное место в сложном процессе создания современного живописного языка.

Прогрессивность политических воззрений художника — Матисс был убежденный антифашист и борец за мир — теснейшим образом связана с его взглядами на назначение искусства. Художник стремился возродить активную общественную функцию живописи, которая была ей свойственна в докапиталистическом обществе. Порой можно встретить суждения об искусстве Матисса, как якобы обусловленном лишь поисками чистой формы. Это абсолютно противостоит программе художника, скорее напротив, язык его живописи и графики продиктован утилитарными, прикладными целями, в какой-то мере может считаться предтечей нынешнего искусства «дизайна».

Поиски образной содержательности и совершенствование техники в искусстве нового времени расчленились, в искусстве же

Автопортрет. 1937.



Залив (Таити). 1919.

средневековья они существовали в некой гармонии. Матисс старался возродить эту цельность живописи, но на новой, современной основе. Массовость, синтетичность средневекового искусства должна была осветить «молния индивидуальности» художника. Матисс стремился освободить живопись от аристократического высокомерия, наделить ее общительностью, породнить с бытом и трудом человека. Живопись, как полагал Матисс, должна быть простой, доступной каждому, доверчивой и человечной.

Декоративность живописи Матисса связана с теми задачами, которые ставил художник перед искусством. Прикладное назначение своей живописи он видел в создании атмосферы отдыха и радости для человека, утомленного безрадостным трудом, суетой повседневности. Художник был одержим иллюзией прямой действенности искусства. Главной его целью было приблизить живопись к каждому человеку, который в современном обществе удален от художественного творчества и лишь от случая к случаю, в свободное от работы время совершает паломничество в музеи. Но оценить в полной мере живопись, которая так далека от жизни и существует лишь как музейный экспонат, могут знатоки-ценители. Матисс своим искусством повышал «коэффициент полезного действия» живописи. Жизнеутверждающая живопись Матисса была направлена против «болезни иронии», как определил раздвоенность и цинизм декадентствующей интеллигенции начала века А. Блок. Картины Матисса учат цельности, утверждают красоту и значительность любой грани жизни.

По признанию самого художника, его живописный

Голова девушки. 1916.

стиль восходит к трем традициям: к европейской—по преимуществу декоративно-монументальной живописи Возрождения; к персидской миниатюре, дальневосточной гравюре и живописи, к древнерусской иконописи. На основе творческой переработки этих традиций Матисс привнес в современную живопись чистый, звучный цвет, гармонию открытых тонов, музыкальный ритм силуэтов, ясный узор рисунка, равновесие цветовых пятен.

Матисс сознательно пренебрегал современными приемами, эпатируя салонное искусство и мещанские вкусы. Матисс искал простоты и доходчивости живописи. Потому-то его так привлекали безыскусственность архаики и итальянских примитивов, одухотворенность и обобщенность экспрессивного образа в живописи Дальнего Востока, декоративное узорочье персидских миниатюр.

Неотъемлемую, можно сказать определяющую, грань творчества Матисса составляет ориентализм, сказавшийся и в эстетической теории мастера, и в характере его живописного языка. Между тем ориентализм Матисса практически до сих пор не анализировался исследователями. Влияние восточного искусства даже в ранних работах Матисса сказывается не во внешней подражательности, а в общем принципе декоративности живописи. Из наблюдений за особенностями ближневосточного искусства Матисс вынес ковровую орна-

Женщина со спины. 1949.

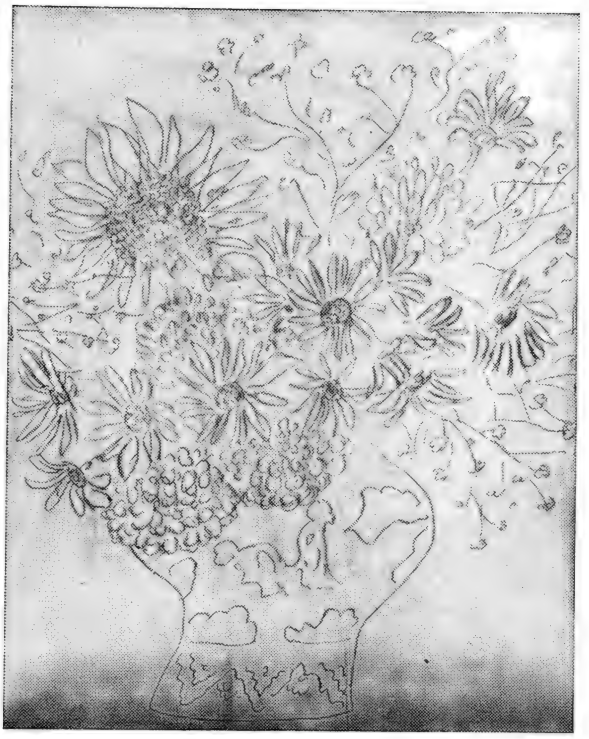
ментальность, как бы бесконечность композиционного построения.

Основной эстетический постулат художника «точность не есть правда», несомненно, близок эстетике дальневосточной школы дзэн. «Искусство лежит на грани сходства и несходства»,—утверждает Ци Бай-ши. С творчеством этого художника многое сближает Матисса.

Картина Матисса «Золотые рыбки», получившая мировую известность, пробуждает то же ощущение, что и «Резвящиеся рыбки» китайского мастера: она возвращает человека в страну детства, где царят живость восприятия, естественность и искренность.

Подобно Ци Бай-ши, французский художник использует прием незаконченности детали. В творчестве Матисса незавер-

Портрет Бодлера. 1930—1932.

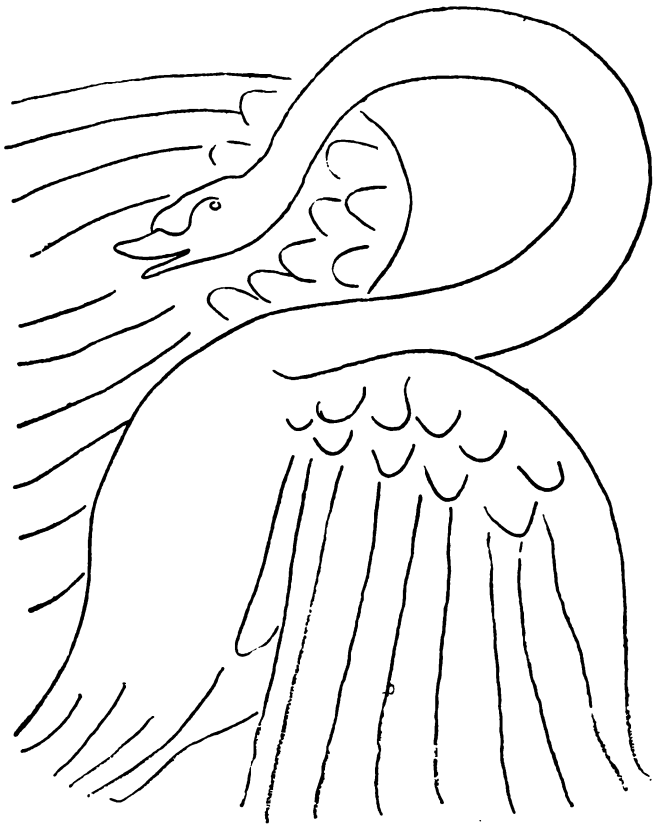


Букет в вазе. 1942.

шенность предстает как естественный результат эстетических принципов. Незавершенность, недосказанность, эстетический намек усиливают роль воспринимающего искусство, делают это восприятие очень индивидуальным, столь же неповторимым, как и сам художественный процесс, а это и было важнейшей задачей для Матисса.

Матисс, как и Ци Бай-ши, не разграничивал поиски выразительности образа и техническое совершенство живописи, поскольку техника не рассматривалась им как нечто вспомогательное, а почиталась как главное в общей структуре живописи.

Мудрость и детскость сочетаются в живописном языке Матисса, наследующего лучшие традиции мастеров Востока и Запада. Мудрая простота образов в его картинах, открытость и чистота цвета, орнаментальная выразительность рисунка врачуют души людей, дарую им радость.



Лебедь. 1930--1932.

Семейный портрет. 1911.

Букет.
Ваза с двумя ручнами. 1902.

Танец. 1910.

Разговор. 1909.

Марокканка. 1913.

Большой красный интерьер. 1948.

ПУТИ НАВЕРХ? ПУТИ ВНИЗ

Лесли Уоллер. Банкир. Перевод с английского Л. Мирцевой и С. Прохоровой. Послесловие Валентина Зорина. Москва. «Прогресс», 1969. 672 стр.

В первой главе романа Лесли Уоллера «Банкир» сорокачетырехлетний чикагский финансист Вуди Палмер получает предложение занять пост вице-президента крупнейшего из банков США. Последняя глава (а действие охватывает меньше года) не оставляет у читателя сомнения в том, что в ближайшем будущем Палмер сядет в кресло президента банка.

Что же представляет собой это произведение американского романиста, чье имя до настоящего времени оставалось неизвестным советскому читателю? Традиционное для классической литературы (и едва ли в меньшей степени — для новейшего реалистического романа Запада) повествование о «путях наверх»? Или хроникальное описание «жизни наверху»?

По форме роман Лесли Уоллера вполне традиционен. Да и тема романа не нова — хотя и в высшей степени актуальна. Ибо тема эта — человек и общество, ополчившееся против человека и заставляющее его сойти с пути подлинной человечности.

Автор книги (его перу принадлежит еще несколько романов), в прошлом сотрудник одного из нью-йоркских агентств по рекламе и информации, фирмы «Паблик релейшнз», досконально знает описываемую среду, прекрасно ориентируется в тонкостях и хитросплетениях внешне респектабельного, а по сути бесчеловечного общества, встающего со страниц «Банкира». В романе названы подлинные предприятия, фирмы, объединения (все эти «Юнайтед бэнк», «Бэнк оф Америка», «Джет-Тех» и др.); в нем наряду с вымышленными действуют реально живущие персонажи (например, Сидней Бэрон — глава фирмы «Паблик релейшнз»). Автор подходит к своей «традиционной» теме как бы «изнутри»; отсюда — напряженная атмосфера «всамделишности», почти документальности происходящего. Непривычного читателя поначалу буквально оглушает поток названий, имен, деталей банковских операций, и вместе с автором и его героем он с головой погружается в запутанный, кишащий интригами и подвохами мир нью-йоркского бизнеса.

Итак, Америка Уоллера — это прежде всего Америка банков и политиков; вместе с тем в объектив беспощадного критического восприятия автора попадают большой бизнес промышленных монополий, наука, религия, печать и т. д. Лидеры политических партий круговой порукой связаны с монополиями; верхи официальной религии осеняют крестом бизнесменов, благословляя на новые сделки; газетчики раздувают мыльные пузыри репутаций; распускаемые слухи искусственно возбуждают биржевую панику. Пульс деловой Америки — пульс больного, задыхающегося в лихорадке скорейшего обогащения, обогащения любой ценой, чего бы это ни стоило...

Образ главного героя Вуди Палмера, казалось бы, опровергает ходячие представления о банкирах как об «акулах финансового мира», окутанных дымом толстых сигар и не мыслящих об иной реальности, кроме реальности чековых книжек. Банкир Лесли Уоллера — разносторонне образованный, эрудированный, понимающий толк в живописи и тонкостях светского обхождения человек. Банкир-философ, виртуоз финансирования, Палмер профессионально честен, порядочен, даже благороден. И этого-то вызывающего симпатии, почти идеального человека автор подвергает своего рода проверке на прочность. Проверке на способность быть и остаться человеком.

Уоллер сталкивает Палмера с Маком Бернсом. Этот позер, не стесняющийся своего позерства, циник, афиширующий свой

цинизм, интриган, гордящийся своим интриганством, оказывается незаменимым человеком для заправил «Юнайтед бэнк» и политиков Таммани-холла. Без него невозможно вести дела, ибо ему-то лучше, чем кому-либо другому, известны тайные слабости банкиров и пристрастия политических деятелей. Он в равной мере необходим и президенту «Юнайтед бэнк» Бэркхардту — для помощи в борьбе со сберегательными банками, и его могущественному противнику Джо Лумису, главе всесильной «Джет-Тех»,— для борьбы с «Юнайтед бэнк». И он действует, работает на оба лагеря, сплетая сети подкупов и шантажа и ловя собственную рыбку в мутной воде мошеннических сговоров и сомнительных сделок.

Поначалу Палмер противится вынужденному контакту с Бернсом — его чувство самоуважения жестоко уязвлено. Однако... интересы клана превыше личных симпатий и антипатий, а Мак Бернс как воздух необходим «Юнайтед бэнк».

Оказавшись однажды наверху, нужно двигаться вверх и вверх (такова логика капиталистического преуспеяния), а промедление и трезвое размышление — смерти подобны. Неукротимое честолюбие влечет банкира в поход против конкурентов. Ему некогда заниматься домом и детьми, на которых может дурно повлиять тлетворная атмосфера нью-йоркской повседневности («Я хотела бы жить так, чтобы не видеть вокруг себя такого грубого насилия. Здесь, в Нью-Йорке, с ним сталкиваешься повсюду»,— говорит жена Палмера); бизнес прежде всего. Бизнес. Бизнес...

Ощущая смутное беспокойство, Палмер пытается скрыться от самого себя в деятельности банковского босса, в бесконечных завтраках, ленчах, деловых поездках, совещаниях, уйти от ответственности за происходящее в окружающем мире. И, естественно, предает в себе человека.

Затем—предательство собственного прошлого. Во время второй мировой войны Палмер, служивший в разведывательных частях, захватил в плен и доставил в США группу немецких ученых, работавших в ракетном центре Пенемюнде, которым он казался посланцем богатой и гостеприимной Америки... Тогда Палмер искренне ненавидел фашизм и искренне верил в то, что Америка окажется для них второй родиной.

На страницах романа мы встречаем одного из этих ученых — талантливого физика Гейнца Гаусса. Состарившийся, изверившийся, отчаявшийся привлечь внимание верхов к своему фантастически дерзкому, но «коммерчески нерентабельному» проекту, он видит в Палмере последнее прибежище. А «послевоенный» мистер Палмер обманывает Гаусса ложной надеждой и пользуется им как пешкой в хитроумно обставленной и на сей раз откровенно мошеннической комбинации. Цель оправдывает средства. «Юный Макиавелли Делового Мира» (по словам проницательной Вирджинии Клэри) продолжает триумфальное шествие по трупам поверженных и невезучих.

Читаешь страницу за страницей, и возникает впечатление, что когда-то давно уже встречался с человеком, до странности в чем-то похожим на Палмера. Звали этого человека Фрэнк Каупервуд, и был он героем трилогии Теодора Драйзера. Та же решительность, та же беспринципность... Кстати, драйзеровский роман назывался «Финансист», а книга Лесли Уоллера называется «Банкир». Случайно ли такое сходство? Нет ли здесь литературной переклички поколений?

Между двумя книгами лежит полвека. Но «каупервудовское» начало живет в Америке, оно живет в душе героя Уоллера, сознающего, что он стал частью антигуманного общественного механизма и вместе с тем бессильного — да и не желающего — мешать его разрушительному действию. Герой еще не совсем «потерян» для автора — он любит. Любовь Вуди Палмера и Вирджинии Клэри — позднее чувство людей, многое повидавших и перечувствовавших, и обрисована она в романе тонко и ненавязчиво. В объятия друг друга их толкает не столько взаимное одиночество, сколько стремление найти что-нибудь подлинное, настоящее, непридуманное. И если в Вирджинии иссушающая атмосфера нью-йоркского банка не убила самого главного — умения оценивать вещи с позиций их человеческой ценности, то Палмер не выдержал испытания. Шантаж Мака Бернса, боязнь скандала, страх за карьеру оказались сильнее его любви. Влюбленный ретировался, уступая место расчетливому дельцу. Падение мистера Палмера завершается.

И эта драма индивидуума, чьи незаурядные возможности безнадежно извращены современной буржуазной Америкой, это исследование «путей наверх», всегда в итоге становящихся путями вниз (если рассматривать их по шкале гуманистических ценностей), развернутое на тщательно разработанном и детализированном общественном фоне, выглядят весьма убедительно.

Анализируя процесс человеческого падения восходящего по общественной лестнице нью-йоркского финансиста, Лесли Уоллер констатирует в сегодняшней Америке ту же социальную болезнь, о которой писал когда-то великий Драйзер.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

РОМАН ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ

Алехо Карпентьер. Век просвещения. Роман. Перевод с испанского Я. Лесюка. Предисловие и комментарии Я. Света. Москва, «Художественная литература», 1968. 428 стр.

Писатель и общественный деятель, ученый и музыковед, Алехо Карпентьер обладает талантом, видимо, столь же полифоничным, как его жизнь: родился он на Кубе, юность провел в разных странах Европы; одной из многих стран, где ему довелось побывать, была Испания: как

участник Второго международного конгресса писателей Алехо Карпентьер в 1937 году посетил сражающийся Мадрид... И этот многогранный, а если следовать предисловию Я. Света, яркий, как антильское солнце, буйный, как тропическая природа, талант, пожалуй, полнее всего раскрылся в последнем из трех переведенных на русский язык романов — «Царство земное», «Потерянные следы», «Век просвещения».

В 1962 году, когда книга вышла во французском издании, критик Матье Галей заметил: «Такие романы мы, французы, увы, уже разучились писать»... В самом деле, нынче, кажется, мало где и кто так пишет. Мы редко погружаемся теперь в волны стихийного, не признающего берегов и плотин повествования.

Тем неожиданней, что по своей стилистике, структуре, сюжету «Век просвещения» примыкает к традиции бурно-романтической, к тому ее руслу, по которому низвергались потоки Виктора Гюго, конкретней — к направлению романтической прозы, представленному «93-м годом». «Век просвещения» — роман исторический, роман об эпохе Великой французской революции.

В нем революция освещается с той стороны, какая оставлена в тени классической литературой прошлого. Прежде внимание было приковано к событиям в Париже или Вандее, к битвам под Ватерлоо или под Аустерлицем — словом, к событиям европейской истории. Должен был наступить кризис колониальных империй и начаться всемирный процесс пробуждения угнетенных народов, нужен был революционный накал XX века, чтобы потомок француза и русской, обратившись к событиям 1789 года, услышал их отзвук, оценил их последствия для Кубы и Гаити, для Гваделупы.

Если «93-й год» Виктора Гюго навеян событиями Парижской коммуны, «Боги жаждут» Анатоля Франса — предреволюционной атмосферой начала столетия, то «Век просвещения» — освободительным движением Латинской Америки.

В центре романа — Виктор Юг, реальный исторический персонаж. В полном согласии с романтическими канонами он появляется как таинственно-роковая личность, покоряющая умом и волей. Но в отличие от «демонических натур», создававшихся романтиками и теми, кто позднее эксплуатировал их штампы, Виктор Юг на первых порах обладает и Великой Идеей.

Когда якобинцы овладели в Париже властью, моряк и коммерсант Виктор Юг становится общественным обвинителем при революционном трибунале в Рошфоре. Ему неизвестно, что такое пощада, он требует, чтобы гильотину установили здесь же, в зале судебных заседаний, и приводили в исполнение приговор сразу, без проволочек. Сейчас его кумир — Неподкупный, сейчас он поклоняется Робеспьеру, как в молодости, будучи франкмасоном, молился господу богу.

Поклонник Древней Спарты, пламенный республиканец и комиссар Конвента, Виктор Юг везет чернокожим рабам Нового Света религию свободы, равенства и братства.

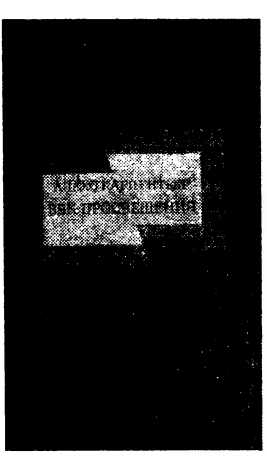
Вся дальнейшая история Виктора Юга — это история его внешнего возвышения и внутреннего падения, история укрепления его Власти и отречения от Идеи. Герой стремительно проходит все ступени от идеализма к цинизму, от революционности к приспособленчеству. Комиссар Конвента Виктор Юг становится сначала местного значения Робеспьером, затем, когда в метрополии на смену якобинцам пришла Директория,— представителем Директории, потом — Наполеона, в конце концов — столпом буржуазной Империи.

Его не смущают никакие идейные метаморфозы. Культ Верховного существа он вводит с той же решительностью, с какой отменял франкмасонского бога. Он прежде всего «политик», а это значит, что если Бонапарт приказал восстановить рабство черных, то Юг восстановит рабство, склонившись перед «политической необходимостью». Он уверен: что бы ни происходило в метрополии, здесь, в колонии, все будет по-прежнему, и Виктор Юг останется незаменимым. «До тех пор пока я буду в срок посылать этим господам очередной груз золота, они не станут меня тревожить».

В самые бурные времена он считал себя хозяином собственной судьбы — в итоге же оказалось, что, послушный воле других, он выступал в столь различных ролях, носил столько разных одежд, что даже не в силах оценить, какая из них была ему по-настоящему впору.

Правда, Великая Идея не потеряла в его глазах обаяния. Оглядываясь на прошлое, он понял, что только революция наполняла его существование смыслом. Всем своим мундирам он предпочитает поэтому форму комиссара Конвента.

Примерно такую же логику обнаруживает Карпентьер в развитии других деяте-



лей французской революции, ссылавшихся при каждой смене власти на каторгу, чтобы «умирать в рассрочку». Физическая и нравственная деградация, взаимная ненависть, ограниченность, мелкая злоба — вот их удел. Даже стойкий республиканец Бийо-Варенн избавляется в ссылке от человеколюбивых грез и, став плантатором, отказывает местным неграм в праве на свободу, равенство и братство. Под палящим солнцем Кайенны Великая Идея словно испаряется и на дне отверженных душ, как осадок, остаются низменные инстинкты.

Противоречия и контрасты буржуазной эпохи раскрываются не только логикой измен и падений Виктора Юга, не только картиной Кайенны — они становятся сутью многозначительной и настойчивой символики романа.

Символична гильотина, которую везут на корабле вместе с декретом о свободе; символично название невольничьего корабля — «Общественный договор» и пиратского корабля — «Друг народа» (в первом случае Карпентьер обыгрывает название трактата Жан-Жака Руссо, во втором — газеты Марата). Символична схватка между матросами республиканского судна и восставшими, доверившимися им неграми, схватка из-за рабынь-негритянок, словно удостоверяющая, что инстинкты торжествуют над идеями. Символична смерть сосланного якобинца Колло д'Эрбуа, труп которого сожрали и втоптали в землю свиньи.

Вместе с тем А. Карпентьер, анализируя сложнейшие противоречия эпохи, выступает против традиционных попыток развенчать бунтарский век и философические мечты о прогрессе, о царстве разума, гармонии и справедливости.

«Слова не падают в пустоту» — таков эпиграф к роману, который, по убеждению автора, доказывает, что «люди могут отступать, но идеи продолжают свой путь и в конце концов находят себе применение».

Роман написан воодушевленным защитником революционной идеи, а не обывателем, которому удовольствие дано лишь оттого и тогда, когда на бури истории можно взглянуть со стороны. Роман написан художником и мыслителем, которому ясно различие между кризисом личности и кризисом идеи, и столь же четко видна эстафета истории от революции 1789 года к революциям нашего века, народным, социалистическим.

Трезво оценивая Виктора Юга, Карпентьер сохраняет увлеченность мощью этого характера, силой ума и воли, рожденными бунтарской эпохой. Он видит мужество и героику, проявленные Югом в начальную пору деятельности, и не перечеркивает их, обнаружив корысть и цинизм — в последующей. Обладает ли Карпентьер достаточным правом говорить о «трагической двойственности» исторически реального персонажа? Нет ли здесь приписки, довольно обычной, когда автор искренне увлечен? Трудно сказать. Ясно лишь, что увлечение придает достоверность, и потому так важно, что самым искренним чувством продиктован образ Софьи — женщины, чей прямой путь перекрещивается с извилистой дорогой Виктора Юга и обрывается на улицах восставшего Мадрида, когда народ с криками «Смерть французам! Смерть Наполеону!» бросается в бой против врагов свободы.

В образе Софьи героика революции обретает трагическую цельность и чистоту, в нем находит высшее выражение та романтическая стихия, которая рождает в читателе не разочарование и скепсис, а восхищение трагической, но великой эпохой, воодушевление Великой Идеей.

Написанный до победы кубинской революции и рисующий далекое уже прошлое, роман обращен к современности, к будущему.

М. КОРАЛЛОВ

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Редьярд Киплинг. Лиспет. Рассказы. Перевод с английского. Вступительная статья Р. Самарина. Примечания К. Афанасьева. Ленинград, ленинградское отделение «Художественной литературы», 1968. 287 стр.

С Киплингом русский читатель познакомился в 1892 году, спустя два года после того, как в Лондоне был издан первый сборник рассказов, вышедший в Индии, на родине писателя.

Талантливые рассказы молодого английского автора не прошли у нас незамеченными. В том же 1892 году появляются и первые в русской печати заметки о Киплинге. С тех пор год от года печатаются переводы рассказов и стихов Киплинга, статьи о его творчестве, а в первой четверти XX века — собрания сочинений.

Последнее на русском языке издание избранных сочинений Киплинга вышло в 1936 году (объемистая книга, включавшая кроме рассказов роман «Ким»). В том же 1936 году появляется первый и единственный пока на русском языке томик стихов Киплинга, а год спустя — один из лучших его романов «Свет погас». После этого выходили лишь основные главы из знаменитой «Книги Джунглей» — «Маугли» и отдельные рассказы, сказки и стихотворения.

И вот новая встреча с писателем, чье дарование — столь яркое и столь противоречивое (свой незаурядный талант Киплинг отдал служению самым реакционным идеям эпохи — защите колониализма и воспеванию права сильного) — продолжает вызывать споры и по сей день.

Уже английские писатели — современники Киплинга (Уэллс, Голсуорси, позднее — Форстер, Олдингтон и др.) — прямо или косвенно полемизировали с реакционным стремлением Киплинга облагородить «цивилизаторскую миссию» Британии по отношению к отсталым колониальным народам Востока. Буржуазная же критика в Англии,

принявшая было в штыки «вульгарные» рассказы выскочки-журналиста, довольно быстро подобрела к писателю, почувствовав в нем защитника устоев империи.

Вместе с тем сила киплинговской романтики мужественного, волевого человека покорила многих писателей. К их числу относились, например, Джек Лондон и А. И. Куприн, написавший в 1903 году восторженную рецензию на повесть «Мужественные капитаны», рецензию, прозвучавшую в унисон с оценкой Киплинга в России тех лет как певца маленького человека и даже гуманиста.

Лишь позднее поклонники Киплинга поймут свое заблуждение. Большой талант Киплинга никогда не будет поставлен ими под сомнение, но они совсем иначе оценят степень, полноту реализма писателя, «демократический» характер его взглядов. Лондон осудит джингоизм Киплинга, а Куприн в статье о Киплинге (1908 г.) даст резкую, выразительную, не утратившую значения до наших дней характеристику творчества «сына жестокой, алчной купеческой современной Англии, беспощадно травившего буров ради возвеличивания британского престижа во всех странах».

О творчестве Киплинга много пишут сегодня. Отказ от «прорабатывания» Киплинга приводит подчас критиков к едва ли не полной реабилитации писателя. Так случилось с некоторыми современными английскими прогрессивными критиками, которые в своем стремлении снять с талантливого писателя клеймо «империалиста» пытаются найти черты реализма и гуманизма даже там, где их нет.

Во вступительной статье к настоящему сборнику Р. Самарина вскрыт империалистический характер взглядов писателя, говорится о кричащих противоречиях его творчества, ставится и вопрос, не знаменует ли собой ощущение тревоги героя Киплинга перед лицом порабощенного, но не сдавшегося Востока предчувствия грядущего поражения колонизаторов.

Сборник составлен из рассказов самого значительного периода творчества Киплинга, то есть последних полутора десятилетий XIX века (до начала англо-бурской войны, вспыхнувшей на рубеже веков). И надо сказать, что даже в период наивысшего взлета творчества реакционные взгляды наложили отпечаток на произведения Киплинга (что можно увидеть и в некоторых рассказах этого сборника).

Именно в новеллах, принадлежащих перу 20—30-летнего Киплинга, в которых он рассказывает главным образом об Индии, стране, где он родился и где провел юные годы, проявляется во всем блеске его художническое мастерство, его острая наблюдательность, насмешливый, критический склад ума (молодой писатель зачастую очень и очень далек от почтительности, рисуя «носителей цивилизации», англичан,— чиновников колониальной администрации или миссионеров в таких рассказах, как, скажем, «Захолустная комедия» или «Лиспет»), тот критицизм, который на время заслонил от его читателей империалистическую идеологию писателя и создал ему репутацию сатирика и демократа.

Новеллы Киплинга конца XIX века приобрели огромную популярность у его современников (у нас в России, в частности) и потому, что в пору расцвета литературы «конца века» они противостояли эстетскому, болезненному, расслабляющему искусству декадентов своей вызывающей антиэстетичностью и парочитым прозаизмом языка, низким «рангом» выбора героев.

В книге, оказавшейся ныне в руках читателя, представлены рассказы едва ли не изо всех сборников Киплинга 80—90-х годов, начиная с «Простых историй с гор» (1888) вплоть до новелл из знаменитой «Книги Джунглей» и сборника «Труды дня» (1898). Искренне жаль только, что вовсе выпал сборник «Маленький Вилли Винки и другие рассказы», содержащий такие чудесные новеллы, как «Бэ-э, Бэ-э, черная овца» и «Его величество король», подкупающие лиризмом рассказы о детях, несколько неожиданные для тех, кто свыкся с излюбленными темами Киплинга.

Весьма вероятно, что объем книги не позволил включить рассказы из этого сборника. Но, может быть, следовало ради этого пожертвовать некоторыми рассказами из цикла «Три солдата». На меня, читателя, всегда гнетущее впечатление производила батальная живопись Киплинга, изображение резни, кровопролития, что особенно ярко предстает в сборнике «Три солдата» и примыкающих к нему новеллах. В предисловии Р. Самарина вскользь говорится, что любимые герои Киплинга — люди «подчас жестокие, их руки в крови, на их совести не одна человеческая жизнь». Но главное, мол, в том, что это храбрецы, верные товарищи, готовые на все ради того, чтобы выручить из беды друга, люди, для

которых военное дело — единственный труд, который их кормит... А не подкупила ли автора предисловия та частица человеческой правды, которая содержится в показе чувства товарищества, взаимной выручки солдат и их прикованности к своему «ремеслу», не заслонила ли эта правдиво и талантливо переданная сторона солдатской жизни воинственный характер авторского культа грубой силы? Разве не прав был К. Г. Паустовский, восклицавший, что Киплинг «втиснул свой талант в узкие ножны английского солдатского тесака»?

Не знаю, ставилась ли задача отобрать рассказы не только определенного периода их создания, но и общие по теме. Все же получилось так, что почти во всех рассказах так или иначе нашел отражение образ Индии, которую он хорошо знал и любил изображать.

С образом Индии и индийцев у Киплинга связано одно из основных противоречий его творчества, в котором, по справедливым словам Р. Самарина, «высокое и человечное переплетено с низким и бесчеловечным». Еще в 1936 году английский критик-марксист Ральф Фокс писал на страницах «Дейли уоркер» о противоречивости творчества Киплинга и увидел эту противоречивость и в том, что писатель, будучи поборником колониалистских идей, с пониманием относился к индийскому народу.

Нельзя не согласиться с Р. Самариным, говорящим: «Каким бы джингоистом ни был Киплинг, но его индийцы — великий народ, обладающий великой душой, и с такой характеристикой он появился в литературе XIX века именно у Киплинга, изображенный не в расцвете своей государственности и силы.., но поверженный в прах, растоптанный колонизаторами — и все же необоримо сильный, непобедимый, лишь временно несущий свое рабство».

Образы индийцев, созданные Киплингом, наделены сознанием собственного достоинства, гордостью, нежеланием поступаться своей честью. Так, простодушная дочь горца Лиспет, обращенная в христианство, возвращается к своему народу, порвав с англичанами, не захотевшими говорить ей правду. Так, индиец, уличенный в убийстве, которое он совершил по чудовищному неведению, предпочитает добровольную смерть от укуса змеи позору публичной казни («Возвращение Имрея») *.

В предисловии наибольшее внимание уделено рассказам 80—90-х годов, стихам, роману «Свет погас», двухтомной «Книге Джунглей». Жаль, что повесть 1897 года «Мужественные капитаны», с ее прославлением простых рыбаков, названа «авантюрным романом» и отнесена к 1908 году.

Надеемся, что вслед за однотомником избранной прозы Киплинга выйдет сборник его поэзии, а затем и лучшие крупные книги писателя — роман «Свет погас», повесть «Мужественные капитаны» и конечно же «Книга Джунглей».

И. КАТАРСКИЙ

* Рассказ этот входит в сборник «Life's Handicap» (то есть «жизненные препятствия»), название это в книге почему-то переведено диаметрально противоположным по смыслу выражением «Жизнь дает фору».

В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Густав Фрёдинг. Стихотворения. Перевод со шведского Веры Потаповой. Составление Ю. Я. Яхниной и В. П. Мамоновой. Москва, «Художественная литература», 1968. 95 стр.

Густав Фрёдинг (1860—1911) стал известен и любим сразу же, как только в 1891 году появилась его первая книга «Гитара и гармоника». Последовавшие за ней поэтические сборники утвердили за Фрёдингом славу одного из лучших поэтов Швеции.

Огромная популярность Фрёдинга основывалась прежде всего на его страстном, открытом гуманизме, на сочувствии, часто инстинктивном, ко всем, с кем жизнь обошлась круто. Привлекала также глубокая народность его поэзии. Особенную любовь читателей и критики завоевали так называемые «Вермландские стихи» Фрёдинга. Они вошли отдельными циклами в первые три его книги. Они же составляют основную часть сборника, изданного на русском языке (Из «Вермландских напевов» и «Были и небылицы»).

«Вермландские стихи» — это картинки народной жизни Вермланда, области Швеции, где поэт родился и вырос. Фрёдинг рассказывает, как в Вермланде работают, пьют, любят, сватаются, женятся. Он не идеализирует народную жизнь. Он понимает, что такое социальная несправедливость, и не обходит ее в своих стихах.

Стонам отчаянья, ропоту голода
отклика нет — бурлит водопад,
жалобы тонут в грохоте молота,
множатся, копятся
муки, и топится
горе в вине, как столетье назад,—

писал он в стихотворении о труде рудокопов («Доброе старое время»).

Знал Фрёдинг и о темных сторонах жизни народа — о пьянстве, драках, суевериях. Но, зная, тем сильнее поражался: как можно при таком тяжелом, полуголодном существовании сохранить и бодрый дух, и богатое воображение, и умение веселиться, забыв обо всем?

Самого Фрёдинга радость жизни посещала редко. Тяжелая наследственная болезнь висела над ним, словно дамоклов меч, и в возрасте сорока с небольшим лет лишила его возможности творить. Он ценил все доброе и здоровое, что есть в жизни. «Напевы» показали хорошую зависть, которую поэт питал к простому народу, найдя именно в нем неиссякаемый источник доброты и здоровья.

Для нашего читателя «Напевы» притягательны еще и тем, что в них встает Шве-

ция, с ее природой, с подробностями быта, с ее обычаями и поверьями, лешачихами, троллями. И главное — «Напевы» дают почувствовать, ощутить дух народа; потому что если за несколько десятилетий, отделяющих нас от времени Фрёдинга, подробности быта во многом изменились, то национальный характер в главных своих чертах за это время сильно измениться не мог.

Но Фрёдинг — не только поэт красочных, полнокровных «Вермландских напевов». Был и «другой» Фрёдинг — поэт с мучительно сложным отношением к жизни, человек «конца века», в поисках критериев добра и зла метавшийся от Ницше к Толстому, от Толстого к Сведенборгу. Внутренний путь его был крайне неровен и противоречив; проследить его тем труднее, что, как отмечала современная поэту критика, уже в первом сборнике Фрёдинга можно найти почти все темы, мысли и настроения, которые встретятся в его последующих книгах.

Одна из главных тем его творчества — жажда человеческого понимания и сочувствия. Извечный, часто жестокий конфликт, которым является для Фрёдинга любовь, по его убеждению, тоже способно разрешить только взаимное стремление людей понять друг друга, взаимное сострадание. К человеческим слабостям и недостаткам, считал Фрёдинг, нужно относиться с юмором, который обладает утешительной и всепрощающей силой. Веру в значение юмора поэт сохранил до конца своих дней, и юмор присутствует в его самых трагических, поздних стихах — правда, юмор мрачный, несравнимый с легким и простодушным юмором «Вермландских напевов».

Фрёдинга часто привлекали исторические и библейские темы, темы саг и мифов разных народов. В отличие от «Напевов», где индивидуальность автора почти не присутствует, стихи других циклов Фрёдинга очень личны.

Еще в 1889 году Фрёдинг писал о себе в письме: «...Я не знаю, должен ли такой раздвоенный человек быть поэтом-романтиком или рассказчиком-натуралистом». Фрёдинг стал поэтом; раздвоенность осталась. Она, конечно, была причиной множества творческих и человеческих мучений, но она же и помогала поэту видеть вещи с разных точек зрения, а значит, и лучше понимать их суть.

Типичный для Фрёдинга пример такого противоречивого, «двойного» взгляда на явления — стихотворение «Скальд Веннербум». Фрёдинг не жалеет средств, чтобы показать этого обитателя богадельни «во всей красе». Не замечая природы, скальд, «как свинья», тянет вино; осоловев, он с презрением вспоминает о давно отброшенных идеалах юности и засыпает под деревом. Но вот Фрёдинг меняет угол зрения. Скальд — человек, бесспорно, слабый и опустившийся. Однако это страдающий человек, для которого вино — единственное средство избавиться от душевных мук. Спящий, он опять спокоен и светел, как в детстве. А тон повествования из презрительно-насмешливого стал почти ласковым.

Жаль, что стихов этого «другого» Фрёдинга в книжке мало, тем более что Фрёдинг никогда не переводился на русский язык, если не считать нескольких малоудачных попыток, сделанных в 900-х годах. Очевидно, одной из причин, по которой его обходили переводчики, была труднейшая форма фрёдинговского стиха — виртуозная и необычайно естественная в то же время. Она всегда соответствует сюжету и настроению стихотворения. Сравнить хотя бы плясовой ритм «Были танцы в субботнюю ночь»:

Были танцы в субботнюю ночь у дороги,
хохот, музыка,— в лад сами прыгали
ноги,—

с прерывистым ритмом одной из песен короля Эрика:

Петь гитару
приневолы!
Кто из нас
шуту под пару,
кто — король?—

или с неторопливым ритмом «Покладистой девушки»:

— Могилой темной стал мне белый свет,
милый друг!
Все вкривь да вкось, милый друг!
— Что так, пригожий мой, дай мне ответ,
милый друг!
Иль что стряслось, милый друг?

Мастерство, с которым сделаны переводы Верой Потаповой, удивительно. Переводчица передала и ритмичность, и музыкальность, и звукопись Фрёдинга, и его внутренние ритмы, и сохранила его юмор. Нужно также отметить, что многие «Вермландские напевы» написаны на диалекте, сильно отличающемся от литературного языка, и это еще больше затрудняло перевод.

Переводчица и составители открыли перед нами новую страницу литературы Швеции. Книга Фрёдинга вызывает желание продолжать это знакомство.

И. БОЧКАРЕВА

Густав Фрёдинг
СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КНИГА О ГЕРОИЧЕСКОМ НАРОДЕ

Kurt und Jeanne Stern. Bevor der Morgen graut. Vietnam zwischen Krieg und Sieg. Berlin, Verlag Neues Leben, 1969.

Борьба вьетнамского народа будоражит сердца честных людей во всем мире, привлекает внимание писателей разных стран. Советским читателям известны — целиком или в отрывках — документально-художественные произведения Мадлен Риффо, Моники Варненской, Мэри Мак-Карти, Анджея Брыхта, Гоффредо Паризе. Но тема Вьетнама далеко не исчерпана. Передовым литераторам есть что сказать.

Прозаики и публицисты ГДР Курт и Жанна Штерн внесли существенный вклад в международную литературу о Вьетнаме. Еще в 1967 году вышла их книга «Рисовые поля — поля сражений», результат первой поездки в ДРВ. Находясь во Вьетнаме весной 1968 года, они стали свидетелями перелома: перед самоотверженно воюющим народом обозначились контуры будущей победы. После этого второго путешествия они опубликовали серию больших очерков в газете «Нейес Дейчланд», а потом и новую книгу «Пока еще не рассвело».

Новая книга Штернов, еще более явственно, чем предыдущая, носит проблемный, можно сказать — исследовательский характер. Авторов интересовало многое: экономика страны, ее культура, моральный склад народа, перспективы развития. Книга богата информацией, в значительной мере почерпнутой из бесед с видными деятелями ДРВ. (В 1967 году немецких писателей принял президент Хо Ши Мин, во время второй поездки они встретились с председателем Совета министров Фам Ван Донгом.) Помимо обобщающих суждений, цифр, фактов, изложенных деловито и основательно, в книге много живых зарисовок, записей доверительных разговоров с рядовыми трудящимися Вьетнама.

Нет оснований удивляться, что путешественники из ГДР встречали теплый прием и что с ними беседовали по-дружески, откровенно. Немаловажно, конечно, что в них видели посланцев социалистической страны, которая оказывает ДРВ ценную материально-техническую помощь (эта помощь отражена в книге, например, там, где идет речь о рыболовной флотилии «Вьет-Дук» — «Немецко-вьетнамская дружба»—прибывшей в Хайфон из Ростока еще несколько лет назад). Однако большое значение тут имеют, конечно, и личные качества авторов.

Курт и Жанна Штерн писатели-антифашисты, у них за плечами многолетний опыт общественной и литературной деятельности в эмиграции — во Франции, Испании, Мексике, а затем, после войны, дома, в ГДР. Борьба против империализма — их кровная тема: еще в начале пятидесятых годов они были награждены Международной премией мира за сценарий фильма «Непрошеные гости», который шел и на наших экранах. В течение последних лет Штерны «заболели» Вьетнамом, многое сделали, чтобы организовать помощь народу-воину со стороны общественности ГДР, и, невзирая на немолодой возраст, пустились в нелегкое путешествие в страну, на которую падали американские бомбы. И в первой и во второй их книгах, написанных безыскусственно и вдумчиво, ощущается жар сердца старых интернационалистов. Любопытная стилистическая деталь: говоря о партизанах, сражающихся в Южном Вьетнаме, они пользуются словом «гверильерос». С этим термином Курт Штерн сроднился еще тогда, когда редактировал в Испании фронтовую газету Интернациональных бригад.

О боевых делах Народной армии Вьетнама немало уже было написано, прежде всего самими писателями ДРВ (Штерны ссылаются, например, на повесть Нгуена Динь Тхи «Линяя фронта прочерчивает небо», которая знакома читателям «Иностранной литературы»). В центре внимания самих авторов книги «Пока еще не рассвело» — не столько фронт, сколько трудящиеся тыла: те, кто выращивает «Рис наш насущный» (так называется одна из глав), добывает уголь и соль, лечит раненых, учит молодежь. Перед читателем проходят разнообразные портреты-биографии, как говорил когда-то Сергей Третьяков. «биоинтервью». Вот доктор Фам Ван Фук, директор больницы в Ханое — первоначальную медицинскую квалификацию он получил в джунглях, еще во время войны против французских оккупантов,— теперь его работы по хирургии сосудов публикуются не только на родине, но и в английских и французских медицинских журналах. Вот Нгуен Тхи Тхай, дочь железнодорожника из Ханоя: юной девушкой после окончания сельскохозяйственного училища она была направлена на работу в отдаленный район — ей пришлось нелегко, пока она, горожанка, привыкла засыпать под рев тигров, пока сумела завоевать доверие местных жителей национальности муонг, овладеть их языком, приучить их к элементарной агротехнике. Вот Ле Дай, партийный работник, в прошлом профессиональный революционер-подпольщик; и его названная мать, старая крестьянка Ву Ти Бе, которая когда-то, рискуя головой, укрывала его в своем доме, носила по его поручениям письма и листовки; и родной сын этой крестьянки Туен, в прошлом грузчик, работавший на угольной шахте за 600 граммов риса в день, теперь — горный инженер... В подобных индивидуальных судьбах раскрывается исторический путь народа, для которого самопожертвование, необычайная выносливость,

длительное напряжение сил стали привычным делом.

...В сохранившемся у меня номере журнала «Интернациональная литература» мне попалась речь Курта Штерна, произнесенная на Конгрессе писателей в защиту культуры в Мадриде в 1937 году. Он говорил о том, как «под грохот пушек и треск пулеметов» растет тяга бойцов к знаниям, к газете, книге. «Здесь культуру не только защищают, но и завоевывают, осваивают, обновляют». Это можно сказать и теперь — тридцать с лишним лет спустя!— о борющемся Вьетнаме. Понятно, что в книге Штернов проблемы образования и искусства занимают большое место. Авторы цитируют слова Хо Ши Мина, ставшие лозунгом вьетнамцев после освобождения от французского владычества: «Победить врага, победить голод, победить невежество». Еще в 1959 году в стране было в основном покончено с неграмотностью. В сорока высших учебных заведениях обучается свыше семидесяти тысяч студентов (из них 30 000 заочников). Как строить учебные программы в вузах страны, понесшей за годы войны тяжкие разрушения и жертвы? В этих планах, сказал Фам Ван Донг в беседе с авторами книги, все должно быть «самое существенное, самое современное, самое вьетнамское». Самое вьетнамское — значит то, что больше всего нужно Вьетнаму в данное время, и вместе с тем — то, что согласуется с национальными запросами и особенностями.

Проявляя самый живой и полный уважения интерес к старинной культуре Вьетнама, его обычаям, например, к такому древнему народному зрелищу, как «марионетки на воде», Курт и Жанна Штерн внимательно фиксируют характерную черту жизни ДРВ — постоянное взаимопроникновение традиционно-национального и современного, международного. Любопытны страницы, где речь идет о работе врачей, которые добиваются синтеза народной восточной медицины с методами лечения, выработанными мировой наукой. Описывая встречу с актерами театра в Ханое, Штерны отмечают жизнеспособность национальных театральных форм, сюжетов, масок; но отмечают и то, что по ходу разговора естественно вставали имена Брехта и Станиславского.

Авторы книги подробно рассказывают о беседах с вьетнамскими товарищами по профессии. Они передают содержание споров, развернувшихся на съезде писателей ДРВ в начале 1968 года. Вправе ли художник, изучая и отображая действительность, давать волю творческой фантазии? Уместно ли касаться в литературе трагических событий и переживаний? В итоге дискуссии широкую поддержку получила точка зрения, согласно которой элемент творческой фантазии в работе писателя законен и даже необходим и согласно которой писать, например, о войне, обходя связанные с нею страдания и жертвы,— значит умалять подвиг народа... В книге приведены слова, услышанные авторами от Нгуена Динь Тхи: «В будущем мы намерены перевести на вьетнамский язык много иностранных книг — и не только коммунистические, но и другие — то, что написано хорошо, честно — нужно и полезно нам»... Резюмируя содержание литературных бесед, авторы пишут: «Какое разнообразие оттенков во взглядах на литературу — здесь, в этой социалистической республике, в разгар войны — при всем необходимом и прочном единодушии по принципиальным политическим вопросам! И какая щедрая, дальновидная широта всемирного кругозора у многих лучших, наиболее революционных по духу поэтов!»

Та действенная солидарность, которую проявляют по отношению к ДРВ другие страны социалистического мира, сама по себе способствует укреплению интернациональных чувств. Рефреном проходит через книгу Штернов мотив благодарности вьетнамцев за помощь, которую им оказывают. Многократно говорится о большой поддержке, которую получает демократический Вьетнам от Советского Союза. Авторы приводят добродушную шутку, услышанную от одного из собеседников: если собрать всех студентов-вьетнамцев, обучающихся в Москве, не хватит актового зала МГУ, а понадобится, пожалуй, стадион «Динамо»! Военная и промышленная техника, получаемая народом ДРВ из братских социалистических стран, не только дает этому народу возможность противостоять натиску империализма, но и перестраивает сознание масс, веками живших в условиях нищеты и патриархальной отсталости.

О глубоких корнях советско-вьетнамской дружбы и вместе с тем о революционных традициях рабочего класса ДРВ напоминает эпизод, о котором рассказал Штернам начальник гавани Камфа: «В 1929 году, 7 ноября, над нашей гаванью впервые взвилось красное знамя. К годовщине Октябрьской революции один наш механик прикрепил его к подъемному крану. Знамя тут же сорвали, разорвали в клочья, растоптали. Рабочего арестовали, истязали, посадили в пресловутый концлагерь Сон Ла. Там он и умер,— а было ему двадцать один год. Его звали Нго Гуи Танг. Мы его не забыли».

Последняя глава книги аналитическая. Обдумывая все виденное, все услышанное в свете собственного богатого жизненного опыта, Курт и Жанна Штерн размышляют о психическом складе вьетнамцев, тех нравственных основах, на которых вырастает их героизм. Иные западные наблюдатели, одни по неосведомленности, другие в силу предвзятости, пытаются представить вьетнамцев приверженцами конфуцианской морали, издавна привыкшими подавлять в себе все личные желания и подчинять личность коллективу. Такой взгляд глубоко ошибочен. Подвиги, которые совершили за годы войны многие и многие вьетнамцы — кто в бою, кто в работе,— свидетельствуют не о безликой покорности, а о силе духа. И конфуцианские традиции тут, конечно, совершенно ни при чем. Авторы книги напоминают оче-

видную для марксизма истину: психический склад нации формируется исторически, исподволь. История Вьетнама насыщена драматическими событиями, войнами против иноземных захватчиков, крестьянскими восстаниями против феодалов. В тяжких испытаниях выросли, выковались могучие характеры. «Исторически сложившаяся, сформированная традициями готовность вьетнамского народа к борьбе и жертвам подготовила его к одному из выдающихся свершений нашего столетия: первым среди народов, подвергавшихся колониальному и феодальному гнету, он осуществил в августе 1945 года социалистическую революцию». Привязанность народа к социалистическому строю, который дал крестьянам землю, открыл самым бедным и забитым людям доступ к знаниям, больным — к бесплатному лечению, женщинам — к равноправию, поднял достоинство и самосознание нации,— факт неоспоримый и реальный.

Народ ДРВ знает, за что он борется, ему есть, что защищать. Долг честных людей во всем мире, говорят Курт и Жанна Штерн в своей содержательной, живо и страстно написанной книге, помочь ему довести эту борьбу до конца.

Т. МОТЫЛЕВА

РОМЕН РОЛЛАН И МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Jean Pérus. Romain Rolland et Maxime Gorki. Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1968.

Выход в свет книги Жана Перюса «Ромен Роллан и Максим Горький» был приурочен к столетию со дня рождения великого советского писателя. Жан Перюс занимается Горьким давно, и в ряде статей он уже затрагивал проблему отношений двух писателей. О Горьком и Роллане написано много и у нас. И тем не менее работу Перюса открываешь с интересом: ведь это первая книга, посвященная обстоятельному изучению отношений Горького и Роллана на материале их двадцатилетней переписки.

Перюс приводит большой документальный материал, частично никогда не публиковавшийся. Это прежде всего документы из Архива Роллана — его дневники, воспоминания, письма, а также ряд других материалов. Воссоздавая историю взаимоотношений двух великих художников, Перюс, как пишет он сам, для правильного их понимания совершает экскурс в прошлое, в творчество каждого из них, в ту политическую, идеологическую и культурную атмосферу, которая их окружала. Он придерживается хронологического принципа, выделяя проблемы, занимающие в переписке Горького и Роллана наиболее важное место: отношение к войне и революции, проблема насилия и ненасилия и в связи с этим — отношение к Толстому и толстовству, роль и место интеллигенции в революционном преобразовании общества, взаимоотношение личности и массы, вопросы революционного искусства и социалистического реализма.

Впрочем, книга Ж. Перюса — не только история связей двух писателей. Ж. Перюс пытается показать, что сделало возможным сближение Горького и Роллана, приводя при этом мысль самого Роллана, определившего в свое время одну из основных черт сходства между собой и Горьким: «Мы страстно чувствовали величие человеческой культуры, ценность сокровищ, созданных разумом в течение столетий».

Однако характеризуя работу Ж. Перюса, приходится говорить не столько о ее проблематике, сколько о позиции ее автора, о методах и принципах исследования. С первой до последней страницы книга Ж. Перюса пронизана совершенно определенной тенденциозностью, подчиняющей весь материал заранее заданной задаче. С кем же полемизирует автор и какова та задача, которую он преследует?

Чтение книги убеждает в том, что Жану Перюсу не чужды настроения некоторых кругов французской интеллигенции, склонных обвинять в догматизме всю советскую гуманитарную науку 40—50-х годов. Именно с советским литературоведением постоянно — хотя и не всегда открыто — полемизирует автор. Он стремится пересмотреть установившиеся взгляды на Горького и его отношения с Ролланом, развеять «созданные легенды» и восстановить якобы попранную истину. Он пытается даже представить читателю «нового», якобы подлинного Горького. В статьях, посвященных Горькому, Ж. Перюс лишь призывал к этому — в книге он пытается это осуществить. Задача, что и говорить, не из легких. И стараясь ее решить, Ж. Перюс готов идти против очевидности.

Так, во введении к книге Ж. Перюс декларирует, что дружба между Ролланом и Горьким — миф, созданный в Советском Союзе. Возникновение этого мифа, по словам Перюса, легко датируется 1931 годом и объясняется тем, что, «простившись с прошлым», Роллан становится другом и защитником Советского Союза: «Именно политический поворот Ромена Роллана, последовавший через несколько лет за поворотом Горького, создал легенду об особой дружбе двух писателей».

Как странно выглядят подобные заявления в сопоставлении с тем, что говорили о своих отношениях сами писатели! Вспомним хотя бы статью Р. Роллана «Привет Горькому», в которой история их «братской дружбы» (Роллан) изложена предельно ясно и четко. Примеров тому множество, и они не только хорошо известны Ж. Перюсу, но и в большинстве своем фигурируют в книге. Впрочем, несколькими страницами ниже и сам Перюс пишет, что считает лишь ошибочным переносить взаимопонимание, достигнутое Ролланом и Горьким в последние пять лет их переписки, на предшествующие пятнадцать, и приводит документы, говорящие об очень

сложных отношениях, в которых бывало не только согласие, но и решительные несогласия.

Но кто же спорит с тем, что путь сближения Горького и Роллана, в котором ведущая роль принадлежала Горькому, не был простым? Перюс же все время полемизирует с несуществующими критиками, якобы склонными примитивизировать отношения Горького и Роллана (кстати сказать, ссылаясь на множество советских работ о Горьком и Роллане и соглашаясь или не соглашаясь с ними, он не называет ни одной, которая бы так упрощенно представляла отношения между обоими писателями). В пылу полемики Перюс даже заявляет, что диалоги Роллана и Горького «часто бывали диалогами глухих». Это выражение, к сожалению, было подхвачено Андре Стилем и броско фигурировало в его маленькой рецензии на книгу Перюса («Юманите», 26 сент. 1968). Между тем материал, представленный Ж. Перюсом, убеждает в том, что разногласия и расхождения Горького и Роллана по отдельным вопросам, сочетавшиеся с глубоким уважением каждого к точке зрения оппонента, нисколько не мешали их взаимопониманию и не стали препятствием для дружбы. Это убеждение возрастает по мере чтения книги, и это, в сущности, не отрицает в итоговых выводах сам автор, опрокидывает свои же собственные декларации, сделанные им во введении.

Противоречие между материалом и позицией автора, стремящегося подчинить его определенной полемической задаче, проявляется и в других разделах книги.

Особенно уязвимой оказалась трактовка образа Горького послереволюционного периода. Здесь с Перюсом, поставившим своей целью сказать о Горьком «по-новому», хочется спорить почти во всем. А главное, никак нельзя признать «новаторство» автора. Так, обратившись к трудному периоду в эволюции Горького — 20-м годам,— Жан Перюс, идя, к сожалению, проторенными путями, тенденциозно подчеркивает в Горьком пессимизм и отчаяние, не желая говорить о том, что было доказано советским литературоведением: как бы мучительно ни принимал Горький на отдельных этапах сложнейший процесс ломки старого и рождения нового общества, он никогда не терял веры в будущее, в человека, в социализм.

Рисуя облик Горького конца 20-х — начала 30-х годов, Перюс уже не отрицает принятия Горьким советской действительности и его восхищения начавшейся стройкой социалистического общества. Однако он хочет убедить читателя в том, что все сомнения писателя остались, Горький лишь решил молчать об этом, обрекая себя на внутреннее одиночество. В данном случае Ж. Перюс основывается лишь на нескольких весьма субъективных оценках Горького Ролланом, нашедших отражение в его дневниковых записях; Перюс признает субъективность впечатлений Роллана, но не опровергает их.

Говоря о Горьком-художнике послереволюционного периода, Перюс, к сожалению, повторяет давно известные легенды о том, что Горький как советский писатель не состоялся, ибо ему не удалось воплотить в своих произведениях новую действительность, ибо он оказался полностью и непоколебимо традиционным и в области формы. Перюс не видит новаторства даже в «Жизни Клима Самгина» и выводит роман за рамки собственно советской литературы.

С неменьшей предвзятостью рассказывает Ж. Перюс и о Роллане 20—30-х годов. Известно, с каким громадным интересом отнесся Роллан к революции и делу социалистического строительства в СССР. Роллан многого не понимал и не принимал в советской действительности тех лет. Но его восхищение народом, строящим новую жизнь, тянущимся к культуре и созидающим ее, несомненно. А Жан Перюс настойчиво выдвигает на первый план сомнения и колебания Роллана.

Показателен в этом плане рассказ о приезде Роллана в Советский Союз. По свидетельствам самого Роллана, он был поражен той любовью и всеобщим признанием, которые встретил в Советском Союзе. В массе нахлынувших на него впечатлений он старался разобраться не торопясь, не впадая в крайности, хотя прекрасно понимал, что одной непродолжительной поездки недостаточно, чтобы прийти к верным выводам. Но все же можно смело утверждать, что главным впечатлением Роллана от этой поездки было восхищение энтузиазмом, энергией строителей нового мира, их уверенностью в будущем, в правильности избранного пути. «Как только я вступил в непосредственный контакт с СССР, тысячами его трудящихся и борцов, я почувствовал, что меня покидает пессимизм, привкус которого я ощущал всю свою жизнь»,— писал Роллан в феврале 1936 года. А в книге Ж. Перюса мы видим, в основном, отрицательные оценки Роллана; автор настаивает на том, что Роллан был решительно разочарован и страной, и самим Горьким. При этом Перюс обращается преимущественно к документам частного характера, к дневниковым записям и размышлениям, которые сам Роллан не предназначал для печати, а то, что было им продумано и опубликовано, что стало всеобщим достоянием и неопровержимо свидетельствует о глубокой симпатии Роллана к стране социализма, Жан Перюс опускает, нарушая тем самым историческую правду.

Уже из этих примеров видно, что, взявшись за «восстановление» истины, Жан Перюс сам грешит против нее. Досадно, что большой и интересный материал, собранный в работе, подчинен ложной тенденции и схеме, в которые он никак не укладывается и которые сам же опровергает на протяжении всей книги.

Н. РЖЕВСКАЯ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПАМЯТИ КАТАРИНЫ СУСАННЫ ПРИЧАРД

Ушла из жизни Катарина Сусанна Причард, старейшая писательница Австралии. С ее именем связаны наиболее значительные завоевания австралийского социального романа XX века и первые успехи социалистического реализма в австралийской литературе.

Главным в творчестве для Причард было, по ее собственным словам, «узнавать австралийцев и показывать их так, чтобы они постигали самих себя». За этим скупым определеиием скрывается целая эпоха австралийской истории, запечатленная в рассказах, стихах, воспоминаниях, но прежде всего — в романах «Пионеры» (1915), «Рабочие волы» (1926), «Кунарду» (1929), в прославленной трилогии о золотых приисках — «Девяностые годы», «Золотые мили», «Крылатые семена» (1946—1950). Последний роман писательницы, «Потаенное пламя» (1967), посвящен благородной теме борьбы за мир.

Для героя Причард характерно осознание себя частью природы и человеческого коллектива, жажда поиска, уверенность в том, что мир можно и должно сделать «лучше и счастливее». Сердце Причард было отдано тем, кто отваживался бросить вызов угнетению — пионерам-фермерам, рабочим рудников, лесорубам, старателям, пастухам-аборигенам. Она страстно выступала в защиту коренного населения континента, принесенного в жертву интересам капиталистов-колонизаторов.

Активный член Коммунистической партии Австралии со дня ее основания, Причард была непоколебима в своих убеждениях, в своей вере в народ Австралии, в первое в мире социалистическое государство — Советский Союз. В 1934 году, вернувшись домой после поездки в СССР, она выпустила книгу очерков «Подлинная Россия», выступала с лекциями.

С советской литературой и советскими писателями Причард связывали прочные узы дружбы и духовного родства. Ей был органически близок горьковский взгляд на бытие как на творческое деяние. Она любила повторять слова Горького о том, что искусство — это война «за» или «против».

«Вероятно, ни один австралийский писатель нынешнего столетия не оказал бóльшего влияния на литературное развитие Австралии»,— такую оценку художественному вкладу Причард дал ее соотечественник, известный писатель и критик Джон Хезерингтон.

АНГЛИЯ

ЗАБОТА О МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ... ШЕРЛОКА ХОЛМСА

«Холмс, в вашей постели лежит голая женщина!» — смущенно пробормотал доктор Уотсон... Так начинается один из эпизодов фильма «Личная жизнь Шерлока Холмса», который снимает в настоящее время известный постановщик Билли Уайлдер, обладатель пяти «Оскаров», автор нескольких нашумевших фильмов, в том числе «Сансет бульвар».

Съемка фильма обойдется в семь миллионов долларов. Уайлдер—он же автор сценария фильма — заявил для печати следующее: «Истории, рассказанные в этом фильме, возникли в результате «глубинного» психологического анализа характера Холмса и представляют собой попытку разъяснить те многие его качества, которые в конечном счете могли возникнуть только в Англии».

Конан Дойль никогда не занимался психологическим анализом истоков становления характера своего героя, писал в связи с этим литературный обозреватель газеты «Дейли экспресс», не объяснял, как случилось, что тот достиг большой виртуозности в игре на скрипке, но не стал профессионалом-музыкантом; что сформирова-

Фильм «Кес», недавно выпущенный компанией «Кестрел филмз», представляет собой экранизацию романа Барри Хайнса «Сокол Билли Каспера». Критик Нина Хиббин писала в газете «Морнинг стар», что, по ее мнению, это «один из лучших фильмов последнего времени. В нем содержится критика нашего общества в целом, показанного через восприятие мальчугана — одного из маленьких, несчастных членов этого общества».
На снимке: Дейвид Бредли в роли Билли.

(Газета «Морнинг стар»)

ло его необыкновенную проницательность; каковы были романтические увлечения его юности. Все это взял на себя Уайлдер, тщательно проштудировавший все приключения Холмса-сыщика. Поэтому фильм, который он создает, по мнению обозревателя, будет в корне отличаться от тех ста двадцати шести фильмов о Шерлоке Холмсе, которые снимались в разное время и были посвящены только блестящим раскрытиям преступлений.

Некоторые поклонники великого сыщика давно уже позабыли, что это персонаж вымышленный, и ведут себя так, будто Холмс реально существует, писал далее обозреватель. Видимо, это в какой-то мере относится и к Адриану Конан Дойлю, сыну знаменитого писателя, который поспешил из Швейцарии в Лондон, по «сигналу тревоги» британского «Общества друзей Шерлока Холмса». В телеграмме сыну писателя председатель общества Колин Блейкли охарактеризовал будущий фильм Уайлдера, как «пасквиль, оскорбляющий память одного из самых чистых наших героев»...

Основываясь на этом обвинении, Адриан Конан Дойль при встрече с Уайлдером угрожал изъять из фильма все то, что «компрометирует» великого сыщика (по условиям договора он, как наследник писателя, имеет право наложить вето на те эпизоды, которые искажают образ, созданный Конан Дойлем).

Обозреватель «Дейли экспресс» по этому поводу иронизировал: «Создается впечатление, что Билли Уайлдеру безопаснее прогуляться вечером с собакой Баскервилей, чем встретиться один на один с Адрианом Конан Дойлем!»

БОЛГАРИЯ

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

В 1957 году у входа на металлургический завод имени В. И. Ленина в болгарском городе Пернике был установлен бронзовый памятник вождю мирового пролетариата. Автор памятника — известный болгарский скульптор Сеул Крумов, в прошлом — участник антифашистской борьбы, а ныне ректор Высшего института изобразительных искусств. К ленинской теме он обратился более двадцати лет назад, еще будучи студентом. Тогда-то появилась его первая работа — скульптурный портрет Ленина.

Крумов сейчас очень сдержанно говорит о своем первом опыте: «Работа эта очень несовершенна, но я храню ее, потому что с нее начинал...»

Мастерство пришло позднее. На одной из художественных выставок был выставлен бюст Ленина, высеченный Крумовым из гранита. Эта работа была удостоена премии Союза болгарских художников. Затем скульптор создал памятник Ленину, который ныне украшает город Перник. К 50-летию советской власти Крумов закончил новый скульптурный портрет Ленина, признанный лучшим на общенациональной выставке.

Недавно скульптор завершил работу над памятником В. И. Ленину для города Сливена. Памятник выполнен из красного камня и был установлен к 25-летию освобождения Болгарии от фашизма в самом оживленном месте города, на перекрестке дорог, ведущих на Бургас и Ямбол.

«Ленинская тема поистине необъятна, — говорит Крумов.— Я много читал о Ленине, видел о нем много фильмов, изучал фотографии, картины. Но все это не исчерпывает неповторимого образа великого вождя, человека, друга, наставника. Когда я думаю о нем, передо мной открываются все новые и новые ленинские черты и мне хочется воплотить их в скульптуре. Ленин был и всегда будет для меня источником творческого вдохновения».

ГДР

НЕМЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ВЬЕТНАМУ

В третий раз Союз немецких писателей организует кампанию по сбору средств

в помощь борющемуся Вьетнаму (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1969).

Новое мероприятие носит название «Здоровье Вьетнаму». В обращении Союза немецких писателей говорится: «Дважды писатели ГДР призывали общественность помочь вьетнамскому народу. Выполняли ли мы этим самым наш долг? Да, выполняли. Можем ли мы этим ограничиться? Нет, не можем. Все еще падают бомбы на Вьетнам, все еще гибнут люди... Мы не должны забывать о том, что можем способствовать приближению победоносного окончания освободительной борьбы во Вьетнаме.

Поэтому мы призываем к третьей акции солидарности под девизом «Здоровье Вьетнаму!» Это значит — новые медикаменты, витамины, рентгеновские аппараты, лампы для операционных, новые койки в больницах. Это значит — новые силы, необходимые для того, чтобы обеспечить работу предприятий Вьетнама.

Ко всем писателям, ко всем, кто любит литературу, ко всем, кто думает о Вьетнаме и солидарен с его героическим народом, мы обращаемся с этим страстным призывом: «Помогите Вьетнаму! Здоровье Вьетнаму!»

РАССКАЗ О ГАНСЕ БАЙМЛЕРЕ

«Мы посвящаем этот фильм в первую очередь нашей молодежи,— сказал в беседе с корреспондентом газеты «Нейес Дейчланд» режиссер нового телевизионного фильма «Ганс Баймлер, камерад» Руди Курц: — Мы работали над фильмом с мыслью о том, что в юбилейный год Германской Демократической Республики очень важно показать те основы, на которых базируется наша сегодняшняя жизнь.

На примере жизни и борьбы Ганса Баймлера нам хотелось проследить путь Коммунистической партии Германии в период Веймарской Республики и прихода к власти гитлеровцев».

Фильм повествует о главных этапах жизни коммуниста-борца Ганса Баймлера: аресте «за измену родине», пытках в концлагере Дахау, бегстве из фашистской Германии и героической гибели в Испании во время гражданской войны.

«Мы хотели показать, какая сила таилась в этом человеке, вышедшем победителем из всех испытаний»,— сказал далее Руди Курц. Он отметил большое мастерство актера Хорста Шульце, сумевшего правдиво воссоздать образ Ганса Баймлера.

Драматург Венцель Реннер, также принимавший участие в беседе, рассказал о помощи, которую оказали в работе над фильмом Институт марксизма-ленинизма, Антифашистский комитет борцов сопротивления, соратники Баймлера — генерал Рихард Штаймер и профессор истории Альберт Шрайнер.

Особую роль сыграла помощь вдовы героя — Центы Баймлер, поделившейся воспоминаниями о жизни своего мужа. На премьеру Цента Баймлер приехала в столицу ГДР и выступила с заявлением, в котором тепло поблагодарила создателей фильма. В фильме прозвучали песни об Испании Эрнста Буша, придавшие финалу, по словам корреспондента «Нейес Дейчланд», «почти балладное звучание».

При присуждении Национальных премий за 1969 год фильм «Ганс Баймлер, камерад» был удостоен премии I класса.

Хорст Шульце — исполнитель главной роли в телевизионном фильме «Ганс Баймлер, камерад».
(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФРГ

МНЕНИЕ ЗИГФРИДА ЛЕНЦА

«Если большинство немцев выскажется за объединение, я тоже отдам свой голос за воссоединение Германии. Сейчас, во всяком случае, я считаю, что нельзя игнорировать политическую реальность в течение столь длительного срока. Поэтому я безусловно за признание Германской Демократической Республики. Я считаю также, что надо признать границу по Одеру — Нейсе. Признание этой границы было бы первым шагом в признании своей ответственности за войну, первым шагом на пути сохранения мира в Европе. Кроме того, это хотя бы частично избавило бы наших соседей—поляков от травмы, которую им причинила война».

С таким заявлением в еженедельнике «Цейт» выступил Зигфрид Ленц, автор романа «Урок немецкого».

«Я не надеялся на успех своего романа,— сказал писатель, переходя к проблемам творчества,— потому что его тема — конфликт между властью и искусством — не давала оснований надеяться на хороший прием у читателя. Поэтому неожиданный успех меня несколько обескуражил. Я спрашивал себя, что в нем не так, пока не понял, что ус-

пехом обязан не сильным, а слабым сторонам романа. Мне кажется, что «Урок немецкого» нашел читателей вопреки своей проблематике».

Ленц сказал далее, что хочет работать над рассказами, которые смогут «приоткрыть завесу над реальной жизнью». «Мне не нравится стремление представителей «нового романа» показать, будто они не имеют ничего общего с тем, что написали, будто все это результат «потока сознания». Я не люблю и излишнего документализма и протоколизма в литературе».

ГОЛЛАНДИЯ

СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ВАН-ГОГА

Около двух лет тому назад в центре столицы Голландии должно было начаться строительство здания Государственного музея для постоянной экспозиции произведений Винцента Ван-Гога. На деле только недавно (в сентябре 1969 года) была торжественно «забита первая свая» под четырехэтажное здание, в котором в 1972 году разместятся произведения великого художника. По проекту, начатому еще известным голландским архитектором Яном Ритфелдом и законченному после его смерти в 1964 году его коллегой фан Трихтом, верхний этаж музея будет иметь стеклянную крышу для зала, в котором будут выставлены, в частности, полотна «французского периода». Рисунки, напротив, будут помещены в зале третьего этажа без окон, чтобы уберечь их от вредного для них влияния дневного света. На первом этаже предусмотрена витрина, в которой будут выставляться некоторые работы художника для привлечения внимания публики. Это особенно важно, писал корреспондент газеты «Ваархейд», так как «после периода повышенного интереса к большому голландскому мастеру в последнее время наблюдалось охлаждение к нему».

Первоначальная экспозиция будет состоять примерно из ста пятидесяти полотен, около четырехсот рисунков и шестисот писем Ван-Гога, его родственников и друзей, а также двухтысячетомной библиотеки, передаваемых в вечное пользование государству Обществом имени Винцента Ван-Гога. Дирекция музея надеется со временем пополнить коллекцию.

После открытия Музея Ван-Гога будет издаваться ежеквартальный бюллетень на голландском и английском языках, который будет сообщать обо всем новом, что станет известно о работе и жизни художника.

РУБЕНС — С АУКЦИОНА

Печать сообщила о продаже с аукциона в Гааге неизвестного полотна Петера Рубенса. Картина, названная «Мадонна с младенцем», находилась в собственности мелкого торговца Виссара. Владелец, в квартире которого картина висела в течение многих лет, лишь случайно узнал, что является обладателем такого сокровища.

Это — второй за последнее время случай, когда на голландских аукционах появляются неизвестные ранее произведения прославленных мастеров живописи. Первый такой случай произошел несколько месяцев назад, когда на аукционе в Амстердаме было выставлено неизвестное произведение Винцента Ван-Гога «Девочка в белом фартуке».

ИЗРАИЛЬ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БОРЬБЫ

Исполнилось 25 лет со времени выхода первого номера газеты израильских коммунистов на арабском языке «Аль-Иттихад» («Союз»). В связи с этим редакция выпустила специальный юбилейный номер газеты.

Номер открывается передовой статьей «Поколение «Иттихада», написанной старейшим работником газеты, видным арабским публицистом Эмилем Хабиби. В статье рассказывается о трудном пути газеты израильских коммунистов-интернационалистов, самоотверженно на протяжении четверти века отстаивавшей коренные интересы трудящихся Израиля — арабов и евреев — и не поддававшейся никаким запугиваниям и преследованиям ни со стороны британских колонизаторов, которые запрещали «Аль-Иттихад», когда Палестина была их подмандатной территорией, ни со стороны нынешней правящей израильской верхушки, запретившей распространение газеты на оккупированных Израилем арабских землях.

«Аль-Иттихад», — пишет автор статьи,—воспитал поколения молодежи, которая высоко поднимает свои знамена, не сгибается, встречает испытания с поднятой головой».

Писатели и поэты в арабских странах много пишут сейчас о боевом духе молодых поэтов-арабов в Израиле. Среди них есть поэты, воспитанные газетой «Аль-Иттихад»,— Тауфик Зияд, Махмуд Дервиш, Самих аль-Касем, а также Салем Джебран, Ханна Ибрахим и Исам аль-Аббаси.

ИНДИЯ

«И СНОВА ЗВУЧИТ ДУДКА»

Слава калькуттской группы «Бохурупи» вышла далеко за пределы бенгальской столицы. Пьеса Рабиндраната Тагора «Красные олеандры» в постановке этой труппы, показанная в нескольких городах страны, прошла с небывалым успехом.

Недавно коллектив «Бохурупи», возглавляемый крупнейшим режиссером и актером Шомбху Митра, порадовал зрителей новой работой — пьесой Нитиша Сена «И снова звучит дуд-

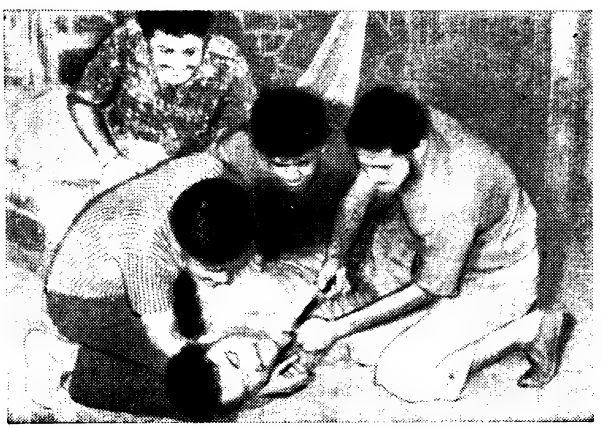
ка» (дудка — символ надежды в Бенгалии.— *Прим. ред.).* Спектакль рассказывает о людях сегодняшней Индии, о классовых проблемах в индийском обществе.

Пьеса написана профессионально, свидетельствует критик индийского еженедельника «Линк» Ашиз Барман. Мелкая буржуазия Бенгалии, обнищав, лишившись почвы под ногами, не смогла найти себе места в рядах чиновничества, не примкнула и к рабочему классу. Ее представителей не оставляет мысль о возможности перехода на более высокую ступеньку социальной лестницы. Но ей недостает уверенности, твердости, чувства классовой солидарности. Самые слабые, как правило, пополняют городское дно...

Ни драматург, ни театр не делают ни малейшей попытки сгустить краски, утверждает рецензент. Деклассирование мелкой буржуазии само по себе приняло гротескные формы. Режиссер-постановщик Шомбху Митра строго подчиняет авторскому замыслу все компоненты спектакля — ритм пьесы, темп игры каждого исполнителя, взаимоотношения героев и сопричастность каждого раскрытию главной темы.

Сцена из спектакля «И снова звучит дудка».

(Еженедельник «Линк»)



ИРАК

ОБРАЩЕНИЕ К ПИСАТЕЛЯМ

Как известно, многие писатели и деятели культуры Ирака были вынуждены покинуть свою страну из-за политических преследований в прошлом. Недавно иракское правительство обратилось к писателям и деятелям искусств, в свое время покинувшим Ирак, с призывом вернуться на родину, чтобы «принять участие в развитии страны».

Среди откликнувшихся на этот призыв — известный иракский поэт Абд аль-Ваххаб аль-Баяти, находившийся в эмиграции одиннадцать лет. Вернулся на родину крупнейший современный поэт Ирака — Мухаммед Махди аль-Джавахири.

«АС-САКАФА АЛЬ-ДЖАДИДА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРОЙ

После долгого перерыва в Ираке снова начал выходить прогрессивный журнал «Ас-Сакафа аль-джадида» («Новая культура»). Сообщая о возобновлении издания журнала «Ас-Сакафа», арабская печать пишет, что он был с момента своего основания в 1953 году «трибуной боевой прогрессивной культуры и оружием борьбы против продажного монархического режима». На страницах «Ас-Сакафы» были впервые напечатаны произведения иракских писателей и поэтов, ставших впоследствии известными на всем Арабском Востоке и за его пределами.

Первый номер возобновленного журнала открывается передовой статьей «Ас-Сакафа аль-джадида» возвращается в строй». Ее автор — главный редактор журнала, известный иракский ученый и публицист доктор Салах Халес рассказывает историю журнала, определяет его задачи на новом этапе. В номере помещены стихи и рассказы современных иракских писателей, статьи по актуальным вопросам общественной и культурной жизни в Ираке и за рубежом.

ИТАЛИЯ

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ ГРЕЦИИ

Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 10, 1969), международная литературная премия «Виареджо-Версилия» присуждена греческому патриоту Александросу Панагулису. Премия была вручена младшему брату Александроса — Статису Панагулису. На церемонии вручения председатель жюри писатель Леонида Репачи напомнил собравшимся представителям итальянской культуры слова, брошенные в лицо фашистским судьям смелым патриотом: «Мой приговор обернется вашей гибелью!» С призывом к укреплению солидарности с греческим народом выступил один из руководителей итальянского движения Сопротивления, бывший премьер-министр Ферруччо Парри.

Статис Панагулис поблагодарил жюри «не от имени брата, а от имени всей Греции, угнетенной полковниками». Вслед за церемонией вручения пре-

мии в Виареджо состоялись выступления фольклорных ансамблей и народных певцов, исполнявших греческие и итальянские песни. Представители итальянской общественности, писатели, художники, молодежь, греческие политические эмигранты скандировали лозунги: «Свободу Грецни!», «Свободу греческнм патриотам!»

Откликаясь на призыв Парри, скульпторы из 16 стран, участвовавшие в VI Международной выставке в Карраре («Биеннале ди Каррара»), приняли решение передать по одной своей работе в фонд помощи и солидарности с борьбой греческого народа. Они обратились в свою очередь с призывом ко всем художникам и скульпторам, не участвовавшим в выставке, последовать нх примеру. Начат также сбор подписей под манифестом художников в защиту свободы Греции.

ПОВЕСТЬ О ПАРТИЗАНЕ ЭТТОРЕ

Внимание критики и читателей привлек выпущенный издательством «Эйнауди» роман «Субботняя получка» — одно из публикуемых посмертно произведений покойного пьемонтского писателя Беппе Фенольо. Повести и рассказы Фенольо переносят читателя в эпоху движения Сопротивления и первых послевоенных лет. Широкую известность приобрели его лишь недавно опубликованные книги «Весна красоты» и «Партизан Джонни». Они вместе с изданными ранее произведеннями («Личное дело» и другими) свндетельствуют, по мнению критиков, о том, что в лице Фенольо итальянская литература потеряла талантливого писателя, одного из интересных представителей неореализма, творчество которого не было по достоинству оценено при жизни и еще недостаточно изучено до сих пор.

Исследовательница творчества Фенольо Мария Корти, посвятившая его произведениям несколько статей, путем биографического, литературного и лингвистического анализа доказывает, что «Субботняя получка» — первый роман (точнее, большая повесть) писателя-партизана. Два отрывка из него в виде отдельных рассказов («Этторе идет на войну» и «Девять лун») в свое время вошли в сборник «Двадцать три дня города Альбы», принесший известность Фенольо в 1952 году. Интересна история «Субботней получки»: первый вариант ее поступил в издательство «Эйнауди» в 1950 году на рассмотрение Итало Кальвино, в то время консультанта издательства, который передал его Элио Витторини для издания в редактировавшейся им серии «Жетоны» (в ней выходили произведения современных итальянских авторов). У Витторини возникли некоторые сомнения по поводу этой книги, рукопнсь несколько раз подвергалась правке и даже переделке, да так и осталась неизданной.

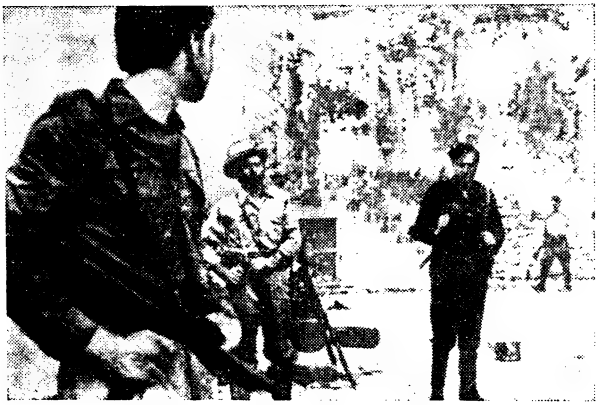
Действие повести происходит непосредственно после окончания войны, но всеми своими корнями уходит в годы Сопротивления. Герой ее сформировался именно в годы Сопротивления — это партизан Этторе, простой парень из бедной семьи. В центре повести — так же как и во многих произведениях Чезаре Павезе, Карло Кассолы и других писателей-неореалистов — проблема послевоенного устройства вчерашнего партизана. Этторе не хочет жить так, как до войны, работать на хозяина, подчиняться родительской власти. По воле случая он вступает в контакт с преступной шайкой и вместе с ней участвует в ее «делах» — от шантажа бывшего фашиста и торговли наркотиками до воровства и вооруженного грабежа. Но бывший партизан видит во всем этом лишь средство встать на ноги, чтобы вернуться к честной жизни и жениться на горячо любимой им Ванде, которая ждет от него ребенка. Попав однажды на партизанский праздник, Этторе вспоминает свое героическое прошлое и твердо решает уйти из банды, начать новую жизнь. Но всем его мечтам и планам кладет конец нелепый случай: Этторе гибнет под колесами грузовика.

Неровность, с какой написано это произведение, полностью объясняет колебания, которые некогда испытывал Витторини. В повести много чисто локальных элементов, в языке ее — диалектизма. Вместе с тем это, как отмечают критики, жизненное, реалистическое произведение, очень динамичное в отдельных эпизодах и диалогах, с глубоко психологическими характерами действующих лиц.

ТРИ НАРОДНЫХ СПЕКТАКЛЯ

В Риме, на рабочей окраине Пьетралата, на поле маленького стадиона, состоялась необычная премьера: молодые актеры «Театра сегодняшнего дня» («Театроджи») показали жителям этого района пьесу немецкого драматурга-экспрессиониста Эрнста Толлера «Калека». Эта написанная в начале 20-х годов пьеса, рассказывающая трагикомическую и аллегорическую исторню одного немецкого пролетария, раненного во время первой мировой войны, лишившегося семьи, работы и незаметно скатывавшегося к принятию фашистской идеологии, в новой постановке приобрела актуальность. В ней громко зазвучали антивоенные и антибуржуазные мотивы. Поставил «Калеку» режиссер и актер Бруно Чирино, декорации создал известный прогрессивный художник Эннио Калабрия (это его дебют как театрального художника). «Театр сегодняшнего дня» покажет свой спектакль в других рабочих районах столицы и в нескольких городках возле Рима, а затем поедет с ним по городам и селениям Лацио и Умбрии, где раньше не бывала ни одна театральная труппа.

Другой интересный народный спектакль постав-



Сцена из спектакля «Тот день 5 апреля 1944 года», поставленного в деревне Монтекьелло.

(Газета «Паэзе сера»)

лен в деревне Монтекьелло в Тоскане в память о героическом подвиге местных партизан—25 лет назад они обратили в бегство целый фашистский батальон. На центральной площади деревни участники спектакля — местные крестьяне, в прошлом партизаны,— в точности воспроизвели события тех дней. Текст этой своеобразной пьесы написал активный деятель народного театра Марио Гуидотти, поставил ее режиссер Арнальдо делла Джовампаола. Название спектакля — «Тот день 5 апреля 1944 года». Юбилейные празднества продолжались неделю, в течение которой на площади каждый вечер ставился этот спектакль.

По сообщениям печати, на площадях городов Сполето, Феррары, Милана большой успех имел еще один эксперимент народного спектакля — «Неистовый Роланд» в постановке режиссера и главы труппы народного театра Луки Ронкони.

«Это был совершенно новый театральный эксперимент,— сказал Ронкони,— и он полностью удался. В Милане площадь заполнили более десяти тысяч зрителей. Публика была самая разнообразная — интеллигенция, студенты, рабочие». На пресс-конференции, состоявшейся в Риме, молодой режиссер жаловался на трудности и даже сопротивление, на которые наталкивается в своей деятельности руководимая им труппа. Коллектив народного театра, возглавляемый Ронкони, получил приглашение участвовать в театральном фестивале в Белграде, но на поездку в Югославию у него пока что нет необходимых средств. В ближайшие месяцы «Неистовый Роланд» Ронкони будет показан зрителям итальянской столицы.

КЕНИЯ

ГОВОРИТ ДЖЕЙМС НГУГИ

Журнал «Калчерал ивентс ин Африка» опубликовал беседу своего корреспондента с известным кенийским писателем Джеймсом Нгуги, автором романов «Не плачь, дитя», «Река между ними...» и «Пшеничное зерно».

Отвечая на вопрос, почему за немногими исключениями в произведениях африканских писателей не отражено развитие их стран после завоевания независимости, Нгуги сказал:

«В течение длительного времени на африканских писателей, как и на всех африканцев в целом на Западе, смотрели как на людей, не имеющих культурных традиций, не имеющих истории. Поэтому первым делом африканских писателей было обратиться к прошлому африканского общества. При этом, конечно, некоторые впали в крайность, утверждая, что прошлое Африки являло собой лишь первозданную чистоту, простодушие и красоту. «Школа реализма», как я ее называю, возникла в африканской литературе, лишь когда Чинуа Ачебе в Нигерии сделал попытку показать, что африканское общество далеко не было простодушным, прекрасным, безмятежным, а было в действительности нагромождением красоты и безобразия, добродетели и порока. Но в то же время африканские писатели несколько отстали от жизни. Они были чуть-чуть заворожены прошлым и «забыли» о современных проблемах. А сами по себе современные проблемы были сложными. Например, проблема отчуждения африканца, получившего образование за границей. Представьте себе африканского студента, который был на Западе и, возвратившись, обнаружил, что не может больше жить в своем обществе. Он оказался слишком «западным». Поэтому африканские писатели обратились к этой проблеме. И опять сошлемся на Ачебе: именно этой проблеме посвящена его книга «Покоя больше нет». В то же время африканские писатели не заметили, что семена других современных конфликтов, в частности связанных с возникновением в Африке своей буржуазии, проросли еще в период колониального общества, которое они описывали... В настоящее время писатели Африки обращаются в своем творчестве к жизни современного африканского общества».

Далее Нгуги, подтверждая это положение, отмечает, что в романах «Интерпретаторы» Воле Шойинки, «Человек из народа» Чинуа Ачебе, в произведениях Леонарда Киберы и других выдвигается мысль о том, что сами африканцы ныне ответственны за судьбы своих народов.

В заключение Нгуги сказал: «Великий африканский роман, когда он появится, будет охватывать не только предколониальный период, он покажет также колониальное прошлое, период после завоевания независимости, он заглянет в будущее. Конечно, это — в идеале. А пока африканским писателям следует больше обращаться к современным проблемам, особенно к тому, что я называю кризисом, или конфликтом, между рождающейся африканской буржуазией и африканскими трудящимися».

Сам Нгуги, по сообщениям печати, приступает к работе над новой книгой. Она будет посвящена пяти годам независимости его родины.

КУБА

По случаю десятилетия создания Кубинского института киноискусства министерство связи Кубы выпустило серию многоцветных марок, посвященных национальному кино.
На снимке: одна из марок, созданная по мотивам фильма «Лусия».

(Газета «Гранма»)

НОРВЕГИЯ

В ДОТАЦИЯХ ОТКАЗАНО

Газета «Дагбладет» недавно писала, что нынешний год—один из наиболее сложных в жизни норвежского кино. «Министерство культуры душит наших кинопродюсеров и практически препятствует реализации серьезных замыслов,— отмечает газета.— Примеров тому — немало».

Известный кинорежиссер П. Банг-Хансен, автор вышедшего в 1966 году художественного фильма «Надпись на снегу», а также нескольких короткометражных лент, задумал экранизировать роман Х. Ховардсхольма «Скрытые услуги», в котором повествуется о полицейской слежке за людьми и «контроле над мыслями». Режиссер подал просьбу о выделении дотации на производство фильма, но получил отказ.

Кинорежиссер А. Берг, автор антифашистского фильма «Эхо» и других лент, задумал большую работу «Смерть на улицах», в которой хотел рассказать о «бунте молодежи», но тоже не получил от властей ни одной кроны дотации.

Аналогичные отказы получили также виднейший кинорежиссер Э. Лёкен, выпустивший в 1959 году нашумевший фильм «Охота», опытный постановщик фильмов Р. Веселунд, задумавший ленту об отношении церкви к проблемам сегодняшнего дня, и другие деятели кино.

И все же прогрессивные норвежские кинорежиссеры, буквально «загнанные в угол», лишенные материальных средств, выпускают понастоящему хорошие фильмы. Один из примеров — фильм «Выжженная земля», получивший диплом на VI Международном кинофестивале в Москве за талантливое воплощение средствами кино мужества народов в борьбе с фашизмом (о фильме см. сообщение в «Иностранной литературе» № 7, 1969).

ПОЛЬША

ВЬЕТНАМ В РАБОТАХ АНДЖЕЯ СТРУМИЛЛО

Как уже сообщала «Иностранная литература» (см. № 11, 1969), среди деятелей польской культуры, награжденных премиями министерства культуры и искусства в связи с 25-летием Народной Польши, был и художник-график Анджей Струмилло. Недавно в варшавском музее «Захента» открылась выставка работ Струмилло, посвященных Вьетнаму.

Художник провел в творческой командировке в Демократической Республике Вьетнам несколько недель. За это время им были созданы многочисленные работы — портреты, рисунки, пейзажи. Портреты тружеников и воинов героического Вьетнама, по отзывам критика Эвы Гажтецкой, «очень реалистические, безукоризненно точные, проникнутые стремлением автора к предельному сходству». Таков воспроизводимый здесь портрет девушки по имени Ха-Пой из провинции Хоа-бинь.

Рисунки Струмилло отражают боевые и трудовые будни борющегося Вьетнама. Заводы в пещерах, дети в бомбоубежищах, больница, уничтоженная американскими воздушными пиратами, пулеметчики на посту, девушка с винтовкой, строительство плотины — таковы сюжеты его работ.

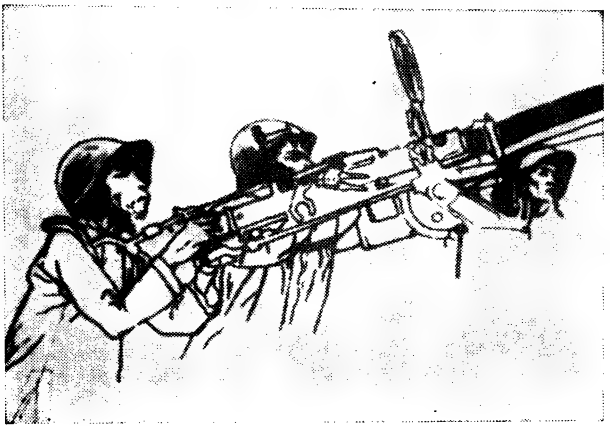
Критики отмечают документальную точность работ Струмилло, иногда уступающую место поэтическим образам, которые художнику удалось подметить и ярко, эмоционально передать: пейзаж с пальмами, женщина, выглянувшая из окна...

Помимо рисунков на выставке представлено несколько десятков фотоснимков, выполненных самим Струмилло,— довольно редкое и, по мнению критиков, рискованное сочетание. И тем не менее художник добился необычайного эффекта: «Фотографии по своей художественной ценности ничуть не уступают рисункам и эскизам,— писала Эва Гажтецкая.— Это не просто документальные снимки: их, как и рисунки, можно разделить на эскизы, наброски, композиции и, конечно, снимки-документы».

Многие из работ Струмилло, показанные в «Захен-

Рисунки Анджея Струмилло: «Девушка Ха-Пой из провинции Хоа-бинь» и «Отряд самообороны деревни Н. в районе Хуанг-Хуа».

(Еженедельник «Польское обозрение»)



ге», ранее экспонировались в Ханое.

КНИГИ ЗБИГНЕВА ЗАЛУСКОГО

«...Я принадлежу к поколению, которое прокляло войну за то, что она отняла у него лучшие годы жизни,— сказал в одном из интервью писатель Збигнев Залуский,— к поколению, прославившемуся тем, что в этой войне — войне справедливой — оно не пощадило своих сил».

Семнадцатилетним пареньком вступил Залуский в январе 1944 года в 1-й корпус Войска Польского, сформировавшегося в СССР. Он участвовал в боевом походе I Польской армии сначала в чине унтер-офицера, затем офицера 9-го пехотного полка. Сейчас он имеет звание полковника Войска Польского.

Первая книга Збигнева Залуского «Пропуск в историю» вышла в 1960 году. За ней последовали «Семь смертных грехов» (1962), «Финал — 1945» (1964) и «Сорок четвертый» (1968). Эти четыре книги посвящены описанию путей и судеб поколения поляков, которому выпали на долю испытания второй мировой войны.

В этом году под девизом «Ближе к современной книге» газетой «Глос працы» совместно с Центральным Советом профессиональных союзов и министерством культуры и искусства был организован конкурс на лучшие книги 1968 года. В категории общественно-политической литературы лучшей была признана книга Збигнева Залуского «Сорок четвертый».

Автор многочисленных исторических очерков, литературно-критических и публицистических статей, Залуский работает сейчас над продолжением военной эпопеи, совмещая писательский труд с политической деятельностью (депутат сейма пятого созыва), встречами с читателями, сотрудничеством с кинематографом (консультант создаваемого в СССР фильма «Освобождение Европы»), работой над сценарием картины о ратном труде поляков на фронтах второй мировой войны. Залуский — лауреат Государственной премии II степени и двух премий министерства национальной обороны.

В РЕПЕРТУАРЕ — РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ КЛАССИКА

Государственный театр имени Ванды Семашковой в Жешове возник в первые дни после освобождения Польши от гитлеровских захватчиков. С годами совершенствовалось его мастерство, росла популярность у зрителей. В настоящее время помимо постоянной труппы в Жешове театр располагает гастрольной труппой, которая выезжает во многие местности Жешовского воеводства.

На протяжении 1944—1968 гг. на сцене театра было поставлено тридцать пьес русских и советских авторов. Среди них: «Лес» и «Гроза» А. Островского, «Женитьба» и «Игроки» Н. Гоголя, «Три сестры» и «Медведь» А. Чехова, инсценировки «Войны и мира» Л. Толстого, поэмы «Октябрь» В. Маяковского, романа «Как закалялась сталь» Н. Островского, романа «Мать» М. Горького, а также его пьесы «Мещане», «Егор Булычов и другие», пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет» и «Калиновая роща»; с интересом были встречены пьесы «Пять вечеров» А. Володина, «Машенька» А. Афиногенова, «Дикари» С. Михалкова, «Иркутская история» А. Арбузова и другие. Пьеса Арбузова, показанная в последнем сезоне, была особенно тепло принята зрителями.

Как отмечают театральные обозреватели, неизменным успехом у польских зрителей пользуются русские классические пьесы. Пьеса Гоголя «Игроки», например, впервые была поставлена в Польше в 1883

Сцена из спектакля «Иркутская история» по пьесе А. Арбузова на сцене Театра имени Ванды Семашковой в Жешове.

году в театре города Ломжа. В 1914 году она шла на сцене Театра им. Словацкого в Кракове. В 1954 году премьера «Игроков» состоялась в Государственном театре Новой Варшавы, затем в сезоне 1959—1960 гг. эта пьеса давалась в варшавском театре «Народовы». Сейчас в постановке режиссера Станислава Белинского она идет в Театре имени Ванды Семашковой, который поддерживает постоянный творческий контакт с Государственным театром имени Максима Горького во Львове.

В сентябре 1969 года коллектив театра побывал с гастролями во Львове, где показал шекспировского «Гамлета» и комедию-фарс польского драматурга Рышарда Рушковского «Вдовушка Ядя».

ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ

«РОДЕЗИЯ, СЧЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ»

Такое название носит фильм, рассказывающий о жизни народа зимбабве. Автор его — молодой режиссер Майкл Рэберн. Корреспондент журнала «Альжери-актюалитэ», воспользовавшись его пребыванием в Алжире, взял у него интервью.

Родители Майкла — европейцы, но вырос он в Южной Родезии, с детства познакомился с расовыми отношениями в стране. Его неприятие южнородезийской действительности выкристаллизовалось во время учебы за рубежом. Тогда созрел замысел — создать фильм, разоблачающий расизм. Собрав некоторую сумму денег, Рэберн приехал в Солсбери на каникулы и предложил снять документальный фильм о том, как ведется борьба против повстанцев. Родезийские власти не дали разрешения на съемки. Тогда Майкл предложил сделать игровой приключенческий фильм, в который, по его замыслу, должны были войти ценные документальные кадры. На это расисты «клюнули», но сразу же после начала съемок несколько белых актеров, которых подобрал Рэберн, отказались работать с ним. Полиция произвела у Рэберна обыск, но, не обнаружив ничего компрометирующего, разрешила продолжить работу. Однако в дальнейшем съемочную группу неизменно сопровождала полицейская машина. Съемки велись четыре недели, после чего отснятую пленку удалось тайно вывезти из Родезии.

Так появился фильм «Родезия, счет в обратную сторону». Майкл Рэберн рассказал корреспонденту, что съемки проходили в таких условиях, когда он не мог предвидеть конечных результатов своей затеи. Сам он не имеет опыта постановки фильмов, оператором у него был фотограф-любитель. В фильме есть как игровые, так и документальные сцены. Сам режиссер исполняет роль колонизатора. «Основная тема фильма,— говорит Рэберн,— антагонизм между двумя расами, одна из которых эксплуатирует другую... Это что-то вроде раздумий о расовой проблеме в Родезии».

В финале фильма звучат слова повстанцев: «В данной

Кадр из фильма «Родезия, счет в обратную сторону». *(Газета «Альжери-актюалитэ»)*

ситуации мы должны или согласиться на положение людей «низшего сорта», или объявить войну государству белых. Мы объявляем войну государству белых».

США

«БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ»

«Когда самолеты приземлились на базе, с них были сняты бомбы и отправлены на пароходе обратно в США, на заводы, которые днем и ночью работали на войну. Там бомбы разобрали, извлекли из них опасное взрывчатое вещество и снова превратили его в минеральное сырье. Сырье отправили к специалистам-геологам, работавшим в отдаленных районах, и те вновь закопали его в землю, чтобы спрятать как следует, поглубже, чтобы никто не мог его снова найти, чтобы оно никогда никому не могло причинить вреда».

Приведенный отрывок взят из нового романа Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Прием «обратной перемотки» фактов, по отзывам рецензентов и литературных обозревателей, внимание которых привлек новый роман, позволяет автору достичь особой выразительности повествования.

Курт Воннегут — участник второй мировой войны. В 1945 году в течение пяти месяцев он в качестве военнопленного находился в Дрездене и был свидетелем уничтожения города с воздуха американской авиацией. Это обстоятельство нашло свое выражение в романе «Бойня номер пять»: центральный персонаж романа — американец Билли Пилгрим пережил бомбежку Дрездена и остался в живых, так как был в глубоком укрытии. Действие романа Воннегута развертывается в Дрездене 1945 года, Нью-Йорке 1968 года и на фантастической планете Тральфамадор, где времени в обычном, человеческом понимании нет, оно там относительно. Хронология повествования автором часто нарушается, однако, как отмечают критики, основная сюжетная линия и антивоенная направленность произведения предельно ясны.

Обозреватель Питер Раули пишет в журнале «Нейшн», что, по его мнению, роман Воннегута — лучшая книга года. «Бойня номер пять»,—заявляет он,— убедительное антивоенное произведение, и в этом его ценность. Это особенно существенно для нации, которая в последнее время проявляет поразительную тенденцию к применению силы... Творчество Воннегута— последнее слово современной сатиры, восходящей к традициям Свифта».

Рецензент еженедельника «Тайм» называет роман «горькой, блестящей и мудрой притчей» о современной Америке с ее атмосферой жестокости и равнодушия к человеческим страданиям. Трагедия и абсурдность войн лежит в основе книги, подчеркивает рецензент, автор всеми средствами стремится донести до читателя эту мысль. «Пока читаешь роман, не покидает ощущение, будто слышишь шепот автора: будьте добрее, не надо причинять боли...» — пишет Роберт Скоулс в «Нью-Йорк таймс бук ревью».

В предисловии к «Бойне номер пять» автор изложил свое кредо следующим образом: «Я сказал своим сыновьям, что они ни при каких обстоятельствах не должны принимать участия в массовых убийствах и что сообщения газет об убийстве врагов не должны наполнять их чувством радости. У меня четверо сыновей призывного возраста, и ни один из них не поедет во Вьетнам».

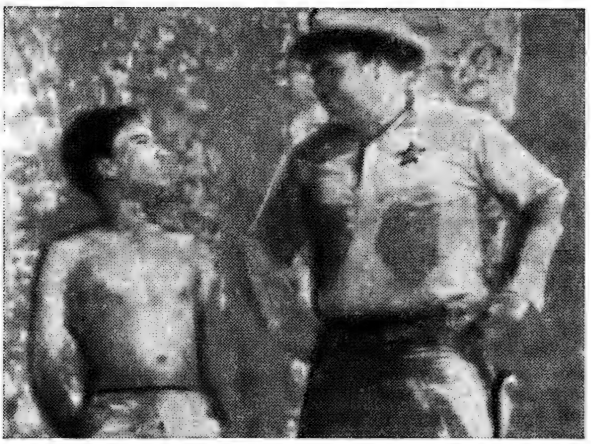
Как сообщает печать, следующий роман Воннегута, выход которого ожидается в самом конце 1969 года, будет называться «Завтрак чемпионов» и задуман как сатира на роботов, которые, захватив власть, попадают в затруднительное положение, так как не способны мыслить самостоятельно, несмотря на все свое совершенство в области вычислений.

ГОЛЛИВУД — «ВЫЕДЕННОЕ ЯЙЦО»

Некогда именовавшийся «киностолицей мира» Голли-

Известный негритянский писатель и журналист Гордон Паркс выступил недавно в роли кинорежиссера: он экранизировал свой автобиографический роман «Древо познания», рассказывающий о преступлениях расистов в США. В роли Гордона Паркса снимался четырнадцатилетний Кайл Джонсон.
На снимке: кадр из фильма.

(Еженедельник «Уорлд мэгезин»)



вуд переживает сейчас, как пишет американская печать, серьезный кризис. По свидетельству председателя Совета киноработников в АФТ — КПП Джона Ленерса, из 30 500 человек, занятых в Голливуде, 12 000 не имеют сейчас работы.

Но Голливуд все еще «по инерции» притягивает к себе молодых американцев, мечтающих стать «звездами» кино. Большинству из них предстоит горькое разочарование. Девушки, приезжающие в Голливуд, как правило, не в состоянии найти себе никакой работы и часто становятся жертвами всякого рода проходимцев; некоторых из них вербуют изготовители порнографических фильмов, получивших сейчас широкое распространение в Соединенных Штатах.

Как отмечают американские обозреватели, причины кризиса Голливуда — в низком качестве фильмов, а также в конкуренции телевидения. Интерес зрителей к фильмам, выпускаемым в Голливуде, неуклонно снижается. Двадцать лет назад средний показатель посещаемости кинотеатров за неделю составлял 70 млн. человек, теперь — 40 млн. Почти пятая часть кинотеатров закрылась. Это привело к тому, что если в 1948 году на экраны было выпущено 366 фильмов, то в 1968 году — 180.

Сильно поизносилась и хваленая киноаппаратура Голливуда. Корреспондент журнала «Ньюсуик» пишет, что «голливудские продюсеры бегут в Европу, не только спасаясь от высоких налогов, но и потому, что в Европе оборудование и условия работы значительно лучше, чем в США».

Очень образно охарактеризовал положение бывшей «киностолицы мира» корреспондент газеты «Уолл-стрит джорнэл», написавший недавно, что «Голливуд превратился в «выеденное яйцо».

ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСКИХ ФИЛЬМОВ

Как сообщает печать, в Бостоне прошел фестиваль польских фильмов, организованный факультетом кино «Брэндейс юниверсити» — известного американского высшего учебного заведения.

Фестиваль, в программу которого входили фильмы, созданные выпускниками Лодзинской киношколы, был приурочен к выставке плаката польского кино и театра.

ТУРЦИЯ

МРАКОБЕСЫ С ФАКЕЛАМИ И ПИСТОЛЕТАМИ

Турецкая печать рассказывает о наступлении реакционных сил на прогрессивные театры в стране.

В столичном «Малом театре на площади» во время спектакля «Погасла свеча», где высмеивался религиозный фанатизм, пробравшиеся в зал хулиганы устроили драку. Против Анкарского художественного театра — одного из лучших коллективов страны — прокуратура возбудила дело за постановку пьесы французского драматурга Армана Салакру «Бульвар Дюран». Понадобилось заключение судебных экспертов, чтобы спектакль был снова разрешен. Тем не менее сенаторы правящей партии выступили в меджлисе с требованием запретить постановку, как «подрывную». После этого шесть членов труппы вновь были подвергнуты допросу в прокуратуре.

В Стамбуле, после того как власти использовали все законные средства для запрета спектакля «Эпоха Сулеймана» в театре «Народные актеры» и не добились успеха, помещение театра было подожжено неизвестными лицами...

Во время первого представления труппы «Театра революционного действия» в стамбульском Дворце культуры полиция произвела налет и прекратила спектакль.

На представлении в стамбульском театре «Кадыкей» пьесы Азиза Несина «Карагёз и парикмахер Нонош», получившей первую премию на конкурсе газеты «Миллийет», в зал ворвались фашистские отряды «командо» и разгромили помещение.

В городе Гази-Антепе против труппы «Народные актеры», прибывшей на гастроли по приглашению профсоюза учителей с пьесой о революционном поэте средневековья Пир Абдал Султане, местная прокуратура возбудила судебное преследование.

В городе Самсуне во время представления театра «Митхад-паша» на сцену ворвались вооруженные дубинками бандиты и ранили нескольких актеров.

В городе Серии в провинции Анталья на сатирическом спектакле театра «Маркопаша» — «Пустил я осла на лужок» две сотни хулиганов, ворвавшись на сцену, разорвали костюмы, уничтожили декорации.

В городе Кайсери во время гастролей театра «Анатолийская сцена» в зрительный зал прорвались молодчики, вооруженные пистолетами и дубинками.

Характер этих и им подобных нападений свидетельствует о том, пишут обозреватели, что они направляются из одного центра и производятся с одобрения властей.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ ЦЕНЗУРА

«Сценарий в целом самой своей направленностью пропагандирует экономическую и общественную идеологию, противоречащую нашему национальному строю, оскорбляет честь и достоинство воинства, наносит вред национальной безопасности и поддержанию порядка, поощряет преступления»,— таков был приговор цензуры, запретившей производство фильма по сценарию, созданному известным турецким писателем Яшаром Кемалем по своему собственному роману «Тощий Мемед». Между тем «Тощий Мемед» принес его создателю мировую известность — роман переведен на 25 языков и издан в 30 странах мира, в том числе в Советском Союзе. Недавно опубликованный в Турции второй том романа выдержал уже два издания. Сценарий, написанный Яшаром Кемалем

по второму тому, и испугал турецкую цензуру.

Выступая на пресс-конференции, устроенной в связи с запретом сценария, Яшар Кемаль выразил резкий протест против произвола цензуры. «Фильмы подвергаются цензуре во многих странах мира,— сказал он.— Она вводится для того, чтобы закрыть доступ на экраны безнравственным, откровенно аморальным фильмам... В Турции происходит как раз обратное. Наша цензура пропускает самые безнравственные, порой порнографические фильмы и запрещает хорошие, высокоидейные ленты. Таким образом она стала средством политического давления. За год в Турции производится до 200 фильмов, причем 90 процентов из них — это подражания посредственным американским фильмам. Все они проходят цензуру и выпускаются на экраны, оказывая разлагающее влияние на турецкого зрителя».

ФРАНЦИЯ

«ВЕТЕР С ВОСТОКА»

В Италии, в одной из деревушек близ Рима, французский режиссер Жан-Люк Годар снимает свой новый фильм «Ветер с Востока». Как известно, фильмы Жан-Люка Годара, пришедшего в кинематографию в начале 60-х годов вместе с «новой волной», неоднократно запрещались во Франции. Одной из причин столь печальной судьбы произведений этого режиссера, очевидно, является необычайная актуальность и политическая острота затронутых в них тем. И на этот раз, по мнению корреспондента итальянского еженедельника «Вие нуове», Годар «держит руку на пульсе времени»:

«Мы — свидетели политических и социальных кризисов, кризисов государственных институтов, пробуждения масс, восставших против застоя полурастительного существования. Тысячи рабочих, служащих, студентов и крестьян выходят на улицы, чтобы заявить свой протест против установленного порядка вещей.

Как же реагирует на все эти события левый фланг кинематографии? Разумеется, средствами своего искусства. «Ветер с Востока» — политический вестерн, в котором каждый из персонажей олицетворяет одну из политических или социальных сил современного мира: Пролетариат, Буржуазию, Социал-демократию, Империализм».

В фильме Годара снимаются итальянский журналист Паоло Поцези, Хосе Вареаль — гид по профессии, актеры Кристиана Туллио и Аллен Миджет. Кроме того, в картине принимает участие известный киноартист Джан Мария Волонте, несколько месяцев назад объявивший бойкот обуржуазившемуся, по его мнению, итальянскому кино и отказавшийся сниматься в фильме «Поужинаем как-нибудь вечером».

В качестве консультанта и соавтора французский режиссер пригласил лидера студенческого движения Даниэля Кон-Бендита. В фильме занята также группа французских студентов, участников движения молодежи в мае 1968 года.

Трудно сказать, каким будет новый фильм Годара, слишком сложны и глубоки проблемы, которые собирается затронуть в нем режиссер. Очевидно, немалую роль здесь сыграет гражданская позиция постановщика, предыдущие работы которого снискали интерес и признание мировой общественности. (См. «Иностранную литературу» № 8, 1965, № 3, 1967 и № 5, 1968).

«Возможно,— пишет автор статьи,— «Ветер с Востока» внесет свой вклад в борьбу молодежи и трудящихся против буржуазного общества и поможет батраку Калабрии и рабочему «Фиата» кое в чем разобраться и решить для себя многие проблемы, но может случиться, что картина Годара послужит примером того, как «общество потребления» расправляется с явлениями, несущими в себе элементы протеста, приспосабливая их

«Фернан Бюффе в честь Рембрандта» — такую надпись сделал известный французский художник на шуточной графической репродукции с картины великого голландского мастера «Урок анатомии». «Прошло триста лет со дня смерти Рембрандта, лицо мира изменилось,— говорит Фернан Бюффе,— но мастерство этого живописца не превзойдено. Бесконечна философская глубина его картин, творчество его равно питает как простолюдина, так и эрудита. Человек ступил на Луну, люди пережили громадные потрясения, одержали невиданные победы и перенесли неслыханные бедствия, но то, что сделал Рембрандт с помощью красок и глубокого видения природы и человека, до сих пор остается недостижимым».

(Еженедельник «Фигаро литтерер»)

для своих нужд. Так случилось с «биттлами» и «хиппи», авторами песенок протеста, когда их сочинения стали шлягерами, предметами купли и продажи, а сами они разбогатели и превратились в предпринимателей индустрии пластинок. Их призыв к бунту не состоялся, голос потерял силу и убедительность. Однако ясно одно: появление на экранах фильма Годара безусловно будет событием».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

БИЕННАЛЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В БРАТИСЛАВЕ

Растет международный авторитет братиславской биеннале иллюстраций: в нынешнем году в ней приняли участие 34 страны по сравнению с 25 в 1967 г., когда состоялась первая биеннале. Для этой выставки характерно то, как отмечает печать, что в экспозиции главное внимание уделяется творческой индивидуальности отдельных художников. Вне конкурса экспонировались работы японского художника Ясуи Сегавы, лауреата «Гран При» братиславской биеннале за 1967 год.

Одновременно с биениале был проведен Международный симпозиум по проблемам иллюстрирования книг для детей и юношества.

ЮГОСЛАВИЯ

ВЗАИМНЫЕ ИЗДАНИЯ

Недавно загребское издательство «Стварност» выпустило объемистый сборник венгерской поэзии, в который вошли стихотворения 131 поэта, начиная с XV века и кончая нашими днями. Составитель профессор Энвер Чолакович работал над ним почти двадцать лет.

Издательство «Геликон» в Будапеште выпустило антологию югославской народной поэзии. В сборнике 8000 эпических и лирических песен. Книга иллюстрирована репродукциями средневековых фресок. Перевод стихов осуществлен венгерским поэтом Ласло Надем.

ВЫСТАВКА ФРАНТИШЕКА КУПКИ

Музей современного искусства в Белграде устроил выставку произведений Франтишека Купки, на которой экспонировалось свыше ста его работ с 1890 по 1937 г.— картины, акварели, гуашь и графика. Это третья по счету большая выставка, которая совместно организуется пражской Национальной галереей и белградским музеем.

Как сообщает печать, в прошлом году Национальная галерея организовала в Праге выставку современной югославской графики. В настоящее время она подготавливает выставку современной югославской скульптуры.

ЯПОНИЯ

ТРУППА ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

В токийском зале «Уэно бунка кайкан» с успехом прошли выступления японской балетной труппы имени П. И. Чайковского, показавшей балет «Спящая красавица»; спектакли шли в сопровождении токийского симфонического оркестра.

Недавно труппа отметила пятую годовщину со дня своего основания. Многие артисты труппы учились искусству балета у советских мастеров.

В 1966 году токийская балетная труппа побывала на гастролях в Советском Союзе. Как заявил директор труппы Тадацугу Сасаки, в 1970 году труппа снова намерена посетить Советский Союз, а затем совершит гастрольное турне по Польше, Болгарии, Чехословакии и Румынии, побывает во Франции и Италии.

ЮНЕСКО

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРИБУНЫ КОМПОЗИТОРОВ

Недавно в Париже в здании ЮНЕСКО состоялось заседание XVI Международной трибуны композиторов, созданной в 1954 году под эгидой Международного совета музыки. В нее входят организации радиовещания 31 страны, которые поставили своей целью поощрять обмен сочинениями современных композиторов.

Международная трибуна композиторов присудила свою ежегодную премию австрийскому композитору Д. Лигети. Отмеченное премией сочинение Лигети «Лонтано» в записи оркестра Австрийского радио было выбрано из числа более чем 80 произведений современной музыки.

Лигети родился в Венгрии, получил музыкальное образование в Германии и Австрии, где он живет и работает в настоящее время.

Авторы этого номера

СЕВЕРИН ШАЛИ — ŠEVERIN ŠALI (род. в 1911 г.).

Югославский словенский поэт, публицист, переводчик. Печататься начал в довоенные годы, выпустив сборник стихов «Водопад тишины» («Slap tišine», 1940). Затем вышли книги «Встреча со смертью» («Srečavanje s smrtjo», 1942), «Гимн родной земле» («Spev rodni zemjli», 1944) и др.

С. Шали принадлежит много переводов, в том числе русской и советской литературы (М. Горький, М. Шолохов, К. Паустовский).

Публикуемые в этом номере стихи получены редакцией в рукописи.

БЛАЖЕ КОНЕСКИЙ — БЛАЖЕ КОНЕСКИ (род. в 1921 г.).

Югославский македонский поэт, переводчик, общественный деятель. Печататься начал в 1939 г., но наиболее значительные его работы относятся к послевоенным годам. Сборники стихов «Виноградник» («Лозје», 1955), «Вышивальщица» («Везилка», 1956), «Стерня» («Стерна», 1966) были отмечены литературными премиями. В его переводе вышли в Югославии произведения Пушкина, Лермонтова, Гете, Гейне, Блока, Есенина, Мартынова. В 1967 г. был награжден советским орденом «Знак почета» за успехи в деле пропаганды советской литературы.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Стихи» («Поезија», 1965), «Вышивальщица».

ГАНЕ ТОДОРОВСКИЙ — ГАНЕ ТОДОРОВСКИ (род. в 1929 г.).

Югославский македонский поэт, переводчик. Начал печататься в начале пятидесятых годов. С тех пор выпустил семь сборников стихов; из них отмечены литературными премиями «Утром» («Во утринте», 1951), «Спокойный шаг» («Спокоен чекор», 1956), «Радуга» («Божилак», 1961), «Апофеоз будням» («Апотеоза на делникот», 1964), из которого взяты публикуемые стихи.

Г. Тодоровскому принадлежат переводы произведений Пушкина, Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака, Рождественского.

ИВАН В. ЛАЛИЧ — IVAN V. LALIČ (род. в 1931 г.).

Югославский сербский поэт. Начал печататься с 1951 г., публикуя в литературных журналах стихи и статьи. Автор многих поэтических сборников. Книги «Мелиса» («Melisa», 1959), «Время, костры, ветры» («Vreme, vatre, vrtovi», 1961) отмечены литературными премиями. Стихи Ивана В. Лалича изданы в ряде европейских стран.

ЯСНА МЕЛВИНГЕР — JASNA MELVINGER (род. в 1940 г.).

Югославская сербская поэтесса. Ее стихи составили сборники «Водяной цвет» («Водене цвет», 1957), «Все, что дышит» («Све што дише», 1963).

«Стихи о животных» были напечатаны в сборнике «Водяной цвет».

ВЛАДО ГОТОВАЦ — VLADO GOTOVAC (род. в 1930 г.).

Югославский хорватский поэт, критик, эссеист. Его стихи составили несколько сборников, в том числе «И быть оправданным» («I biti opravdan», 1963), в котором было напечатано публикуемое стихотворение, «Слышу облака» («Čujem oblake», 1965), «Земля закрывается» («Zastire se zemlja», 1967), «Перепевы по памяти» («Prepjevi po sjećanju», 1968) и др.

■

ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ — FRANCISCO COLOANE (род. в 1910 г.).

Известный чилийский писатель-коммунист, лауреат Национальной премии по литературе, в течение нескольких лет был председателем Общества писателей Чили. Героями всех его произведений — рассказа «Последний юнга с «Ла Бакедано» («El último grumete de la Baquedano», 1940), «Залив Мучений» («Golfo de Penas», 1945), «Огненная Земля» («La Tierra del Fuego», 1956), «Дорогой китов» («El camino de la ballena», 1962) — являются рыбаки, китобои, моряки крайнего юга его родины. (Статью «Встреча с чилийским Джеком Лондоном» Ю. Дашкевича см. в № 8 нашего журнала за 1967 г.).

Публикуемые рассказы переданы автором «Иностранной литературе» в рукописи.

■

АНТАЛ ГИДАШ — HIDAS ANTAL (род. в 1899 г.).

Видный венгерский поэт, романист, эссеист, переводчик, лауреат премии Кошута. Имя Гидаша давно известно в нашей стране — его стихи печатались в двадцатые и тридцатые годы. С тех пор они не раз выходили отдельными сборниками («Сад моей тетушки», «Улица Жасмина» и др.). На русском языке издана также проза Гидаша — романы, составляющие трилогию: «Господин Фицек», «Мартон и его друзья», «Другая музыка нужна», книга «Шандор Петёфи».

Перу А. Гидаша принадлежит много переводов русской и украинской поэзии на венгерский язык.

В этом номере публикуются стихи поэта разных лет.

■

ГЕОРГИЙ НАЙДЕНОВ (род. в 1922 г.).

Болгарский журналист, публицист, заместитель главного редактора еженедельника «Отечествен фронт», автор ряда статей в политических и литературных журналах.

ВЕНКО ХРИСТОВ (род. в 1933 г.).

Болгарский литературный критик, публицист, часто выступает в печати, на радио и телевидении, работает в журнале «Пламк».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1969 ГОД (№№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Абэ, Кобо — Сожженная карта (Роман), №№ 8—10.

Агкаоили, Т. Д.— Подлость (Рассказ), № 4.

Альварес де Толедо, Исабель — Тревожные дни в Санлукаре (Повесть. Послесловие В. Ясного), № 5.

Арпино, Джованни — Тень от холмов (Роман), №№ 6—7.

Бенедетти, Марио — Спасибо за огонек (Роман), №№ 8—9.

Бенько, Войцех — Новая ночь (Рассказ), № 7.

Бехер, Иоганнес Р.— Трижды содрогнувшаяся земля (Рассказы. Вступление Александра Дымшица), № 10.

Бобровский, Иоганнес—Литовские клавиры (Роман. Предисловие Сергея Львова), № 4.

Борхерт, Криста — Перевоз — двадцать пфеннигов (Рассказ), № 10.

Бройн, Гюнтер де — Буриданов осел (Роман), №№ 11—12.

Варгас Льоса, Марио — Воскресный день (Рассказ), № 10.

Во, Эвелин — Незабвенная. Англо-американская трагедия (Сатирическая повесть. Послесловие А. Елистратовой), № 2.

Галина, Лада — Старинная рукопись (Рассказ филолога), № 9.

Георгиев, Кольо — Спокойной ночи, папа (Рассказ), № 9.

Грау, Шерли Энн — Стерегущие дом (Роман), №№ 3—4.

Делла Меа, Лучано — Семейное торжество (Рассказ), № 3.

Диас Валькарсель, Эмилио — С понедельника на всю неделю (Повесть), № 4.

Ендришик, Манфред — В путь (Рассказ), № 10.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЫ, № 5.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПРОЗЫ, № 7.

Кавалец, Юлиан — Танцующий ястреб (Роман), №№ 1—2.

Калчев, Камен — Ученье — свет (Рассказ), № 5.

Капусцинский, Рышард — Похищение Эльжбеты (Рассказ), № 7.

Кита, Марио — Головастики (Рассказ), № 2.

Клавель, Бернар — Жозеф-кузнец, или Человек, который потерял было свои руки (Рассказ), № 4.

Коллинз, Бетти — В медном котле (Роман), №№ 7—8.

Колоане, Франсиско — Морские рассказы, № 12.

КОЛУМБИЙСКИЕ РАССКАЗЫ, № 5.

Ла Гума, Алекс — Каменная страна (Роман), № 11.

Льюис, Норман — От руки брата его (Роман), №№ 9—10.

Мадрид Мало, Нестор — Письмо из Кореи, Зеленый банан (Рассказы), № 5.

Максуэлл, Уильям — С любовью и преданностью (Рассказ), № 5.

Матуте, Ана Мария — Три рассказа, № 9.

Миколаек, Тадеуш — После дождя (Рассказ), № 7.

Минковский, Александр — На рыбалке (Рассказ), № 7.

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ ГДР, № 10.

Нарайан, Р. К.— Продавец сладостей (Роман. Послесловие Н. Демуровой), №№ 1—2.

Никол, Абиосе — «Всего превыше...» (Рассказ), № 4.

Новак, Тадеуш — Письмо (Рассказ), № 7.

Новотный, Иоахим — Пимпуш (Рассказ), № 10.

Олби, Эдвард — Всё в саду (Пьеса в двух действиях), № 1.

Оляча, Младен—Моя мать (Рассказ), № 11.

Орлось, Казимеж — Девушка в лодке (Рассказ), № 7.

Парди, Джеймс — Острый угол (Рассказ), № 5.

Попович, Титус — Смерть Ипу (Новелла. Вступление Кирилла Ковальджи), № 8.

Пристли, Джон Бойнтон — Такси и звезда (Рассказ), № 9.

Радичков, Йордан — Воскресенье (Новелла), № 5.
Ружевич, Тадеуш — На дипломатической службе (Рассказ), № 7.
Саламеа, Хорхе — Метаморфоза его превосходительства (Памфлет), № 7.
Сапата Оливелья, Мануэль — Аккордеон за решеткой (Рассказ), № 5.
Селимович, Меша — Чужая земля (Повесть), № 3.
Тельес, Эрнандо — Кровь на цветах жасмина (Рассказ), № 5.
Федерман, Рейнгард — Голос (Рассказ), № 3.
Фэн Юнь — Мост шириной в бревно (Рассказ), № 6.
Хайтов, Николай — Дикие рассказы, № 2.
Халберстэм, Дэвид — Один очень жаркий день (Роман. Послесловие А. Тер-Григоряна), № 6.
Хови, Тамара — Стремления маленькой мошки (Повесть), №№ 11—12.
Шоу, Ирвин — Как это принято у французов (Рассказ), № 5.
Эрдэнэ, Сэнгийн — Земля под яблонями (Рассказ), № 8.

СТИХИ

Атиено-Одхиамбо, Е. С. — Возрожденная Африка, № 3.
Аухьер, Анхель — В мавзолее, № 11.
Багряна, Елисавета — Поэзия, № 4.
Банг Виет — Вернулся с передовой, чтобы навестить сына, № 1.
Барбоза, Жоржи — Море, № 7.
БЕЗЫМЯННЫЕ ПОЭТЫ ЗАБАСТОВКИ, № 5.
Браун, Фолькер — Примечания для граждан ГДР, № 10.
Бриер, Жан — Приветствие Ленину. Жак Алексис Солнце, Мой дар осенней тени Лидии Койдула, № 4.
Варнаи, Жени — Рука занесена, № 3.
Ваци, Михай — В дорогу зовут тополя, № 4.
Вьятит, Кедар Ман — Стихи, № 4.
Гараи, Габор — Стихи разных лет, № 8.
Германов, Андрей — Стара-планинская вершина, № 9.
Гидаш, Антал — Все снова видится... (Вступление Ал. Суркова), № 12.
Готовац, Владо — Так возникают стихи, № 12.
Дадье, Бернар — Стихи (Из книги «Люди всех континентов»), № 2.
Даскалова, Лиана — Флейта, № 4.
Джагаров, Георгий — Клятва, № 9.
Ду Эшпириту Санту, Алда — Триндади, № 7.
Жасинту, Антониу — Народ ушел на войну, № 7.
Ивашкевич, Ярослав — Завтра жатва, № 7.
ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ. Стенли Кьюниц (Вступление Андрея Сергеева), № 7.
ИЗ АФРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление О. Тугановой), № 3.
ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 9.
ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ, № 3.
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ. Яннис Рицос, № 5.
ИЗ ИРЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ. Остин Кларк (Вступление А. Саруханян), № 3.
ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ. Рифат Илгаз (Вступление Радия Фиша), № 3.
ИЗ ЮГОСЛАВСКОЙ ПОЭЗИИ, № 12.
Илгаз, Рифат — Знать бы. Мои дети и др., № 3.
Исаев, Младен — Революция. Открытия. Тревожные строфы, № 9.
Ислам, Назрул — Стихи (Вступление Михаила Курганцева), № 10.
Калау, Гейнц — Летняя песня, № 10.
Карденаль, Эрнесто — Стихи (Вступление Юрия Дашкевича), № 6.
Кариуки, Джозеф — Бессонные в Анголе. Слепой, № 3.
Кехлибарева, Надя — Музыкант, играющий на сазе, № 4.
Кирш, Райнер — Идти рядом, № 10.
Кларк, Остин — Странствующий учитель. Третье стихотворение о детях и др., № 3.
Комьят, Аладар — Большевики, № 3.
Конеский, Блаже — Песнь виноградной лозы на горе Водно, Нежность, № 12.
Краверинья, Жозе — Черный вопль, № 7.
Куддус, Голам — Ленин, № 11.
Кунерт, Гюнтер — Отношение к облакам. Утро приходит, № 10.
Кьюниц, Стенли — Размышления у почтового ящика. Вор. Дорога над рекой, № 7.
Лалич, Иван В. — Романс, № 12.
Левин, Леопольд — Стихи о Вьетнаме, № 6.
ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ (Стихи болгарских поэтов), № 4.
Мариану, Габриел — Поэма раба, № 7.
Мартинш, Овидиу — Бичуемые Восточным ветром, № 7.
Маурер, Георг — Уничтожить слезы, № 10.
Мелвингер, Ясна — Стихи о животных, № 12.
Милев, Йордан — Шалаш (Фрагменты поэмы), № 11.
МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ВЬЕТНАМА (Вступление Те Ханя), № 1.
НАРОД УШЕЛ НА ВОЙНУ (Стихи поэтов португальских колоний), № 7.
Нгуен Динь Хонг — Лирические стихи на реке Нят-Ле, № 1.
Николов, Иван — ...В белые зимы, в желтые жатвы, № 9.
Овадия, Давид — Пароль, № 9.
Олах, Габор — Революция, № 3.
Отеро Сильва, Мигель — Моя жизнь течет в море (Из поэмы), № 10.
Пенчева, Станка — Бегство. Моя власть, № 4.
Прейслер, Гельмут — Поселок на границе. Мечты о будущем, № 10.
Ренэ Кастильо, Отто — Тронемся, родина, в путь..., № 2.
Рицос, Яннис — Канун солнца (Поэма), № 5.
Сантуш, Алмейда — Когда мои братья вернутся..., № 7.
Сас, Меньхерт — Красные солдаты, № 3.
Сеферис, Гиоргос — Лик судьбы (Вступление Л. Лихачевой), № 9.
Сиад, Уильям Фарах — Стихи, № 8.
Солер, Кармен — Строки, написанные кровью, № 5.
Станда, Эверет — Изменись, Брат!, № 3.

Стефанова, Лиляна — Урок по архитектуре. Мастер, № 9.

СТИХИ ПОЭТОВ ГДР, № 10.

Стоянов, Анастас — В горах, № 9.
Суардиас, Луис — Крупным планом (Вступление Павла Грушко), № 7.
Тодоровский, Гане — Кантата в красном и черном, № 12.
Тхюи Бак — Каждый раз, когда уходим, № 1.
Фаркаш, Антал — Иван возвращается домой, № 3.
Фонсека, Агиналду — Поэт и народ, № 7.
Хайдар, Нияз — Ленин с нами, № 11.
Циммеринг, Макс — Память, № 10.
Чан Нгуен Дао — Ужин, № 1.
Шали, Северин — Пушкину, Москва, № 12.
Шаркёзи, Дёрдь — Гимн любви, № 3.
Шомьо, Золтан — Рабочий класс, № 3.
Штройбель, Манфред — Хроника, № 10.
Элюар, Поль — ...По ступеням необозримой лестницы надежды (Стихи разных лет), № 11.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ади, Эндре (1877—1919. Вступление Е. Малыхиной), № 2.
Аполлинер, Гийом — Стихи (Вступление П. Антокольского), № 1.
Лирика Поля Верлена (К 125-летию со дня рождения. Вступление Е. Эткинда), № 8.
Мачадо, Антонио, № 3.

КРИТИКА

Амбарцумов, Е.— Осторожно: прогресс!, № 8.
Апт, С.— Читая письма Томаса Манна, № 9.
Бялик, Б.— Оружие лжи, № 4.
Валицкий, В.— Откровения самодержавной музы, № 9.
Гейсмар, Максуэлл — Для своего времени и для всех времен (Марк Твен об империализме, расизме и других характерных чертах американской республики), № 6.
Гирнус, Вильгельм — Красные розы Иоганнесу Бобровскому, № 2.
Гривнин, В.— Трилогия Кобо Абэ, № 10.
Данчев, Пенчо — Поэзия гражданского пафоса (Заметки о современной болгарской поэзии), № 9.
Засурский, Я.— Бестселлеры и политика, № 8.
Ивашева, В.— В дебрях абсурдного мира, № 3.
Ильинская, С.— Поэзия Сопротивления (Тасос Ливадитис и послевоенная трагедия Греции), № 7.
Каранфилов, Ефрем — Молодость героя (Заметки о болгарской прозе), № 5.
Каролев, Стоян — О стиле современной болгарской прозы, № 1.
Кин, Ц.— Сорок пятая параллель, № 6.
Книпович, Е.— Об умении «думать вперед», № 3.
Конрад, Н.— Средневосточное Возрождение и Алишер Навои, № 2.
Константиновский, И.— Один год (Заметки о современном румынском романе), № 8.
ЛИБКНЕХТ, ЕДИНСТВЕННЫЙ... (Из речей о культуре и искусстве. Вступительная статья М. Кораллова), № 1.
Мотылева, Т.— Роллан, Толстой, Ленин, № 7.
Мотылева, Т.— Тема доверия, № 10.
Олдридж, Джеймс — Личность и классовое самосознание, № 2.
Плавиус, Гейнц — Личность и социализм (Заметки о литературе ГДР), № 10.
Проскурникова, Т.— Театр и политика (Заметки о современной французской драматургии), № 4.
Ряузова, Е.— «Время Зеленого Мыса настало» (О креольской литературе островов Зеленого Мыса), № 11.
Самарин, Р.— Военизация чтива (Милитаристский роман в США), № 12.
Старцев, А.— Песня о себе (К 150-летию со дня рождения Уитмена), № 5.
Эйдлин, Л.— Когда поэт переводит... (Восток Анны Ахматовой), № 12.
Юхас, Петер — К ясности взгляда (Заметки о современной венгерской новелле), № 11.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Норт, Джозеф — Вокруг тридцатых, № 11.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Сурков, Ал.— Что с Вами произошло по пути из Ташкента в Нью-Йорк, м-р Стайрон?, № 1.
Шкловский, В.— «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», № 6.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ПИСЬМА К. ЛИБКНЕХТА (Публикация и вступительная статья М. Кораллова), № 5.

«ЭТОМУ МИРУ Я ОТДАЛ СЕРДЦЕ И РАЗУМ» (К 100-летию со дня рождения Мартина Андерсена-Нексе), № 6.
М. Андерсен-Нексе — Из статьи «Пролетариат и искусство», № 6.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Жамсаранжав, Г.— «Уншсан далай» (Письмо из Монголии), № 7.
Ромеро, Эльвио — Парагвайская хроника, № 3.
Уотен, Джуда—Новое в литературной жизни (Письмо из Австралии), № 1.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Архипов, Ю.— Сумерки и рассвет над Дунаем, № 1.
Балашова, Т.— Высокая и чистая поэзия борьбы, № 2.
Бочкарева, И.— В поисках человечности, № 12.

Бочкарева, И.— Путь индивидуалиста, № 7.
Бочкарева, И.— Человек на перекрестке, № 1.
Елистратова, А.— Цвет крови и надежды, № 6.
Жирмунская, Тамара—Гостеприимство русской музы, № 3.
Зонина, Л.— Человек на войне, № 11.
Иванов, Игорь — Прикосновения к «сегодня», № 4.
Кагарлицкий, Ю.— Десять лет спустя, № 5.
Катарский, И.— Новая встреча, № 12.
Кешоков, Алим — Поэтическое созвездие двух континентов, № 3.
Ковальджи, Кирилл — Сложность личных путей, № 8.
Кораллов, М.— Роман исторический и современный, № 12.
Курганцев, Михаил — Выстраданный оптимизм, № 4.
Курганцев, Михаил — Десять африканских поэтов, № 11.
Макаренко, В.— Новеллисты острова сокровищ, № 3.
Николаев, Е.— Как в капле воды, № 3.
Никулин, Н.— Старинная вьетнамская проза, № 10.
Нудельман, Р.— О жизни, которая сложнее чуда, № 4.
Огнев, Владимир — «Мечты защищайте мечами!», № 11.
Огнев, Владимир — Характеры, которые шлифовало время, № 9.
Орлова, Р.— Не устаревшая книга, № 2.
Пальцев, Николай — Будни и героизм обездоленных Америки, № 7.
Пальцев, Николай — Пути наверх? Пути вниз, № 12.
Силюнас, В.— Старатель радости, № 7.
Степанов, Л.— Восточная сага об Антаре, № 5.
Суровцев, Ю.— Хлеб и антенна, № 9.
Турков, А.— Воспрянувшие слова, № 6.
Турков, А.— «Жизни чудотворный ток», № 8.
Тынянова, Инна — Глаза погребенных ждут света, № 10.
Харитонов, С.— Человек и технология, № 10.
Черкасский, Л.— Песни о любви, № 1.
Эйдлин, Л.— Роман Мао Дуня, № 9.

Издано за рубежом

Азерникова, Е.— За правдой на белом коне, № 8.
Архипов, Ю.— На авансцене современной австрийской драматургии, № 11.
Бочарникова, Е.— Мемуары Эндре Шика, № 3.
Ваксмахер, Морис — «Начинается время надежды», № 11.
Вержховская, Г.— В ожидании взрыва, № 1.
Гальперина, Е.— Итак, африканский антимиф?, № 6.
Гальперина, Е.— «Когда дорога, голодная, ждет...», № 1.
Гилеисон, В.— Первый учебник социализма в США, № 2.
Гордышевская, М.— Трагический фарс, № 6.
Димитрова, Стефана — Рассказы Николая Хайтова, № 1.
Зверев, А.— Шлягер по-американски, № 7.
Зонина, Л.— Прощание с прошлым, № 7.
Иллеш, Ласло — Поэзия Ласло Беньямина, № 4.
Ковальджи, Кирилл — Третий крик возвещает рождение, № 5.
Кожевников, Ю.— Обязан людям, № 8.
Книпович, Е.— Самое настоящее, № 7.
Константиновский, И.— Новый роман Марина Преды, № 2.
Крылова, В.— Где река обрела свои семь звезд, № 11.
Малыхина, Е.— Выбор, № 10.
Млечина, И.— Палитра Губерта Фихте, № 4.
Млечина, И.— Сигналы, посланные в никуда, № 10.
Мотылева, Т.— Книга о героическом народе, № 12.
Мотылева, Т.— О мнимой объективности, № 8.
М. С.— В ожидании, № 6.
Мулярчик, А.— Скандал в литературном семействе, № 9.
Огнев, Владимир — Поиски новых форм, № 8.
Опульский, А.— К вершинам поэзии, № 4.
Опульский, А.— «...Мир так прекрасен», № 11.
Ржевская, Н.— Ромен Роллан и Максим Горький, № 12.
Салганик, М.— «Ненастоящие» по-настоящему, № 3.
Скороденко, В.— Несостоявшаяся реанимация, № 5.
Харитонов, В.— Итог страданий, № 2.
Черная, Л.— Дневник самоубийцы, № 9.
Чугунов, К.— Корни жизни, № 5.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Анджапаридзе, Г.— «Самовыражение» или протест?, № 3.
Богемский, Г.— Горькие парадоксы Альберто Моравиа, № 8.
Вагапова, Н.— «Необходима литература ясная и смелая...», № 8.
Вагапова, Н.— Поиски выхода, № 2.
Валицкий, В.— Под аплодисменты дельцов, № 4.
Владимиров, Г.— Глазами японского ученого, № 2.
Владимиров, Д.— В битве идей, № 3.
Гатов, Агей — «Литературный» экспорт Пекина, № 9.
Грибанов, Б.— Встревоженная совесть нации, № 1.
Давидсон, А.— Модель опустошенного общества, № 7.
Зверев, А.— Амфетамин — поэзия — «толпа», № 6.
Зверев А.— «Завербованные и разгневанные», № 12.
Звягин, А.— Снова Веймар?, № 7.
Зонина Л.— Спор о романе продолжается, № 4.

Опульский, А.— Литературная критика перед новыми задачами, № 10.
Опульский, А.— «Рабочий: тема — судьба», № 1.
Орлова, Р.— Какого цвета культура?, № 9.
Пиотровская, А.— О гражданской ответственности писателя, № 3.
Пумпянский, А.— Нужно ли бомбить университеты?, № 4.
Салганик, М.— Время исканий, № 10.
Салганик, М.— Кто выбирает Африке героев?, № 6.
С. Л.— Эхо гданьского съезда, № 12.
Словесный, А.— Может ли свирель соперничать с оркестром?, № 2.
Черная, Л.— Пределы терпимости — не всегда можно говорить «да» и не все компромиссы хороши, № 5.

ПУБЛИЦИСТИКА

Бейкер, Карлос — Жизнь Эрнеста Хемингуэя (Главы из книги. Послесловие А. Старцева), №№ 5—6, 11—12.
Вальраф, Гюнтер — Репортажи (Вступление Льва Безыменского), №№ 1—2.
Гарсиа Понсе, Гильермо — Побег из тюрьмы Сан-Карлос (Вступление Д. Юрьева), № 11.
Долматовский, Евг.— Вьетнам — проблема нравственная, № 2.
ИТАЛИЯ, МОЛОДЕЖЬ, «ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА», № 9.
Караганов, А.— Художник в сложном мире (Статья первая), № 7.
Караганов, А.— Художник в сложном мире (Статья вторая), № 10.
Лидман, Сара — Рудник, № 5.
Митин, М. Б.— О так называемых «новых вариантах» марксизма, № 3.
МОРТ САЛ, «МАРК ТВЕН ЭСТРАДЫ...», № 8.
Найденов, Георгий — Московское совещание и культура, № 12.
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ (По страницам болгарской литературной печати), № 12.
Новогрудский, Александр — Открытие боем, № 6.
Рид, Джон — Высадка в Финляндии, № 4.
Тёркел, Стадс — Улица Разделения: Америка (Предисловие и послесловие С. Вишневского), №№ 8—9.
Христов, Венко — От Фрейда и Шпенглера... к Маркузе (Заметки об идейном кризисе Запада), № 12.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ДУХ ТАШКЕНТА ТОРЖЕСТВУЕТ (К международной встрече писателей в Ташкенте), № 1.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Бернстайн, Хильда — Этот мир был наш (Послесловие А. Давидсона), № 3.

ОЧЕРКИ

Броневская, Янина — Варшава, 1945..., № 7.
Дангулов, Савва — Зодчий из Бромли и путешествие в Россию, № 4.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Почивалова, С.— Фильмы двух континентов (Заметки с Ташкентского кинофестиваля стран Азии и Африки), № 4.
Рубанова, И.— Перевал (Польское киноискусство перед юбилеем), № 7.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Рябова, Е.— «Лучше тоньше, да лучше» (Ответы югославского поэта Радована Зоговича на вопросы редакции), № 11.

НАШИ ГОСТИ

Добровольская, Ю.— Бунт писателя (Гоффредо Паризе в «Иностранной литературе»), № 3.
Иванова, Татьяна — Бэрэган: люди и легенды (Штефан Бэнулеску и Фэнуш Нягу в «Иностранной литературе»), № 9.
Ильинская, С.— «Я старался шагать с тобой в ногу» (Ахиллеас Пилиотис в «Иностранной литературе»), № 12.
Львов, Сергей — О написанном и задуманном (Франц Фюман в «Иностранной литературе»), № 1.
Померанцева, Е.— Поиски, раздумья, работа (Алан Силлитоу и Рут Файнлайт в «Иностранной литературе»), № 8.
Россиянов, О.— Разговор с поэтом не только о поэзии (Иштван Шимон в «Иностранной литературе»), № 5.
Тарасова, М.— В поисках истины (Эмилиян Станев в «Иностранной литературе»), № 4.
Тарасова, М., Пархомовская, С.— На пороге юбилея (Болгарские писатели в «Иностранной литературе»), № 7.
Фиш, Радий — Линия смысла (Нефзат Устюн в «Иностранной литературе»). № 1.
Фиш, Р.— Голос, к которому прислушивается Турция (Кемаль Тахир в «Иностранной литературе»), № 10.

ПАМЯТИ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА РЮРИКОВА, № 6.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

АННА САЛЬВАТОРЕ, № 9.
Бела Уитц (Публикация В. Шалабаевой), № 11.
Болгарский художник Георгий Пенчев (По страницам болгарских рецензий), № 4.
Бунин, Н.— Уве Витт — художник-борец, № 2.

Бялик, Б.— О «Братьях» Харада Тацуко, № 7.

Виноградова, Н.— Современная японская гравюра (Заметки о работах прогрессивных графиков), № 7.

Воронина, Т.— Андре Фужерон, № 1.

Завадская Е.— Живописный язык Анри Матисса, № 12.

ИЗ РАБОТ МОНГОЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ, № 3.

ИЗ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ РУМЫНСКИХ ХУДОЖНИКОВ (Цветная вклейка), № 8.

Кунихен, Ноэл—О моих работах последних лет, № 10.

«НЕТ!» ФАШИЗМУ (Из антологии «Искусство в сопротивлении»), № 6.

ТЕМА ТРУДА В ЗАРУБЕЖНОМ ИСКУССТВЕ (Публикация И. Степановой), № 5.

НАША ПОЧТА

Бенгом, И.— Издательства Польши накануне столетия Ленина (Письмо из Варшавы), № 10.

Обзор писем, № 12.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 2, 4, 7, 9, 11.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, №№ 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, №№ 1—12.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (и. о. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 11611. Сдано в производство 22/IX-69 г. Подписано к печати 11/XI-69 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 28,32. Зак. 3280.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394